

Владимир (Зеев)
Жаботинский



ИНСТИТУТ ЖАБОТИНСКОГО В ИЗРАИЛЕ
(ТЕЛЬ-АВИВ)



КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «КОВЧЕГ»
(МОСКВА)

ВЛАДИМИР (ЗЕЭВ) ЖАБОТИНСКИЙ
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕВЯТИ ТОМАХ





ВЛАДИМИР ЖАБОТИНСКИЙ. НАЧАЛО 1900-х гг.

ВЛАДИМИР (ЗЕЭВ) ЖАБОТИНСКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДЕВЯТИ ТОМАХ

том четвертый

в трех книгах

книга 1



СТАТЬИ
РАССКАЗЫ
ОЧЕРКИ
ЭССЕ
РЕЦЕНЗИИ
ФЕЛЬЕТОНЫ
1904

УДК 821.161.1-31 / - 32
ББК 84 (2 Рос=Рус) - 44
Ж12

**Издание осуществляется при спонсорской
поддержке Фонда Михаила Черного**

Редакционный совет:

Йоси АХИМЕИР, Ирина БЕРДАН, Михаил ВАЙСКОПФ,
Борух ГОРИН, Феликс ДЕКТОР, Леонид КАЦИС,
Вольф МОСКОВИЧ, Арье НАОР, Дмитрий РАДЫШЕВСКИЙ,
Александр ФРИДМАН, Владимир ХАЗАН

Editorial Council

Yosi AHIMEIR, Irina BERDAN, Felix DEKTOR, Alexander FRIDMAN,
Boruh GORIN, Leonid KATSIK, Vladimir KHAZAN, Wolf MOSKOVICH,
Arie NAOR, Dmitry RADYSHEVSKY, Michail WEISKOPF

Главный редактор Ф. ДЕКТОР
Научный редактор Л. КАЦИС
Составители Ф. Дектор, Л. Кацис
Примечания В. Хазана

Жаботинский, Владимир (Зеэв)

Ж12 Полное собрание сочинений в девяти томах. Т. IV. Кн. 1.
Статьи. Рассказы. Очерки. Эссе. Рецензии. Фельетоны. 1904 /
Владимир (Зеэв) Жаботинский. — Минск: МЕТ. — 2012. —
823 с.

ISBN 978-985-436-593-X

В первую книгу четвертого тома Полного собрания сочинений Вла-
димира (Зеэва) Жаботинского вошли статьи, рассказы, очерки, эссе,
рецензии, фельетоны, опубликованные в 1904 году.

УДК 821.161.1-31 / -32
ББК 84 (2 Рос=Рус) -44

ISBN 978-985-436-593-X (т. 4, кн. 1)

ISBN 978-985-436-550-3

© Дектор Ф., составление, 2012

Приложение:

© Кацис Л., составление. 2012

© Кацис Л., статья. 2012

© ООО «МЕТ», оформление, 2012

ОТ РЕДАКЦИИ

В первую книгу четвертого тома вошли статьи, рассказы, очерки, эссе, рецензии и фельетоны Владимира Жаботинского, опубликованные в 1904 году.


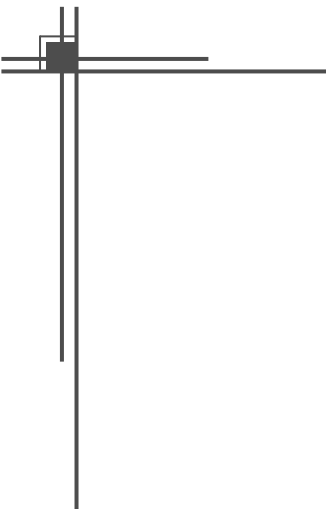
*Постраничные сноски, пронумерованные цифрами, принадлежат Редакции ВЗЖ¹; отмеченные знаком * были сделаны автором и редакторами / издателями первых публикаций, датируемых по старому стилю.*

Неотъемлемой частью книги является компакт-диск с атрибутируемыми Жаботинскому текстами 1901–1904 годов и сопроводительной статьей проф. Леонида Кациса «“Провинциальные” псевдонимы Владимира Жаботинского».



Редакция глубоко признательна проф. Авраму Новиштерну и Научно-культурному центру «Бейт Шолом-Алейхем» за помощь в работе по отбору и переводу произведений Жаботинского, написанных на идише, а также гг. Ефиму Павлоцкому и Михаилу Табахову, содействовавшим выходу этой книги.

¹ Здесь и далее ВЗЖ — Полное собрание сочинений Владимира (Зеева) Жаботинского в 9 т.



**СТАТЬИ
РАССКАЗЫ
ОЧЕРКИ
ЭССЕ
РЕЦЕНЗИИ
ФЕЛЬЕТОНЫ**

1904





На вопрос дня

Наше движение настолько окрепло, чтобы не бояться правды и не замалчивать опасности. Надо прямо и громко сказать, что сионистское движение переживает трудный кризис. На юге, например, организация заметно ослабла, шекели и марки фонда лежат почти без всякого движения, а люди препираются друг с другом и стараются друг другу доказать, что именно ты, а не я, виноват в кризисе и из-за тебя остановилось все дело. Не знаю точных сведений из других районов, но и там, верно, немногим лучше.

В конце концов, все это страшно только до известной степени. Что бы ни вышло, наше движение может только дрогнуть, но не рассыпаться, потому что корни его испокон веков глубоки в недрах народа, а время как никогда еще благоприятствует его росткам.

Но есть одна неизбежная особенность и отчасти беда в нашем движении: оно, будучи в высшей степени народным, массовым по существу, принуждено, однако, больше всякого другого серьезного движения считаться с личностями и зависеть от них. Наше своеобразное положение и своеобразная, почти беспримерная в истории задача потребовали этого. Дипломатическая политика не может не быть почти азартной игрою; наше движение прежде всего есть не игра, а работа, но поскольку оно требует дипломатической политики, постольку неизбежна игра. Игроком является масса — но этой массе пришлось поставить огромную ставку на *одну* карту. Иначе, быть может, и нельзя. Вот почему эта *одна* карта привлекает столько внимания; вот почему в иные минуты все наше внимание тревожно сосредоточивается на одном человеке. В нынешнем кризисе эта особенность ярко выступила. После того как делегация харьковского съезда побывала в Вене, все любопытство момента направилось на вопрос, как поступит Герцль. Одни говорят, что он заставит уйти уполномоченных;

другие говорят, будто он устал и будто сам уйдет; те ворчат на него, эти рукоплещут ему. Все о нем. Я не оспариваю, что было бы гораздо лучше, если бы такое огромное дело, как наше, не в столь значительной степени зависело от личностей. Оно было бы тогда устойчивее и прочнее, хотя бы уже потому, что самый безукоризненный человек все-таки смертен. Но в данном положении вещей любопытство — «что сделает Герцль?» — вполне естественно: кризис действительно свелся к вопросу о Герцле. Большой Actions-Comité¹, который будет обсуждать инцидент между нашим вождем и 13 крамольными уполномоченными, решит, конечно, так, как подскажет Герцль; и если это решение будет неудачно и поведет к расколу, то сионизм, конечно, уцелеет, но понесет тяжелый ущерб. Очень и очень многое зависит, таким образом, от того, что Герцль подскажет. Не наше дело гадать, что именно подскажет Герцль Actions-Comité. Это мы увидим. Но невольно думается, что здесь мы стоим перед большим пробным камнем, на котором должна проявиться ярче, нежели когда-либо до сих пор, внутренняя ценность человека, ведущего наши ряды. Тут мы яснее всего увидим, кто он такой; и как Вергилий Данте на пороге ада, так мы теперь, накануне решительного шага, можем сказать нашему президенту: *qui si parra la tua nobilitate* — вот где обнаружится твое достоинство².

Теодор Герцль — замечательный человек. И он, и мы все еще слишком молоды исторически, чтобы давать ему рискованные эпитеты; но, несомненно, эта личность изваяна из той же глины, из которой делаются великие люди. Его нельзя назвать ни крупным писателем, ни выдающимся оратором; но он говорит и пишет именно то, что ему следует сказать, и именно тем тоном и с теми жестами, которые в этом случае нужны. Средний человек теряется в сложных положениях и не находит надлежащих слов, и только потом, когда уже все кончено, эти слова приходят ему в голову: Герцлю надлежащее слово дается в надлежащий момент. Это не есть какой-нибудь специальный талант ума, пера, слова: это какой-то особенный, очень редкий талант целого человека, целой природы, поровну гармонически пропитавший все ткани тела и все извилины души. В таких людях есть нечто от стихии и благодаря

¹ Исполнительный комитет (фр.).

² Данте. Божественная комедия. Ад, песнь 2, ст. 9; это выражение стало крылатым.

тому некоторое чутье стихии. Они, стоя лицом к лицу со стихией, всегда ясно чувствуют, где можно поставить на своем, где надо уступить. Они знают меру и такт по наитию. Они способны заблудиться, дойти и других довести до стены или до пропасти, но не способны споткнуться. Герцль производит впечатление одного из таких людей, а момент, переживаемый нами, есть именно тот момент, когда стоящему лицом к лицу со стихией — народом — надо много чутья, чтобы взглядеться в запутанный узел событий, чтобы не по внешним, часто бессмысленным крикам масс, а из самой сути и глубины стихийного их настроения вывести указание для своих шагов. «Вот где обнаружится твое достоинство».

Надо прежде всего трезво и холодно обсудить вопрос о взаимных правах и обязанностях. Нет никакого сомнения, что крупная личность не может работать в тесных рамках, и чем эта личность крупнее, чем энергичнее, тем ей труднее держаться в пределах своего квадрата на общей шахматной доске. Крупный работник неизбежно должен грешить неколлегиальностью. Это может быть в лучшем случае неколлегиальность скрытая, замаскированная, облагороженная, но по существу своему энергия крупного работника прямо противоположна принципу коллегальности, и первая со вторым естественно должны всегда находиться в состоянии хронического конфликта. И если бы даже удалось кому-нибудь строго втиснуть сильную личность в рамки одного квадрата, так, чтобы эта личность сама вошла во вкус такого ограничения и перестала бы рваться на простор, то вряд ли бы такая операция над духом сильного работника пошла в пользу и ему, и задаче, которой он служит; ибо неминуемо упало бы в нем напряжение творческой энергии. Сила по своей природе есть нечто экспансивное, непокорное, мятежное; вытравить из нее эти качества — терпкие, но необходимые — все равно, что химически выделить из похлебки хлористый натр и подать ее к столу без соли. Кто дорожит крупными работниками, должен признать за ними право на неколлегиальность. Но — только до известной степени, и в этом-то и все дело.

Если, с одной стороны, сила, тесно ограниченная рамками, чахнет, зато, с другой стороны, ведь и прочие люди не овцы; или по крайней мере не должны быть овцами: им надо знать, что делается во имя их или на их средства, они должны уметь протестовать, когда им это покажется нужным, и удерживать размах самовластной, хотя и любящей руки, едва им

ширина этого размаха покажется чрезмерной или направление нежелательным. Сильная личность всегда будет стремиться к самовластию над коллегией; но коллегии должны противодействовать этому стремлению, создавая для размаха сильной личности трение, которое будет постепенно тем сильнее, чем дальше попытается проникнуть властная воля сильного человека; и в момент, когда последняя пойдет слишком далеко, трение противодействия со стороны коллегии должно усилиться до перевеса над нею и остановить ее. Это трение и есть регулятор — единственная возможная «мера вещей» в отношениях между сильной личностью и коллегией. Оно во всякий момент указывает личности, до какой точки можно простереть самовластие энергии и за какую черту нельзя переступить; и в том и заключается такт большого вождя, чтобы чутьем улавливать без ошибки, до какого предела дозволено ему в каждый данный миг действовать самовластно и где, напротив, рискует он наткнуться на чрезмерное противодействие. Таким образом, эта постоянная борьба между крупным работником и принципом коллегиальности является не только нормальным, но и в высшей степени полезным моментом в жизни каждой организации: коллегиальное трение, самый гибкий и потому лучший из способов ограничения власти, стесняет творческий размах выдающейся личности, но в то же время не дает ей пересолить. Лучшая конституция есть не та, которая наиболее ограничивает свободу действия власти раз навсегда установленными рамками, а та, которая наиболее обеспечивает постоянную возможность трения и противодействия. Где власть сильна, а оппозиция бессильна, там гнет и произвол; где оппозиция могущественна, а власть слаба, там застои; только там, где и власть, и оппозиция полны сил и боевой готовности, там общественная жизнь развивается гармонически, всесторонне и спокойно. Так в старину в дуло ружья забивали пыж и старались забить его потуже, ибо знали, что чем более стойкое сопротивление встретит пуля при выходе из дула, тем она дальше долетит.

Нам пришлось создать и организацию, и беспрецедентные в истории учреждения за период одного семилетия. Ничего удивительного поэтому, если у нас не все сразу наладилось. В частности, здоровая оппозиция, эта необходимейшая пружина всякой общественной деятельности, до сих пор почти отсутствовала. Самые ярые сторонники властных личностей не станут отрицать, что существование без оппозиции не мо-

жет назваться нормальным. Из ненормального положения надо было выйти; привычка безгласного повиновения похожа на трясицу, из которой надо вырваться резким скачком, пока она не засосала вконец. Пресловутый харьковский съезд уполномоченных явился попыткой такого скачка.

Теперь уже никто — начиная с доброй половины самих уполномоченных — не скажет, что этот скачок был проделан очень уж ловко. То же самое можно было исполнить гораздо искуснее: более законно обставить, в более умеренной и потому более внушительной форме выразить и т. д. В этом смысле можно смело сказать, что господа уполномоченные заслужили добрую половину тех упреков, которые так обильно пожали. Но при всем том чувстве досады, которое может вызвать в нас эта неумелость, непростительная в таком тонком деле, все-таки нельзя не развести удивленно и скорбно руками перед другой половиной — тоже весьма «доброй» в количественном смысле. Эти укеры априорного свойства, эти протесты на тему «да как они посмели» — все это можно оправдать только нашей гражданской незрелостью, подсказывающей нам иногда самые необдуманые заключения. Мне представляется необходимым отметить в особенности один мотив, часто повторяющийся в этих протестах и упреках, — отметить затем, чтобы всеми силами предостеречь от такой неправильной и опасной точки зрения на самое драгоценное из наших учреждений — на Конгресс. Я говорю о том ходячем доводе, что, мол, уполномоченным следовало выступить против Герцля не в Харькове, а в Базеле. Странное непонимание того, что есть для нас Конгресс. Это ведь не просто парламент, буднично заседающий в течение многих месяцев, так что достаточно времени там и для ссоры, и для примирения: Конгресс — это почти в одинаковой степени и парламент, и торжественный смотр наших сил. С этим надо считаться: на смотре нужно быть очень осторожными относительно опасных опытов. Конгресс не должен длиться больше недели, а необдуманный толчок легко может произвести такую трещину, которую за этот срок мы не успеем починить. Устраивать рискованные эксперименты в Базеле, где на нас тут же с хоров глядят десятки чужих недобрых глаз и готовы радоваться всякой нашей скорби, — это было бы и не к чести, и не к пользе нашей. В Базеле мы время от времени зажигаем большой жертвенный костер и собираемся к его огню, чтобы согреть душу и набраться энергии; я повторяю: мы достаточно сильны, чтобы гласно

и бесстрашно говорить о своих недугах, но ведь не алтарь — место для прикладывания горчичников. Не хотелось бы верить, что такой дешевый взгляд на лучшее из созданий Теодора Герцля действительно встречает еще сторонников среди нас.

Я не беру на себя неблагодарной роли защитника тринадцати уполномоченных: мне, напротив, кажется, что ежели делать дело, то делать его споро и удачно, а тот, кому не удалось или не совсем удалось, тем самым уже и виноват. Я смотрю на весь этот инцидент совершенно беспристрастным, даже равнодушным взором: равнодушным, ибо твердо знаю, что никакие временные задержки, трещины, зацепки не властны остановить наше народное движение, и сколько бы ценных личностей ни пало при этом растоптанными, все-таки земля моих прадедов будет землею детей моих, во что бы то ни стало. Ценные личности — вождь и руководители, — разумеется, необходимы, так точно как необходимы путнику прочные сапоги: не обувь эта движет человеком, а его цель и его бодрость, но с обутыми ногами шагать легче и быстрее, чем босиком; и там, где гениален вождь и руководители даровиты, там у путника-народа сказочные семимильные сапоги. Там же, где подошва дала трещину, можно поступить двояко: богатый выбросит эти сапоги вон и будет прав, потому что он может купить новую пару; но тот, кому нелегко будет добыть себе новую обувь, пусть лучше починит старую и пойдет дальше по своему пути. Крах личностей не может быть крахом серьезного движения, но и личностями не надо швыряться, как щепками, особенно там, где настоящих людей не так еще много.

Не высказываясь ни за, ни против тринадцати уполномоченных, вглядываясь спокойно и равнодушно в это положение вещей, я вижу ясно два настроения: часть безусловно осуждает Харьковский съезд за неудачный образ действий, совершенно игнорируя руководившую участниками съезда цель; другая часть из сочувствия к цели готова закрыть глаза на неудачный образ действий. Здесь не то важно, кто прав и насколько, — важно то, что, если бы результатом этого столкновения оказалось устранение уполномоченных, значительная и — как все признают — далеко не худшая часть сионистов принципиально не примирилась бы с этой жертвой, видя в харьковском решении протест (конечно, неискusstный и неумеренный) против нежелательного порядка. Можно и должно, не стесняясь воплей негодования, решительно подавлять всякое противодействие, исходящее из чисто личных

побуждений; но если в противодействии замешана хоть малая доля принципиальной правды, тогда нужна большая осмотрительность, большая государственная мудрость, чтобы не задеть неосторожным толчком какой-нибудь общей бесспорной святости и не посеять еще новых семян возмущения.

Что нам таиться: не от собрания большого Actions-Comité ждем мы, конечно, этой государственной мудрости. Каждому из нас хорошо известно, где тут зарыта собака, и ясно, от кого будет зависеть исход инцидента.

Есть люди, ходящие по земле, и люди высокого полета. Первому видно только то, что близко; от сильного соседа ему тесно, и он будет рад возможности выдворить эту помеху и остаться беспредельным господином своего муравейника. Но человеку орлиного полета с вышины раскрыт большой кругозор, и много такому человеку ясно, чего ходящий по земле не увидит. Он не боится окружить себя даже крутыми и неуступчивыми людьми, ибо ясно ему, что тем лучше куется железо, чем тверже молоты, кующие его, и чем этих молотов больше; и хотя непокорные помощники стесняют его, он не боится, так как его честолюбие не в том, чтобы творить без помехи свою волю, а в том, чтобы довести до победы титаническое дело, доковать до конца свою гигантскую полосу железа. Не как лавочник, боящийся конкурента, но как отец города радуется он новым и сильным соперникам, глядя здесь не на гроши личного убытка, а на рост и подъем общественного оживления, которое всем на благо. Подобно старому оскорбленному гидальго в испанском предании, который велел связать руки сыновьям и скорбно глядел на их печальную покорность, пока младший, будущий Сид, не возмутился громко и дерзко против отцовского произвола, — и тогда старик обнял его и сказал: ты способен отомстить за мою обиду, — так он, человек высокого полета, скорбит о кротких и любит строптивых, помня *qu'on ne s'appuit que sur ce que resiste* — только то, что способно оказать сопротивление, может послужить опорой.

Эту фразу цитировал и Герцль, закрывая 6-й конгресс. Близится, несомненно, минута, когда мы узнаем, сорвались ли у него эти слова случайно как риторическая прикраса, или действительно отразили его государственное мировоззрение, руководит ли им тесная логика обыденно практического человека, или особое чутье и орлиная зоркость, доступные только избранным, возьмет ли в его душе верх обывательская струнка задетого самолюбия, или высшее честолюбие подвига,

который возложен самим собой на плечи и должен быть осуществлен во что бы то ни стало. Исход этих событий ярко и явственно покажет нам, кто перед нами — вождь или просто командир. «Здесь обнаружится твое достоинство...»

А в конце концов вот что думается мне о всей этой истории. Она, конечно, очень тяжела, но бросать из-за нее шекели, фонд и пропаганду не стоило. И в этом отлынивании от работы я вижу только новое проявление нашей постоянной и неистребимой склонности к разговорам и безделью. Когда мы начали дробиться на фракции, наивный человек со стороны мог, пожалуй, за нас порадоваться и сказать: «Вот, до сих пор эти люди работали все в одной мастерской, а теперь они, видно, умножились и окрепли так, что могут захватить уж и новые отрасли». Но на деле оказалось иное, и каждая группа стала заботиться не о том, чтобы как можно деятельнее развить положительную творческую часть своей программы, а о том, как бы поблистательнее доказать, что программы других групп никуда не годятся. Культурные сионисты положили гораздо меньше усердия на создание хедеров и национализацию школ, чем на критику политических; политические проявили гораздо больше рвения в критике культурных, чем в распространении акций, шекелей и марок; справа кричат о том, что мелкая колонизация есть чистое палестинофильство и измена политическому сионизму, но не видно, чтобы они особенно радели о главном палладиуме крупной колонизации — о национальном фонде; слева провозглашают чартер утопией и видят все спасение в инфльтрации, но отнюдь сами в Палестину не едут, никаких колоний там не учреждают и даже для «Геулы» не собирают. И все, главное, убеждены, что, критикуя других, они делают некое дело, и не понимают, что незачем отрицать друг друга, что все нужны, все полезны, ибо в нашей огромной задаче не *одна* точка приложения сил, а много, что культурный сионизм укрепляет политически, и наоборот, и что мелкая колонизация усиливала бы шансы на чартер, а надежда на достижение чартера окрылила бы колонизацию — только не критиковать надо, не в чужие катехизисы заглядывать с целью хулы, а смотреть в *свою* программу и по ней работать, учреждать, создавать. Мы не любим работать, и как памятник этой лени даже в лучшие времена не забудется нам тот неприглядный факт, что на великое дело искупления родной земли мы до 6-го конгресса натрясли какие-то двести тысяч рублей...

Эта наша готовность жадно пользоваться всяким предложением, чтобы начать шумные разговоры и под шумок улизнуть от работы, — это, быть может, прилично для школьников, которые рады скандалу, лишь бы прервать скучный урок, но не для нас, рабочих возрождения. Кризис, непомерно раздутый нашей любовью к пререканиям и праздности, пройдет и забудется, но мало путного получится у нас, если мы не проникнемся твердо сознанием, что неприлично больше нам подстергать ошибки друг у друга, а надо каждому прежде всего вести *свою* линию и на *своем* пути не оставить ни одного шага несделанным, ни одного призыва недоговоренным, ни одного начинания незаконченным.

Владимир Жаботинский

Еврейская жизнь. 1904. № 1. С. 203–211



Вскользь

Жена сегодня утром пришла меня будить в ужасном настроении.

— А? Что такое?

— А ты еще поспи. Зарыл лысину в подушки и думает, что теперь заря. А уже десятый час.

— А тебе что угодно?

— Ничего не угодно. Просто хотела тебя порадовать приятным известием.

— Например?

Жена показала газету «Листок». (Я с самого основания выписываю «Листок» и очень доволен. Феноменально серьезная газета.)

— А что, — спросил я, — война с Японией? Ты не тужи, душечка, ведь меня в войско не возьмут. Я ведь получил белый билет, негоден — по той причине, что у меня полтора вершка в груди не хватило, да одна нога оказалась не то длиннее, не то короче другой. Да и годы не те, чтобы в Японию посылали.

— Никакой Японии нет. А есть то, что мы опять ничего с тобой не выиграли.

— Ага. Ну, ничего. Это можно отложить до другого раза.

— До другого раза! У человека шесть билетов, и не может выиграть. Надо быть тобой, чтобы купить те номера, которые не выигрывают.

Я обиделся.

— Виноват, голубушка, — сказал я солидным тоном. — Ты забываешь, что эти номера не я выбирал. Мне их дал твой папаша в счет твоего приданого. Я могу даже тебе напомнить, как это было. Когда мы приехали с венчанья домой, я вошел в пальто и в калошах в гостиную. Папаша спросил: «Отчего ты не снял пальто и калоши? Что за наглость такая?» А я ответил: «Папаша, я не только не сниму пальто, но ни одной пуговицы не расстегну, пока вы мне не выдадите наличными всей суммы приданого».

— Красиво!

— Дела прежде всего. Твой папаша согласился и отсчитал мне тут же полторы тысячи рублей бумажками и эти шесть билетов. Эти номера до сих пор и остались. Конечно, надо было быть твоим папашей, чтобы дать зятю такие номера, которые не выигрывают. Вот и все...

Вы, пожалуй, скажете, что все это было слишком резко.

Простите, господа, но вы этой женщины не знаете и не можете судить.

Вы ведь не поверите, что я с самого сентября месяца страдаю из-за этих билетов.

В сентябре жена имела со мной первый разговор по этому поводу.

— Котик, — сказала она мне, — если мы выиграем двести тысяч, ты ничего не будешь иметь против того, чтобы я тысячу три уделила няне? Бедной старушке иначе одна дорога — в богадельню.

— Можно, — сказал я.

Через три дня жена представила мне целый списочек.

Тут было намечено: 10 тыс. в общество помощи бедным, 10 тыс. на расширение газеты «Квартирный указатель» (жена любит литературу), 5 тыс. няне, по 5 тыс. семи подругам...

— Можно, — сказал я.

— Так ты, котик, подпиши. Я тогда сразу и выдам, а тебя больше беспокоить не буду.

Я подписал.

Еще через неделю пришел ко мне молодой человек.

— Что угодно?

— Я приехал из Балты учиться. У меня с собой шестьдесят копеек. Нельзя ли будет найти мне должность и дарового учителя?

— Нельзя, — ответил я.

Отворилась соседняя дверь, и меня позвали:

— Котик!

Я пошел туда.

— Знаешь, что? — сказала жена, — дадим уж и ему тысячу. Он такой несчастный!

— Можно, — сказал я.

И у меня блеснула идея.

— Хочешь, Ляля, — сказал я, — принимай ты моих посетителей. Это вообще будет лучше.

Жена пришла в восторг.

И в тот же вечер она принесла мне новый список. Там стояло: четверем молодым людям обоего пола — по 1 тыс. рублей, а погорелой вдове, обремененной огромным семейством (пьяница муж и семеро детей), — 5 тыс. на открытие писчебумажного магазина.

В начале октября явился ко мне юноша и принес стихи:

— Нельзя ли похлопотать, чтобы напечатали?

Вечером, за чаем, я стал читать первое стихотворение:

*Пока не позовет поэта
К великой жертве Аполлон,
В заботах разного предмета
Он бывает погружен!
Замолчала его лира,
Душа углубилась в сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех паскудней он!*

Я прочитал это, глубоко задумался, ибо эти стихи навеяли на меня воспоминания.

— Что же? — спросила жена, — будут напечатаны?

— Гм, — сказал я, — вряд ли. Тема слишком избитая...

— Жа-аль, — протянула жена. — Он, очевидно, талантливый. Такие красивые рифмы: лира — мира!

Мы оба помолчали. Потом жена подседа ко мне.

— Котик!

— Ляля?

— Дадим ему денег на издание стихотворений?

— Можно, — сказал я.

— А сколько для этого надо денег?

— Да рублей двести, — ответил я.

— Дадим уж ему триста. Чтобы и на расходы было!

— Можно, — сказал я.

В середине октября жена пришла ко мне расстроенная.

— В чем дело?

— Понимаешь, я только что подсчитала все списки...

— Ну?

— И оказалось, что мы должны отдать сто пятьдесят шесть тысяч. Сколько же у нас останется?

— Маловато останется, — согласился я.

Жена подумала.

— Знаешь, — сказала она, — ведь няня-то — старуха. На что ей пять тысяч? Ведь она раньше помрет, чем проживет эти пять тысяч. А? Не дать ли ей... ну... хотя бы тысячи полторы?

— Можно, — сказал я.

— А то еще лучше выдавать ей стипендию. Каждый месяц. Сколько ей в месяц нужно? Рублей тридцать?

— Пожалуй.

— Ну вот, тридцать рублей и будем выдавать. Хорошо?

— Можно, — сказал я.

Вечером жена принесла мне свежий списочек.

— Вот, котик, я подсократила кое-что, — сказала она. —

Подпиши.

Я подписал. Там значились и подруги, и общество попечения о бедных, и юноша-поэт — итого 2965 рублей. Няня была приписана особо — 25 р. в месяц.

Потом я не следил за этим делом, хотя и видел, что жена глядит строго и говорит сердито.

Однажды только — в середине декабря — я слышал, как она гнала кого-то из моих посетителей:

— Пожалуйста, пожалуйста, — говорила она, — уходите. Ничего подобного. Мы с мужем не можем всему свету помогать. И без того в январе, едва получим выигрыш, придется больше четырехсот рублей раздать!

На Рождестве у нас была елка. Ухлопали рублей сорок.

— Знаешь, котик, — сказала жена, когда мы остались одни, — это не по бюджету нам. Я вот что сделаю: снесу со списочка, ну, хоть 25 р. Тогда ровно круглое число и останется: сто рублей!

— Можно, — сказал я...

Altalena

Одесские новости. 4.01.1904



Вскользь

КТО НАМ ПИШЕТ?

Всякий раз, когда в редакции мне подадут письмо или пачку писем, этот вопрос невольно возникает у меня в голове.

В самом деле, от кого эти письма? Что за люди их пишут?

Самое тяжелое в нашей профессии то, что все время беседуешь с людьми, а как они к этой беседе относятся — не знаешь и не можешь знать.

Конечно, есть много дам и господ, которые при встрече с вами любезно говорят:

— А мы вас сегодня читали.

И выражают благосклонное одобрение.

Допустим даже, что эта любезность не неприятна. Предположим даже, что это одобрение не действует на нервы.

Но ведь на то они знакомые, чтобы говорить с вами о вещах, которые вас интересуют.

Знакомый всегда притворяется, что его интересует то, что интересует вас.

Знакомые не в счет. А о незнакомых — и подавно ничего неизвестно.

Тут не в том загадка — одобряют или нет, хвалят или ругают. Это совсем неважно.

Важно и мучительно вот что: принимают ли всерьез? Не оправдывают ли, в применении к вам, той гнусной поговорки, которую я считаю главным кошмаром писательского существования: «Собака лает — ветер уносит».

Хуже всего — это говорить (хотя бы иногда) серьезно и служить только для развлечения.

Как узнать, для чего вы служите публике? Как ее раскусить, эту незнакомую, непонятную массу?

И вот, казалось бы, ответ на это дают письма из публики.

Не те письма, конечно, в которых вас просят найти место или выхлопотать пособие.

Есть другая категория писем: вам возражают на последнюю статью, у вас спрашивают совета по поводу какого-нибудь этического затруднения, иногда просто выражают привет, иногда порицание.

Такие письма всегда очень приятны. Видишь, что люди не по знакомству, а так, самым беспристрастным образом, интересуются и серьезно отвечают.

Но тут-то и возникает колючий вопрос:

— А кто они такие? Кто это пишет?

Среди этих писем иногда попадаются такие хорошие. Особенно от женщин.

Женщины вообще лучше пишут письма, чем мужчины. У мужчины всегда что-нибудь неладно: или чересчур казенно, или слишком литературно.

Женщины пишут просто, ясно, мягко. Иногда кажется, что сам Тургенев не сочинил бы лучшего женского письма, чем страничка из послания какой-нибудь неизвестной барышни, жалующейся на то, что ей хочется давать урок, да совестно как дочери богатых родителей.

Это даже странно. Ведь в литературе женщины уступают мужчинам. Откуда же у них такой талант к письмам?

Я думаю, это оттого, что письмо есть проявление интимное, а литература — общественное. Женщина во всех более или менее интимных проявлениях всегда, так сказать, талантливее мужчины.

И вот однажды я прочел приятелю одно такое особенно хорошее женское письмо.

— Да, — сказал он, — письмо симпатичное. Только Бог еще знает, кто его писал.

— Как так? Разве это может быть мистификация?

— Нет, зачем мистификация. Барышня писала, без сомнения, от всего сердца. Только что это за барышня — вот вопрос.

— Да какая же это может быть барышня?

— А вот рассуди. Я по себе знаю: дельный, занятый человек никогда не напишет газетчику письма. И нет времени, да и странно как-то. А человек праздный, скучающий — тот пишет. Отчего не написать? Это развлекает. И выходит, что письма-то хороши, но пишут их бездельные, праздные люди, пишут от нечего делать: ergo¹ и письмам-то грош цена...

Мне эти слова запали глубоко в душу, потому что и самому мне уже не раз мерещилось то же.

Но тогда что же это такое? На кого положиться? У кого спроситься?

Знакомые не в счет, потому что на то они и знакомые.

¹ Следовательно (лат.).

Незнакомые не в счет, потому что, не будь они людьми праздными, не стали бы они откликаться, а с праздными нельзя ведь считаться.

И как назло, иногда приходят такие письма, которые словно подтверждают мнение моего приятеля.

Этих писем немного, но они производят такое впечатление, как будто бы праздный человек, долго прятавшийся под маской серьезного (одобрительного или осуждающего, но серьезного) отношения к вам, вдруг не вытерпел и показал себя во всем блеске.

Кто-то пишет:

— Советую вам сбрить бороду. Она вам не к лицу.

Затем следует страница с доводами, почему не к лицу.

Девушка А. Ф. П., до востребования, пишет:

— Прошу вас прислать мне билет в маскарад, так как хотела бы познакомиться с вами. Зная по слухам ваш вкус, могу вас уверить, что вы не останетесь недовольны...

Черт знает что.

Работаешь как вопиющий в пустыне. Доходят до тебя какие-то отклики, но и тут не разберешь, есть ли среди них хоть один голос настоящего, серьезного, ценного человека, или все это под разными соусами и в разных выражениях — просто зевок от скуки ленивого, бесполезного, праздного горла...

Altalena

Одесские новости. 6.01.1904.



Новая пьеса А.М. Федорова

Вчера смотрел первое представление «Обыкновенной женщины» в Александринском театре. Не знаю, известна ли уже читателям эта пьеса (она помещена в сборник драм г-на Федорова), во всяком случае содержание подробно излагать не стану, а ограничусь пятью-шестью строками как бы для напоминания. За сценой в течение четырех актов умирает и все не может умереть от чахотки некий Степан Григорьевич; на сцене целая семья — две сестры и брат, — ничем ровно не связанная с этим чахоточным, уродует из сострадания к нему свою жизнь. Старшая сестра когда-то была красавицей, талантливой пианисткой, а теперь обратилась в мешковатую,

неряшливую, вечно угнетенную сиделку; младшая отказывается от брака с любимым человеком, чтобы не покинуть сестру беспомощной; брат Володя — не то неудачный изобретатель, не то просто гулящий Божий дурачок, глядя на муку сестер, от огорчения начинает, видимо, сбиваться на путь настоящего пьянчужки. Это фон пьесы, то есть самое в ней важное; есть другие лица, есть кое-какие эпизоды, но они только оттеняют главное — власть невидимого Степана Григорьевича, гнет мертвеца над живыми. Больше других выделяется инженер, жених младшей сестры, устами которого автор, может быть, высказывает идею пьесы, — ту идею, что сострадание далеко не есть любовь, ибо любовь требует не жертв, а работы, а для того чтобы работать на благо людям, надо прежде всего быть самому свободным человеком... Впрочем, не в идее тут дело и не ради идеи написана эта пьеса.

Как она понравилась — сложный вопрос. Хлопали достаточно и автора много вызывали после 3-го и 4-го действий. Однако после 4-го были и заметные протесты. Впрочем, они были вызваны не всей пьесой, а одной действительно досадной мелочью. Финал пьесы буквально совпадает с одним местом из «Дяди Вани»: старшая сестра в хорошем настроении, ей хочется потряхнуть стариной и сыграть давно не игранную сонату *pathétique*¹, но, оказывается, Степан Григорьевич спит... Вообще, вся последняя часть акта выдержана превосходно в тоне захватывающей грусти: публика слушала в глубокой тишине, очевидно, побежденная, и если бы не эта неприятная мелочь, всех сейчас же расхолодившая, занавес опустился бы (это было ясно по общему настроению) под настоящий гром рукоплесканий. Федорову необходимо будет вычеркнуть эту деталь.

Но рукоплескания — дело внешнее. Много ли их, мало ли — это ничего не доказывает, не говорит ни за, ни против внутреннего, настоящего успеха, который можно узнать только из непосредственной беседы с людьми из публики. Этот успех, насколько можно судить, именно таков, как я телеграфировал: *серьезный* успех. Признаюсь, что пьеса внешне «скучная», но литературная, художественная, умная, ста головами выше обыденного репертуара. Это превосходство над обыденным репертуаром признает сегодня даже здешняя уличная пресса, хотя вообще она, конечно, ругательски руга-

¹ Патетическая (*фр.*).

ет г-на Федорова, утверждая, что он провинциал и даже ницшеанец... Большие газеты будут писать о пьесе только завтра.

Играли прекрасно. Г-жа Савина (старшая сестра) и оделась удивительно — в какое-то рыжее платье с длинной талией и с жирными пятнами от кухни, и всю роль провела умно и выдержанно на редкость. Она совсем вошла в замысел автора: «обыкновенная женщина», не то что пожертвовавшая собой, а как-то прямо упустившая себя раз навсегда из виду, доведенная состраданием до полной потери всякой женской и человеческой гордости, так и жила на сцене. Младшую сестру Наташу играла г-жа Потоцкая. Она была недурна, но сам тип, данный автором, не особенно, по-моему, интересен в смысле новизны: девушка веселая, жизнерадостная, но нерешительная в колебании между своим правом на счастье и свободу и между состраданием к сестре. Зато прекрасно написана и прекрасно была сыграна г-ном Ходотовым роль брата Володи. У артиста этот недоросль получил такой прелестный оттенок Божьей простоты, легкого шалопайства, ребяческой избалованности, ребяческого лукавства, и надо всем этим так хорошо сквозила добрая несмышленная душа, что нельзя было не залюбоваться. Ничего подчеркнутого в этой роли, в которой так легко было пересолить! Чем больше я смотрю г-на Ходотова, тем больше мне жаль, что такой артист, и молодой, и современный, и талантливый, и чуткий, пропадает где-то на Александринской сцене — в театре, идущем ныне скромно в самом хвосте русского искусства, лишенном какого бы то ни было значения в современной духовной жизни.

Этот упрек я сделал бы и г-ну Федорову. Признаюсь, я почти позлорадствовал, расслышав после 4-го акта среди рукоплесканий несколько протестов. — Поделом! — подумал я по адресу автора. — Неужели он не знает Александринского театра и его публики? Неужели его ничему не научил провал «Старого дома»? И еще хуже: неужели его ничему не научил огромный успех «Бурелома»? Неужели к публике, способной так безумно и неслыханно аплодировать «Бурелому», можно серьезно подходить с такими глубокими и хорошими словами, как эта «Обыкновенная женщина»? Нельзя и допустить мысли, чтобы г-н Федоров не понимал этого: тем непростительнее его влечение, во что бы то ни стало, к этому умершему, ни на что более не нужному театру. Нет сомнения, что г-н Федоров скоро отделается от обаяния экс-громкого имени крепостной сцены, и такой шаг будет доказательством зрелой и решительной сознательности. Можно сказать словами его последней

пьесы: живым надо жить для живого, а не для мертвого. Александринка, этот бывший театр, стала каким-то Степаном Григорьевичем в русском искусстве, и грешно в жертву этому *morituro*¹ приносить свежие таланты, у которых еще две трети дороги впереди.

А у г-на Федорова еще много впереди. Я считаю, что он еще не написал своей настоящей пьесы. «Обыкновенная женщина» уже много лучше других его пьес («Бурелом» не в счет, «Старый дом» суховат, «Стихия» — вовсе, по-моему, неудача). Здесь, в «Обыкновенной женщине», уже много мастерства, много выдержанности и тонкости; два типа — героиня и брат-недоросль — зарисованы безупречно, причем первый из них, насколько я знаю, ни разу еще не трактовался в литературе настолько во весь рост. Но есть нехорошая сторона в пьесе: мало выдумки — общая беда почти всей новой литературы. Но к счастью, кажется, у г-на Федорова этот недостаток не является органическим. Я знаю два его ранних произведения, два романа, которые печатались где-то во мраке «Живописного обозрения»: они были незрелы, несовершенны, но в них так и сверкало умение хватать жизнь из жизни и наполнять картины движением. Когда г-н Федоров лучше взглянет в себя самого и страшнет некоторые увлечения, теперь его заманивающие минутами даже на путь подражательности, тогда он и даст свою настоящую пьесу.

А.

Одесские новости. 20.01.1904



Г-жа Белла Горская

К сегодняшнему бенефису

Еще до начала драматического сезона в театральном мире Одессы шел говор насчет одной не совсем обыкновенной для провинции актрисы.

Впрочем, в этих-то предварительных толках для г-жи Беллы Горской было мало истинно приятного: говорили больше о красоте артистки, о том, что она чешка, и тому подобных подробностях, скорее отвечающих любопытству публики, чем интересам искусства.

¹ Обреченный на смерть (*лат.*).

Но поставили шекспировскую трагедию, и артистка выступила в роли Джульетты. Спектакль оказался праздником дебютантки: вызывали всех, но г-жу Горскую чествовали. Мировой и вековой образ Джульетты весь вылился в гибких прекрасных формах ее игры.

— Интереснейшее дарование!

Таков был общий искренний клик.

С той поры интерес, теперь уже истинный, ценный со стороны публики интерес к молодой артистке не ослабевал, подерживаемый каждой новой созданной ею ролью. Последней пьесой, в которой выступила г-жа Горская, была драма Пшибышевского «Снег». Критика разошлась в вопросе о толковании артисткой сложного психологического и вместе с тем символистического рисунка «сверхженщины» Эвы, но признала несомненно интересной сценическую фигуру, созданную дебютанткой.

Сегодня г-жа Белла Горская выступает в нашумевшей за границей драме Гальбе «Потоп». Три брата любят одну женщину — такова внешняя фабула пьесы. На почве этого необыкновенного положения (героиня драмы — роль г-жи Горской — жена одного из братьев) и вырастает безысходная драма, усугубленная глубокой разницей в характерах (мастерски, выпукло и ярко обрисованных) трех братьев.

Не хочется повторять шаблонной фразы о долге истинных театралов перед молодой и так много обещающей артисткой. Но можно надеяться, что имя г-жи Горской, успевшее стать таким симпатичным для местных ценителей сцены, и художественная пьеса, выбранная артисткой, сумеют постоять за себя в день ее бенефиса.

А.

Одесские новости. 20.01.1904



Вскользь

Петербург, 22 января

— У нас весьма интересно. Умно тут у нас! — говорят здешние обитатели.

Действительно, не глупо тут у них.

Каждый вечер можно стоять, как по былине, на распутье и думать:

— Пойдешь направо, к Иванову, — у него будет сегодня такой-то писатель; пойдешь налево, к Еремееву, — у него сегодня собираются стихотворцы; прямо пойдешь, к Балаболкину, — там сегодня три философа ужинают.

И так всюду: всюду каждый вечер какой-нибудь званый ужин с итальянцами.

Направо ли, налево ли пойдете — везде недурно. Везде вам и колбасы дадут, и в умственной пище не откажут: тут же за столом будет сидеть кто-нибудь из великих — какой-нибудь этакий г-н Немирович-Данченко или даже г-жа Яворская, — и вам предоставляется видеть их живыми, слышать голоса, даже подержаться за руки во время операции представления.

Еще бы не умно тут было, когда этими итальянцами здесь хоть пруд пруди. На каждой улице по великому человеку.

Петербуржец к этому, очевидно, вполне привык, и надо видеть его изумление, когда вы ему говорите:

— Не беспокойтесь, голубчик, мы все это когда-нибудь да переменим.

— Что и кто?

— Кто? Мы, провинция. Заберем у вас, понимаете, всех как есть итальянцев и расселим их по всяким Харьковым и Саратовым, приговаривая: уж извините, итальянцы эти нам самим нужны. Вам же тут не больше дюжины оставим. Вот тогда посмотрим, как это вы будете на наши средства устраивать званые вечера.

— Фью! — говорит петербуржец, — Руки коротки, никогда не удастся вам это. Глупа ваша провинция, не по силам ей такое дело. Это во-первых.

— А во-вторых?

— А во-вторых, и не следует. Есть общие, огромной важности задачи. Их надо решить непременно как можно скорее. На них надо сосредоточить теперь все внимание. Юг, север, восток, запад должны заодно бить в одну точку. А вы тут предлагаете рознь — чтобы каждая область радела о себе и грызлась со столицей из-за нескольких даровитых людей, которых та у них похитила. Это, голубчик, прямо-таки антигражданственно. А в-третьих...

А я с петербуржцем не согласен по общим пунктам.

Глупа ли провинция?

Положим, действительно глупа. Худшей из глупостей глупее.

Глупости бывают разные: можно простить наглому человеку обиду, можно купить себе в магазине котиковую шапку,

можно приревновать собственную жену к ее любовнику — все это глупо, но не худшая из глупостей.

Худшая из глупостей — это самому вить ту веревочку, при помощи которой тебя же привяжут к подворотне, самому резать те розги, которыми тебя же будут драть, как испокон веку драли. Такова глупость провинции.

— Скучно и тускло у нас! — вздыхает она. — Людей нету.

А как только заметят интересного человека — так и начинают его долбить:

— Эх, милый мой, вот бы вам в Петербург. Умно там живется. А здесь скука, мертвечина...

— Да оттого же у вас и скучно, что вы всех своих людей уже отдали столице, все духовные соки ей отдали! А теперь и еще хотите отдать. И еще скучнее станет у вас. Что же это, заколдованный круг какой-то?

В ответ на такую отповедь провинциал обыкновенно разводит руками и, видимо, шевелит мозгами.

— Вот как? — говорит он наконец. — Н-да... Скажите, пожалуйста... Как будто бы и правда. Сами себя порем? А нам и в голову не приходило...

Люди, которым даже в голову не приходило, что несправедливо выращивать сынов, вскармливать, питать своим солнцем и ветром для того только, чтобы потом отдать их на потеху чужому сытому городу, где-то за две тысячи верст, а самим остаться при пиковом интересе! Самопожертвование, превратившееся в какой-то хронический насморк услужливости!

Глупа провинция. Но это ничего, это пройдет. Оно и само собой уже проходит, бессознательно проходит, в силу естественного роста жизни.

Но, кроме того, надо и долбить об этом — без устали, без опасения надоест, без пощады повторять как некое *delenda Carthago*, напоминать глупому самоотверженному захоластью о священном долге эгоизма.

Время теперь подходящее, время большого пробуждения. Нужно кричать, долбить и повторять, не веря в неудачу.

А это «во-вторых», эти общие задачи, которым «рознь» повредит...

Старое пугало, но как часто и как удачно пользуются им близорукие люди!

Всякий росток отдельного самосознания пытаются задуть окриком:

— А общее благо?

Личность ли подымает голову, целый ли народ, затертый соседями, вспоминает о своем **я** — близорукие поражаются и каркают:

— Ка-аак? А общее благо?

Им хотелось бы, чтобы все люди, сколько их есть на земле, миллиард или больше, отложили все посторонние попечения и радели бы о том, в чем они, близорукие, видят общее благо.

И им кажется, что тогда было бы очень хорошо.

Очень плохо было бы тогда — застой и смерть.

Зоркий человек иначе должен смотреть на жизнь.

Она стоит на рельсах неумолимого, неотменимого процесса: эти рельсы ведут неумолимо, неотменимо к далеким, но хорошим станциям.

Движет колесами сложная машина человеческой работы, а топливом служит энергия.

Всякая капля творческой энергии, откуда бы ни упала, куда бы ни направлялась, — все есть топливо для паровоза жизни, все ускоряет бег его по рельсам предназначения.

Altalena

Одесские новости. 20.01.1904



Сионизм и Палестина

В 10-м выпуске одесского сборника-журнала «Вопросы общественной жизни» помещена статья г-на М. Г-штейна «Спорные пункты в сионистской программе». Это — голос очень трезвого и очень прямодушного территориалиста, который откровенно заявляет, что теория временного *Nachstasyl*¹ есть только позолота горькой пилюли, пустая фраза, лишенная всякого реального значения.

Ведь каждому ясно, — говорит г-н Г-штейн, — что реализация английского предложения представляет собой такую гигантскую задачу, которая должна надолго отвлечь все сионистские си-лы от работы для Палестины. Создание автономного государства в Африке — это долгий исторический

¹ «Прибежище на ночь», «ночной приют»; ночлежка (нем.).

процесс, в течение которого Палестина заселится другими народами, и тогда евреям придется довольствоваться лишь одной платонической мечтой о родном Сионе.

А в другом месте сказано:

Агитируя за территорию, необходимо выдвигать ее не как паллиатив или *Nachstasyl*, потому что утверждать это — значит умышленно или бессознательно вводить массу в заблуждение. Нужно решительно и категорически заявлять, что принятие предложения, аналогичного английскому, совершенно изменяет базельскую программу.

Все эти признания в устах территориалиста, конечно, очень ценны, так как худшее, самое при-скорбное, что было на 6-м конгрессе, — это именно неправда, будто бы евреи могут создать два государства вместо одного, неправда, которой никто из повторявших ее не мог верить. Эта неправда была особенно тяжела потому, что свидетельствовала о недостаточном уважении к конгрессу со стороны если не наших руководителей, то их красноречивых оруженосцев, и в то же время невольно подорвала и наше уважение к ним. Дорожа своим престижем, наши руководители, конечно, никогда больше не допустят таких неудачных уловок.

Г-н Г-штейн не хочет уловок и ведет дело начистоту. Он говорит, что Палестина, пожалуй, *caeteris paribus*¹, «скорее всякой другой страны могла бы сделаться национальным центром, притягивающим к себе взоры всего еврейства диаспоры. Но таким центром *может сделаться и другая страна*, в которой евреи будут жить свободной политической жизнью, где, освобожденная из-под гнета, автономно проявится их национальная индивидуальность, широко и всесторонне разовьется национальная культура».

Подчеркнув таким образом открыто и без прикрас коренное несходство между территориалистами и палестинцами в самом идеале, г-н Г-штейн так же трезво и бесстрашно указывает на принципиальные разногласия в тактике. Сионисты-палестинцы, говорит он, видимо, начинают тяготеть к старому палестинофильству. А вернуться к тактике — значит изменить политическому сионизму, ибо политический сионизм требует прежде всего гарантий, то есть чартера, и только потом уже допускает массовое заселение страны, тогда как палестинофильский метод, который г-н Г-штейн называет «мелким» и «жалким», согласен обойтись и без чартера, лишь бы

¹ При прочих равных [условиях] (*lat.*).

ежегодно водворять в Палестине по несколько десятков новых еврейских семейств. Такая программа не сулит массам близкого спасения от Judennot¹, а потому массы к ней не примкнут, а крупное политическое движение под этим флагом невозможно. И настоящий политический сионизм должен тщательно ограничить себя от палестинофильски настроенных элементов. Вместе работать нельзя, и г-н Г-штейн твердо заявляет, что все эти наболевшие вопросы о коренных разногласиях должны быть ясно и определенно решены будущим конгрессом. «Это необходимо сделать, — говорит он, — даже если бы такая резкая и определенная постановка вопроса грозила расколоть организацию».

Эта статья, без сомнения, выражает настроение сионистских групп. Она доказывает, что связь народа с Палестиной сознается многими нашими представителями интеллигенции очень смутно, что влечение к древней родине есть, в глазах их, просто красивая прихоть, с которой, при нужде, можно и не считаться. Все это, пожалуй, наша вина. В сионистской литературе действительно меньше всего разработан вопрос о том, почему Св[ятая] земля является и должна быть краеугольным камнем нашего возрождения. Пора тем из нас, которые сознают ясно и твердо современную неразделимость сионизма и Палестины, вслух обосновать и формулировать это сознание. Течение, стремящееся сорвать с нашего герба надпись «Сион» и начертать вместо нее девиз: «Куда глаза глядят», орудует, бесспорно, весьма обдуманно и логическими доводами и в то же время настаивает, что мы в нашей приверженности к Палестине руководствуемся моментами сомнительной ценности: чувством, настроением, «историческим романтизмом». Пора выяснить, что связь сионизма и Сиона есть для нас не только неистребимо сильный инстинкт, но также и пробный, законный вывод строго позитивного размышления.

Движение может быть народным и жизнеспособным только тогда, когда оно точно соответствует народной воле. В большие поворотные исторические моменты массы бывают одушевлены одним основным желанием. У разных лиц под влиянием разных внешних давлений это желание может выражаться в разных формах, часто в исковерканном, нечистом виде, с посторонними примесями. Но если извлечь из всей этой разноголосицы общее для всех ядро, то оно и выразит

¹ Гонения на евреев (нем.; термин М. Нордау).

для данной эпохи истинную формулу народной воли. И для этого, чтобы данное движение было в полном смысле слова движением народа, необходимо, чтобы в основу его легла эта очищенная формула народной воли. Если идеал движения хоть немного несроден этой формуле, движение скоро или потеряет почву, каков бы ни был временно его внешний успех, или подчинится стихии и изменит свое направление, ибо стихийная масса может иметь во всякую данную эпоху только одну основную массовую волю, созданную силой вещей, и никто не властен изменить эту волю, как не властен разрушить силу вещей. Против этого положения не станет, без сомнения, спорить ни один человек, усвоивший достаточно современное научное мировоззрение и понимающий, что историю делают не вымыслы и замыслы вожаков, а стихийные процессы, не зависящие от нас и непосредственно влияющие на образование массовой народной воли.

Спор вызывается не сущностью этого положения, а только применением его. Действительно, как познать настоящую народную волю, ее очищенную, беспримесную суть? Кто скажет нам формулу народной воли, кто выразит точными словами, чего именно желает народ своим массовым безошибочным инстинктом? Проще всего — спросить у самого народа, но ведь это не очень легко. Иногда это невозможно, потому что массы состоят из непросвещенных личностей, которые могут быть менее всего способны точно разобраться в своих желаниях, отделить в них вечные основные элементы от мимолетных и наносных, обнажить истинную формулу народной воли.

На 6-м конгрессе кто-то выразился, что массы подобны больному, который не может сам знать, какое лекарство ему нужно, и вокруг этой фразы пошли теперь страстные споры. Многие настаивают, что высказывать такие взгляды — значит проповедовать неуважение или даже пренебрежение к народной воле. Мне кажется, что этот взгляд ничуть не колеблет громадного всерешающего значения народной воли — он только указывает на то, что народная воля иногда лежит глубже народного крика. Так бывает с человеком, у которого бельмо на глазах: искусный врач удаляет бельмо и запирает больного на два дня в темную комнату, с повязкой на глазах. И тогда больной может возмутиться и закричать: я хочу света, выпусти меня из темной комнаты! Но врач знает, что это только крик, а не истинная воля больного человека, ибо истинная

воля всего его организма требует в эту минуту, чтобы слепцу вернули свет не на одно мгновение, после которого отвыкшие глаза опять ослепнут, а навсегда. И если врач, наперекор крикам больного, насильно держит его в темной комнате, пока не наступит момент полного возвращения к свету, то не значит ли это, что врач повиновался истинной органической воле своего больного?

Истинная формула народной воли не выясняется из того, что народ кричит. Иногда он кричит: «Хлеба и зрелищ!», между тем как бессознательно желает света новой религии. Зерно народной воли не обнаруживается из официального подсчета голосов. Есть только три формы обнаружения чистой воли народа. Во-первых, — исторический процесс. Он всегда подчиняется истинной воле масс, потому что только этой волей, рожденной в силу вещей в строгом соответствии со стихийными потребностями момента, только этой волей он и совершается, и отмечает, и отбрасывает своеобразным естественным подбором все то, что не совпадает с чистой волей масс. То, что диктуется волей масс, рано или поздно победит. Так раскрывается суть народной воли в самом ходе истории, и, изучая с этой точки зрения летопись наших дней, потомки могут познать истинную волю современных нам масс. Второе откровение народной воли — это чутье гениального современника. Возникают иногда из среды народа особенные люди, одаренные сверхобычной чуткостью, которой нет у других смертных; все заветное, что осколками разбросано в душе миллионов, в душе такого человека собрано воедино, спаяно в один слиток, и тогда бог народа говорит его устами и творит его рукой, и он будет избранным вождем массы с правом осуществлять ее истинную стихийную волю, хотя бы даже наперекор ее неосмысленному крику. Счастливы те народы, которым судьба дарит в надлежащее время такого предводителя.

Но есть третий способ обнаружить истинную волю народа. Он не так точен, как первые два, зато он доступнее. Этот способ — вдумчивое изучение истории народа. Прошлое прокладывает стальные рельсы для будущего: если поезд какого бы то ни было движения сойдет с этих рельсов, он потерпит крушение. Всякое новое течение в народной жизни должно быть в строгой преемственной связи со всем его прошлым; если под многообразными событиями, составляющими историю данного народа, всюду красными нитями проходят одни и те же основные стимулы, то и в новом течении должны не-

пременно и неприкосновенно проявиться те же стимулы, иначе под новым движением нет стойкой почвы. Вдумчиво изучая прошлое, мы можем подметить такие красные нити, выяснить основные стимулы народа; мы постигнем их тем точнее, чем вдумчивее и беспристрастнее будем изучать. И тогда, познав насколько это нам удастся, главные девизы народной воли, неизменно проявившиеся в разнообразных событиях национальной истории, мы ясно увидим, соответствует ли содержание нового движения этим незыблемым девизам, то есть вытекает ли оно преемственно из предыдущего исторического процесса или хочет уклониться от предначертанного прошлым пути и сорваться с его рельсов. И отделив таким анализом те элементы народного движения, которые стихийно возникли как естественное развитие и последствие всех предшествовавших процессов, от тех элементов, которые извне нанесены давлением часто мимолетных обстоятельств, мы получим право с большей или меньшей точностью признать, что вторая категория будет рано или поздно отмечена самой историей как не имеющая корня в народной воле, тогда как первая категория и составляет для данной эпохи истинную формулу народной воли — ту формулу, которой суждено осуществиться и победить.

Вдумаемся в историю еврейского рассеяния и попытаемся раскрыть основной стимул нашей жизнедеятельности за этот огромный период.

Это вовсе не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что хотя история галута¹ очень запутана и разбита на множество отдельных кусков — по числу стран, где мы прятались, — но история галута далеко не является историей *нашей* жизнедеятельности. В жаргонной² печати появилась в прошлом году небольшая статья г-на Иошуа Равницкого «Macht allein aiere geschichte»³, где настолько же остроумно, сколько и верно указано, что история еврейского галута повествует не о том, что делали сами евреи, а о том, что с ними делали другие. В таком-то году Испания нас выгнала, в таком-то году папы заперли нас в гетто, в таком-то году Франция дала нам равноправие. Чужие руки строили нашу историю, мы

¹ Вынужденное пребывание еврейского народа вне Эрец-Исраэль, рассеяние, диаспора; букв.: изгнание (*увр.*).

² Здесь: выходящей на идише.

³ Делайте сами свою историю (*угиш*).

же являлись только воспринимающей, пассивной стороной. Поэтому, как богата ни была бы история нашего скитания, *наша* собственная жизнедеятельность тут ровно ни при чем. Делали многое и разнообразное над нами другие, мы же только принимали и расписывались в получении. Очень трудно установить единство в сложной истории любого другого народа, жизнедеятельность которого многообразно проявлялась и в войнах, и во внутренних переворотах, и в экспансивной колонизации; но история нашего галута в этом смысле удивительно проста и представляет вечное продолжение одного и того же мотива. Чтобы в ней установить единство, нет нужды прибегать к тонкостям сложного анализа: достаточно окинуть с птичьего полета одним внимательным взглядом всю равнину нашего рассеяния, и общая картина сразу станет ясна. Там и сям разбросаны кучки евреев, окруженные многочисленными сонмищами иноплеменников. Иноплеменники настроены враждебно и дают это чувствовать; в основании этой вражды лежит непременно какое-нибудь требование — явное или скрытое, сознательное или бессознательное, справедливое или несправедливое, которое одни по праву сильного предъявляют другим, подкрепляя свою настойчивость гнетом. Евреи молчаливо терпят, но, очевидно, не уступают, не соглашаются на требование, потому что вражда к ним не убывает, а только меняет форму. И так оно идет из века в век настолько однообразно и монотонно, что в конце концов отдельные группы как бы сливаются и получается одна общая картина: тесная кучка людей, на которую раздраженно наступают со всех сторон многочисленные недруги, очевидно, добиваясь *чего-то*; маленькая кучка не поддается и, по-видимому, предпочитает хроническое мученичество, лишь бы что-то сохранить, *чего-то* не выдать врагу. Что же в таком случае дорого этой кучке людей? Как назвать это *что-то*, ради которого они согласны терпеть хроническое мученичество? Если история галута есть оборона кучки людей, то что же это за святыня, которую они так упорно обороняли и любовь к которой есть, очевидно, основной стимул всей истории безземельного народа?

На этот вопрос готов ходячий ответ: святыней была религия. Еврейский народ отстаивал свою Тору и страдал за Тору. Иноплеменники требовали, чтобы он отказался от Торы, а он не хотел. История галута есть летопись нашей борьбы за свое вероучение.

Добрая половина всех ходячих мнений страдает обыкновенно если не легкомысленностью, то недостатком глубины. В данном случае перед нами типичное ходячее мнение, скоропелое и поверхностное. Прежде всего бросается в глаза одна странность: ведь религия, как и всякая другая идеология, подчинена закону эволюции. В течение двух тысячелетий совершилось много общественных перемен, свидетелями которых были евреи; на глазах у них открывались новые страны, совершенствовалась техника, разрасталось в глубину и ширину естествознание; из их среды сплошь и рядом выходили врачи, постигавшие тайну науки, и банкиры, имевшие сношения с заморскими странами. Все это *должно было* расширить кругозор народа, особенно столь восприимчивого народа, и *должно было* вызвать известное брожение и в религиозной области, пробудить некоторые попытки, хотя бы робкие новшества. Христианство за этот период успело несколько раз дифференцироваться. То же самое естественно *должно было* произойти и с иудаизмом. *Должно было* — но не произошло. Факт бесспорно установленный, что с первого дня галута прекращается внутренний прогресс иудаизма как религии. Это тем более резко бросается в глаза, что до рассеяния замечалось нечто совершенно обратное: замечались попытки постоянного религиозно-этического творчества, прорывались новые слова. Все это жизненное движение сразу обрывается в момент потери национального отечества. Религиозное «творчество» галута все сводится к бесплодному толкованию толкований на толкования. Замечается даже сильный регресс: до изгнания были попытки, так сказать, либерального истолкования закона, отступления от буквы; после изгнания мелочные ограничительные постановления умножаются до невероятных пределов, преданность букве учения становится главной заботой религиозной мысли. Ни соприкосновения с внешним миром, ни обогащение высших классов, ни сравнительно частое приобщение евреев к свету положительной науки — ничто не отзывается даже малейшей зыбью в этой стоячей воде. Иудаизм не прогрессирует, иудаизм не подчиняется закону эволюции. С тех пор как еврейский народ потерял свою землю, иудаизм перестал изменяться, развиваться и совершенствоваться. Он застыл на той своей ступени, на которой его застал разразившийся гром обезземеления. Еврейская религиозно-этическая мысль, до того усиленно создававшая новые ценности, которые подготовили возникновение христианства,

с этого момента всецело устремляется на охранение старого религиозного багажа и ограждение его от каких бы то ни было новых элементов. До галута еврей холил свое религиозное сознание как цветок, который поливают водой, чтобы он рос в высоту и в ширину; с первого дня галута еврей лишил этот цветок воздуха и воды, не давая ему расти, засушил цветок и мертвым зашил его в заветную ладанку, мертвым, лишь бы только не дать ему измениться!

Что же это значит? Разве так поступают со святыней, ради которой приносятся веками тяжелые жертвы? Если, например, мать готова на всякие муки за своего ребенка, то ведь это не для того, чтобы навеки сохранить его маленьким и неосмысленным, а для того, чтобы дать ему возможность развиваться и расти. Она не отдает его недругам, ибо она его кормит и с радостью на скорбном лице видит, как дитя увеличивается в весе и учится новым словам. Но если мать сама, бессознательно нарочно, остановила рост младенца и, быть может, задушила его, чтобы остановить рост, и все-таки веками стоит над маленьким трупом, терпит муки и гонения, все же не хочет отдать мертвое тельце, тогда есть только одна разгадка ее странному образу действий: это мертвое тельце, вероятно, не есть сама святыня, а только оболочка или ограда святыни.

Так умертвел иудаизм, ибо то, что не развивается, равно и подобно мертвому, даже если в глубине скрыта искра жизни. Так умертвел дотоле живой и жизнеспособный иудаизм, когда Израиль стал безземельным народом и начал свой подвиг дважды тысячелетнего мученичества за свою святыню. Если бы этой святыней был иудаизм, то народ поливал бы его живой водой и радовался бы его росту и развитию, как было до рассеяния. Но если народ добровольно заковал свое религиозное сознание в насильственные рамки, засушил его до степени полной окаменелости, сделал из живой религии как бы набальзамированный труп религии, то ясно, что не в религии была святыня, а в чем-то другом, чему эта мумия должна была служить оболочкой и оградой.

Я позволяю себе отослать читателя к брошюре М. М. Марголина «Основные течения в истории еврейского народа» (СПб., 1900), где очень обстоятельно и основательно разработан вопрос о том, является ли та постоянная оборона, которую вели и ведут евреи в изгнании, обороной религии или религия только прикрывала и охраняла что-то другое. Указав на зарождение, рядом со школами Гилеля и Шамая, третьего тече-

ния («универсального»), которое позднее приняло форму христианства, г-н Марголин говорит: «Едва ли можно сомневаться в том, что если бы над евреями не разразилась политическая катастрофа, если бы они сохранили свою национальную организацию в Палестине, то развитие универсального течения пошло бы иными путями, и так как национальному существованию евреев не угрожала бы никакая опасность, то к новому универсальному течению примкнул бы весь народ еврейский...» (с. 21). Иными словами, эволюция от мозаизма к профетизму и к дальнейшим стадиям иудейского религиозно-этического миропонимания совершалась бы в еврействе безостановочно своим естественным путем. Но *«ввиду крушения еврейской политической организации национальная самозащита могла быть сделана только на почве религиозной»* (курсив автора). Для сохранения своего национального целого не было других средств, как замкнуться в себе, оградиться системой мелочных и антисоциальных запретов...»

Не религия, а *национальная индивидуальность* является той святыней, которую наш народ так упорно отстаивал и отстаивает. Для всякой народности, живущей в нормальных условиях, охраной и оградой ее национальной личности является национальная территория и национальная организация. Израиль лишился того и другого, тогда инстинкт национального самосохранения цепко ухватился за единственное, что могло сыграть роль непроницаемой стены между еврейством и другими племенами и в то же время послужить скрепляющим цементом внутри самого еврейства: за религию — и притом непременно уснащенную всякого рода ограничительными толкованиями. Инстинктом национального самосохранения народ почуял, что до тех пор, пока Израиль не только верит в своего Бога и молится в своих храмах, но и почти во всех других проявлениях жизни сторонится иноплеменника, до тех пор национальная индивидуальность спасена от растворения в племенах земли. Почва, по которой мы ходим, должна быть неподвижна: землетрясение нас ужасает; поэтому, когда религия заменила нам землю, мы прежде всего сделали эту религию неподвижной. Мы превратили ее в мумию или даже растолкли и растерли в мелкий порошок, которым как камфарой осыпали свое сокровище — национальную индивидуальность, чтобы ее уберечь...

Все это не умаляет внутренней ценности иудаизма. Напротив, чтобы религия одна в течение стольких веков могла

успешно заменить национальную территорию и национальную организацию — это должна быть поистине великая религия, богатая семенами вечной правды. Но все-таки в нашем галуте Тора сыграла роль не самого палладиума, а только его защитницы. И в высшей степени любопытно то, что именно теперь, когда религиозная вера отцов вымирает и передовое еврейство, таким образом, теряет ту броню иудаизма, которая в дедах наших ограждала их национальную индивидуальность от смешения с чужеродными элементами, — именно теперь мы начинаем громко добиваться и национальной территории, и национальной организации, то есть как раз того, суррогатом чего служила до последнего времени религия. Это знаменательное совпадение окончательно подтверждает то, что нам и требовалось доказать: *основным стимулом всей исторической жизнедеятельности безземельного Израиля было отстаивание национальной индивидуальности*. Следовательно, и теперь только то национально-еврейское движение может стать истинно народным движением и привести к победе, которое в основу своей программы поставит, без урезок и отклонений, ту же цель: обеспечить неприкосновенность еврейской национальной индивидуальности.

Мы подошли к главному спорному пункту. Что такое еврейская национальная индивидуальность?

Был целый период — теперь он, кажется, начинает проходить, — когда слово и понятие «раса» считалось совершенно лишены основания в науке. Существования племенных особенностей нельзя было отрицать за их явной очевидностью, но признавалось, что они являются отпечатками своеобразно сложившихся исторических судеб и только, а расы ни при чем. Выходило почти так, что если бы по воле судьбы смены социальных отношений у эскимосов и у нубийцев с незапамятных времен и до наших дней были всегда совершенно параллельны, то нубийцы и эскимосы ничем бы не отличались теперь друг от друга и даже, пожалуй, говорили бы на одном языке... Конечно, это пример карикатурный, но и в своем настоящем, нешаржированном виде такой взгляд — еще далеко не вымерший — не может совершенно претендовать на какую бы то ни было серьезную состоятельность. И физическая, и психическая природа человека — все это такие чуткие и тонкие аппараты, на которых не может не отражаться малейшее различие в окружающей естественной среде. *Немыслимо*, чтобы гористый горизонт не положил своеобразного

отпечатка на психику человека, выросшего среди гор, по сравнению с психикой уроженца равнины. Так во всем, и, несомненно, если даже вся разница между двумя местностями, сходными по устройству поверхности и т. п., сводилась бы к двум-трем градусам средней годовой температуры, то такое маленькое различие за период нескольких поколений при отсутствии взаимного смешения крови создало бы некоторое соответствующее различие между типичными представителями обеих местностей. Этот особый отпечаток мог бы даже быть неуловим для нашего глаза, но это доказывало бы только несовершенство нашего глазного аппарата. Все это давно и прекрасно выяснено еще у Бокля, и только близирующая односторонность может упускать из виду или отрицать великое влияние естественных факторов на физическую и психическую природу человека — влияние, вырабатывающее отдельные расы.

Вполне понятно, почему в ту эпоху, когда вырабатывалось материалистическое понимание истории, о расовых различиях забыли. Дело в том, что сумма естественных факторов данной местности, то есть та среда, которая, влияя в течение веков, вырабатывает расу, — эта сумма с течением времени почти не меняется. Конечно, возможны некоторые изменения в устройстве поверхности или температуре, но они всегда так незначительны и так незаметно медленны, что естественную среду, а следовательно, и расу можно принять за постоянную неизменяющуюся величину, исключая, конечно, случаи переселения или смешения с инородцами. По сравнению с этой неподвижностью естественных факторов факторы социальные сменяются с головокружительной быстротой. Каждая смена их, конечно, отзывается так или иначе на организме и психике современников, и эти отражения социальных влияний так быстро следуют одно за другим, что невольно бросаются в глаза и заставляют забыть о неподвижном и потому незаметном расовом фоне, на котором они более или менее ярко, но все же поверхностно отпечатываются. Это можно сравнить с экраном, на который из волшебного фонаря бросают, быстро сменяя, то красные, то зеленые, то голубые лучи, так что зритель забывает в конце концов, что цветное освещение — это только внешняя мимолетная окраска, а экран есть нечто самостоятельное, независимое, обладающее своими неизменными свойствами и даже придающее свой особенный оттенок цветным лучам, которые падают на его поверхность...

Иными словами, острое влияние сменяющихся социальных факторов на человеческий организм и психику гораздо ярче и заметнее, но далеко не так глубоко и невытравимо, как медленное, постоянное, ни на миг не прекращающееся давление естественной среды — родного ландшафта, родного климата, родной растительности, родного ветра. Психика племени создается только естественными факторами; факторы социальные привносят в нее лишь одни второстепенные черты, которые легко стираются под давлением новых социальных условий. Тем, кто были рабами, дайте три поколения полной свободы — в их психике исчезнут всякие следы рабства, но никакие социальные перемены — если не будет смешения с чужой кровью — не вытравят пытливого духа предприимчивости из племени, рожденного на берегу моря, и не истребят в расе, выросшей на беспредельной равнине, влечения к удали и размаху. Но, конечно, та школа, которой предстояла задача дать истории материалистическое объяснение, имела право игнорировать влияние естественной среды и роль расы. Этой школе просто не было дела до племенной психики и ее различий: эта школа должна была доказать, что пружины истории лежат в экономических отношениях; и задача эта была так трудна, по пути предстояло опрокинуть столько увесистых предрассудков, что Маркс поистине имел полное право устремить все свое внимание на социальные факторы и закрыть глаза на расовые. Тем более что последние, в самом деле, играют гораздо менее видную роль в истории, чем первые. Борьба интересов, которая главным образом и создает историю, возникает почти всегда на экономической почве, а не на племенной, хотя иногда и прикрывается румянами расовой вражды. Может быть, единственный случай, когда расовый момент в чистом виде вмешивается в историю как непосредственный фактор, — и есть случай безземельного народа Израиля, именно в силу этой аномалии безземельности. Обыкновенно же в истории нормально развившихся народов племенные особенности данной нации только до некоторой степени определяли ее тактику в случае тех или иных событий, но эти события были порождениями обыкновенных экономических процессов. Таким образом, было бы грешно упрекать школу исторического материализма за то, что она, занятая своей главной задачей, вычеркнула понятие расы из своего кругозора.

Мы задали себе вопрос: что такое еврейская национальная индивидуальность, что, собственно, понимаем мы под сло-

вом «настоящий еврей» в те редкие минуты, когда произносим это слово не со стыдом, а с гордостью. Есть ли это тот тип еврея, который мы встречали на каждом шагу вокруг себя? Всякий понимает, что нет, так как на этом современном еврее осело и даже въелось в него много осадков долгого нахлебничества под чужими кровлями, а ведь мы доискиваемся именно того беспримесного зерна национальной индивидуальности, которое как раз и хотел народ уберечь от этих самых осадков нахлебничества. Если мы с первого дня галута стараемся ревниво охранить какую-то сущность от всяких влияний галута, то ведь ясно, что эта сущность не может быть хотя бы даже отчасти порождением галута. Конечно, охрана не могла быть совершенно удачной, и галут порядком захватал и запятнал эту сущность своими грязными пальцами, но ведь не эта грязь, не эти наслоения, не эти, так сказать, синяки от чужих ударов на лице нашем были той святыней, которую мы ценой страданий оберегали от растворения в чужеродной среде. Святыней, ревниво оберегаемой от влияний галута, могло быть только нечто такое, что создалось *раньше галута*, что мы уже *готовым* принесли с собой в страны рассеяния и твердо решили сохранить неприкосновенным. То зерно национальной индивидуальности, которое мы инстинктивно подразумеваем, когда не со стыдом, а с гордостью произносим слово «еврей», рождено не в изгнании, а до изгнания. Следовательно — в Палестине. Все, что осело на теле и на душе у нас за века рассеяния, не может быть включено в нашу национальную индивидуальность, подобно тому как рубец от раны или красный след от пощечины не могут быть признаны за черты физиономии. Все новые черты, которые мы, быть может, приобрели после разлуки с Сионом, — все это чужеродные, нееврейские наслоения. Истинное зерно *еврейской национальной индивидуальности является созданием чисто палестинским.*

До Палестины мы не были народом и не существовали. На почве Палестины возникло, из осколков разных племен, еврейское племя. Почва Палестины взрастила нас, сделала гражданами; создавая религию единого Бога, мы вдыхали ветер Палестины и, борясь за независимость и гегемонию, дышали ее воздухом и питались злаками, рожденными из ее почвы. В Палестине выросли идеологии наших пророков и прозвучала «Песнь песней». Все, что есть в нас еврейского, дано нам Палестиной; все остальное, что в нас имеется, не есть еврейское. Еврейство и Палестина — одно и то же. Там мы

родились как нация и там созрели. И когда буря выбросила нас из Палестины, мы не могли расти дальше, как не может расти дальше дерево, вырванное из земли. И вся наша жизнедеятельность свелась к охране той нашей индивидуальности, которую создала Палестина. И таким образом вот, наконец, в своей окончательной форме, тот основной стимул всей истории нашего галута, стимул, из которого мы хотим познать истинную формулу народной воли: охрана и отстаивание нашей национальной, то есть *чисто и исключительно палестинской, индивидуальности*. И следовательно, делая строго логический вывод из всего того, что раньше говорилось, только то национально-еврейское движение будет истинно народным, которое поставит себе целью обеспечить неприкосновенное развитие нашей *палестинской* национальной индивидуальности.

Но неприкосновенное развитие *палестинской* индивидуальности мыслимо только на той почве и в той природной среде, которые некогда создали эту индивидуальность. Другой климат, другая флора, другие горы не могут не исковеркать организма и психики, созданных климатом, флорой и горами Палестины, ибо расовый организм и расовая психика суть только порождения определенного сочетания естественных факторов, и пересадить расовую индивидуальность в другую естественную среду — значит обречь ее на переделку под чужой лад. «Может быть, переделка послужила бы к лучшему?» — ответят иные. Может быть. Но это безразлично. Мы можем вести народ только по тому направлению, точно и неуклонно, куда угодно идти его стихийной воле. И изучая стихийную волю безземельного Израиля, мы нашли, что главным стимулом ее всегда неизменно была охрана еврейской национальной индивидуальности — сущности чисто и исключительно палестинской, и таким образом пришли к выводу, что единственный путь, по которому может направиться истинно народное национально-еврейское движение, есть тот, который приведет к наибольшему обеспечению неприкосновенности этой палестинской индивидуальности; и так как неприкосновенно-своеобразное развитие палестинской индивидуальности органически немисливо вне Палестины, то путь народного движения может вести только в Палестину, во что бы то ни стало.

Г-н Г-штейн говорит: «Свободное и всестороннее развитие всякой нации обуславливается степенью ее национально-го самоопределения. Такое самоопределение возможно тогда, когда нация, составляя на собственной территории политиче-

ское большинство, управляется автономно, то есть когда ее развитие определяется не интересами и судьбой господствующей, подчас совершенно несходной с ней, народности, а ее собственными национальными потребностями и присущей ей национальной психикой...» Пусть г-н Г-штейн поселит, на началах самой полной автономии, колонию итальянцев в Канаде; много ли через триста лет в них останется итальянского? Чужая земля — всегда чужая земля, даже при полной свободе самоопределения.

А теперь еще два слова о палестинофильской тактике и об измене политическому сионизму. Здесь опять перед нами та наша праздная склонность к пререканиям, о которой мы уже беседовали мимоходом в январской книжке. Почему-то каждому взводу в нашем лагере кажется, что он сам не может спокойно маршировать, пока не переколотит насмерть все инакомарширующие взводы. Всякая попытка своеобразной тактики сейчас же клеймится именем «измены». Культура есть «измена» фонду, привлечение мизрахов — «измена» культуре и так далее. Я опять настаиваю, что вся эта любовь к взаимному критиканству непосредственно вытекает из склонности к безделью, ибо под шум громов легче увильнуть от настоящей работы. И настаиваю, что имени настоящей работы достойна только работа положительная и созидательная: ежели ты за культуру, то учреждай национальные школы и выпускай учебники; ежели ты за чистую политику, то устраивай вечеринки в пользу фонда, вербуй шекедатеley и укрепляй организацию; и тогда вы не только не будете мешать друг другу, но даже будете друг друга дополнять и вместе, с разных сторон, подвигать вперед наше общее дело. А взаимные обвинения в «измене», постоянное старание схватить соседа за шиворот и выкинуть вон из лагеря — вся эта шумиха велеречивых указаний на «непримиримые разногласия» — есть не работа, а развлечение и безделье — самое нехорошее безделье. Ценность партии или фракции познается не в том, сколько неприятностей наговорит она другим фракциям, а в том, сколько положительного создает она в духе собственной программы.

Да простит меня г-н Г-штейн, но его нападки на тактику «палестинофилов» кажутся мне совершенно несерьезными. Сказать, как это часто делают критиканы, что метод заселения понемногу «противоречит» методу заселения en grand¹, — зна-

¹ Здесь: в крупных размерах (*фр.*).

чит, собственно, ничего не сказать. Если нам с г-ном Г-штейном понадобится выпрямить свернутую проволоку, то мы поступим так: он возьмется за один конец, а я за противоположный; он будет тянуть, скажем, на север, а я совсем напротив. При этом, несомненно, его тактика будет резко «противоречить» моей — но, тем не менее, обе прекрасно уживаются и ведут к одной цели. Это так ясно, так часто подтверждается на каждом шагу в обыденной жизни, что прямо-таки непостижимо, как могут толковые люди вроде г-на Г-штейна говорить о «непримиримости» одного метода с другим. Откуда они взяли эту непримиримость?

Впрочем, было откуда взять. В известном письме Герцля к Усышкину имелся один любопытный довод: если бы, мол, Усышкин скупил понемногу весь Екатеринослав, то все-таки ведь Екатеринослав принадлежал бы не Усышкину, а России. Герцль настолько умный человек, что ему, когда он написал эту фразу, самому, без сомнения, пришло в голову возражение: да, Екатеринослав будет принадлежать России, но Усышкин будет тогда пользоваться огромным влиянием в Екатеринославе, что, собственно, и требуется... Это возражение, конечно, пришло в голову Герцлю, и он оставил свою фразу, очевидно, только ради красоты слога. Наши почитаемые руководители — замечу в скобках — часто проявляют эту любовь к стилистике: Макс Нордау, например, на последнем конгрессе, ратуя за ночлежный приют, выразился так: «Вы говорите, что вам дорого еврейство, а не евреи. При таких понятиях вам место не на базельском конгрессе, а в спиритическом сеансе!» Если бы мы хоть на миг поверили, что эти слова действительно выражают убеждения г-на Нордау, нам пришлось бы ответить ему: кому дороги евреи, а не еврейство, тому место в заседании благотворительного общества, а не на конгрессе возрождения... Мы этого, однако, не скажем, так как ясно видим, что фраза была выпущена ради красоты слога и не может идти в счет. Но те мысли, которые для самих авторов являются только риторическими украшениями, тем не менее должны превращаться в символ веры для других людей. Обмолвка Герцля в письме, написанном в минуту справедливого раздражения, не может стать девизом для руководства сионистских работников.

Будем учиться у Англии, которая, несомненно, очень опытна в искусстве захвата земли. Когда ей понравится чужая область, Англия прежде всего наводняет ее своими людьми:

техниками, торговцами, агрономами, учителями и даже колонистами. Англия прежде всего старается мало-помалу приобрести влияние среди местного населения. Это, так сказать, ее «палестинофильство». А затем Англия выжидает, пока созреет момент, когда при помощи искусного дипломатического хода или политического акта можно будет и окончательно захватить область в свои руки. Это, так сказать, ее «политический сионизм». Одно другому не мешает, одно только подготавливает и помогает другому.

Не со вчерашнего дня все настойчивее раздаются голоса о необходимости немедленной работы в Палестине. Там теперь на 600 тысяч населения — 60 тысяч евреев. Если бы это были в большинстве не попрошайки, а грамотные, толковые и самостоятельные работники, они и теперь бы пользовались преобладающим влиянием среди остального населения.

В Палестине нужны школы и мастерские, чтобы тамошние евреи поголовно стали развитыми и самостоятельными работниками.

Светская культура распространяется все шире, и рано или поздно она должна будет коснуться и палестинских инородцев — арабов и других. Пусть это сделают евреи, а не германцы и не французы. Евреи должны стать учителями туземных инородцев; это — лучшее средство укрепить свое влияние в стране.

Палестины рано или поздно коснется процесс индустриализации. Фабрика дойдет и до Св[ятой] земли. Пусть это сделают евреи на еврейские капиталы. Тогда к Палестине будет привлечена часть той индустриальной эмиграции, которая теперь направляется в Америку и в Англию.

И надо покупать землю, чтобы ее не раскупили другие. Покупать землю, дешево или дорого, большими участками или малыми, но постоянно покупать и постоянно заселять. У какого-то писателя было на стене начертано: каждый день хоть по строчке. У нас должно быть начертано: каждый день хоть по дунаму.

Для всего этого нужно снять запрещение евреям русско-и румынско-подданным селиться в Палестине. Отмены надо добиться во что бы то ни стало, и можно добиться. Известно, что запрет был вызван недоразумением: он состоялся в начале 80-х годов, когда возникли слухи, будто приток переселенцев несет с собой какие-то заразные болезни. Надо хлопотать

об отмене запрета, совершенно независимо от хлопот о публично-правовых гарантиях. Если этого не сделают наши официальные представители, это должны сделать другие сионисты.

Если все наше движение не есть игра взрослых людей, то скоро закипит живая работа в Палестине и для Палестины. Мы создадим стройную программу упрочения нашего влияния в нашей ирредентной земле и будем осуществлять эту программу день за днем, шаг за шагом, упорно и неотступно. Это не будет «мелкая» работа, как выражаются территориялисты, полагающие, как кажется, что сидеть у моря, грызться друг с другом и ждать, пока Герцль выхлопочет, — не жалко и не мелко. Я же полагаю, что живая работа для живой земли и на живой земле даст и нам оживление. Мы тогда во всякий миг будем чувствовать, что недаром живем, что энергия уходит на дело, а не в пустоту и что каждый день нашими усилиями создается новая ступенька. За работой неохота будет пререкаться о выеденном яйце. Работа для Палестины воскресит в нас исконную органическую связь с дорогой маленькой родиной великого племени, и снова полюбят ее даже те из нас, которые ныне записались в чин не помнящих родства. Это единственный путь к объединению рассеянных элементов: ничто не может объединить, кроме живой работы над живым и родным сердцу делом. И пусть одновременно крепнет и наша сионистская организация вне Палестины, и пусть наши вожди по-прежнему подготавливают и стерегут минуту искусного заключительного дипломатического акта.

Если вдуматься, нам нечего винить себя за то, что до сих пор работы в Палестине почти не было. Это вполне понятно: нужно было раньше создать ту силу, которая могла бы уверенно взяться за огромное и трудное дело. Ведь против так называемой «мелкой» колонизации часто выдвигается тот довод, что ховевей Цион работают на этом поприще вот уже двадцать лет и им, однако, почти ничего не удалось. Да и не могло удаться, прибавим мы, и их неудача несколько не может поколебать наши намерения. Напротив, она должна укрепить их. Часто видим мы, как возникают здесь и там газеты, иногда и недурные по направлению и содержанию, — возникают и через некоторое время погибают. А между тем существуют же газеты, приносящие миллионные доходы и составляющие даже «седьмую державу». И секрет успеха и неуспеха в том, с какими силами начато издание.

Если у издателя мало денег, то газета лопнет; чтобы создать большую газету, надо иметь большие средства. Если в газетном мире возможны иногда случайные исключения из этого правила, то по отношению к вопросу о сознательно организованном заселении целой страны никаких уклонений от этого закона быть не может: чтобы правильно вести огромное дело, нужны огромные силы. Тут не в одних деньгах дело: тут необходимо и огромное влияние, и точная осведомленность, и вообще все те преимущества, которые могут быть даны только крупной политической организацией. Одесский комитет был очень симпатичным учреждением, но не был и не мог быть политической организацией; в его силах поэтому было создать десяток-другой колоний, но для систематического культурного завоевания страны по разносторонне составленному плану необходим крупный и влиятельный политический организм. Чтобы вполне владеть Индией, англичане создали не простое акционерное общество, хотя бы и с колоссальными денежными средствами, а Chartered Company — то есть политическую, почти государственную единицу. То же самое необходимо было и нам. И если мы на создание этой политической организации употребили только семь лет и даже забросили на это время всякую другую работу, то ведь это все-таки довольно скоро и доказывает с нашей стороны значительную способность творческого напряжения. Но теперь, когда учреждение, способное взять на себя и довести до конца огромное и сложное дело, уже готово, — пора начинать и само дело. И все это еще раз доказывает, что в нашем движении методы «политический» и «палестинофильский» одинаково ценны, одинаково необходимы: второй *немыслим* без первого, первый неполон и неустойчив без второго, и предпочесть один в ущерб другому — значит ослабить и подорвать наше дело.

Не знаю, убедил ли я кого-нибудь, но думаю, что одно мне удалось доказать: что наша вера в Палестину не есть слепое полумистическое чувство, а вывод из бесстрастного изучения всей сущности нашей истории и нашего движения. И после этого я охотно сознаюсь, что я действительно все-таки *верю*. Чем больше вдумываюсь, тем тверже верю. Это для меня, скорее, даже не вера, а нечто иное. Разве вы верите, что после февраля будет март? Вы это *знаете*, потому что иначе быть не может. Так неопровержимо для меня то, что в силу сочетания непреодолимых стихийных процессов Израиль стянется для возрождения к родной Палестине и мои дети или внуки там

будут подавать голос в избирательном собрании. И если вы тоже хотите верить, то засучим рукава и будем стыдиться вчера, в который нам пришлось бы сказать: я не работал сегодня...

Владимир Жаботинский

Еврейская жизнь. 1904. № 2. С. 203–221



Сионизм и Палестина¹

Статья вторая

I

Первая моя статья под этим заглавием* встретила возражения с довольно неожиданной стороны. Отозвались на нее не угандисты и не территориалисты, а лица, к сионизму вовсе не причастные: обозреватель печати из «Хроники восхода» в первом номере ее по возобновлении и, еще в летние месяцы, г-н М. Г. Моргулис («О сионизме») в одесском журнале «Южные записки». Я не ответил ни на ту, ни на другую, так как в заметке «Хроники Восхода» нет решительно никаких доводов, а доводы статьи г-на Моргулиса настолько слабы и дышат такой наивностью не от мира сего, что мне тут решительно не о чем и не на что возражать. Единственное, ради чего могу призвать на эти два опыта мимолетное внимание читателя, есть та авторская психология, которая в обоих сквозит и которая действительно любопытна. Оба автора не хотят казаться ассимиляторами и потому должны доказать свое рadeние о дальнейшем преуспевании еврейской культуры. Отсюда неизбежно вытекает необходимость доказывать, что еврейский дух наиболее пышно развился не в Палестине, а в галуте. Для этого, конечно, превозвеличивается Талмуд, а Библия совершенно игнорируется. Приступив сравнительно недавно к изучению Талмуда, я самым почтительным образом удивляюсь глубине мудрости, заложенной в страницах этого памят-

¹ Печатается позднейший вариант: *Жаботинский, В. О территориализме (Сионизм и Палестина)*. Одесса, 1905.

* См. Евр[ейскую] жизнь, февр. 1904.

ника, но в то же время я вижу совершенно ясно, что весь он является только развитием вечных этических начал, данных пятикнижием и пророками, то есть Палестиной, если только господа возражатели не разобьют меня наголову тем победоносным доводом, что пятикнижие, по точному смыслу библейского сказания, написано еще в пустыне... В конце концов, даже странно было бы настаивать на таком бесспорном канонизированном общем месте, как то, что Талмуд есть обширное толкование к Библии, а Библия есть основа Талмуда. Я и не настаиваю, а только указываю мимоходом на психологию людей, которым приходится всячески выдвигать Раши и Рамбама и всячески затирать Моисея, пророков, Гилеля и ту форму, в которой этические начала иудаизма завоевали весь цивилизованный мир и которая тоже, грешным делом, возникла на почве Палестины. Все ради того, чтобы, с одной стороны, не спасовать по части национального самосознания, но, с другой стороны, не прегрешить по части сионизма. Как единственный вывод из этого скажу: тяжело сидеть между двумя стульями.

Должен еще заметить: из некоторых личных бесед я убедился, что в первой статье «Сионизм и Палестина» мне, очевидно, не удалось достаточно выяснить или, вернее, подчеркнуть основную свою точку зрения в ее приложении к политическому сионизму. Собеседники мои вынесли то впечатление, будто я доказываю, что евреи как раса палестинская могут вполне (то есть «вполне по-еврейски») развиваться только в Палестине, а потому всякий территориализм еретичен. Это не совсем так. Я, конечно, признаю, что полноценное национальное развитие палестинской расы возможно только в Палестине, но не этим чересчур отвлеченным и неосязательным доводом пытался я переубедить наших реально мыслящих территориалистов. Я говорил и говорю, что вся история галута субъективно сводится к охране нашей палестинской индивидуальности. Это не предreshает вопроса о том, насколько нам удалось или не удалось сохранить в неприкосновенности нашу палестинскую индивидуальность: это значит только, что охрана ее была центральным нервом, основной красной нитью, главным, так сказать, *рельсовым путем* нашей истории на всем протяжении галута. С того момента как возник «еврейский вопрос», он бессознательно и естественно поставлен именно в этой форме: найти способ для сохранения еврейской палестинской индивидуальности. Следовательно, сионизм, если ему предстоит дать окончательное решение

«еврейского вопроса», должен дать его непременно в этой же форме: найти лучший способ для сохранения и развития еврейской палестинской индивидуальности, то есть переселить нас в Палестину. Без Палестины сионизм не то что «еретичен», а просто неосуществим, так как завершение нашего галута должно двинуться по тому же рельсовому пути, по которому двигался и весь исторический поезд галута: поезд, сошедший со своих рельсов, неминуемо терпит крушение. Уганда в моих глазах не тем плоха, что из нее в конечном итоге выйдет не палестинско-еврейское, а угандо-еврейское государство, — она тем плоха, что из нее в конечном итоге никакого государства не выйдет и не может выйти, ибо длительное массовое национальное напряжение («hachlata leumith»¹ Ахад-ха-Ама), необходимое для осуществления еврейского государства, может создаваться и поддерживаться только на почве того принципа во всей полноте, который является разгадкой всей нашей исторической национальной самообороны: гарантии сохранения палестинской индивидуальности. Такая гарантия, по указанным в первой статье естественно-антропологическим причинам, может быть связана только с Палестиной. Всякий другой проект, будь это Уганда, Конго или что угодно, не представляя этой гарантии, не может создать длительного массового национального напряжения и потому осужден выродиться в лучшем случае в незначительное и совершенно неполитическое предприятие, вроде Аргентины.

Вот та мысль, которую в первой статье я старался вывести а priori². Теперь я попытаюсь несколько развить ее и подкрепить соображениями более практического свойства. Цель будет все та же: обосновать отрицательное отношение к территориализму не тем, что он недостаточно «национален», а тем, что он неосуществим. Неосуществим не сам по себе, а потому, что его осуществление, по сравнению с осуществлением сионизма палестинского, является бесконечно более затруднительным. Между тем и возникло-то все территориалистическое движение под тем предлогом, будто создать еврейское государство вне Палестины будет «легче»...

Но прежде чем перейти к самому разбору территориализма, надо выделить настоящий территориализм из-под двух его наслоений. Я считаю настоящим территориализмом тот, кото-

¹ Национальное решение (*ивр.*).

² Независимо от предыдущего опыта, априори (*лат.*).

рый согласен отказаться от Палестины только потому, что Палестина ему кажется недостижимой. Территориалисты этого толка (и они в своем лагере составляют, кажется, большинство) принципиально заявляют, что будь Палестина достижима, они при равных условиях не только ничего бы не имели против нее, но даже по многим причинам предпочли бы ее другой стране. Но территориализм, при всей своей юности, уже успел курьезным образом повторить в малом объеме судьбу еврейского народа: он породил и своих шовинистов, и своих ассимиляторов. Шовинисты провозглашают: «Все, кроме Палестины, а Палестину и даром не возьмем!» Ассимиляторы, положив руку на сердце, уверяют самым искренним тоном а-ля поляк Моисеева закона: «Мы — самые настоящие палестинцы, только, так сказать, угандистского исповедания. Уганда не есть отказ от Сиона, а напротив, путь к Сиону»...

Подолгу останавливаться на этих курьезных разветвлениях территориализма не стоит, и я уделю им только по несколько строк. Если фактический возглас: «только не Палестина!» опирается на то, что почва нашей старой отчизны будто бы неплодородна («dos gerêgerte land»¹), то на это можно возразить целым десятком доводов. Во-первых, такие утверждения можно делать только после всестороннего изучения страны, а Палестина еще не изучена. Во-вторых, трудно допустить, чтобы почва, плодородие которой некогда вошло в пословицу, могла потерять его за две тысячи лет, в течение которых она не только не истощалась неумеренной эксплуатацией, но и совсем была заброшена. Ведь не могли же в ней за 2000 лет вырасти камни или чернозем претвориться в песок: геология не знает таких скорых превращений. Тут, по-видимому, вся разгадка именно во многовековой запущенности и в прекращении искусственного орошения. В-третьих, даже на самой неплодородной почве искусственное удобрение и канализация делают чудеса. В-четвертых, если бы Палестина и оказалась мало пригодной для земледелия, то она в высшей степени удобна для торговли и не менее любой другой страны приспособлена для индустрии. Любопытно, что одной энергии Иордана достаточно для электрического освещения всей Палестины; значит, весь вопрос только в том, будут ли евреи в Палестине производителями сырья или обработанных продуктов, а не в том, грозит ли им там голодная смерть. В-пятых, было бы нелепо

¹ Скончавшаяся земля (*uguiw*).

думать, что Палестина вечно останется незаселенной: капиталистический процесс не может оставить без эксплуатации страну, лежащую на торговом пути между Средиземным морем и пробуждающейся Азией; не мы, так другие заселят ее, а если могут там прокормиться другие, то можем, очевидно, и мы. В-шестых, если есть сомневающиеся, «вместит ли Палестина», то по простой аналогии с другими, даже не особенно густо заселенными, странами ясно, что Палестина с прилежащими к ней округами Сирии и вади Эль-Ариш способна вместить целиком, если понадобится, все 10 миллионов еврейского народа и что теперь все эти местности не заселены даже на 10 процентов своей емкости. И так далее, до бесконечности.

Что же касается тех господ, которые выражают опасение, что «в Палестину мы унесли бы с собою слишком много старых предрассудков», то им, право, даже отвечать не хочется. Нельзя же серьезно спорить о том, будет или не будет наша интеллигенция в Палестине носить пейсы и арба канфот. Все это — извиняюсь за резкость — просто глупо. Новообразовавшееся государство постоянно прогрессивнее старых стран: таков социологический закон, до сих пор всегда подтверждавшийся, и только хасиды могут полагать, что для евреев Господь Бог его отменит. Где бы ни создался в конце концов наш самостоятельный центр, он обгонит Европу, а нам тут говорят о пейсах... И любопытнее всего то, что эти пейсы нелепы даже с точки зрения философии нашей религии. Усиление внешней обрядовой стороны как искусственный изолятор против смешения с инородцами явилось именно следствием утраты естественного изолятора — национальной территории. Об этом я уже подробно говорил в первой статье. Поэтому ясно, что возвращение на национальную территорию само по себе уже сделало бы ненужною, даже для набожной массы народа, большую часть нашей устарелой обрядности, и она даже без внешних толчков неминуемо понемногу бы отпала. Если хотите конкретного примера, то вспомните один из рассказов Лескова, где говорится, будто набожному еврею полагается спать лицом к востоку, ибо там Сион и храм. Каюсь в своем невежестве — я не знаю, есть ли такой обычай, но если есть, то ведь именно в Палестине он сам собою должен исчезнуть... Вот наглядный пример судьбы, которая неминуемо острижет в Палестине все наши телесные и духовные пейсы. Ежели вы скажете, что это довод несерьезный, то я отвечу, что на несерьезные возражения иначе и отвечать не приходится...

Переходя к «ассимиляторам территориализма», то есть угандистам из секты «ночлежного приюта» (разновидности гораздо более многочисленной, чем шовинисты-антипалестинцы), я говорить о них особо не стану, а просто приведу выдержку из одесского циркуляра «Ответ угандистам». В нем, правда, рассмотрены доводы только одесских угандистов, но эти доводы вполне типичны для всего угандистского течения. Вот эта выдержка:

Как образец, мы предлагаем беспристрастным сионистам разобраться вместе с нами в недавнем циркуляре «одесского комитета союза политических сионистов в России». В этом циркуляре заявляется, что еврейский народ гибнет и вырождается, и поэтому «ему важно уйти от смерти, от мук, от пытки, ему важно найти страну, где он был бы в большинстве, где он мог бы стать в нормальные условия жизни... И если такой территории окажется Уганда, то кто может и смеет отказать от нее? ...Ведь то, что мы не можем *теперь* пойти в Палестину и идем пока в другую страну, *не значит отказываться от Палестины*» (с. 5). «Территория на автономных началах *по пути к Сиону* есть *лучший путь к Сиону*» (с. 6). Одним словом, типичное повторение теории «ночлежного приюта», изложенной Максом Нордау на 6-м конгрессе. Уганда, по этой теории, совсем не есть радикальный переворот базельской программы. Сионизм по-прежнему ведет в Палестину, но Палестины можно и подождать, а пока мимоходом создать колоссальное временное убежище. Уганда не есть замена Палестины. Уганда — просто необходимый паллиатив...

В том же циркуляре на первой странице говорится, что в сионизме до сих пор особенно выдавались две группы: «одна — стоявшая за чистый политический сионизм, не признающая никаких паллиативов, ни культурных, ни экономических; другая — хотя тоже заявляющая себя политическими сионистами, но готовая на всевозможные паллиативы, начиная с культуры и кончая мелкой колонизацией». Циркуляр подписан именем «союза *политических* сионистов: значит, это именно те, которые до сих пор «не признавали никаких паллиативов». Когда им говорили, что еврейский народ для осуществления трудной задачи сионизма должен быть прежде всего культурным и сознательным, они отвечали, что культура, то есть народное просвещение в национальном духе, есть паллиатив, а потому сионизм не может ею заняться. Когда им говорили, что еврейский народ голодает и вырождается, а потому необходим сейчас же экономический подъем еврейской бедноты, они отвечали, что экономика есть паллиатив, а потому сионизм не может ею заняться. Они

уверяли, что эти паллиативы отвлекут наши силы от главной цели — от Сиона. И теперь они же отстаивают Уганду, то есть грандиознейший из всех паллиативов, ибо ведь создание «временного еврейского государства» действительно поглотит целиком все силы на множество лет, и сами громко заявляют, что это не измена Сиону, нет, а только паллиатив, и потому сионизм... должен им заняться. Всякий понимает, что только ребенок может искренно запутаться в таких явных противоречиях. Авторы циркуляра — люди зрелые, и потому одно из двух: или они сами не понимают, что говорят, или в душе давно решили отречься навсегда от Палестины, но боятся высказать это вслух.

Еще типичнее другое противоречие. На с. 6 угандисты приглашают нас спастись в Уганду, «сохранив в своей груди любовь и стремление к Палестине. И кому ее (Палестины) легче будет добиваться: еврею ли изгнаннику, зависящему от чужой воли, находящемуся под чужой властью, или свободному гражданину автономной территории, живущему среди своих братьев». И в том же циркуляре, но несколько раньше, на с. 2 и 3, говорится буквально следующее: «Эта любовь к Палестине заставляла наших отцов ездить туда умирать, заставляла плакать наших поэтов, заставляла нас молиться ей, но эта любовь не могла *довести* нас к Сиону. Для того чтобы народ захотел действительно *пойти в Сион*, нужны были еще причины, а именно внешние: необходимы были гонения, экономическое и моральное вырождение... Словом, одни идейные стремления, не опирающиеся на реальные причины, никогда не в состоянии вызвать движение народа...» И вот после всех этих рассуждений оказывается, что именно из Уганды, где народ, как надеются угандисты, не будет уже вырождаться ни морально, ни экономически и не будет терпеть никаких гонений, именно оттуда евреи в конце концов уйдут в Палестину, так как «сохранят в своей груди любовь и стремление», то самое «стремление», которое, по словам того же циркуляра, «никогда не в состоянии вызвать движение народа». Опять вопиющее противоречие, которое не может быть примерено и только подтверждает то, что мы выше сказали: или угандисты сами не понимают своих же слов, или, наоборот, очень хорошо понимают, что Уганда есть *полное отречение навсегда от Палестины*, и только стараются это скрыть лицемерными поклонами в сторону нашей старой родины.

Или Уганда, или Палестина. «Если трудно создать одно государство, то для облегчения создайте себе два» — так не могут рассуждать серьезные и добросовестные люди. Часть угандистов давно это поняла и прямолинейно заявила, что она готова отречься от Палестины навсегда. Эти *территориалисты* по

крайней мере искренни. Рано или поздно и нашим угандистам останется одно из двух: раз навсегда порвать или с Угандой, или с Палестиной.

Формула настоящего, не фанатического и не лицемерного территориализма гласит: еврейский народ страдает, ему некогда ждать. Если бы возможно было получить Палестину сейчас, это было бы лучше всего, но если Палестины не дают, а вместо нее дают другую, во всех, допустим, отношениях удобную территорию, то нельзя ставить на карту всю будущность еврейского народа и не принять предложенной земли, упорно поджидая Палестины, ибо тогда можно в конце концов ничего не дожидаться. Если не в Палестине, то уж лучше где-нибудь, чем нигде. А если так, то нам не приходится, конечно, пассивно ждать, пока нам другие вздумают предложить территорию: выяснив, что Палестина теперь недостижима, надо самим начать сознательно добиваться чартера на какую-нибудь другую подходящую страну. Если Уганда не подойдет, надо, значит, организовать новые изыскания, найти другую незаселенную область, изучить ее, выхлопотать чартер и начать планомерное заселение... Таким образом, центр тяжести территориализма, если разобраться, сводится к двум положениям: первое — что еврейскому народу нужна *безотлагательная помощь*, и второе — что на другой территории можно создать *Judenstaat*¹ *легче и скорее*, чем в Палестине. Иначе, если бы народу не нужна была скорая помощь, нечего было бы и торопиться и можно было бы еще много лет продолжать настойчивые хлопоты о Палестине; с другой стороны, если бы «территория» не казалась легче и скорее осуществимой, чем «Сион», то есть первая и вторая являлись бы одинаково достижимыми, то при таких равных условиях всякий трезвый территориалист предпочел бы Палестину как страну более популярную среди еврейских масс. Все дело, таким образом, в этих двух соображениях: нужна скорая помощь и «территория» может дать ее скорее и вернее, чем «Сион»; и не будь этих двух соображений, не было бы и территориализма...

Мне уже приходилось указывать в «Еврейской жизни» на одно характерное явление: сионистская программа только теперь, собственно говоря, начинает правильно дифференцироваться и развиваться. Я говорю не о том фракционировании

¹ Еврейское государство (нем.).

по «направлениям», которое началось у нас, по еврейской привычке, со второго же дня, — я говорю о дифференциации и развитии нашей *практической* программы, нашего плана осуществления. До последнего времени вопрос о том, как мы намерены взяться за исполнение колоссального предприятия, да и вообще сам вопрос о «сионистской работе» в настоящем смысле слова даже еще не был как следует поставлен. И вполне понятно почему: вся история истекшего столетия вела нас к необходимости организации, и последние восемь лет пошли именно на создание этой организации — на постройку той машины, которая должна будет вершить нашу национальную работу. Ясное дело, что пока строилась машина, до тех пор сама работа и ее подробности были на заднем плане. Об этой работе, конечно, говорилось, но говорилось в общих чертах: отдельные стороны ее намечались в эскизной, примитивной, часто даже наивной форме. Так было и с важнейшим вопросом сионистской программы: как создать на данной территории, хотя бы уже с чартером в руках, еврейское большинство, то есть как переселить туда еврейские массы. На этот вопрос, хотя с враждебной стороны его нам задавали часто и насмешливо, мы почти совсем не отвечали, а как-то отмахивались, мысленно отговариваясь тем, что прежде, мол, дайте получить чартер, а там уже как-нибудь... «перевезем». Но в последние годы, когда первый период политического сионизма — период создания организации или, вернее, создания того зачатка, из которого должна развиваться обширная национально-политическая организация, — стал подходить к концу, — громче и яснее заговорило общее стремление выяснить наконец все основные стороны сионистской тактики и практики, и в том числе и этот важный вопрос. Стоило только попристальнее вникнуть в него — и стало ясно, что одним неопределенным «перевезем» тут не отделаешься.

Пустая территория, — говорится в том же циркуляре Ционей Цион, — не может быть заселена сразу. Только фантазеры могут мечтать, что, получив чартер, они сейчас посадят миллионы людей на пароходы и перевезут на новые места. На это не хватило бы никаких богатств, и неподготовленная страна не могла бы прокормить даже сотой доли таких переселенцев. Массовую колонизацию нельзя вести искусственно: надо так *подготовить* территорию, чтобы она сама *естественно* привлекала к себе массы эмигрантов, как привлекает их Америка. Почему столько бедняков едет в Америку? Потому, что в Аме-

рике есть богатый спрос на рабочие руки. А богатый спрос на рабочие руки существует только в промышленно развитых странах. Следовательно, прежде всего надо подготовить страну для промышленного развития, то есть индустриализировать страну.

Пополню от себя: всесторонне индустриализировать не только в тесном смысле промышленность обрабатывающую, но и добывающую и променивающую. Чтобы вызвать массовый приток переселенцев, то есть чтобы создать магнит для иммиграции, нужно привести в движение все экономические функции, к каким только способна данная территория по своим природным условиям. Единственный видный теоретик сионистской колонизации проф. Оппенгеймер в докладе, прочитанном на 6-м конгрессе, исходил приблизительно из той же точки зрения и предложил даже особый разработанный план такой индустриализации. С частностями плана можно и не соглашаться, но основа его неоспорима для всякого мыслящего человека: подготовку территории нельзя предоставить стихийному, неорганизованному, беспорядочному приливу первых поселенцев. При стихийном наплыве иммигранты будут, как водится, охотнее селиться друг подле друга, чтобы создать скопление масс в одних местах и пустоту в других; большинство будет набрасываться на одну какую-нибудь наиболее выгодную или привычную профессию, и таким образом не окажется никакой равномерности в заселении разных мест и развития разных промышленных отраслей. А между тем только эта равномерность и может привести «к скорейшему всестороннему промышленному подъему страны и создать сильный "магнит"». Тот же циркуляр дальше говорит:

Эту индустриализацию, — выясняет Оппенгеймер, — надо вести осторожно, по строгому плану, наподобие того, как плетут большие рыбачьи сети: сначала намечаются основные узлы, потом промежуточные, потом первые большие клетки, потом поменьше, потом еще помельче и т.д. Всей этой работой должна руководить организация, посылая каждый раз определенное и строго ограниченное число работников и только постепенно увеличивая это число, то есть *ведя мелкую колонизацию*. Таким образом, и тут на первых порах никак не может быть речи о "массах" еврейской бедноты. Эти массы должны будут по-прежнему остаться на старых местах до того дня, пока не станет возможной массовая иммиграция, то есть пока страна не станет настолько индустриализованной, чтобы для

всех нашелся заработок... На это уйдет не пять и не десять лет, а приблизительно промежуток целой человеческой жизни.

И долгой жизни, прибавлю я от себя. Приобретение характера может быть делом нескольких лет или, при удаче, даже делом одного счастливого момента, но заселение территории есть в полном смысле слова длительный процесс, и было бы в высшей степени легкомысленно об этом забывать.

А если это помнить, то прежде всего отпадает сердобольная теория безотлагательной помощи. Насущная эмиграционная нужда восточноевропейского еврейства громадна и растет не по дням, а по часам, но удовлетворить эту нужду сейчас не в силах ни Уганда, ни другое пустопорожнее место, как бы оно ни было обширно и плодородно и какой бы широкой автономии ни сулило нам оно в придачу. Эта эмиграция есть одно из проявлений *Judennot*'а, и прекратится она тогда, когда исчезнет *Judennot*. И надо помнить, что задача сионизма не в прикладывании «безотлагательных» пластырей к той или к другой язве галута, а в искоренении самого галута. Цель огромная, и срок для нее нужен большой. Это должны признать и палестинцы, и территориалисты. На какой бы стране мы в конце концов ни остановились — будь это Сион, или (допустим на мгновение) Уганда, или Конго, мы этим обещали бы народу вовсе не «скорую помощь», а радикальную помощь, раз навсегда.

Тем и различаются между собою сердобольная благотворительность и разумная самопомощь, что первая стремится наскоро заткнуть наружные прорехи, между тем как вторая бесстрашно предпринимает, если нужно, основательную перестройку всего здания, не считаясь ни с жертвами, ни со временем. Как бы ни суждено было называться той территории, на которой создано будет еврейское государство, но при выборе ее и во время работы над ее подготовкой сионизм может руководствоваться только своей основной целью: дать Израилю прочное отечество, а не побочным желанием дать его поскорее.

Наш девиз — «навсегда», а не «наскоро». Даже яркий территориалист должен будет из нескольких территорий выбрать не ту, которая сейчас под рукою, а ту, на которой с наибольшим вероятием можно создать *Judenstaat*. Весь вопрос именно в том, *как называется та территория, на которой с наибольшим вероятием можно предпринять и довести до конца постройку еврейского государства.*

Если вы хотите обидеть разумного территориалиста, скажите ему, что территориализм порожден Угандой. Он запротестует и ответит, что Уганда — случайность, а территориализм — мировоззрение. И он прав в том смысле, что провал Уганды на предстоящем гаагском конгрессе еще не будет означать теоретического поражения территориализма. Пусть Уганда окажется неприемлемой, но у территориалистов и тогда останется возможность требовать, чтобы наша деятельность не ограничилась хлопотами о Палестине, а вела бы вообще к получению чартера на какую угодно местность, лишь бы подходящую. Поэтому в обоснование территориализма Уганда не может входить как довод ни «за», ни «против». Отсюда ясный вывод: кто хочет принципиально доказывать преимущества территориализма, тот не может ссылаться на то, что «страна уже имеется». Сегодня есть (?), а завтра может не стать: тут можно рассуждать только вообще, и вопрос должен быть поставлен только в такой форме: что с большим вероятием осуществимо для политического сионизма — приобретение Палестины или приобретение какой-нибудь другой подходящей территории?

В статье «Наброски» я писал, между прочим, что для осуществления своих целей территориалисты могут рассчитывать только на дипломатию. После этого я имел возможность ближе познакомиться с очень многими представителями территориализма и выслушал от них возражение или, вернее, поправку: не только дипломатия в тесном смысле, но вообще самое широкое влияние на европейское общественное мнение и на правящие круги путем митингов, печати и даже парламентского воздействия. Но больше ничего. Имея в виду *свою* цель, оказывать давление на *гругих* — вот тактика территориализма. Палестинцы почти единогласно говорят о необходимости реальной работы в Палестине сейчас же, до чартера, но территориалисты ничего подобного, конечно, не могут предложить, потому что у них и страна еще не намечена, да и не может быть намечена. Следовательно, их тактика сводится вот к чему: укреплять, расширять и усиливать сионистскую организацию, пока она не станет влиятельным международно-политическим фактором, а тогда, выждав удобный момент, добиться у одной державы или у концерна держав уступки нам одной какой-нибудь из подходящих незаселенных территорий. Хватит ли у нас на это влияния? — спрашивают скептики. Да, — отвечают территориалисты, — еврейство и теперь

обладает крупными силами, финансовыми и интеллектуальными, которые способны оказывать значительное влияние на международные дела, но если эти силы собрать, организовать и направить на чисто еврейские цели, то их удельный вес удесятерится и им, несомненно, удастся добиться территории, тем более что ненормальное положение евреев не только им одним невыгодно.

Полагаю, что нельзя в этом не согласиться с территориалистами. Создать большую и сильную организацию — значит несомненно обеспечить себе, так сказать, крупный шанс на получение территории. Но вообразите на мгновение, что в тот же день, когда будущие представители этой территориалистической организации выступят со своим требованием перед державами, рядом предстанут и делегаты другой организации, тоже еврейской и тоже стремящейся к созданию *Judenstaat'a*. Первые заявят: «За нами — влиятельная организация, которая требует от держав, во имя интересов справедливости и ради нашего собственного спокойствия, предоставления нам какой-нибудь подходящей территории». В то же время вторые заявят: «У нас также влиятельная организация, и мы тоже ссылаемся на интересы справедливости и на собственную выгоду цивилизованных государств, но, кроме того, мы еще указываем на определенную территорию, которую мы заранее наметили, индустриализировали, подготовили к заселению и на которой мы уже пользуемся крупным влиянием; эту страну вы и должны уступить нам». Сравнивая положение обоих претендентов, мы видим, что и первый, и второй в одинаковой мере располагают одним «шансом» — влиятельной организацией, но у второго есть еще другой «шанс», которого нет у первого — заранее намеченная, подготовленная и уже отчасти экономически захваченная территория. Кто скорее добьется? Рассуждая абсолютно, есть, конечно, возможность, чтобы ни тот, ни другой не добились, но с большей вероятностью, во всяком случае, добьется тот, у кого не один, а два «шанса». Это математически ясно. Если же оставить область абсолюта и математики и взять мерку обычных земных отношений, то надо сказать, что второй *несомненно* добьется своей цели. Первому могут вовсе не дать территории, если все имеющиеся пустыри уже облюбованы сильными мира сего; или, если дадут, то уж предоставят себе самим право выбора территории, то есть предложат народу принять в качестве «отечества» страну, выбранную не по его вкусу. Но воспроти-

виться требованию второго будет не так легко и просто. Ведь никто не воспротивится только ради того, чтобы данная местность навеки осталась незаселенной: воспротивиться могла бы та держава, которая сама имела бы виды на данную местность. Иметь виды на местность — значит рассчитывать на ее эксплуатацию, и притом, конечно, выгодную эксплуатацию. Выгодная же эксплуатация есть та, которая может дать наибольшие барыши при наименьших затратах: иными словами, основное условие для выгодной эксплуатации местности — это отсутствие или незначительность «трения», всякого рода препятствий для использования богатств края; каменистая почва, недостаток удобных гаваней, сильное и строптивное местное население — все это понижает «меновую ценность» края, так как все это создает затруднения для эксплуатации, обуславливает большие затраты и меньшие выгоды. Но в ряду таких препятствий для эксплуатации одним из самых сильных является именно упрочившееся на данной территории чужое влияние. Если другие пустили уже корни в ее почве, то в высшей степени трудным делом было бы выкорчевать их и заменить своими. Чужое влияние есть самое действительное «трение», самый значительный камень в почве, на устранение которого понадобится столько затрат, что эксплуатация этой почвы, по простому коммерческому расчету, уже никому не может показаться заманчиво выгодной. Капиталистические государства при захвате чужих земель руководствуются и могут руководствоваться только соображениями выгоды, а не идейными или принципиальными побуждениями, и всегда стремятся к захвату только таких стран, использование которых обещает большую прибыль и требует малых затрат. Или вернее: только *единовременных* затрат. Богатая держава ничего не имеет против того, чтобы выбросить сразу уйму денег на экспедиции, на изучение территории, на оборудование гаваней и городов, потому что все это затраты производительные, которые после окупятся. Но захват таких территорий, на которых в течение неопределенного времени придется вести борьбу с туземцами или с укоренившимся чужим влиянием, то есть сыпать деньги в хроническую прорву совершенно непроизводительных затрат, — такой захват всюду признается безусловно невыгодным предприятием, политической авантюрой, которая никогда не может окупиться. Это не исключает, конечно, возможности, чтобы такая авантюра все-таки совершилась и какая-нибудь из держав облюбовала для себя ту

местность, на которую мы приобрели уже экономическое и культурное влияние. Но в этом случае, чем сильнее будет наше влияние, тем труднее и дороже обойдется тому предполагаемому сопернику борьба с ним. Борьба эта не должна быть непременно кулачной: это будет борьба орудием экономического вытеснения и культурного преобладания, а при такой борьбе всегда в более выгодных условиях оказывается тот, кто раньше успел упрочить в данном крае свое культурно-экономическое влияние. Вся задача в том, чтобы успеть создать это влияние, прочное, сильное и доброкачественное: раз оно уже имеется, то никакая борьба не опасна, ибо есть возможность постоянного несокрушимого сопротивления, которое в конце концов должно привести противника к признанию чисто коммерческой невыгодности предприятия. Если же кроме влияния на месте учесть еще влияние крупной международной национально-еврейской организации, которая будет своим давлением извне поддерживать это сопротивление и ставить те или иные препятствия сопернику, то вопрос об успехе становится только вопросом времени и жертв. Но если вообще кто-нибудь из нас надеется проделать весь путь сионизма верхом на палочке в три часа с минутами и без огромных усилий и жертв, он сильно ошибается, да и не думаю, чтобы среди нас действительно имелись такие простаки.

Вывод из сказанного таков: как бы ни называлась страна будущего *Judenstaat'a*, но, если мы вообще хотим получить какую-нибудь территорию, мы должны ее заранее наметить и подготовить. Не наметив заранее территории и не упрочив на ней нашего влияния, мы, во-первых, предоставим *чужой воле* право выбора *нашего отечества*, что является, если вдуматься, чудовищным абсурдом, и, во-вторых, сами себя лишим ровно половины (если не более) шансов на успех. Все сионистское движение построено на принципе, который мы не устанем повторять как некое новое «Шма Исраэль»: делайте сами свою историю, — и было бы вопиющим противоречием этому основному принципу, если бы существеннейший момент всего движения, выбор той страны, где должна быть совершена колоссальная работа воссоздания еврейского государства, где еврейский народ должен будет обрести вечную пристань, мы сознательно предоставили такой случайности, как желание или расположение европейских дипломатов. Достаточно вникнуть в эту мысль, чтобы понять, может ли серьезное народное движение строить свои надежды на таких

основах. Территория должна быть намечена заранее нами. Но наметить еще мало: можно наметить и получить отказ. Чтобы действовать с уверенностью, надо вести захват намеченной территории одновременно с двух сторон, изнутри и снаружи, по строгому плану и в строгой организации дела. Так прорубаются туннели в горах: инженер дает точный план, и затем рабочие в один и тот же день начинают врезываться в гору с противоположных сторон, пока не встретятся, и тогда путь открыт.

Раз создана и усвоена необходимость наметить территорию заранее, остается выяснить, какая территория должна быть избрана для этой цели. Несомненно, та, на которой еврейское влияние, экономическое и культурное, может быть упрочено с наибольшей легкостью, если только вообще уместно произнести слово «легкость» в применении к движению, которое, как всякое национальное освобождение, потребует еще огромных усилий и тяжелых жертв. Здесь выражение «с наибольшей легкостью» значит только то, что эти усилия и жертвы должны пасть на ту почву, которая для них наиболее благоприятна и плодородна. Что же это за «почва» и каким условиям должна она удовлетворять? Есть, конечно, люди, которые на этот вопрос ответят: «Прежде всего, нам должны позволить работать на этой почве. Это есть первое условие». Не будучи вовсе поклонником прошибания лбом каменной стены, я, однако, нахожу безусловно невозможным считаться с таким доводом. Где народ делает свою историю, там не может играть руководящей роли чужое согласие или несогласие. Иначе мы должны бы заключить, что если нам вообще «не дозволят» работать ни на какой территории, то мы смиримся и совсем откажемся от мысли добиваться для себя земли? Допустить, что при выборе территории мы можем принципиально считаться с чужим согласием — значит опять в конце концов предоставить чужому вкусу выбор нашего отечества. Несомненно, в зависимости от того, «позволят» нам или не позволят, должна будет измениться наша *тактика*, работа может пойти быстрее или тише, тайно или открыто, но такой кардинальный, основной момент движения, как выбор территории, должен и может быть только чисто принципиальным. Условия, необходимые для того, чтобы данная территория была нами избрана и намечена, должны соответствовать *нашему* активно национальному настроению, ибо если этого не будет, то никакое позволение не даст нам силы вести организованную работу.

Надо к тому же вспомнить, что никогда захват влияния на какой бы то ни было территории не совершался и не мог совершиться с разрешения начальства, а всегда наперекор его сопротивлению. Для этого только нужны определенные условия: извне — сильная и влиятельная, как уже говорилось, организация с крупными денежными и идейными средствами и с непоколебимой волей к овладению раз намеченной территорией, несмотря ни на какие временные неудачи, во что бы то ни стало, изнутри же — крупная армия «своих людей», достаточно культурных, экономически самостоятельных, организованных и твердо преданных национальному делу, людей, которые взяли бы на себя роль проводников и укрепителей нашего всестороннего влияния в остальном некультурном населении страны.

Здесь будет уже излишним в десятый раз повторять, что единственной страной, способной ответить всем этим условиям, является Палестина. Пришлось бы снова указывать на то, что в Палестине живет около 80 тысяч евреев и что это составляет около 11 процентов всего тамошнего населения, то есть больше, нежели в какой угодно другой стране, что эти 80 тысяч теперь невежественны и экономически беспомощны, но школа и организация трудовой помощи в течение десяти лет способны коренным образом перевоспитать все молодое поколение этой массы; что местное арабское население совершенно некультурно, и потому евреи, которые и в самых просвещенных странах, будучи горсточкой, умеют достигать известного влияния, особенно легко приобретут его здесь, тем более что по магометанскому преданию Палестина должна принадлежать Израилю; что в Палестине у нас уже есть как-никак тридцать колоний, банк с отделениями, частные земли в разных местах и даже кое-какие промышленные предприятия; что, наконец, имеется в народе исконное тяготение к Палестине, наличности которого не отрицают и территориалисты и которое способно дать нашей работе над организованным захватом Св[ятой] земли прочную устойчивость, создавая противовес приливам уныния при временных неудачах. Повторять это подробно было бы скучно. Мне вообще представляется неоспоримым, что стоит только хорошо вникнуть в мысль о *необходимости заранее наметить и подготовить территорию*, как Палестина сама собою выступает в качестве единственной возможности. Вести упорный, настойчивый, планомерный захват какой-либо другой территории, которой

«не отдают», и добиваться таким путем чартера на нее, — эту перспективу любой территориалист признает совершенно дикой. Ведь «при равных условиях» и территориалист предпочел бы Палестину, а тут именно и создается это равенство условий. Ежели все равно брать борьбою, «без разрешения», то уже само собою Палестину, потому что при этом положении дела совершенно немыслимо пренебречь таким плюсом, как психический фактор неоспоримой, хотя бы и «романтической», связи народа с Палестиной. Территориализм по самой своей сущности немыслим без дозволения подлежащего начальства. Не думаю, чтобы нашелся добросовестный территориалист, который стал бы оспаривать эту истину. А между тем из этой истины следует, что, ежели бы, не дай Господи, дозволения в конце концов все-таки не получилось, территориализм был бы с огорчением вынужден отказаться от решения еврейского вопроса. Вся надежда на чужую добрую волю — и это называется народная самостоятельность! Территориалисты вольны обижаться, когда им говорят, что их родила Уганда, но правда остается правдой: пусть только развеется этот призрак уже готового «дозволения» — и любопытно будет посмотреть, что за реальный остаток останется от новомодного Давидова щита с надписью «Эрец».

Но допустим на минуту и Уганду. Допустим, что на 7-м конгрессе Уганда оказывается подходящей во всех отношениях, английское правительство дает самую широкую автономию, ИКА предлагает нам все свои миллионы и мы единогласно постановляем: *Judenstaat* будет создан в Восточной Африке. Начинается работа. Процесс, как уже выяснено, длительный. Я не пессимист и не исчисляю продолжительность его столетиями: напротив, я оптимист и считаю на десятилетия. В Либерию за 80 лет стеклошь около двух миллионов негров, в Новую Зеландию за 60 лет переселилось 750 тысяч эмигрантов, а в Австралию за 100 лет — целых 4 миллиона. Я не предрешаю вопроса о том, сколько миллионов евреев переедут в *Judenstaat*, но лет в 50, полагаю, постройка его будет закончена в том смысле, что создастся достаточно развитая промышленная жизнь, которая позволит туда переселяться всем нуждающимся в эмиграции евреям галуца. Но в течение этих 50 лет надо будет, как уже говорилось выше, систематически и всесторонне индустриализировать совершенно неподготовленную страну, — иными словами, «посылать каждый раз определенное и строго ограниченное число работников и только

постепенно увеличивать это число, то есть *вести мелкую колонизацию*... Массы должны будут по-прежнему остаться на старых местах до того дня, пока не станет возможной массовая иммиграция, то есть пока страна не станет настолько индустриализованной, чтобы для всех нашелся заработок... На это уйдет не пять и не десять лет, а приблизительно промежуток целой человеческой жизни». В течение всего этого долгого времени должна будет, значит, действовать сильная политическая организация, то есть объединенный еврейский народ. Духовная жизнь народа в каждый данный период не может не быть отражением его реальной жизнедеятельности; если еврейский народ в течение 50 лет будет напряженно и сознательно работать над постройкой своего национального будущего, то и настроение его, соответственно этому, не может не быть ярко национальным. Будет все расти и расти самосознание, самоуглубление, самоизучение. На первый план в воспитании народной психики выдвинется национальная история и история национальной культуры — выдвинется совершенно неизбежно, в силу исторического закона: духовные переживания отражают реальную потребность. Примеры всех народов это подтверждают: в эпохи национального самоосвобождения проявляется особый интерес к историческому и культурному прошлому нации. За полвека назреет, считая на русский лад — по десятилетиям, пять поколений. Эти поколения будут воспитываться в национальной атмосфере и будут поэтому на каждом шагу слышать и склонять имя Палестины. Они сроднятся с той научной истиной, что еврейская психика сложилась в Палестине. Они затвердят, что история еврейского народа начинается и кончается Палестиной, а все дальнейшее есть только история того, что другие народы проделывали над евреями. Они всосут с молоком матери сознание, что величайшие этические ценности, вошедшие в сознание всего цивилизованного мира, созданы были нами в Палестине, а вне Палестины мы только записывали, разъясняли да ремонтировали старое, палестинское, или вовсе уходили обрабатывать чужие виноградники. Они узнают и шаг за шагом проследят, как на всем своем долгом пути сквозь строй галута еврейский народ повторял имя Палестины, словно заклинание против вражьей силы, сделал из нее щит национальной индивидуальности и само сохранение этой индивидуальности рисовал себе в виде возврата некогда в Палестину. Национальное воспитание неотделимо от Палестины, как слова Торы неотделимы

от ее пергамента, огонь от очага, и нельзя читать Писание, не видя пергамента, или греться у огня, не приблизившись к очагу. Атмосфера национального воспитания пропитана Палестиной, и в этой атмосфере наши поколения будут вырастать и будут затем приносить свои силы на работу для восстановления и обновления того, что было в Палестине. Эта Палестина ведь не исчезнет тогда с лица земли: она будет тут же, на географической карте, определенная и осязательная, и они будут знать, что она заброшена и пустынна, а еврейский народ строит себе новый дом в другой стране, потому что султан не пускает... Вдумайтесь, и вы поймете, что это был бы за диссонанс. Если бы заселение Уганды можно было совершить залпом, сразу, то, конечно, за шумом массового переезда о диссонансе можно было бы и не вспоминать. Но при длительном постепенном процессе, требующем выдержки и вдумчивости, этот хронический диссонанс изо дня в день вносил бы разлад в общее настроение, ослаблял бы напряженность воли и работы, ибо невозможно, чтобы при таких условиях, когда внимание народа должно быть сосредоточено в течение десятилетий на систематическом восстановлении палестинского прошлого, у работников этого дела не возникла неотвязный вопрос: почему же не в Палестине? почему не уломали этого упрямого султана? или, может быть, еще и теперь не поздно?

Есть, конечно, многие, для которых все это «романтика». Они, пожалуй, согласятся, что процесс создания *Judenstaat*'а повысит национальное самоуглубление и что при этом слово «Палестина» будет часто склоняться, но отсюда еще не вытекает, по их мнению, ни диссонанс, ни разлад. Будут читать о Палестине, а работать в Уганде — ну, что же за беда? Мне знакомы такие взгляды, и на меня они всегда производят впечатление большого легкомыслия. «Социальное воспитание», то есть сумма впечатлений, воспринимаемых каждым индивидуумом из данной среды, есть могущественный исторический фактор; каждый из элементов этого социального воспитания впитывается в сознание масс как нечто неискоренимое и становится для них как бы стихийным гипнозом, «психологией толпы». Вообще, легкомысленно думать, что народ, социальное воспитание которого в течение 1800 лет укореняло в его психике связь с Палестиной, может освободиться от этой связи через два поколения только потому, что эти поколения читали немецкие и русские книги. Вся жизнь иначе бы шла на земле, если бы так легко улечивались психические пережитки.

Этого не бывает. Можно а priori поручиться за то, что химический анализ психики любого даже из наших ассимиляторов, будь возможен такой анализ, обнаружил бы и в ней сильные корешки этой связи с Палестиной, — конечно, заглушенные, придавленные посторонними налетами, ослабленные оторванностью от еврейской среды. Наследственность тысячелетий может быть искоренена только веками, и забывать об этом, ссылаясь на то, что я, Хаим или Мендель, никакой такой связи не чувствую, — значит полагать в истолкование истории не массовые факторы, а свое обывательское настроение. Но тем более в процессе напряженной и сознательной национальной работы такой яркий элемент социального воспитания в духе народности, как Палестина, не может не вызвать массовой психической связи между национальным настроением и идеей Палестины. И если эта связь на практике будет хронически опровергаться, ибо дело, ведущееся, так сказать, во имя Палестины, будет создаваться на другой территории, то этот диссонанс явится вполне осязательной, вполне реальной помехой работе, раздваивая и понижая активное настроение.

Но любопытнее всего следующее. Вообразите на мгновение, что прошло 10 лет с того дня, как 7-й конгресс принял Уганду и там уже кое-что сделано, — и вдруг... султан согласен. Является великий визирь и докладывает, что падишах согласен. В этом нет ничего несбыточного: может вступить на престол новый султан или просто подействует пример Англии, которая нашла же выгодным для себя приютить *Judenstaat*... Как быть тогда? Брать или не брать? С одной стороны, жаль бросать начатое в Уганде: затратили деньги и усилия, а теперь все другим достанется. Но, с другой стороны, при таком казусе уже неизбежен целый взрыв исконной еврейской любви к Палестине — и против этого ничего не может иметь ни один территориалист, ибо тогда ведь это будет с дозволения начальства. Трудно не понять, что при наличии этого позволения уж наверно нельзя будет удерживать народную волю на Уганде и по-прежнему игнорировать Палестину. Кое-кто вспомнит тогда славные времена теории *Nachtsyl'*¹ и предложит, поплевав на руки, взять да учинить два государства, но могу безошибочно предсказать, что «этот номер не пройдет». Делать нечего: придется бросить начатое в Уганде и приняться за Палестину. Однако ежели через три года сул-

¹ См. прим. к с. 15.

тан передумает и возьмет свое позволение обратно? Вещь опять-таки вполне возможная в турецком климате. Что тогда? Ясное дело, снова придется бросить Палестину и вернуться к Уганде. Но что как англичане тогда уже не захотят вторично отдать нам Уганду? В высшей степени, как видите, запутанное положение...

Впрочем, возможно и еще более запутанное положение. Нет никаких причин для того, чтобы примеру Англии никто не последовал. Напротив, если выгодно для англичан, то почему не выгодно для немцев, итальянцев, французов, бельгийцев или даже для русских? У всех у них, кажется, есть обширные пустыри под разными широтами: возни много, а заселить некем. Сплошь и рядом правительства заывают переселенцев на такие земли, предлагая всякие вольности и льготы. Можно почти наверняка побиться об заклад, что, если бы мы только приняли Уганду и начали в ней серьезно работать, к нам стали бы поступать и другие предложения. Не потому, чтобы мы были всюду особенно желанными гостями, а потому, что все-таки лучше заполнить пустырь хотя бы жидами, чем оставить его втуне. Как же быть, ежели на второй или третий год нам не то что прямо предложат, а дипломатически дадут понять, что не прочь были бы предоставить нам чартер на какую-нибудь Уганду-2. И если притом еще будет доподлинно известно, что эта вторая Уганда удобнее первой: климат, допустим, более умеренный, туземцы менее свирепые и к морю гораздо ближе? Случись такое событие, мы не имели бы решительно никакого основания и права отказать от детального рассмотрения этого нового проекта. В самом деле: почему мы предпочли Уганду Палестине? Потому что Уганда по сумме природных, политических и т. п. условий была признана более удобной и выгодной. Но вот перед нами третья территория, еще более удобная и выгодная. Правда, в Уганде-1 мы уже затратили два-три года усилий, но, может быть, преимущества Уганды-2 так велики, что гораздо выгоднее бросить начатое и взяться за новую страну, чем остаться при первой Уганде? Раз только допущен принцип выбора территории по сравнительной выгодности, тут уже нельзя останавливаться: сколько бы ни представлялось новых комбинаций, надо все их серьезно рассматривать и немедленно бросать одну, если другая настолько выгодна, что обещает покрыть даже издержки по первой и дать еврейскому народу еще более удобное и плодородное отечество. Раз мы взялись раздобыть себе родину

приятную во всех отношениях, то уж прямой наш долг перед народом требует, чтобы мы выбрали самую что ни на есть приятную. Тут нельзя считаться с такими мелочами, как два, три или пять лет уже затраченной работы: ведь территория нам нужна не на срок, а навеки, а что такое пять лет в сравнении с вечностью? Если выбирать, то уж выбирать до конца. Я говорю это совершенно серьезно, потому что это прямой естественный вывод из основного абсурда — из нелепого положения народа, который «выбирает» себе родину в зависимости не от своего исторического тяготения, а от настроения богдыханов и дипломатов...

Так не ведут серьезного народного движения. Абдул-Хамид сегодня не согласен, а завтра может захотеть. Надо быть ослепленными, надо растерять всякое чутье и понимание хода и смысла истории, чтобы придать таким посторонним и совершенно случайным комбинациям значение *решающего момента* в стихийном народном движении, дящемся под разными формами почти двадцать столетий. Только в самом себе, в своих основных признаках и элементах может народное движение черпать себе направление и руководство. Путь нашего скитания, пройденный во имя Палестины, с первого шага до последнего полный культа Палестины, может завершиться только в Палестине. Свернуть с этого пути — значит выйти из исторической колеи, сбиться с дороги и заблудиться. Пока мы пассивно переживали историю, мы не ответственные за свои шаги и шли туда, куда нас толкала чужая воля, но с того мгновения, как мы начали новую эру самостоятельности, мы не можем больше руководствоваться чужими толчками — мы должны творить свою историю сами во всем и до конца, ибо нет и не может быть иного исхода.

Мне хочется ответить еще на два сомнения, которые, быть может, возникнут у читателя. Первое из них то, что в Уганде как-никак можно было бы сейчас приступить к «индустриализации», то есть немедленно дать заработок хоть небольшим группам еврейской бедноты, а в Палестине прежде придется «упрочить влияние» и только потом можно будет начать привлечение еврейских работников для промышленного оживления страны. Дело в том, что разница эта кажущаяся. «Влияние» предполагает те же приемы, какие нужны и для подъема промышленной жизни: закупку и обработку земли, учреждение ферм, колоний, мастерских, фабрик, торговых заведений и (последнее по месту, но не по важности) школ сначала для

еврейского, а потом, быть может, и для арабского населения. Для всего этого понадобятся еврейские рабочие руки сейчас же, как только начнется долгожданная реальная работа в Палестине. Конечно, благодаря тамошним политическим условиям придется вести эту работу не в таких размерах и не так быстро, как бы хотелось: кроме того, и работников придется привлекать не столько из диаспоры, сколько из коренного палестинского еврейства, но главное то, что попутно с ростом нашего влияния будет само собою расти и промышленное оживление Палестины, и нам вовсе не придется, покончив с первой задачей, начинать вторую с азов.

Другое сомнение — относительно того, можно ли вообще работать в Палестине при нынешних условиях, то есть гарантированы ли мы, что сделанное или приобретенное там не будет у нас по первому капризу отнято. Я полагаю, что устранить это сомнение вполне будет зависеть от нас. Раз у нас есть организация, то она должна добиться на первых порах хотя бы отмены иммиграционного запрета и предоставления нашему банку некоторых концессионных льгот. Это не так трудно: мы видим, что державам и посильнее Турции приходится, по настоянию извне, отменять запреты въезда иностранным евреям. Такие наши ходатайства в Константинополе всегда охотно поддержат Англия и Америка, которые ради собственной пользы будут рады открыть новое, хотя бы маленькое русло для еврейской эмиграции. Пусть это будет первым шагом к чартеру. Где нельзя получить конституцию сразу, там ее вырывают по частям... Но и до того нет никакого сомнения, что сидеть сложа руки не приходится. В Палестине трудно действовать, но *трудно* не значит *нельзя*. «Трудно» значит только то, что каждый шаг будет обставлен препятствиями, затруднениями, сетью формальностей — это все только замедлит наше дело, но не убьет его, и то, что будет нами приобретено или устроено с соблюдением всех формальностей, уже не может быть у нас отнято, тем более что и теперь уже все операции совершаются на имя банка, обеспеченного покровительством Англии. Полагать, что у нас вдруг отнимут, например, земли, на которые у банка имеется законная купчая крепость, немислимо: этого ни одна великая держава себе не позволит, не то что Турция, и британское правительство ради собственного престижа не потерпело бы такой обиды учреждению под английской фирмой. Столько же можно было возразить против пугающей многих в будущем опасности турецких погромов,

если бы мне вообще не казалось странным и неуместным говорить о гарантиях. Гарантий вообще не может быть нигде — даже в Уганде. Чем мы «гарантированы», что Англия через десять лет не скажет нам «стоп», если, например, в Уганде будут найдены такие же золотые россыпи, как в Трансваале? Чем мы «гарантированы», что через пятнадцать лет другая держава не победит Англию и не отберет у нее Уганды, как отобрала Германия у Франции Эльзас. Все это вполне возможно, и все это снова напоминает и повторяет нам ту же заповедь: делайте сами свою историю, надейтесь на себя и не ждите никаких гарантий, ибо единственную гарантию нашего будущего можем дать себе только мы сами.

II

РАБОТА В ПАЛЕСТИНЕ

Я не буду здесь говорить о той организованной работе в Палестине, начало которой, мы надеемся, положит VII конгресс. Тогда в Палестине начнутся закупки земли, будут командироваться туда особые агенты, учредятся бюро, устроятся фабрики и т. д. Все это — дело VII конгресса, то есть, вернее, дело нашей подготовки к VII конгрессу. Если мы хотим, чтобы реальная работа началась, мы создадим большие массы избирателей, которые этого желают, и пошлем в Базель делегатов, которые это постановят.

Но теперь я хочу говорить не о работе конгресса, а о работе отдельных личностей. Вообще, я далеко не стою за то, чтобы право на участие в движении принадлежало только тем, которые пламенно и беззаветно преданы, — напротив, всегда найдется дело и для «тепловатых». Но здесь я пишу для отборных из отборных, для тех, которые готовы на все страдания, на все опасности и жертвы. Нас укоряли долго за то, что наше движение будто еще не освящено ни одним мученичеством. Однажды в Берне было собрание, в котором противники сионизма повторили этот укор и гордились перед нами количеством своих страдальцев. Тогда поэт-сионист Бертольд Фейвел рассказал этим противникам повесть, полную без конца мук и лишений, героизма и самопожертвования, и наши противники слушали его, затаив дыхание, забывая шевельнуться.

Это была история билуйцев. Надо повторить эту историю, и настала пора сделать новое БИЛУ.

Не будь политического сионизма, не было бы ни смысла, ни нужды в новых билуйцах. Но для того чтобы политический сионизм завоевал евреям Палестину, евреи должны полить ее своим потом. Так поступают все культурные народы, когда хотят укрепиться на данной территории: они наводняют ее своими работниками. То же сделаем теперь и мы, если отборные нашей молодежи не побоятся труда и лишений ради Палестины и возрождения. Что не побоятся, видно уже и сейчас: поход сам собою начался, из разных мест доходят слухи о группах молодежи, собирающихся или уехавших в Палестину. Это не туристы, а бедняки: они едут оживить нашу землю работой. Одни там устроятся, другие, промаявшись несколько лет, вернутся назад, но за эти несколько лет они сделают свое дело, отбудут свою народную военную повинность.

Это — военная повинность. Много веков уже не было у еврейского народа собственных солдат, теперь им подошло время. Кто идет в солдаты в военное время, тот, если любит родину, не задает вопросов, будет ли ему в походе сытно и тепло. У нас тоже военное время, и пусть наши ратники будут готовы на тяжелый труд и на голод и холод. Тем более что найдутся такие, которым нечего терять; а надрываться под тяжестью и молотить зубами черствый хлеб все-таки лучше в Палестине, чем где бы то ни было. Но я верю, что мы найдем не только таких, кому нечего терять. Пойдут и из уютных домов, ускользнут и от прибыльной карьеры, найдутся и девушки, и тоже не побоятся. Да и чего бояться? Разве сотни еврейской студенческой молодежи не голодают и не зябнут по разным чердакам университетской Европы? И разве телесный труд и чистый воздух поля не нужны нам, малокровным, тонкокожим, узкогрудым? Многие вернутся назад бодрыми, сильными, здоровыми, какими никогда не бывали. И ничего, что вернутся назад: они принесут с собою любовь к Палестине и привьют ее другим, а сами, когда настанет день, снова появятся там, на местах своей юношеской работы; ибо невозможно, чтобы тот человек, который посеял зерна, не пришел ко дню жатвы. Пусть только будет у нас закон: три года молодости каждый из нас должен отдать на «военную службу» еврейскому народу в Палестине.

Что там делать — это выяснится не мною. Будут созданы справочные и организационные бюро, завяжется обильная

и систематическая переписка с палестинским еврейством, которая принесет нашему делу двойную пользу. Чем больше внимания с нашей стороны увидит тамошняя молодежь, чем яснее почувствует она единство между собою и нами, тем громче заговорит в ней и национальное, и человеческое самосознание, стремление к просвещению и самодеятельности. Мы же, благодаря этой переписке, незаметно и почти без труда накопим очень ценный статистический материал. Мы получим сведения о настроении тамошнего населения, об отношениях между отдельными его слоями, между евреями и неевреями, об умственном развитии, о грамотности; узнаем, на что они надеются, чего хотят, в чем нуждаются, довольны ли своими школами и чем в них, собственно, недовольны, как относятся к нашему движению, что читают; мы, наконец, приобретем там в разных пунктах знакомства, так что переселяющиеся туда будут знать, к кому на месте обращаться, и вообще будут являться туда уже с некоторым знанием страны и среды. Выяснятся все подробности, о которых я теперь мог бы говорить только в общих чертах. Надо ехать туда, а работа найдется, но это будет работа тяжелая и скупая, и надо быть готовыми на все.

Мне теперь ясно только то, что вся эта работа потечет по двум главным руслам, сообразно двум основным задачам. Первая из них — создать в Палестине местное национально активное поколение, самостоятельное, сплоченное и культурное. Это, собственно, важнее всего; но велика и другая задача — добиться, чтобы все, строящееся в Палестине для еврейских целей, строилось еврейскими руками. В Палестине грозит повториться обычная история: еврей вкладывает ум, а физический труд приносят другие, и понятие «еврей» сливается с понятием «эксплуататор». Надо идти отдавать самих себя под ярмо этой эксплуатации, чтобы еврейские виноградники и поля возделывались еврейским, а не арабским трудом. Если мы верим, что ядром нации является ее рабочий, мы не можем допустить, чтобы у еврейского народа в Палестине не было этого ядра. В XII книжке нашего журнала (1904 г.), в статье г-на Усышкина, вы найдете подробные сведения об этой стороне будущей работы — суровой и тяжелой работы за ничтожную плату. Но и такой работы хватит не больше, как на девять или десять месяцев в году. В августе и сентябре, когда полевых занятий нет, придется перебиваться как-нибудь иначе, и тут, несомненно, случится недоедать. Но за это время, кочуя в поисках заработка, вы ознакомитесь с краем, а это очень

важно. Посмотрите, в чем одно из главных преимуществ японцев: они раньше изучили через своих эмиссаров решительно все — все мелочи топографии, состав населения, разные языки, обычаи и настроения того края, с которым теперь им пришлось иметь дело. Это важно не только для грубой физической войны: в культурном завоевании, которое предстоит нам, победа останется за тем, кто приобретет больше влияния в крае, а получить влияние — значит раньше до тонкости изучить все стороны характера страны и населения.

Но высшей и важнейшей из наших задач в Палестине будет первая: добиться, чтобы тамошнее наше население из невежественного, экономически зависимого, разрозненного и малосознательного — стало просвещенным, приобрело трудовую самостоятельность и объединилось прочным национальным самосознанием. Тогда оно среди малокультурных остальных групп местного населения получит первенство и силу.

Отсюда вытекает сущность основной нашей миссии в Палестине: учить. Мы должны заполнить и переполнить, за самую ничтожную плату, все города, деревни и закоулки Палестины, где только есть евреи, молодыми и толковыми учителями и учительницами. Надо фактически ввести у тамошних евреев всеобщее обязательное обучение, которое всегда было и будет главным условием национальной непобедимости. Кто только чувствует себя годным к учительству, девушки и юноши, пусть готовятся к этому виду нашей военной службы: надо овладеть хорошо еврейским языком, изучить фребелевские руководства, разработать нормальную программу начального школьного образования в национальном и общечеловеческом духе. Надо насытить и пресытить еврейскую Палестину школами: если невежественное гетто будет сначала чуждаться наших учителей, надо усилить предложение, чтобы вызвать наружу существующий, но искусственно подавленный спрос на школы; надо довести предложение учительского труда до такой степени, чтобы школа проникла во все поры населения, чтобы наконец действительно не стало школьников для новых школ. Надо идти напролом, очертя голову, как азиаты на приступ, как саранча на огонь: принести в жертву без всякой жалости первые ряды, чтобы через тысячи неудач все-таки дойти до нашей цели и дать Палестине через несколько лет сильное, культурное, сознательное, образцово сплоченное молодое еврейство, которое сыграет тогда для политического сионизма роль отборного передового отряда —

уже внутри той самой крепости, которую мы задумали взять правильной планомерной осадой.

Идите в Палестину и не шумите об этом: не твердите об успехах, когда будут успехи, не кричите о планах. Но о самой стране, о ее покинутой и родной красоте говорите евреям горячо и много, чтобы они вспомнили. Если многим из вас после трех лет «военной службы» придется вернуться назад, пусть они заразят окружающих своей любовью, пусть рассказывают о Палестине умирающим старикам и малым детям в колыбели. Пусть не останется того еврея и того дня, когда бы этот еврей не слышал о Палестине и не думал о Палестине. Тогда вы получите громадные результаты. Вы увидите, как еврейские толстосумы поплывут в Палестину искать той наживы, за которой они до сих пор гнались по чужим землям. Пусть. Это нужно. Вы увидите, как наша ассимилированная молодежь, те агрономы и техники, что теперь, окончив курс, разбредаются для практического усовершенствования Бог знает куда, постучатся за практикой у ворот Палестины. Вы увидите, как туда нахлынут еврей-туристы, просто посмотреть, как Швейцарию, или провести лето, как на курортах Ривьеры, и даже свадебные путешествия буржуазных еврейских парочек изменят Венеции для Яффы. Пусть, это все нужно. Каждая песчинка золотой пыли, которую оставят на том берегу эти сытые люди, будет увеличивать оживление края, призывать новые рабочие руки, усиливать и укреплять ваше влияние. Так вы снова свяжете и сродните две разрушенные, вечно друг о друге тоскующие доли одного живого целого: дом Иакова и землю Израиля.

«В дорогу, дом Иакова! И мы пошли».

Владимир Жаботинский

Еврейская жизнь. 1905. № 1. С. 49–72



Вскользь

Петербург

Смотрел г-на Орленева в «Привидениях».

Пьеса шла в театрике Неметти — «в 10-й раз в России», как гласила афиша: этот город привык отождествлять себя с Россией и думает, что если драма ставится в десятый раз в Питере, то уж это и для всей России только десятый раз.

Однако неблагодарная Россия на этот раз сплеховала — театр был пуст.

Но г-н Орленев, бесспорно, очень хорош.

Я видел до сих пор только одного исполнителя этой роли — Дзаккони.

У того Освальд был как-то человечнее: артист придал ему кое-какие слабости, ярко оживившие эту несколько схематическую — как всегда у Ибсена — фигуру.

Несколько мелочей: когда в первом действии Освальд говорит Регине: «Я пойду тебе помочь», а через минуту из столовой доносятся ее слова: «Оставьте меня! Что вы делаете?», — Дзаккони произносит эту фразу как-то полужащено, полувиновато, полуплотно, чтобы сразу было видно, для чего молодой барчук идет «помогать» хорошенькой горничной.

Точно так же в третьем действии, где Освальд восхищенно указывает матери на Регину:

— Посмотри, как она сложена! Как она ходит!

Дзаккони вкладывает в эти слова что-то старчески чувственное, несколько даже пьяное. Чувствуется «призрак» порочного отца в несчастном сыне и чувствуется, как жадно нужна этому разлагающемуся организму близость здорового и свежего существа.

Кое-где Дзаккони прерывает монотонность угнетенного и подавленного настроения своего героя вспышками бешенства.

— Да разве я просил тебя дать мне жизнь?! И какую жизнь ты дала мне?! — отчаянно кричит он матери уже заплетаящимся языком, чтобы после этого взрыва опять заговорить однообразно — глухим тоном осужденного на смерть.

У Дзаккони вообще среди множества чисто клинических деталей, отчасти излишних, были и такие, которые прекрасно подготовляли катастрофу.

Ведь вся драма разыгрывается в течение одних суток, и в первом действии Освальд все-таки еще крепко держится. Надо показать нарастание того, что через 24 часа выбросит его из мира живых.

Ибсеном дан для этого материал, только надо уметь им воспользоваться.

— Мы должны избегать излишеств и волнений, — сказал Освальду врач в Париже.

Дзаккони подчеркивает волнения и излишества. Он ярко проводит сцену с шампанским: Освальд очевидно пьянеет,

несколько раскисает и становится в то же время болезненно суетлив.

Еще больше отмечено Дзаккони все, что могло взволновать Освальда: пожар приюта, уход Регины.

Особенно выделяется в этом отношении одна частность: при вести о пожаре женщины и пастор бегут туда, а Освальд на переднем плане растерянно мечется из угла в угол, бестолково хватаясь за ненужные предметы, спотыкаясь, бормоча и ломая руки.

Все это, накапливаясь, как удар за ударом, придвигает и уясняет катастрофу, которая, таким образом, не кажется внезапной.

Г-н Орленев играет Освальда иначе и, пожалуй, бледнее.

Его тип однообразнее. Вспышек бешенства или чувственности нет.

Все выдержано в тоне глубокого, тихого, безнадежного, *рассудительного* отчаяния.

Выдержано образцово — в жестах, в походке, в мимике, в тоне голоса, в интонациях.

Но — по-моему — почти никакого нарастания. Освальд входит в первом акте, стиснутый и как бы дисциплинированный сознанием гибели, и таков же он в последнем объяснении с матерью.

Почти одним и тем же тоном он говорит в первом действии пастору:

— Я не нашел ничего неправильного во внебрачных семьях.

И в третьем действии матери:

— Ну, какая ты мне мать? Ты будешь спокойно смотреть на мои страдания?

Тон как бы гробовой, морозный, в котором чувствуется почти уже бесстрашие смерти.

Самый конец в исполнении г-на Орленева меня не удовлетворил.

— Солн... солн... — лепечет он невнятно, причем голова больного не держится прямо и падает то вправо, то влево, как у грудного ребенка.

Мне гораздо больше нравилось это же место у Дзаккони: Освальд сидит прямо, неподвижно, смотрит перед собой глазами без смысла, без цвета, без взгляда; все лицо его как бы распряглось, распустилось, ослабло: это почти веселое лицо, и он выкрикивает голосом без всякого выражения:

— Солнце. Солнце. Солнце.

Произношение слегка пришепетывающее, — и громкий, полурадостный, мерный возглас идиота производит особенно гнетущее впечатление в этом воздухе отчаяния. Чувствуется, что тот, кто за минуту до этого был Освальдом Альвингом, унес с собою во мрак духовной смерти из всех впечатлений жизни только это слово — последнее, которое коснулось его ушей в царстве живых, за мгновение до катастрофы...

Что хорошо вне всяких сравнений — это орленевская мимика. В ней столько *стиля*, что по этому образцу можно было бы обучать драматических воспитанников.

Беда то, что другие исполнители неважны. Регину играет г-жа Назимова, у которой хорошо выходит кокетливая испорченность девушки, но не проступает глубокая злая воля, холодное бессердечие. Г-жа Горева — фру Альвинг — за пределами критики. Я, впрочем, убежден, что когда «Привидения» привыются в России, лучшие артистки будут наперебой хвататься за эту оригинальную, красивую, мощную, «ермоловскую» роль.

Но г-н Орленев, конечно, заслоняет неудачных партнеров. Стоит посмотреть и раз, и два. И тем не менее на десятом представлении пусто...

Зато у г-жи Яворской полным полно. Идет «Пляска жизни» г-на Барятинского — идет уже в 75-й раз «в России».

Я пошел поглядеть.

Странно: когда пишешь о г-же Яворской и г-не Барятинском, чувствуешь себя всегда ужасно связанным. Все боишься, что заподозрят в пристрастии, скажут:

— Понятно! Это у них принято: раз Яворская — ругать.

Право, я ничего не имею против г-жи Яворской. Напротив, полюбовавшись уютными фойе Нового театра («настоящее гнездышко!» — сказала бы дама), я пришел в самое теплое настроение и от всего сердца желал, чтобы пьеса его не испортила.

Но что же поделать, когда пьеса плоха и г-жа Яворская тоже?

Пьеса — из великосветской среды, которой очень достаётся, хотя г-н Барятинский не внес ни одной новой черты в свою сатиру, а ведь он хорошо знает аристократический мирок. Героиня — княжна, которая встречается с молодым агрономом и научается от него любить деревню и ее *rauvre*¹ народ.

¹ Бедный, нищий (фр.).

Впрочем, мезальянса не выходит: княжна любит своего жениха, рамолированного¹, но весьма благородного графа; она только убеждает его переселиться в деревню, а агроном будет там управляющим. *Honni soit qui mal a pense*².

Все это скучновато, неискусно — прежние пьесы г-на Бяратинского гораздо живее. Раздражает обычная у этого автора покорность интимным соображениям: г-жа Яворская танцует кэк-уок — валяй кэк-уок, лезгинку — валяй лезгинку, и ради того вся пьеса озаглавлена, ни к селу ни к городу, «Пляска жизни»; во втором действии минут десять подряд говорится о какой-то розовой кушетке, которая решительно никакой роли не играет во всей пьесе, и ничем этой кушетки себе не объяснишь, если не предположишь предварительно такой беседы между артисткой и автором:

— Я так люблю эту розовую кушетку! Надо как-нибудь всунуть ее в пьесу.

— Можно. Готово!

Г-жа Яворская танцует и кэк-уок, и лезгинку действительно с большой грацией, но играет скверно. Всякая азбучно либеральная фраза выговаривается лицом к публике, воплем, с очами, воздетыми горе. Во всем этом такая провинция, такая провинция...

А идет в 75-й раз в сезоне, и театр всегда полон, и туземцы говорят приезжим:

— А вы еще не были на «Пляске жизни»?

Я готов даже признать, что такой успех пьесы, в которой как-никак достается патрициям, заключает в себе (хоть и в крохотной доле) нечто граждански отрадное.

Но не могу не высказать того, что давно мне издали казалось и что блестяще подтверждается неуспехом «Привидений» и успехом «Пляски жизни»: этот город, конечно, очень умен во многих отношениях, но в понимании драмы он долго еще будет захолустьем...

Altalena

Одесские новости. 1.02.1904

¹ Здесь: изнеженный, праздный, тепличный (от *фр.*: *gamollir* — размячать, расслаблять).

² Да будет стыдно тому, кто об этом дурно думает (*фр.*) — девиз ордена Подвязки.


Чугун

Как-то совестно минутами сидеть у стола в теплой комнате и строчить безопасные строки, зная, что в то же время на востоке одни люди убивают других людей.

Неприятно философствовать, орудуя мыслью над мертвыми телами.

Но, в конце концов, молчанием ничего не поправишь, и так как сейчас, в день, когда я пишу, с арены войны уже давно не приходит сенсационных известий, воспользуемся такой передышкой, пофилософствуем об этой войне.

Чем больше думаешь о ней, тем становится яснее, какое это громадное в мировом смысле событие. Нечто такое — невольно думается иногда, — с чего потомки будут, пожалуй, считать новую эру.

Я говорю не о так называемой войне двух миров — белого и желтого. Мне кажется, что с этой стороны война не будет иметь решающего значения: по крайней мере нет еще данных, которые позволяли бы ожидать, что она действительно сыграет роль видного этапа в развитии неизбежного великого спора за Азию между азиатом и европейцем.

Азиатский мир еще слишком слаб. Он может стать в тысячу раз сильнее, когда окончательно пробудятся все эти Китай, Тибеты и Сиамы. Тогда он будет вполне готов к спору, и тогда спор, конечно, разразится. Так как это будет не очень скоро, то надо надеяться, что споры тогда уже будут решаться не войной, а иными способами; во всяком случае, время настоящей борьбы за доктрину «Азия для азиатов» еще впереди.

В нынешних событиях есть, конечно, и эта дата, но, повторяю, если Япония и готова, то полная неподготовленность всего прочего азиатства бьет в глаза своей очевидностью.

Легко возможно, что кое-где в Азии, и даже далеко от театра войны, вспыхнут мятежи против европейцев, но ясно, что эти пароксизмы ничему не помогут, и рано еще азиатскому миру мечтать об освобождении от западного влияния.

В этом смысле нельзя еще говорить о борьбе двух миров.

Это нечто иное.

Провинциальная печать высказывает принципиальное и, так сказать, совершенно беспристрастное неодобрение по адресу Японии за одну основную черту в ее поведении: за явное желание войны с Россией во что бы то ни стало.

Это упрямое желание с виду даже непонятно. Пусть самоуверенность, пусть ослепление, но ведь японцы не дети, ведь знали они, что, каковы бы ни были шансы, война с Россией есть очень трудная, очень изнурительная война.

К такой войне готовятся, но не бегут ей сами навстречу. «Нарываются» нарочно только на ту военную авантюру, которая кажется очень легкой. Так Наполеон нарывался на Пруссию и Англия — на буров, когда и Наполеону, и Англии казалось, что они «шапками закидают».

Но ведь нельзя допустить, чтобы японцы верили в возможность закидать Россию шапками. Эта война не могла не рисоваться глазам даже самого пылкого японца иначе, как в виде очень сложного и очень дорогостоящего предприятия, сопряженного с огромным риском.

Хитрый и расчетливый человек (а японцы хитры и расчетливы) подходит к таким предприятиям неохотно или, во всяком случае, недобровольно, упираясь, отнекиваясь всеми силами. Только вынужденный, когда нет больше выбора, сделает он решительный шаг.

Я, конечно, не утверждаю, что Япония могла бы избежать войны. Возможно, что и при наибольшей сдержанности со стороны островного государства все-таки не обошлось бы в конце концов без вооруженной ссоры. Но я говорю лишь о том, что Япония проявила в этом случае так мало сдержанности, что невольно говоришь сам себе:

— Тут что-то неладно. Тут есть какой-то злой дух, который толкал Японию, тут должна быть какая-то посторонняя тяжесть, которая против воли или почти против воли японцев неудержимо влекла их под гору, в эту пропасть, из которой они выберутся не совсем целыми. Что же это за тяжесть?

И кажется мне, будто я знаю, что это за бремя, я знаю даже имя того материала, из которого оно сделано:

— Чугун.

Придите на завод, когда он долго уже не работает, и спросите хозяина, о чем он больше всего жалеет.

— За машины досадно! — скажет он. — Пуще всего обидно за машины. Они стоят такую прорву денег — и вот уже которую неделю не работают. Мертвый капитал, понимаете? В этих колесах заключены суммы, которые, обращаясь по свету, оживляли бы рынки и повсюду на пальцах у людей оставляли бы свою золотую пыль, а теперь они тут лежат бесплодно...

Металл *должен* быть использован. Он *должен* приносить плоды. Иначе он угнетает, раздражает, как все, не исполняющее своего назначения. Рождается неотвязный вопрос: для чего я тебя купил? На что я потратил свои кровные денежки?

Металл, приобретенный для пользования и не идущий в пользование, — это нечто невыносимое. С этой аномалией люди не мирятся, и с каждым днем она все больше выводит из терпения, пока наконец не начинается отчаянная, жадная погоня за работой во что бы то ни стало:

— Машина хочет функционировать! Металл *не может* оставаться в бездействии!

И хватают, что попало и где попало, не глядя уже ни на риск, ни на цену, лишь бы сунуть пищу в зубы металлу, лишь бы не видеть дальше, как ржавеют эти машины, на которые столько денег просажено без всякого толку.

Это — положение, в котором очутились все державы, а Япония, может быть, больше всех: они угнетены чугуном.

Вот уже 80 лет, как идет эта непрерывная вакханалия вооружения, как державы, соперничая друг с другом в безумстве расточительности, накапливают неизмеримые, невероятные количества чугуна и стали — умножают и разнообразят броненосцы, миноносцы, пушки, торпеды, гранаты.

Страшные суммы идут на чугун в то самое время, когда существуют еще и голод, и проституция, и невежество, и нет больниц, нет банков дешевого кредита, нет путей сообщения.

У японцев есть броненосец «Микаса», которому цена около двадцати миллионов. Это пять великолепно обставленных университетов! Если русские удачно пошлют мину — один взрыв, и нет пяти университетов.

Народы все это видят, чувствуют бремя, ропщут, но покоряются, потому что им сейчас же указывают на соседа и резонно говорят:

— Нельзя быть слабее соседа.

Но подобно тому, как земля, которую мы возделали своими трудами, становится нашей надеждой и мы ждем от нее жатвы, так и чугун, в котором заключено столько народных жертв, должен оправдать их, должен принести выгоду.

Чугун должен окупиться.

Где много чугуна, там во всякую минуту грозит возникнуть ропот:

— Уже сколько лет мы даем и даем деньги на чугун, а до сих пор этот чугун ни разу не был пущен в дело. Значит, он не нужен! Значит, наши деньги пошли на ненужный хлам!

Боязнь этого ропота создает непреодолимую и ужасную необходимость: пустить чугуна в ход во что бы то ни стало.

Япония оказалась именно в этом положении. Она была моложе всех других военных держав, поэтому ей чугуна стоил особенных напряжений, ее народ вложил в чугуна особенно много своего пота — и оттого с особенно твердой инстинктивной уверенностью и с особенным нетерпением должен был ждать, чтобы чугуна окупился, и боязнь ропота за бездействие чугуна должна была там ощущаться особенно интенсивно.

Если повсюду чугуна гнетет, как тяжелый камень, то Японию он давил, как целый жернов на шее; если он везде является мощным стимулом в войне, то в Японии этот стимул должен был говорить особенно громко и властно.

И он оглушил Японию. Эта странная, нервная, почти эпилептическая горячка воинственности, породившая со стороны Японии торопливый образ действий, который даже заграничные сторонники ее признают недостаточно обоснованным, недостаточно вынужденным, — это иначе не может быть объяснено, как тем, что чугуна хотел окупиться.

Так начинается ужасно осуществляться тот кризис от чугуна, который давно уже предсказывали враги милитаризма и от которого громко, но безуспешно предостерегала русская нота о разоружении.

И, быть может, это еще не все.

Все разумные люди должны, конечно, желать одного: чтобы война как можно скорее кончилась, чтобы пострадало возможно меньшее количество людей и интересов и поскорее возобновилась бы повсюду прерванная культурная работа.

Но надо быть готовыми ко всему.

Не в одной Японии есть чугуна, не одну Японию оседлал он и гонит во что бы то ни стало, даже наперекор воле, в кровопролитие.

Всякое мало-мальски разумное правительство должно из всех сил упираться, не поддаваясь увлекающей в бездну тяжести чугуна; локализация войны должна стать лозунгом спасения для всех держав. Но если хоть одна не выдержит и прорвется, за ней ринутся другие...

...Пусть пронесет судьба те страшные и грешные, невероятные и небывалые события, которые нависли теперь над землей.

Но если бы им суждено было грянуть, если бы именно сегодня мы стояли на пороге того повального конфликта, которым рано или поздно должно завершиться все это, то будем

все-таки бодры и спокойны: это будет уже наверное последняя пирушка старого чудовища, опутавшего весь земной шар красными лапами.

Ибо когда выйдут на арену столько могучих соперников и бросятся друг на друга, то ни за кем не может остаться победа; и измученные, истерзанные, они разойдутся потом с горьким, но полезным сознанием, что все неслыханно великие жертвы были принесены понапрасну и не дали никакого плода.

Такие уроки и такие потрясения не проходят даром. Народы научатся и поймут.

Если действительно суждена большая буря, встретим ее бодро и смело и стоим каждый за себя и за своих с твердой верой, что это — последняя развязка, смертный костер нелепой системы, которая, изнуря массы, за цену пяти университетов создавала снаряд для убоя и сама попадала к нему в кабалу.

Altalena

Одесские новости. 17.02.1904



Вскользь

Петербург, 18 февраля

Собираюсь писать на безнравственную тему.

В Одессе у меня есть друзья-читатели, которые этого ужасно не любят: таковым предлагаю не читать, и мы квиты.

— Война войною, но есть все-таки надо, а по нынешним временам если не потанцуешь, то и есть не дадут.

Здесь имеется академия художеств. Собственно говоря, академии художеств полагалось бы пребывать на юге, ибо какое же художество без солнца? Но не в том дело.

В академии учится много молодежи, а народ все, как водится, небогатый. Ввиду чего, несмотря на войну, пришлось устроить костюмированный бал в Таврическом дворце, дабы потанцевать и собрать на прокормление.

На балу, впрочем, было скучновато. Устроили предлинную индийскую процессию, обставленную довольно наивно, потанцевали довольно мало... Как водится на русских балах.

Я в индийской процессии не участвовал, а танцевать не умею. Поэтому я понуро брел от колонны к колонне и вылавливал редких знакомых, чтобы перемолвиться словечком.

Один меня спросил:

— Вы кому отдали свой билетик за лучший костюм?

— Никому.

— Почему?

— Некому.

— Какой вы разборчивый. А я так отдал свой билетик барышне в носовом платочке.

— А где она? Я не видел.

— Не видели! Ну, тогда вы ничего хорошего не видали.

Мы пошли искать и скоро увидели барышню в носовом платочке.

Говоря строго, это был не носовой платочек, а целая шелковая белая шаль.

Но кроме шали, не было ничего — разве только трико на ногах. Шаль была плотно обтянута вокруг бюста и боков и ровно столько же скрывала, сколько и не скрывала.

Барышня была лицом не Бог весть какая писаная, но сложена действительно во славу матери-природы.

Держалась она спокойно и мило, брала билетики, так и сыпавшиеся отовсюду, улыбалась и отдавала их спутнику, а тот прятал в карман.

На нее со всех сторон любовались или просто глазели. Я тоже поглазел и пошел дальше, пока не встретил знакомую госпожу.

— Видали барышню в носовом платочке? — спросил я.

— Видела. Какая гадость!

— Вовсе не гадость, — обиделся я, — а очень красиво.

— Красиво или нет, а гадость, — настаивала госпожа, видимо, сердясь. — Все на нее смотрят, а она как ни в чем не бывало. Я бы ее убила!

При этих словах я стал вглядываться в лицо госпожи. Не то чтобы выражение гнева особенно украшало ее, а просто меня заинтересовало это чисто женское озлобление.

Мне вспомнилось, как однажды в Италии я рассказывал дамам о каком-то студенческом съезде и упомянул, что там, между прочим, выступила с речью девица-студентка; и дам это настолько возмутило, что одна из них, вовсе не самая старая, с истинной злобой закричала:

— Так бы я и надавала ей пощечин!

Им поступок этой девицы показался безнравственным, и они самым искренним образом рассердились до отчаяния, до слезливой бессильной злобы.

Мужчина, кажется, вовсе не способен принимать так близко к сердцу интересы половой морали. Он пожмет плечами, осудит, но беситься не станет. Впрочем, в иных краях, очевидно, бывают и мужчины с этой странностью; такие типы нередки у Ибсена.

Но Скандинавия так далеко, а ни в России, ни в романских землях я не встречал добровольцев-аргусов эротоманской морали среди мужчин. Но среди женщин видел их много, и всегда меня это занимало, и оттого я теперь стал вглядываться в лицо госпожи.

— Вы что, любуетесь? — спросила она задорно.

— Нет, совсем напротив, — сознался я.

— Вы очень любезны. Что во мне такого безобразного?

— Не то чтоб безобразно, а скорее противно.

— Вы грубите!

— А вы не сердитесь. Я правду говорю. Разве не противно видеть, как высеченный человек любовно целует розгу, которой его били, бьют и будут бить?

— Это при чем? Не понимаю.

— Плохо, что не понимаете. Я вам объясню. Возьмем такой пример: ваш муж, допустим, негодай.

— Не допускаю.

— Допустим. Он негодай, и вы хотите от него уехать.

— Ну и уеду.

— А он вас по этапу вытребует назад. И повезут. Сгрэбнут за шиворот и повезут. Я знаю один такой случай. Совсем извели молодую славную женщину. Что скажете?

— Это все возмутительно — да при чем это здесь?

— А при том, что все эти варварские остатки порабощения женщины мужчине (и вы хорошо знаете, что этих остатков сохранилось еще больше в обществе, чем в законе), все то, что бессовестно ломает и коверкает жизнь женщины, не дает ей ни трудиться на равных правах с мужчиной, ни пользоваться его свободой, — все это проявления того самого духа, который говорит и в вас, когда вы ополчаетесь против барышни, осмелившейся показать свою фигуру *en toutes lettres*¹.

— Откопали связь!

— Не откопал, а так оно и есть. Прочтите любую книжку по социологии. Увидите, что всяческое рабство женщины возникло из ее полового подчинения. Чтобы обеспечить непри-

¹ В полном объеме (*фр.*).

косновенность своей самки, мужчина создал половую мораль, по которой женщина должна считать себя опозоренной, если чужой увидел ее тело. Эта мораль, со всеми ее подробностями и разветвлениями, есть мораль к услугам порабитителей женщины. Эта мораль освящала и укрепляла веками ваше женское унижение. И оттого, когда мужчина отстает эту мораль, я просто говорю, что он эгоист или бурбон, но когда ее отстает женщина, я заявляю, что она целует розгу, которой ее самое секут.

— Это все метафизика, — сказала госпожа, — а я вот пойду танцевать.

И пошла танцевать, а я пошел в буфет и просидел там безвыездно аж до трех часов, когда стали подсчитывать билетки и выдавать призы.

Барышня в носовом платочке получила, конечно, первый приз от публики: она, как все премированные, взшла на вышку, а публика шумно захопала. Некоторые дамы тоже искренно хлопали.

Но я стоял в толпе, а возле меня стояли две девицы, от которых так и веяло в эту минуту страшной досадой. Обе были в обыкновенных нарядных платьицах, значит, тут была не зависть к призу, а опять то самое добровольчество морали.

Я расслышал, как одна говорила другой, почти задыхаясь от негодования:

— В первый раз в жизни вижу. Прямо не воображала до сих пор, чтобы можно было позволить себе что-нибудь подобное!..

В эту минуту барышня в носовом платочке со своим спутником прошла мимо нас, мило и спокойно улыбаясь, видимо, гордая собой и довольная своим сложением и нарядом.

И мне вдруг подумалось:

— А ведь это, это, черт возьми, отчасти триумфальное шествие Принципа!

Я, конечно, не знаю, кто такая эта барышня. Может быть, и пустая какая-нибудь вертушка-болтушка.

Но тут она бессознательно олицетворяла боевой принцип и бессознательно ратовала за него.

И как ратовала! Можно написать десять статей против эротоманской морали, но они все вместе не расшатывают столько устоев, сколько расшатала их эта барышня одной смелостью своего выхода в носовом платочке.

Вот, например, те девицы говорят: в первый раз в жизни!.. И они правы: они действительно до сих пор не воображали,

что это «возможно». Они даже были крепко убеждены, что нельзя.

И вдруг им так дерзко и наглядно показали:

— А вот и можно!

Ведь это будет целый переворот во всем их мировоззрении, во всей даже психике, ибо ведь они прежде верили, что нельзя, а оказалось, что можно.

Altalena

Одесские новости. 18.02.1904



*Наши критики*¹

Предисловие ко 2-му изданию

Гродно, март 1906

В это издание внесены некоторые поправки; но все-таки читатель должен иметь в виду цензурные условия того времени, когда статья писалась. Следы этих условий не так легко вытравить. Кроме того, должен оговориться, что эта статья, быть может, не с идеальной точностью выражает мою теперешнюю точку зрения на некоторые вопросы сионизма. Наше движение растет, и мы — его участники — растем вместе с ним.

Тем не менее охотно соглашаюсь на повторный выпуск ее. За эти два года мы успели познакомиться с новым поколением «критиков сионизма»; их тон далеко оставляет за собою даже резкости г-на Бикермана, но их аргументация, при несколько иной фразеологии, в сущности та же: реакционность сионизма, утопия и т. п. Сходство дошло до того, что в последнее время было повторено даже великое открытие о полнейшем благоденствии и благополучии еврейского народа*, — знакомая песня, ссылку на которую читатель мимоходом встретит и в предлагаемой статье. Когда это прозвучало в 1902 году со страниц «Русского богатства», мы несколько растерялись и не поняли, что это такое, но теперь мы выучились и узнали родную мелодию. Прокламация Варшавских «С. С.»,

¹ Печатается позднейший вариант: *Жаботинский, В. Критики сионизма. 2-е изд. Одесса, 1906.*

* См. бундовскую брошюру «Kleinbürgerlicher sozialismus», стр. 18–19. Русское издание: «Мелкобуржуазный социализм на еврейской почве», стр. 17–18 (Хрон. евр. жизни).

посвященная Бунду и его девизу «Все обстоит благополучно», разъяснила нам недавно эту загадку: это не что иное, как добрый старый национальный гимн «маюфис», что во время оно певали наши деды для увеселения пана.

*Перед паном Хвёдором
Ходить жид ходором —
І задком, і передком
Перед паном Хведіркою ...*

Впрочем, на «новое слово» наших теперешних критиков придется еще не раз откликнуться. Но это, к сожалению, вряд ли будет спор принципиального характера: скорее всего и чаще всего придется тут иметь дело с извращениями — более или менее умышленными. Новых принципиальных аргументов против сионизма эти противники не выдвинули: все, что могло пригодиться в качестве принципиальной аргументации, исчерпано, по-видимому, теми критиками, ответ которым дан в этой брошюре...

Вл. Ж.

В последнее время* появилось несколько статей, направленных прямо или косвенно против сионизма. Некоторые из них произвели впечатление. Я попытаюсь рассмотреть следующие: «Двадцативековая трагедия» А. С. Изгоева («Образование». 1903. № 10), «Об антисионизме» Каутского («Восход». 1903. № 27), «О сионизме» И. Бикермана («Русское богатство». 1902. № 7) и две заметки С. Н. Южакова в № 9 и № 11 «Русского богатства» за 1903 год в отделе «Политика». Было еще несколько опытов критики сионизма, вроде брошюр г-на Полякова («Сионизм и евреи»), г-на Куперника («Еврейское царство») и т. п., но их можно обойти молчанием ввиду их незначительности.

Было бы лучше всего разобрать вышеназванные статьи сразу; выбрать из них общие главные возражения и дать на них посильный ответ. К сожалению, такая группировка совершенно невозможна, потому что между этими критиками сионизма нет единогласия; двое из них, правда, стоят на одной и той же научной точке зрения, но и они часто противоречат друг другу в основных пунктах вопроса. Каутский пишет: «Евреи перестали существовать как нация, не мыслимая без определенной территории» (с. 23). Г-н Изгоев говорит...

* Писано в конце 1903.

«И, однако, еврейство — *нация*». Он даже прибавляет: «*такая же нация, как французы, немцы, англичане*» (с. 56). Г-н Бикерман много раз называет мысль о создании еврейского автономного убежища (где бы то ни было) утопией, ненаучной химерой (например, с. 68); г-н Южаков пишет: «Колонизация Уганды во всяком случае *не* кажется химеричною и недоступною, хотя и сопряжена с массой трудностей...» (№ 9. С. 166). Речь идет, понятно, не о простой колонизации (ибо кто же спорит против того, что простая колонизация возможна), а о проекте автономной колонии, то есть именно о том, что Бикерман считает несбыточной мечтою, — и о чем, между тем, г-н Изгоев говорит так:

Сионизм как стремление к рациональной, планомерной земледельческой колонизации евреями такой местности, которая могла бы служить для них «правоохраненным убежищем», — *реальное, осуществимое дело, заслуживающее сочувствия и поддержки* (с. 67).

Причем любопытно, что в глазах г-на Изгоева даже «сионизм как мечта о восстановлении иудейского царства в Палестине» есть хотя и утопия, но «*безвредная*» утопия, между тем как в статье г-на Бикермана доказывается, что сионизм, как его ни понимай, *вреден* и никакого «сочувствия» и никакой «поддержки» не заслуживает. «Сионизм есть явление реакционное!» — утверждает автор на с. 69...

Тот же г-н Бикерман говорит: «Но мы считаем своим долгом раскрыть ложь, заключающуюся в другом словечке, пущенном в ход этим словообильным сионистом (то есть Нордау). Это слово — *Judennot*¹ — не те обычные страдания, составляющие, вероятно, неизбежный удел человеческого рода, а другие, исключительные страдания, преследующие евреев не как людей, а только как евреев, и от которых они могли бы избавиться, если бы не были евреями» (с. 57). Г-н Бикерман отрицает этот *Judennot* и настаивает, что еврей данного класса страдает столько же, сколько и коренной житель из того же класса, не больше и не меньше. Следовательно, если класс перестанет страдать, тем самым перестанет страдать и еврей. А г-н Изгоев говорит, что даже «при полном устранении общественного строя, основанного на конкуренции и меркантилизме», все-таки «потребуются еще годы духовной работы для искоренения остатков предрассудков», вызывающих вражду к евреям, а значит, и специально еврейское горе. Каутский идет еще дальше. По его мнению, для устранения враждебности к евреям недостаточно ни падения капиталистического

¹ См. примеч. к с. 32.

стройка, ни культурной борьбы с предрассудками («чувствования человека нельзя изменить путем увещаний», с. 24); враждебность будет устранена «только тем и тогда, когда еврейские слои населения перестанут быть чужими, сольются с общей массой населения». Ясно, что если для блага еврейства недостаточно того, чего вполне достаточно для блага других народов, а нужны еще особые меры, то, значит, у еврейства, по мнению Изгоева и Каутского, кроме общечеловеческих страданий, есть еще и свое специальное горе — то самое, которое отрицает г-н Бикерман. В то же время г-н Бикерман совсем не разделяет мнения Каутского, что евреям необходимо ассимилироваться. Он говорит: «Сохранение и развитие *еврейского народа*, сохранение и развитие *его культуры*, сохранение и развитие того, что есть в ней лучшего, — такова задача» (с. 68). Даже больше: по мнению г-на Бикермана, еврей-ассимиляторы «существуют лишь в больном воображении охранителей» (с. 41). Не является поклонником ассимиляции и г-н Изгоев, по крайней мере если понимать ассимиляцию по Каутскому — «слияния с общей массой населения». Ведь слиться с общей массой населения данного места значит принять ее национальность. А г-н Изгоев говорит: «Еврей может примкнуть духовно только ко всему человечеству как целому, возвышающемуся над всеми национальностями. Еврей, освободившийся от талмудической культуры, по духовному существу своему всегда неизбежно будет космополитом, международником» (с. 66). Последнее утверждение немного рискованно, если принять во внимание, что Герцль, Нордау и огромное большинство сионистов, бесспорно освободившись от талмудической культуры, стали не космополитами, а сионистами; но не в этом дело, а в том, что и быть космополитом не значит духовно «слиться с общей массой населения» данного места, и даже совсем напротив...

Критики сионизма, так сказать, не сталкивались между собою. У них у самих — разногласия по самым основным вопросам: о том, представляет ли еврейство нацию или нет; о том, нужна или не нужна ассимиляция; о том, возможно или невозможно создание еврейского правоохраненного убежища; о том, есть ли сионизм вообще явление вредное, — и даже о том, существует ли *Judennot* или не существует. Собственно говоря, при наличии таких противоречий можно было бы и не спорить против наших критиков, а спокойно и безучастно любоваться на то, как они друг друга побивают. Но я все-таки предпочитаю рассмотреть их доводы и представить свои

возражения; и так как, очевидно, отвечать разом на такую разноголосицу немислимо, я буду говорить о каждой статье особо. Начну с Каутского.

Каутский говорит главным образом об антисемитизме; разбирать его взгляд на этот феномен я не буду, так как не антисемитизм является предметом этой беседы. В данном случае нас занимает путь, указываемый Каутским: ассимиляция. Об этом идеале мы и будем говорить, и тут нам немало поможет небольшая брошюра того же автора под заглавием «Национальность нашего времени» (СПб., 1903). В конце этой брошюры (с. 41 — 43) Каутский высказывает довольно определенные взгляды на будущее отдельных национальностей. Они, по его мнению, вообще стремятся к полному слиянию между собою, даже к замене национальных языков одним каким-нибудь универсальным. Национальные языки, говорит он на с. 43, «будут все более и более ограничиваться областью домашнего употребления и здесь наконец займут такое же положение, как какая-нибудь старинная фамильная мебель, которую ценят и тщательно сохраняют, но не придают ей никакого практического значения». Никакого практического значения: то есть, очевидно, даже в сношениях между собою люди одной и той же страны будут, по мнению Каутского, пользоваться не национальным языком, а универсальным, — ибо Каутский не может не понимать, что язык, на котором говорят между собою люди данной местности, тем самым получает большое «практическое значение». Волапука г-н Каутский не признает, об эсперанто не упоминает, а думает, что универсальным языком явится какой-нибудь из существующих. Например, английский. Два коренных неаполитанца в беседе между собою будут говорить на языке Шекспира; к итальянскому каждый из них прибегнет только тогда, когда на досуге захочется поиграть звучными словами. Так рисуется Каутскому будущее.

О будущем, конечно, трудно спорить: никто не может поручиться, что верно угадает. Но все-таки логика властна и над будущим; постараемся же рассуждать логически и посмотрим, совпадут ли наши выводы с предсказаниями Каутского. Расово-национальные* особенности создаются под влиянием многих факторов — в том числе, конечно, климата, почвы

* «В современной науке, по крайней мере, нет точного определения понятий: раса и нация, и одинаково можно сказать: литовская раса и литовская нация» (Г. В. Плеханов).

и флоры той страны, где данное племя впервые развилось. Каутский настолько признает это, что даже психологию евреев выводит из того факта, что Палестина — горная страна (статья в «Восходе», с. 23), причем отмечает, что отпечатки этого горного происхождения сохраняются и в чужой земле, то есть даже в новой почвенно-климатической среде и в новых социальных условиях. Так сильна расовая закваска, полученная от матери-природы, даже когда племя уже давно перенесено под другое небо: пока старая кровь передается по наследству без инородных примесей или с малой примесью, до тех пор племя сохраняет свою старую индивидуальность. Конечно, эта индивидуальность уже исковеркана, и с каждым поколением под давлением новых почвенно-климатических влияний она будет все более уклоняться от основного типа; но все-таки и под чужим небом вы через много поколений отличите в чистокровном потомке черты его прадедов. Тем более сохранятся эти особенности, если данное племя всегда будет жить в той самой стране, на почве которой оно развилось. Это — прямой вывод из положения, что племенные особенности создаются суммой естественных факторов.

Я совершенно не касаюсь вопроса о том, как сложились ныне существующие национальности и сколько различных расовых ингредиентов вошло в каждую из них: я беру их такими, какими я их застаю при моем появлении на свет, и задаю себе вопрос: что с ними будет? Что вероятнее: то ли, что обитатели Апеннинского полуострова и впредь из роду в род будут жить на этом полуострове, или то, что они все переберутся на другое место? И на это, по-моему, невозможен другой ответ, кроме того, что первое предположение вероятнее, так как не предвидится никакой причины, которая принудила бы жителей Италии к такому массовому переселению. В настоящее время, как известно, итальянцы часто эмигрируют, ища работы за морем, в то время как на полуострове и в Сицилии есть огромные пустыри латифундии, пригодные для внутренней колонизации. Но ведь эмиграция — только маленький процент населения, да и та является следствием нужды, голода и беспорядка. Каутский верит, что нужда и голод будут некогда совершенно упразднены, и я скромно разделяю эту веру. Но тогда исчезнет причина для эмиграции даже маленькой доли населения. Следовательно, это население станет на своем полуострове еще более оседлым, чем теперь. Смешанные браки если и будут наблюдаться, то лишь в узкой пограничной

полосе: главная масса нации сохранит свою расовую «чистоту». И то же самое совершенно бесспорно предвидится и для России, и для Франции, и для Скандинавии: нет никаких причин, которые побуждали бы население каждой из этих стран отрывать от родной почвы — и чем дальше, тем еще меньше будет этих причин, потому что единственные ныне побуждения к эмиграции — нужда и социальная неурядица — при социалистическом строе общества предполагаются устраненными. Шведы останутся в Швеции и грузины — в Грузии; первые будут по-прежнему из рода в род подвергаться почвенно-климатическим влияниям своей Швеции, а вторые — своей Грузии. Покорение природы человеческой техникой здесь ни при чем: техника создает чудеса, будет, пожалуй, регулировать дождь и ведро, но ведь климат Стокгольма все-таки будет всегда отличаться от климата Тифлиса и флора второго — от флоры первого. При всяких чудесах техники Великороссия все-таки останется равниной, а Англия все-таки будет приморской страной, и, значит, из рода в род будет продолжаться непрерывное влияние неодинаковых естественных условий на оседлое население как той, так и другой области. То есть англичанин сохранит свою английскую племенную индивидуальность, а великоросс — свою. Но если каждый сохранит свою национальность, то сохранит и национальный язык; потому что язык, естественно возникший у данного племени и развившийся в данной местности, должен, несомненно, ближе и точнее соответствовать всем изгибам психики населения, чем какой бы то ни было другой язык; и, следовательно, нет никакой научной возможности предположить, что национальный язык, исторически развившийся в тесной параллельности со всей психикой населения, вдруг начнет естественно вымирать, уступая место совершенно чужому наречию только потому, что на этом чужом наречии легче вести дела с иностранцами. Любопытно при этом заметить еще следующее: Каутский видит явный признак близкого торжества универсального языка в том, что уже и теперь конкуренция капиталистических стран делает необходимым знание чужих языков: «Кто больше знает языков, у того больше шансов одержать верх над конкурентами, говорящими только на одном своем языке» (брошюра, с. 42). Странно слышать такие доводы в устах Каутского. Ведь именно ему, как социал-демократу, должно быть ясно, что промышленные сношения между разными странами не всегда будут вестись на почве индивидуальной конкуренции. В том грядущем, за которое ратует Каутский и в которое скромно

верю и я, международный обмен продуктов, конечно, не прекратится, но производить его будут не частные торгаши, как теперь, а особые официальные учреждения. Теперь тысячи лиц ради наживы ведут торговые сношения с границей; тогда эти сношения будут, очевидно, сосредоточены, для каждой области, в специальном бюро с ограниченным штатом служащих. Следовательно, только этим служащим (рассуждая строго по Каутскому) и понадобится знание языков. Количество частных лиц, имеющих деловые сношения с иностранцами, сократится до минимума, тогда как сношения между земляками-согражданами, при тогдашнем строе общества, станут, напротив, гораздо теснее и многообразнее, чем теперь. Каким образом при таких условиях общежития начнет вымирать язык земляков, с которыми каждый человек именно тогда будет связан тысячами уз, — и воцарится взамен того языка универсальный, хотя именно тогда производственные отношения вовсе не будут требовать этого, — непостижимо...

Я, конечно, не сомневаюсь в том, что будущее приведет к самому тесному сближению между различными странами и народностями, как не сомневаюсь в том, что когда-нибудь, и даже скоро, люди по взаимному уговору признают какой-нибудь язык международным. Но не «универсальным». Это будет язык для международных сношений, и только. Внутренняя жизнь каждой нации будет по-прежнему выражаться при посредстве ее национального языка, и язык этот будет самобытно развиваться и богатеть по мере духовного развития нации. И точно так же, как с национальным языком, будет с национальной психикой. Не смешиваясь браками с чужою расой, да еще к тому же живя постоянно в одной почвенно-климатической среде, впитывая из рода в род ее влияние, каждая народность естественно сохранит и будет самобытно развивать и углублять свою индивидуальную психику, внося национальный оттенок во все проявления своего творчества. Не к слиянию национальностей ведет естественный процесс, а к обеспечению за каждой из них полной самобытности. Исчезнет война, упразднится таможня, но никогда не сгладятся индивидуальные различия, врожденные расе и вечно питаемые различиями в почве и климате и нисколько не препятствующие ни дружному прогрессу, ни взаимному уважению наций.

Но мало того, что сохранение национальных особенностей представляется, со строго позитивной точки зрения, совершенно *неизбежным*: следует помнить и о том, что оно так-

же в высшей степени *желательно*. Мы называем богатой и счастливой природу той страны, где растет и пальма, и кедр, и вишня, и дуб, где есть и горы, и леса, и озера; напротив, бедною и скупую считаем мы природу тех стран, где растительность однообразна и ландшафт один и тот же всюду. Никогда никто не видел идеала в однообразии; напротив, мы и инстинктивно, и сознательно всегда предпочитаем всевозможное многообразие разновидностей, гармонически, но самобытно живущих и развивающихся друг подле друга. Человек не может быть исключением из этого идеала. Если бы национальных различий не существовало, то в интересах всего человечества *il faudrait les inventer*, их надо было бы изобрести, чтобы дух человеческий мог проявляться во всяческом многообразии оттенков. Есть уже не новый, но очень подходящий в этом случае пример: представьте себе человечество в виде огромного оркестра, в котором каждая народность как бы играет на своем особом инструменте. Возьмите из оркестра всех скрипачей, отберите у них скрипки и рассадите их по чужим группам: одного — к виолончелистам, другого — к трубачам и так далее; и допустим даже, что каждый из них играет на новом инструменте так же хорошо, как на скрипке. И количество музыкантов осталось то же, и таланты те же — но исчез один инструмент, и оркестр в убытке. Если только мы понимаем прогресс как стремление к наибольшей полноте, сложности и богатству жизненных проявлений, а не наоборот — к наибольшей скудости и однообразию, то мы должны дорожить неприкосновенностью национальных индивидуальностей не менее, чем дорожим неприкосновенностью отдельной человеческой личности; и если никакой жертвы не жалко для исправления социальных неустройств, угнетающих личность, то не жаль никакой жертвы и в борьбе за то, что может обеспечить национальной индивидуальности законную неприкосновенность.

Тут я могу непосредственно перейти к г-ну Южакову, у которого прорываются такие фразы: «Тот, кто желает слушать делу правды и совести, делу принципов, должен тщатель но оберегать себя от всякого общения с национализмом» (ноябрьская книжка, с. 144). Впрочем, после всего сказанного нет необходимости пространно спорить против этой точки зрения; мы встретимся с нею у остальных разбираемых критиков, а собственных оригинальных доводов г-н Южаков не выставляет. Г-н Южаков слишком честный человек, чтобы притворяться, будто ему непонятна разница между национализмом

угнетенной народности, отстаивающей свою самобытность, и национализмом народности угнетающей, навязывающей свою физиономию другим, — между самообороной и насилем. Отвращение г-на Южакова происходит, конечно, не оттого, что он отождествляет наш национализм с национализмом пруссаков в Познани. Излишне доказывать г-ну Южакову, что те хотят подавить чужую индивидуальность, мы же хотим отстоять свою; он сам это понимает, но твердо считает, что национальная индивидуальность не нужна, что если она исчезнет, то и жалеть не о чем, что бороться за ее сохранение — значит тратить силы на пустяки, а тратить силы на пустяки — значит отнимать их у настоящего, полезного дела; и оттого г-н Южаков сторонится от национализма и других приглашает сторониться. Повторяю: после всего, что я сказал выше, незачем мне отдельно возражать против этой точки зрения. Но все-таки не хочется как-то молчать, когда читаешь такие выражения: «Идеалы чести и совести, принципы солидарности и братства, главным врагом которых является национализм, в том числе и сионизм» (с. 144)...

Часто бывает, что человек, возненавидя разврат, переносит свою ненависть на половое влечение вообще и провозглашает, что любовь противна «идеалам чести и совести»; часто человек, наблюдавший много злоупотреблений свободой, становится противником свободы вообще и объявляет ее врагом «принципов солидарности и братства»; и когда сталкиваешься с такими людьми, становится тяжело за уозость человеческую. Здесь то же самое. Г-н Южаков навидался уродливых извращений национализма и поэтому не может допустить, что «импульс» национального самосохранения действительно существует и что это очень важный, полезный и могучий двигатель. Для него это фанаберия, каприз, а упорствовать в этом капризе — значит идти наперекор чести и совести. Наше стремление добиться тех же прав, какими пользуются другие народы, и не ради того чтобы потом вести грабительские войны, а ради того чтобы спокойно жить по нашему племенному духовному укладу, в мире и дружном сотрудничестве с остальными народами, — это противно совести и чести. Не надо возражать на такие слова, потому что это несомненно бранные слова; и в ответ на них мы должны только еще тверже и настойчивее повторить, что сохранение национальностей *в интересах* всего *человечества* есть честная и важная задача, и никакой жертвы не жалко для ее осуществления.

Этот же идеал мы противопоставим и идеалу г-на Изгоева, потому что, в сущности, основная точка зрения у г-на Изгоева и у г-на Южакова одна и та же, хотя первый приглашает нас отречься от всякой национальности и стать «космополитами, международниками», а второй просто без всяких объяснений рекомендует обрусеть (осознать полную «солидарность и достоинства, и интересов совести всех культурных сил человечества вообще, *России в частности и в особенности*»); фраза эта, находящаяся в ноябрьской книжке на с. 145, немножко непонятна, но единственное, что в ней ясно, — это призыв к обрусению). Однако не подлежит сомнению, что и г-н Южаков ничуть не шовинист и зовет нас к обрусению не из патриотического пыла, а из убеждения в том, что французам ли прежде онемечиться или немцам прежде офранцузиться, разница — не важна, лишь бы меньше стало хоть одной национальностью: все равно в конце концов будем космополитами без всяких племенных особенностей. На этот взгляд, общий у г-на Южакова с Изгоевым и с Каутским, выше дан уже ответ; и все сознание скромности моих сил не может мне помешать совершенно ясно видеть, что надежды почтенных публицистов на будущее исчезновение племенных разновидностей не имеют под собою, как я попытался выяснить, никакой научной почвы и никакого нравственного базиса, а напротив, с поразительной наглядностью противоречат и данным этнологии, и ходу исторического процесса, и идеальным интересам человечества.

Но в статье г-на Изгоева кроме космополитического призыва есть и другие частности, которые нельзя оставить без ответа. Одобряя сионизм территориалистический, извиняя, ввиду «безвредности», сионизм палестинский, он бесповоротно осуждает культурный сионизм. «Сионизм как романтическая мечта о воскресении древнееврейской культуры — реакционная и вредная утопия». Прежде всего, тут есть неточность: с нашей стороны имеется в виду не «древнееврейская культура», а просто еврейская, ибо мы верим, что в духовном творчестве евреев от пророков до наших дней проявлялись одни и те же основные идеалы, конечно, изменяя форму и точки приложения сообразно потребностям места и времени; и, следовательно, мы желаем не «воскресения древнееврейской культуры», а широкого развития культуры новоеврейской, находящейся в тесной преемственной связи со старой, древней и древнейшей. Лечить захворавшего взрослого

человека вовсе не значит «воскрешать» того младенца, которым этот человек был в дни своего детства. Думаю, что против исправления этой неточности ничего не будет иметь и сам г-н Изгоев, и его строгое отношение к еврейской культуре вызывается не тем, что она будто бы «древняя», а тем, что в самой этой культуре, как таковой, г-н Изгоев не находит никаких положительных ценностей. Есть все основания предполагать, что г-н Изгоев вполне в этом отношении разделяет точку зрения Каутского, выразившуюся в словах: «Глубокие и смелые мыслители из евреев постоянно воспринимали мировоззрение своего времени. *Последнее бывало возможно только тогда, когда они окончательно порывали с традициями еврейства* и становились на почве общеевропейского культурного развития» (статья в «Восходе», с. 25). Если бы г-н Изгоев не считал традиций еврейства также несовместимыми с передовым мировоззрением, он не назвал бы идею «воскресения» еврейской культуры реакционной и вредной утопией. Но что же именно в таком случае понимают гг. Изгоев и Каутский под еврейскими традициями и культурой? Каутский об этом не говорит, зато у г-на Изгоева есть хотя косвенный, но вполне определенный ответ на этот вопрос. «Ассимиляция, — говорит он на с. 65, — состоит из двух актов: одного отрицательного — отказа от обособляющих черт и другого положительного — принятия того, с чем ассимилируешься. Что касается первого, отрицательного акта, то несомненно, что весь ход истории сурово и непреклонно уничтожает еврейскую «обособленность»... Евреи, втянутые в водоворот современной жизни, теряют свою специфическую одежду, внешний облик (??), мало-помалу отступают от законов о «ритуальной чистоте», отказываются вовсе от них, отказываются даже от субботы»... И вот — говорится на следующей странице — такой «еврей, освободившийся от талмудической культуры, по духовному существу своему всегда неизбежно будет космополитом, международником», то есть уже духовно не евреем. Иначе говоря, весь духовный багаж еврея как такового сводится к лапсердаку, тrefу и субботе; кто носит пиджак, ест ветчину и пишет в день субботний, в том уже не осталось духовно ничего еврейского; следовательно, вот в чем заключается еврейская культура, еврейские традиции: сумма внешних талмудических обрядностей, и больше ничего. После этого нисколько не странно, что «воскресение» *такой* культуры представляется делом реакционным и вредным.

При всем уважении к почтенному одесскому публицисту, я должен сказать, что во всем этом явно сквозит очень недостаточное знакомство с вопросом. Только при этом условии можно было упустить из виду тот наглядный факт, на который я уже указывал, что сплошь и рядом еврей-интеллигент, заменивший ермолку цилиндром, фаршированную щуку — икрой и даже субботний отдых, — по необходимости, воскресным, все-таки признает себя не космополитом, а евреем, и из этих именно интеллигентов, а не из ортодоксов, и состоит главное по качеству ядро еврейского национализма. Достаточно было бы даже из вторых рук ознакомиться хотя бы с личностью и учением Ахад-ха-Ама, чтобы увидеть воочию, действительно ли еврей, за вычетом талмудической обрядности и *даже религиозной веры*, перестает быть и считать себя евреем. Прямо неловко перед читателями серьезно доказывать, что в еврействе есть кое-что и кроме устава о кошере; но чья же вина, что приходится настаивать и на таких азбучных истинах. Мы не можем не сказать гг. Изгоеву и Каутскому: соберите прежде подробные справки о том, что такое еврейская культура и традиции. Я уже и не говорю о том, что писали по этому вопросу наши соплеменники, как Лацарус, как покойный Дармстедер, или благорасположенные к нам инородцы, как Ренан или Генри Джордж; я укажу, контраста ради, на книгу, выпущенную недавно писателем, который, хотя и соблюдает известную корректность тона, ничуть не скрывает своей антипатии к еврейству и его идеалам. Это «Esprit juif»¹ Мориса Мюре, появившийся также и на русском языке в неудачном переводе и под неудачным заглавием «Еврейский ум» (СПб., 1903). Автор отмечает некоторые основные мотивы в учении пророков и старается доказать, что эти мотивы через много столетий проявились и в писаниях Спинозы, Гейне, Брандеса, Нордау, и в учении Маркса, и в деятельности Дизраэли-Биконсфильда. А мотивы эти, по мнению Мюре, следующие: мятежная ненависть ко всякому догмату, заставляющая евреев подвергать разрушительной критике все освященное традицией; мечта о всемирном братстве («космополитический идеал пророков», по выражению Мюре), мечта, во имя которой евреи являются принципиальными противниками войны, и т. п.; наконец, стремление установить царство Божие на земле, в противоположность «арийскому» идеалу царства Божия в загробном мире —

¹ «Еврейский дух» (фр.).

и, как следствие этого стремления, склонность к социальным преобразованиям. Все эти мотивы глубоко несимпатичны автору, и он с огорчением констатирует, что они приобрели теперь широкую популярность и в арийских массах. Я, конечно, далек от того, чтобы возводить г-на Мюре в авторитет, но нельзя не отметить, как и друзья, и враги наши всегда констатируют, в нашем почти сорокавековом духовном творчестве постоянное присутствие одних и тех же основных идеалов, проникнутых принципами братства и социальной справедливости. Надо не уметь читать или не желать прочесть, чтобы не узнать этой правды; надо закрыть глаза и заткнуть уши, чтобы в самой жизни на каждом шагу не замечать слишком ясных подтверждений этой правды. И это все игнорируется, а «культуру» нашу видят исключительно в разделении посуды на мясную и молочную. Седьмичный и юбилейный годы, принцип субботнего отдыха, социальная проповедь Амоса, мечты Исаяи о мире всех народов, наконец, самый культ книги, благодаря которому до недавнего времени наши мужчины в Литве были поголовно грамотны по-еврейски, когда и в Западной Европе массы еще не умели читать ни по какому. Таковы, казалось бы, наши «традиции». И если нам даже скажут, что не одни евреи, но передовые элементы всех народов теперь ратуют за участь бедных и за распространение знания, то мы ответим: следовательно, эти исконные традиции еврейского племени, во всяком случае, не зловредны и не враждебны прогрессу? Но теперь нам заявляют, что, прежде чем воспринять передовое мировоззрение, мы должны порвать с еврейскими традициями, потому что еврейские традиции выражаются в обязательном ношении нагрудника с кисточками...

Только не изучив, не продумав, не углубившись, и можно делать такие заявления. И тут я отмечу вообще одно характерное явление. Наши критики, особенно г-н Каутский и г-н Изгоев, несомненно, не признают феномена без причины. Столкнувшись с каким-нибудь историческим фактом, они не успокоятся, пока не откроют тех условий, которые вызвали его и даже необходимо должны были вызвать. Если притом факт этот не единичный, а повторный или, тем более, непрерывно-длительный, г-да Изгоев и Каутский никогда не усомнятся, что причина, обусловившая его, есть важная и могущественная причина, — и признают неучем всякого, кто допустит, что подобный исторический факт возник просто «так», без особенной надобности, а мог бы при тех же условиях и не

возникнуть. Но как только дело коснется еврейского народа, картина меняется. Перед глазами такой яркий феномен, как почти двадцативековая борьба небольшого безземельного племени за свою национальную обособленность, борьба, в которой все выгоды, какие только можно придумать, были, бесспорно, всецело на стороне отступничества — и тем не менее отступничество не состоялось. Это — поражающе-длительный исторический факт, и казалось бы, что именно гг. Изгоев и Каутский, как исторические материалисты, должны были бы тут сказать себе: очевидно, тут действует какой-то могущественный фактор группового самосохранения, и с этим фактором нельзя не считаться. Вместо того наши критики здесь, очевидно, теряют свой обычный компас и не то вовсе игнорируют феномен, *который немыслимо игнорировать*, не то прямо относятся к нему так, как будто эта двухтысячелетняя мученическая самооборона не имела под собой никакого солидного императива и была чуть ли не плодом недоразумения, человеческой глупости, а теперь люди поумнели и должны увидеть, что не из-за чего бороться... Г-н Каутский и г-н Изгоев не могут не понимать, что такая точка зрения не только не напоминает о той строгой научности, которая обыкновенно отличает их школу, но просто лежит ниже уровня всякого научно-го мышления.

Это очень характерно. Дело в том, что вопрос о национальностях еще не разработан научно, особенно с точки зрения исторического материализма. Я не утверждаю, но не удивлюсь, если окажется, что с этой точки зрения — без крупных поправок (элементы которых, впрочем, уже имеются у Энгельса) он не может быть разработан. Во всяком случае, писатели, безошибочно орудующие в области, которая уже исследована и объяснена основателем их школы, совершенно теряются перед вопросами, которые основатель обошел молчанием. И если самостоятельная научная разработка этих вопросов не под силу таким солидным ученым, как Каутский, и таким серьезным публицистам, как г-н Изгоев, то еще менее под силу оказалась она г-ну Бикерману, который, конечно, не может быть признан ни солидным ученым, ни серьезным публицистом. К г-ну Бикерману я и перейду.

Г-н Бикерман выдвигает против сионизма следующие возражения:

История доказывает, что государство не может быть создано искусственным образом.

Сионизм зовет еврейские массы на путь наибольшего сопротивления, тогда как известно, что массы всегда стихийно движутся только по пути наименьшего сопротивления.

Сионизм есть движение чисто отрицательное, вызванное только антисемитизмом.

Сионизм есть движение реакционное и вредное.

Осуществление сионизма погубило бы еврейство как таковое.

Разберемся отдельно в каждом из этих возражений.

Всемирная история, — говорит г-н Бикерман на с. 29, — не знает* случая, когда бы какая-либо группа людей — род, племя, народ, орда — вздумала бы в одно прекрасное утро создать государство, а вздумав, создала бы его. И в древние, и в новые времена государства являлись *результатом* деятельности человеческих масс, но никогда не служили целью этой деятельности.

И в подтверждение г-н Бикерман приводит эмиграцию «отцов-странников» в Новый Свет, из которой потом возникли Соединенные Штаты, и великое переселение народов: ни «отцы-странники», ни варвары не думали, по мнению г-на Бикермана, о создании новых государств, а просто шли в поисках удовлетворения своих насущных потребностей по пути наименьшего сопротивления, если их поселения потом развились в государства, это произошло само собою, а не по сознательно предначертанному плану...

Проще всего было бы ответить на это г-ну Бикерману, что прошлое не всегда может служить критерием для будущего. Можно было бы указать ему, например, на то, что в прошлом не только большие государства, но и отдельные города являлись *результатом* человеческой деятельности, а не *целью*. Движимые своими потребностями по пути наименьшего сопротивления, люди оседали в данном месте, строили себе землянки или шалаши, и через несколько столетий вырастал город. На этом основании двести лет тому назад г-н Бикерман легко мог бы выступить с уверением, что «история не знает случая, когда бы человек вздумал в одно прекрасное утро создать город, и вздумав, создал бы его». Тем не менее Петр Ве-

* А негритянская республика Либерия, созданная американскими филантропами, ныне насчитывающая несколько миллионов свободных черных граждан (эмигрировавших из Сев. Америки) и официально державами признанная за самостоятельное государство? См. Л. Паперин. «Либерия» («Еврейская жизнь» № 9, сент. 1904).

ликий вздумал создать посреди болота город и создал его; а в наше время, как известно, в Северной Америке такие «искусственные» города возникают сплошь и рядом, по произволу промышленных компаний и даже отдельных богачей. И далее можно было бы указать г-ну Бикерману, что, например, и союзы или сообщества между отдельными гражданами являлись некогда результатом, а не целью человеческой деятельности. Любая популярная книжка по социологии напомнит г-ну Бикерману о том, как бессознательно побуждаемые общностью интересов отдельные индивиды инстинктивно оказывали друг другу поддержку против тех граждан, интересы которых были враждебны их интересам, и из этой естественной взаимопомощи мало-помалу, без всякого уговора, развились прототипы нынешних трестов, синдикатов, профессиональных и даже партийных союзов. А теперь эти союзы возникают так: «несколько человек, вздумав в одно прекрасное утро» создать общество хотя бы N-ских врачей, созывают «учредительное собрание», вырабатывают устав, посылают его на утверждение, и затем, если в N-ске достаточно врачей, общество будет процветать, несмотря на то, что оно создано искусственно и явилось не результатом, а сознательной целью. И далее можно было бы обратить внимание г-на Бикермана вообще на то, что во всех областях прежние «результаты» мало-помалу становятся «целями». На то человечество и умнеет, чтобы пользоваться прежними опытами. Первая плотина возникла, без сомнения, случайно: обвал загородил поток — и вода разлилась; человек заметил это и на следующий раз уже сам нарочно запрудил реку. По преданию, изобретение пороха явилось невольным «результатом» того, что монах Бертольд Шварц невинно толок в ступе серу, селитру и уголь, а теперь изобретатели годами работают с сознательной «целью» найти X-лучи или создать граммофон, и это им удастся. Нельзя же требовать у людей, чтобы они ничего не замечали и ничему не научались. Пусть первые массовые эмигранты даже не подозревали, что из их переселения получится новое самостоятельное государство, ведь *мы*-то уже знаем, что у первых эмигрантов получилось государство, и если теперь и мы хотим эмигрировать, то не можем же мы не рассчитывать или хоть не надеяться, что и наше переселение приведет к тому же «результату»; и неужели только потому, что мы, наученные чужим опытом, ожидаем этого «результата» и активно готовимся к нему, нас должна постигнуть неудача? В этом нет логики.

Но, собственно говоря, все эти доводы понадобились бы только тогда, если бы сама по себе философия истории г-на Бикермана выдерживала критику, если бы действительно существовала *принципиальная* разница между сионизмом и другими, уже бывшими массовыми переселениями, приведшими к возникновению новых государств. В сионизме заключаются два основных принципа: во-первых, массовое выселение на одну и ту же территорию, во-вторых, автономия, то есть гарантия самоуправления. Эти же два принципа неизменно присутствовали и до сих пор во всех исторических массовых переселениях, из которых потом возникли государства. «Отцы-странники», переселяясь в 1620 году в Северную Америку, не на то, конечно, шли туда, чтобы подпасть там под власть дикарей-туземцев. Они имели в виду очень основательную гарантию самоуправления — свои ружья и ножи. То же самое можно сказать и о великом переселении народов: подвигаясь в Европу, гунны меньше всего имели в виду стать там чужими подданными, а напротив, полагались на свои мечи как на полную гарантию автономии. Ни одно массовое переселение в те времена не совершалось и не могло совершиться без этой естественно предполагаемой гарантии самоуправления. Сионизм, выставляя тот же принцип, не вносит ничего нового. Он только заменяет старинную *кулачную* форму гарантии формой *договорной*, и это строго соответствует характеру нашего времени. Все вообще кулачные формы гарантии понемногу вымирают и заменяются договорами. Дуэль, то есть кулачная гарантия неприкосновенности индивида, и война, то есть кулачная гарантия неприкосновенности агрегата, постепенно уступают свое значение договорному учреждению третейского суда. Гунны, переселяясь в Европу, гарантировали себе автономию, и мы, переселяясь в Палестину, должны ее гарантировать; но их гарантия, сообразно духу того времени, заключалась в кулачном праве, а наша, сообразно духу нашего времени, должна выразиться в договорной форме чартера. Это так же естественно и так же мало изменяет сущность дела, как то, например, что гунны переселялись на конях или в кибитках, а мы поедем на винтовом пароходе.

Столь же основательно и другое историко-философское соображение г-на Бикермана — что «сионизм предполагает движение в сторону наибольшего сопротивления» (с. 35). «Люди... везде и всегда действовали под давлением своих повседневных (?) потребностей и нужд, и... их действия, как дей-

ствия всякой силы в природе, направлялись в сторону наименьшего сопротивления» (с. 29). И говоря так, г-н Бикерман утверждает, что путь наименьшего сопротивления в данном случае есть борьба за свои права здесь, на месте приписки, ибо гораздо легче и проще добиться благополучия там, где уже обжился, чем ехать ради этого за море, на Бог весть какие труды. И тут же рядом г-н Бикерман так объясняет причину эмиграции «отцов-странников»:

Пуритане искали свободы совести и спокойствия. То и другое можно было в то время найти лишь за океаном, и они переплыли океан (с. 29).

Странно: ведь, по г-ну Бикерману, им легче и проще было бы остаться на старых местах и бороться за свои права, чем ехать за море к краснокожим, — и, собственно говоря, г-н Бикерман должен признать их образ действий за явное уклонение от пути наименьшего сопротивления. Еще строже должен отнестись г-н Бикерман к факту двухтысячелетнего сохранения еврейской народности... Евреев били, гнали и подвергали неумеренным поборам за то, что они были евреи; ясно, что их «повседневные потребности и нужды» систематически страдали из-за их принадлежности к еврейству. Где же был путь наименьшего сопротивления для выхода из этого положения? С точки зрения г-на Бикермана, нельзя не ответить: в отступничестве. Теперь, правда, и выкреста считают евреем, но, например, в Испании выкрестов поощряли и охотно женили на испанках. Это было проще и легче всего: перестать быть евреями, и «повседневные потребности и нужды» были бы удовлетворены. Вместо того мы видим, что евреи всем жертвуют и не сдаются. Г-н Бикерман не может, если он последователен, не констатировать и здесь упорного и систематического уклонения от пути наименьшего сопротивления. Иначе — как он объяснит себе эту загадку? Что касается нас, то мы объясняем ее себе очень просто. Массы направляются к удовлетворению своих властных потребностей всегда по пути наименьшего сопротивления, и совлечь их с этого пути немислимо, но, очевидно, не г-ну Бикерману дано знать, какие потребности для масс суть наиболее властные и какой путь является для них путем наименьшего сопротивления. Если евреи столько веков страдают за свое еврейство, значит, в них есть какая-то властная потребность охранять свое еврейство, и отказ от этой потребности был бы для них неизмеримо труднее, чем отказ от

свободного удовлетворения своих «повседневных нужд». И если пуритане, очутившись в положении, подобном положению евреев, сразу почувствовали, что в данном случае путем наименьшего сопротивления для них является не борьба на месте, а массовая эмиграция, то евреям, которые больше пуритан пострадали и больше успели извериться в возможности когда-нибудь жить по-человечески в галуте, и подавно путь исхода не может не представиться, как субъективно, так и объективно, путем наименьшего сопротивления.

Уже одно это доказывает, насколько неосновательно третьюе возражение г-на Бикермана, будто бы сионизм есть движение чисто отрицательное, вызванное только антисемитизмом, и «сионистская идея явилась на свет Божий или как результат оскорбленного самолюбия, или как результат панического страха, охватившего людей в то время, как над их головой разразился громовой удар» (с. 62). Много раз гремел над евреями гром, и если бы им нужно было *только* избавиться от грома, то они сто раз успели бы укрыться от него в сторону бикермановского «наименьшего» сопротивления, то есть путем отречения от того, за что их громили. Когда человека изо дня в день бьют за то, что он, скажем, носит бороду, то ему проще всего сбрить эту бороду; и если он так поступит, это будет, несомненно, чисто отрицательный шаг, вызванный исключительно гонениями; но если человек, несмотря ни на какие муки, все-таки не жертвует бородой и в конце концов уходит прочь от насиженного угла, то не ясно ли, что ему важнее всего сберечь бороду, а не бежать от побоев, ибо для спасения от побоев есть более простое средство — срезать бороду. Если бы все дело для нас было в антисемитизме, мы звали бы к тому, что проще всего — к отречению от «семитизма». Это и было бы чистое бегство, совершенно отрицательное движение, порожденное только гонениями. Но если мы вместо отречения призываем друг друга к такому делу, которое всем кажется очень трудным, а кое-кому даже неисполнимым, то не ясно ли, что мы не столько спасаемся от гонений, сколько спасаем «бороду», охраняем и берегаем нечто *положительное*; что мы не просто бежим, куда глаза глядят, только потому, что нас хотят бить, но несем с собой что-то нам дорогое, какой-то цветок, который хотим снова посадить в родную землю, выхолить и вырастить. Исполнимо ли это желание или нет, — но не видеть его, не понимать, что именно этот положительный императив есть основной импульс сионизма, и сводит всю теорию

последнего к боязни грома, когда для спасения от грома простейшим средством был бы не сионизм, а отступничество, — все это возможно только при условии безнадежной поверхности.

Между сионизмом и антисемитизмом существует родство по духу, — говорит г-н Бикерман на с. 41 — 42, — в основных своих послылках сионизм есть возведенный в принцип антисемитизм... Макс Нордау говорит, что антисемитизм будет существовать в самом отдаленном будущем, ибо он находится в тесной связи с основными свойствами человеческого мышления и чувствования...

Любопытно, между прочим, что Каутский в этом случае согласен с Нордау, ибо утверждает, что антисемитизм исчезнет только тогда, когда исчезнут «семиты», и Каутский, таким образом, тоже оказывается, по г-ну Бикерману, в духовном родстве с Дрюмоном. Но это в скобках. Суть же в том, что г-н Бикерман очень ошибается, если думает, что ссылка на антисемитизм есть *основная послылка* сионизма. Ничего подобного. Наше движение еще очень молодо и ждет еще своего научного теоретика, но мы все прекрасно понимаем, что в схеме теоретического обоснования сионизма и антисемитизм, и *Judennot* будут играть только самую скромную роль. Можно предвидеть, что схема эта будет приблизительно такова: каждая расово-национальная группа естественно стремится к полной самобытности всех форм и приемов своей хозяйственной жизнедеятельности; поэтому перспектива ассимиляции вызывает в этой группе отпор, борьбу за национальное самосохранение; этот импульс национального самосохранения после потери *естественного* изолирующего средства — национальной территории — заставил еврейство *искусственно* оградить себя от слияния с другими народами стеной религиозного догмата; теперь, когда новые социально-экономические условия разрушили гетто и ворвавшаяся в него культура бесповоротно осудила догмат на гибель, так что *искусственная* стена, ограждавшая еврейство от растворения в чужой среде, пала, — импульс национального самосохранения побуждает еврейство стремиться к восстановлению *естественного* изолирующего средства, то есть автономной рациональной территории, чтобы обеспечить навсегда еврейской национальной индивидуальности полную всестороннюю свободу самобытной социально-хозяйственной жизнедеятельности.

Антисемитизм в этой схеме явится только второстепенной подробностью*. Макс Нордау никогда не был и не собирался быть теоретиком сионизма и даже не посвятил этому движению пока ни одной крупной работы. Нордау — агитатор сионизма, а как довод для сионистской агитации антисемитизм, особенно «возведенный в принцип», конечно, весьма удобен и полезен. Нет сомнения, что антисемитизм сильно содействует пробуждению национального чувства, но «пробудить» не значит «создать». Роль антисемитизма, как я уже заметил однажды печатно, это — роль блохи, от укушения которой спящий может проснуться, но если он, проснувшись, принимается за творческое дело, то не ради нечистого насекомого, а ради того инстинкта жизни и работы, который в нем от рода заложен...

Не стану отвечать особо на четвертый довод г-на Бикермана — о реакционном характере сионизма, так как об этом уже говорил выше; но нельзя не отметить, что тут автор пускается прямо в какую-то очень странную игру словами и понятиями. Сионизм есть *охранение*, говорит он, и потому сионистская пропаганда «неизбежно реакционна» (с. 40, 69). Г-н Бикерман, кажется, заведовал одной общественной библиотекой. Он ее, несомненно, «охраняет» и не позволит взять из нее без отдачи ни одного тома. Следует ли из этого, что его деятельность реакционна? Нисколько. Хорошую вещь и надо «охранять», особенно когда ей грозит опасность. Лучшие люди России «охраняли» долгое время земство и суд присяжных. Г-н Бикерман просто хотел поспекулировать словом «охранение», пользуясь тем, что оно в русской печати получило особую прискорбную известность. Еще менее красива другая попытка такой же спекуляции, которую мы находим на с. 65:

Ничего нет дешевле, как стать сионистом. Для этого достаточно сказать себе: сионист есмь¹ — и заплатить 40 копеек. Никакой борьбы выдержать не приходится, *никаким (??) преследованиям тебя не подвергают*. Явный признак, что сионизм — сам по себе, а жизнь — сама по себе».

Что это такое? Г-н Бикерман не мог не знать, что за границей «нет ничего дешевле», как записаться в какую угодно партию: «Достаточно сказать себе» и т. д., и за это тоже не подвер-

* Более подробно эта схема развита автором в брошюре «Эволюция галута», а также в предисловии к брошюре Р. Шпрингер (*Синоптикус*). «Государство и нация». (*Издат.*)

¹ Я — сионист (*старослав.*).

гают никаким преследованиям. Явный признак, что за границей все партии — сами по себе, а жизнь — сама по себе?.. Что это такое: легкость мысли или недобросовестность?

И тут бросаются в глаза некоторые странности. «Народ, тратя свои силы на создание нового государства, неминуемо отстал бы в культурном развитии. Тут мы уже имеем дело... с истиной, подтверждаемой всей историей человечества» (с. 53). «Нам предлагают... уйти, чтобы начать на новом месте счет мучающихся поколений сначала, чтобы лишь столетия спустя дойти до того положения, в котором мы находимся теперь!» (с. 46). Как же так? Все грамотные люди знают, что именно те народы, которые создали новые государства, например североамериканские и австралийские переселенцы, колоссально шагнули вперед за самое короткое время и далеко обогнали «в культурном отношении» старую Европу. Опять-таки в любой книжке по социологии г-н Бикерман нашел бы и подробности этого феномена, и его объяснение. Допускаю охотно, что г-н Бикерман действительно знаком со «всею историей человека», раз он на нее «всю» ссылается, то в таком случае подобные выводы из этой «всею» истории еще раз неопровержимо говорят о самой легкомысленной поверхностности. И тут нельзя кстати не вспомнить тех страниц (57 — 59), где г-н Бикерман отрицает *Judennot*. Я, к счастью, не обязан возражать на эту часть статьи потому, что *Judennot*, на мой взгляд, не составляет краеугольного момента в обосновании сионизма. Но когда прочтешь это удивительное место, где с цифрами в руках доказывается, что евреи вовсе не угнетенный народ, а напротив, весьма благоденствующий народ, то невольно хочется повторить вопрос: да что же это такое, наконец, — просто словеса или нечто похуже?

К той же категории отношу и последний довод Бикермана: что осуществление сионизма погубило бы еврейство. Вот образчик этого «пилпула»¹: «Ведет ли сионизм к сохранению еврейской расы и еврейской культуры? И на этот вопрос я отвечаю: из всех путей, ведущих к исчезновению того и другого, путь в Сион наиболее короткий. И это мое утверждение подкрепляется каждой страницей всемирной истории... Разве не показывает вся история, что именно в том огромном котле, в котором вываривались государства, исчезали племена и сливались в одну массу различные расы... Где же теоретики сионизма нам доказали, что на почве Палестины, куда они нас зовут,

¹ Здесь: казуистика, схоластика (*швр*).

процесс государственного строительства не будет сопровождаться тем же смешением племен?» (с. 51 — 52). Опять словеса, опять верхоглядство. Когда на одной и той же территории сошлись для «государственного строительства» и англы, и саксы, тогда получилась, действительно, смешанная раса англо-саксов. Но осуществление сионизма должно по схеме сионистов заключаться не в том, что «государственным строительством» в Палестине займутся евреи плюс еще какие-то другие народности, а в том, что *евреям* удастся добиться уступки Палестины *евреям* же для создания там *еврейского* государства. Никто не придет нам помогать (придут, пожалуй, мешать — но уже это особый вопрос), и не с кем будет нам смешиваться. Разве с туземными арабами? Смею уверить г-на Бикермана, что эта горсть арабов обнаружит тогда ровно столько же охоты к слиянию с нами, сколько мы теперь к слиянию с господствующими нациями галута...

Пробежав этот обзор нескольких опытов прямой или косвенной критики нашего движения, читатель, конечно, заметил, что из всех оппонентов один только г-н Бикерман нападает на нас с таким шумным апломбом полномочного ревизора от науки — причем даже минутами совершенно невольно вспоминается соответствующая комедия Гоголя. Это послужит мне оправданием, если против моей воли в последней части обзора у меня вырвались, быть может, несколько резкие выражения. Они, во всяком случае, не могут быть отнесены к остальным критикам: последние, во-первых, не чета г-ну Бикерману, а во-вторых, гораздо скромнее. Сознывая, очевидно, что настоящей научной разработки вопросов о национальности пока еще нет, они без апломба и треска излагают свою отсебятину, не браня при этом инакомыслящих неучами и не призывая в свидетели «всю» историю. В них не видно желания взвалить непременно всю ответственность за их собственные домыслы на плечи «науки». Это почтительное отношение к последней делает им, сравнительно, честь. Но не делает им, к сожалению, чести их несдержанное и невдумчивое отношение к еврейскому национальному движению. Мы не можем требовать от них сочувствия; но презрительно третируют столь крупное течение, критиковать его запросто, между делом, «домашними средствами», упразднить его одной кляксой пера — это прежде всего не доказывает глубокого и серьезного взгляда на вопрос. Где налицо имеются как-никак десятки тысяч людей с определенным практиче-

ким идеалом, там можно соглашаться или нет, содействовать или бороться, но только поверхностный ум может отделаться пожиманием плеч или воплями о реакционности движения, и всего менее уместно в этих случаях слово «утопия» — жалкое слово из словаря трусов, повторять которое неприлично серьезному человеку. Многие, что полвека назад еще называли утопией, теперь завоевывает мир. Господа Каутский, Изгоев и Южаков не могут не знать этого. Именно потому, что я совсем не считаю их людьми поверхностными, я настаиваю, что этим своим легким отношением к сионизму они прежде всего высказывают недостаточное уважение к самим себе.

И поэтому надо в заключение сказать, что если наши критики впоследствии глубже и вдумчивее отнесутся к нашему движению, они в гораздо большей степени окажут услугу самим себе, нежели нам. Что касается нас, то всякое выражение сочувствия со стороны — нам весьма приятно и дорого; но не следует думать, будто сионизм бредет по своему пути с протянутой рукой, выпрашивая у посторонних подачку сочувствия. Мы прежде всего помним, что не симпатии посторонних людей спасут нас, а наша самостоятельность. Ту поддержку общественного мнения, которая необходима для осуществления нашей задачи, мы не выклянчим, а завоюем этой самостоятельностью. Поэтому доброе слово постороннего не может привести нас в восторг, и неодобрение постороннего не способно смутить нашу решимость. Мы идем по нашей дороге потому, что непреодолимый внутренний императив так велит, и сила этого императива ручается нам за его жизненность и ценность. И глубоко в то же время сознавая себя честными друзьями братства и прогресса, мы не должны оглядываться ни направо, ни налево и не станем дожидаться похвалы ни от чужих, ни от тех, которые хотя и будут чужими. Родина Гарибальди, возрождаясь, отказалась от посторонней помощи; она провозгласила принцип «L'Italia farà da sé» — Италия сама себе поможет — и сим победила. Этот завет должны помнить и мы. Обучая наших детей говорить на языке Торы, мы пользуемся при обучении только языком Торы: в этом заключается образцовый метод. Возрождение нашего народа совершится по тому же способу, как и возрождение нашего языка: иврит бе-иврит...¹

Владимир Жаботинский

Еврейская жизнь. 1904. № 3. С. 170–192

¹ Иврит на иврите (*ивр.*).



Вскользь

Петербург, 1 марта

У одного здешнего журналиста собралось вчера несколько собратьев по перу.

Беседовали, конечно, о правде, и все были согласны в том, что без правды больше нельзя.

— Помилуйте! — горячился хозяин, — а еще говорят, что правда одна, а ложь многообразна. Я не знаю, может, оно и так, но знаю, что если лжи даже и очень много на свете, то я уже всю ее использовал до конца. Для меня лжи больше не осталось! Поймите эту трагедию!

— Как так лжи не осталось? — вступился некто, — я всегда полагал, что лжи на весь век и всем хватит, была бы охота.

Этот некто был не газетчик, а адвокат.

— Наивный вы человек, — ответил ему хозяин. — Поймите вы, что я уже лет пятнадцать торгую в розницу идеями за разными прилавками газет. Я за это время написал три тысячи статей и заметок, три тысячи, понимаете? И чтобы написать каждую из них, я садился к столу и тер себе лоб: о чем писать? И мне приходило в голову прежде всего конечно: пиши правду. То есть пиши о том, что важнее всего и о чем все скорбят и думают. Но оказывалось, что сих речей бумага не терпит и машина не печатает. И потому приходилось изобретать: о чем бы этаким написать, не касаясь правды? А ведь писать, не касаясь правды, значит писать ложь... И вот я изобретал какую-нибудь ложь, и статья была готова. Но на завтра та же процедура: опять херишь правду, хотя так и чешутся руки описать ее, и опять изобретаешь новую ложь. За пятнадцать лет я придумал таким образом около трех тысяч лжей. Согласен, что лжи на свете много, но помилуйте, с меня довольно. Я устал. Моя изобретательность иссякла. Я больше не могу придумать ни одной лжи. Я просиживаю часы у стола, тру лоб и ничего не могу из него вытереть. Правда-то по-прежнему стоит передо мною вся, как на ладони, и так бы о ней и писал, и писал без конца — но бумага не терпит. А лжи больше не придумую. Оттого стал редко писать, а когда пишу, так повторяюсь. Это всем заметно. Издатель на днях приказывал подтя-

нуться и даже гонорар задержал. Еще год — и я погиб, если не начну писать правду.

После сего компания помолчала, и в воздухе пахло горькими размышлениями.

Компания, кроме меня, все была столичная, только в углу сидел скромный господин запуганной наружности, у которого брюки были сшиты по последней крыжопольской моде.

Это был действительно сотрудник крыжопольского органа печати. Мы знаем, что он вел там публицистический отдел. В Крыжополе это называют «рецензент».

Когда помолчали, он завозился и несмело сказал:

— У нас, по захолустьям, оно, пожалуй, еще труднее.

— Не бывает труднее, — угрюмо сказал хозяин.

— Не скажите. Ежели бы я жил и писал в Петербурге, то почитал бы себя свободнее вихря в степи сравнительно с нашим крыжопольским положением.

— А что, худо в Крыжополе? — спросил сочувственно кто-то из гостей.

— Весьма худо в Крыжополе. Особенно вот по части стиля. Тут у вас хоть стиль неприкосновенен. Это очень важно: «лестиль сельом»¹. А у нас в Крыжополе и стиль подвергается членоповреждениям. Никакой индивидуальности не провишь.

— Как же это так, и стиль? — удивилась компания, кроме меня. Я, конечно, не удивился, ибо знаю хорошо, где раки зимуют.

— И стиль, — ответил крыжопольский рецензент. — Например, завезли к нам недавно картину Репина «Какой простор». Я возьми да напиши: «В это полотно необходимо всмотреться, вникнуть, вдуматься и вчувствоваться». Итого четыре глагола. Утром читаю газету — смотрю, первые два глагола бумага стерпела, а третьего и четвертого не стерпела. Так и осталось: «В эту картину необходимо всмотреться, вникнуть». И еще написал я в той же рецензии: «Верхняя часть картины тускловата и на сером фоне стены совсем теряется. Нужен был бы красный фон». Утром читаю: «Нужен был бы другой фон». Не стерпела бумага красного фона.

¹ Стиль — это человек (от *фр.* le style c'est l'homme).

— Ишь ты, — сказали гости даже с некоторым благоговением.

— Да, бывает, — поддакнул сотрудник крыжопольского органа печати. — Весьма бывает. Написал я однажды: «В ноябре начинается между газетами резня из-за подписчика». Утром гляжу — бумага не стерпела. Вместо «резня» читается «соперничество». Я до того удивился, что даже навел справку: почему? Оказалось, что нежелательно употребление слов, могущих напомнить читателю о каких-либо прискорбных событиях.

— Да, — сказал адвокат, — индивидуальности тут не проявишь.

— Туго, весьма туго, — продолжал рецензент. — А из сего можете умозаключить, каково у нас в Крыжополе насчет этой самой правды, ежели даже невинная стилистика столь опекаема. С правдой совсем нехорошо. Если послушаете, расскажу небольшую притчу.

— Внимаем, — сказала компания.

— Имеется у нас в Крыжополе общество взаимного кредита. Однажды подходит срок собрания уполномоченных, и доводят до моего сведения, что собранию будет предложено увеличить состав правления: вместо четырех членов посадить шесть. Итого два лишних оклада. Я пишу статейку, что не стоит: и дорого, и не нужно, и нынешних четыре члена великолепно справляются. Утром гляжу — бумага не стерпела. Нету моей статейки. Словно в воду канула.

— Ишь ты, — сказали гости.

— Да-с. Ну, лечу наводить справки и получаю такое объяснение: у нашего ремесленного старосты есть сын, а сын байбак и ничего не зарабатывает. И вот придумал для него староста подходящую должность: сидеть в правлении. Для сего и учреждается место. А чтобы не бросалось в глаза, то уж и два сразу. Ergo¹ — писать против этого все равно, что писать, упаси Господи, против ремесленного старосты...

— Да вы что, шутите? — спросил хозяин.

— Нет-с, нам не до шуток. Факт! До того факт, что я, дня через три, получил бранное письмо следующего содержания: «Вы, милостивый государь, очевидно, стакнулись с ремесленным старостой. Вы отлично знаете, что новые должности нуж-

¹ Следовательно, поэтому (*лат.*).

ны не обществу, на плечи которого они лягут бременем непроизводительного расхода. Отчего же вы молчите об этом? Странно... А между тем нельзя медлить, клеветы ремесленного старосты обходят уполномоченных и ведут агитацию. Что ж, я не удивлюсь, если завтра и вы напишете статью о необходимости двух новых членов правления. У ремесленного старосты денег много. Но скажите, какое право имеете вы после этого претендовать на роль учителя нас, бедных смертных, давать нам советы и делать упреки? Презирующий всех торгашей слова такой-то». У меня это письмо хранится в шкапулочке.

— Тьфу! — плюнул адвокат, не вытерпев, — о чем же тогда вы пишете в своем органе печати?

— А это, помилуйте, само собой ясно, — доложил крыжопольский рецензент, — мы всегда пишем не о том, что всех интересует. Ибо раз оно всех интересует, значит, оно и чьи-нибудь интересы затрагивает. А раз оно затрагивает интересы, то бумага не потерпит. Вот мы и пишем не о том. Всегда не о том.

И опять мы все помолчали.

— В конце концов, — заворчал хозяин, — нельзя винить публику, если она считает нас продажными скоморохами или в лучшем случае легкомысленными скоморохами. Ведь она так привыкла к тому, что мы пишем всегда не о том, упорно и неукоснительно избегая касаться правды. Как же может она считаться с нами серьезно? Видит она, что мы все лжем, и почитывает нас не без приятности, когда мы мило врем, — а в сущности плюет на нас она и в грош не ставит, и, может, она в этом и права — только и мы не виноваты...

Altalena

Одесские новости. 5.03.1904



Вскользь

Петербург, 3 марта

...Сквозь газеты, журналы, выставки, сплетни, уличную толкотню, сквозь всю многошумную суету здешней жизни очень хотелось бы мне уловить одно, самое главное в настроении здешней публики.

Мне хотелось бы разгадать: чего ждет от будущего она, живущая у самого центра русской нервной системы? Весело ли смотрит вперед, в надежде славы и добра, или невесело?

Живя здесь, я главным образом в это и всматриваюсь, этого и допытываюсь.

Нелегко в этом, однако, разобраться.

Нельзя пойти и опрашивать людей:

— Чего чаете в будущем?

Нельзя потому, что все отговариваются полным неимением каких бы то ни было чаяний.

Иной, впрочем, передаст какой-нибудь слух о предстоящих веяниях, но тут же сам прибавит, что это больше из той категории, которую г-н Мещерский называет петербургским лганьем.

Это все даже до войны.

Когда же началась война и все прочее сначала отодвинулось на задний план, вопрос о чаяниях стал еще неопределеннее.

Кое-кто даже возликовал и вострубил в трубы от радости по этому случаю. Те господа, которые устно и печатно всегда и вообще ворчат против каких бы то ни было надежд и ожиданий, обрадовались ужасно и закричали, что общество отрезвилось и окончательно бросило фантазировать о новшествах, и все это благодаря войне.

И, слушая и читая этих господ, минутами казалось, что они готовы благословлять эту войну, и невольно думалось, что вряд ли патриотично — радоваться событию, которое потребует у родины столько жертв и кровью, и деньгами.

Но теперь все это немного прояснилось. Отношение к событиям на Дальнем Востоке стало гораздо более ровным, более спокойным — и тем самым, по-моему, более уверенным.

Конечно, разгар войны, судя по официальным сообщениям, еще впереди, и когда начнутся напряженные военные действия, тогда интерес к войне опять многое заслонит.

Но уже по всему, по настроению печати и по домашним и уличным разговорам, видно, что чаяния все-таки от войны не вянут и не хиреют.

Даже напротив. Большинству казалось бы обидным для русского достоинства думать, что Россия должна все свои помыслы сосредоточить на японце и ни о чем другом не вспоминать.

Врага надо, по возможности, уважать, — но уж *это* было бы поистине слишком много чести для японца.

Живая и жизнеспособная страна даже в трудные минуты не может жить исключительно думой о враге.

О себе, а не о враге надо ей думать даже во время войны.

Так, Наполеон, сидя в подожженной Москве, помнил о Франции и издал знаменитый *decret de Moscou*, которым учреждался в Париже «Дом Мольера», театр *Comédie-Française*.

Этот блестящий исторический пример всем известен, и также всем известно, что в России теперь стоят на очереди гораздо более важные вопросы, чем устроение театров.

Я вслушиваюсь и вглядываюсь совершенно беспристрастно, нисколько не боясь печальных наблюдений и не замазывая их перед собой розовой краской, — и тем не менее выношу совершенно определенное впечатление: что чаяния остаются чаяниями, надежды — надеждами, запросы жизни — запросами, потребности — потребностями, и ничего в них война не убавила и не убавит.

Интерес к войне, бесспорно, огромен и, если будут крупные события, станет еще огромнее.

Но интересы государства — это такое обширное поле, что как бы ни разрослось напряжение войны — всего поля оно не покроеет. Созидательная работа назрела и должна проявиться. Так, евреи в возрожденном Иерусалиме левой рукой держали мечи, правой строили храм. И чем больше вглядываешься в здешнее настроение, тем больше выясняется, что все это понимают, что ни один разумный человек еще не отдал и не отдаст японцу своих надежд, своих мечтаний о внутреннем благе России.

Как до войны все ждали и жаждали внутренней творческой работы, так ждут и жаждут теперь.

Но главный вопрос все-таки остается вопросом: а рассчитывают ли на исполнение желаний? Бодро ли, весело ли глядят в близкое будущее?

Это очень важный вопрос для всей России — весело ли настроен петербургский обыватель. Если он улыбается, все приосаниваются, ибо знают, что ему виднее; когда он начинает киснуть, все за ним хандрят.

И вот, когда я захотел разобраться в этом вопросе, меня поразила одна странность — разница между фактами и настроением.

Никогда я еще не видал такой разницы между фактами и настроением.

Факты выступают чинно и степенно, совершенно обычным путем, никому не улыбаясь и никого не приглашая ликовать и надеяться.

И минутами эти факты даже принимают такой хмурый вид, что впору, казалось бы, вовсе пасть духом и отложить всякие ожидания.

Казалось бы, пора махнуть рукой и сказать себе и другим: — Пиши пропало!

А между тем несомненно, что именно этого и не отмечает-ся в здешнем настроении. В нем нет определенных надежд, но нет и следа безнадежности. Никто еще не кричит: Эврика! — но никто и не думает писать: «пропало».

И если вы попытаете уговорить среднего петербургского интеллигента взять да написать в книге своих чаяний слово «пропало» — он только пожмет плечами и скажет:

— Ну, уж это извините. Не поверю.

И если вы, для убедительности, укажете ему на факты, исключаяющие всякое чаяние, он беспечно ответит:

— Да ведь как посмотреть?.. Может быть, это просто, знаете, как бывает, пред царем холодком потянет...

В чем же дело? Откуда такая беспечность? Какие за нее доводы? На каких фактах или хоть приметах она основана?

Неизвестно. Совершенно неизвестно. И все-таки оно неоспоримо существует, это удивительно солнечное отношение ко всем неприятностям, словно они что-то неважное, мимолетное, временное, ровно ничего не предвещающее.

К такой чисто инстинктивной уверенности можно двояко отнестись.

Во-первых, можно совсем с нею не считаться. Блажь, слепая вера наперекор стихиям и даже рассудку вопреки, и больше ничего.

А во-вторых, можно вспомнить и то, что все-таки толпа, хотя бы и интеллигентная, есть стихия, а чутье стихии всегда верно.

Если летом, при ясном небе, одна ласточка пролетит перед вами низко над землей, вы можете ей не поверить, что будет дождь.

Но если все ласточки летают низко, то это знак, что рой мошек, за которыми они гоняются, чуют ливень и никнут полетом к земле. И хотя нигде не видно ни облачка, а все-таки

раз все мошки, точно по уговору, летают низко, то быть дождю и не продлится больше засуха.

Когда мы с вами были мальчиками и лазили по крутым берегам на Ланжероне, нам часто приходилось прыгать через широкие расщелины.

И прежде чем перепрыгнуть, мы глазами измеряли расстояние, и чутье нам подсказывало — перепрыгнем или не перепрыгнем.

Разве были у нас какие-нибудь доводы? Разве мы были бы в состоянии учесть свой глазомер, вычислить, во сколько аршин и вершков определяет он пространство, которое мы в силах одолеть?

Чутье не имело доводов. Оно было сильнее всяких доводов, и было безошибочным.

Может быть, и русская жизнь теперь наконец дошла до такого места, где ей, помимо и превыше всяких доводов, безошибочным стихийным чутьем стало ясно, что тут уж она непременно перепрыгнет и пойдет к обновлению, внутреннему и внешнему миру и работе.

Altalena

Одесские новости. 7.03.1904



Вскользь

Петербург, 4 марта

Здесь одна госпожа недавно читала доклад о проституции. Эта госпожа — аболиционистка, то есть сторонница отмены регламентации и врачебного надзора; и в этом смысле она даже составила доклад министру внутренних дел.

Читатель, конечно, знает, что это не ново: регламентация, а с нею и врачебный надзор уже отменены во многих культурных государствах, так что аболиционизм считается даже очень передовым и гуманным взглядом.

Может быть, я и ошибаюсь, но я смотрю совершенно иначе на это и вижу в аболиционизме течение несимпатичное, не передовое и не гуманное.

Или, вернее, вижу в нем какой-то половинчатый компромисс между гуманным отношением к человеку и отжившими, не передовыми и не симпатичными предрассудками.

Конечно, сторонником регламентации я не состою.

Но ведь, с другой стороны, вот что непонятно: мы теперь стоим за гигиену везде и стараемся ввести ее повсюду.

Мы стараемся иметь врача при школе, при фабрике, при театре — словом, при всяком учреждении, где есть известное скопление людей.

И если бы только было возможно, мы охотно завели бы по врачу при каждой цирюльне, чтобы вернее обезопасить стригущихся, бреющихся и даже завивающихся от малейшего заражения.

И наряду с этим стремлением всевозможно расширить применение врачебного надзора — вдруг именно там, где опасность заражения всего больше, раздаются голоса:

— Не надо никакого врачебного надзора!

Это очень странно, а страннее всего то, что такие голоса считаются голосами прогресса.

Тут обыкновенно приводится довод о полной безуспешности этого надзора: даже специалисты говорят, что этот надзор ни от чего не гарантирует.

Я не специалист, но все-таки позволю себе твердо стоять на той точке зрения, что специалисты, так говорящие, не в ладу со здравым смыслом.

Есть, конечно, такие случаи, когда врач не может обнаружить, что женщина больна; пусть этих случаев даже будет большинство, даже девять из десяти.

Но ведь есть стадии, в которых болезнь легко может быть обнаружена; и эти стадии, по большей части, самые опасные в смысле заразительности. При врачебном надзоре хоть эта часть будет устраняться, а без надзора и эта часть будет иметь возможность беспрепятственно содействовать отравлению человечества. Разве это лучше?

Кроме того, каждый день приносит новые открытия. Завтра, может быть, новое применение икс-лучей или радия даст способ констатировать наличие болезни даже в зачаточных стадиях.

Если врачебный надзор теперь нехорошо поставлен, поставьте его хорошо. Замените врача-мужчину женщиной, устраните от этого дела городских, учредите от города выборное попечительство, куда каждая женщина могла бы жаловаться на притеснения или обиды со стороны врачебного состава.

Но говорить об упразднении медицинского присмотра именно в этой области, которая чуть ли не обильнее всякой

другой дарит медицине серьезных пациентов, — это заблуждение было бы совершенно необъяснимо... если бы не было так понятно.

Оно очень понятно. Это — новая гуманная погудка на старый варварский лад.

Старое варварское отношение к проституции заключалось в том, что люди порядочные считали своим долгом ее игнорировать.

— Проституция есть мерзость, — мысленно рассуждали они, — ergo, чем меньше говорить о ней, тем лучше.

И не говорили.

Что бы затем ни происходило в этой непечатной области, какие бы ужасы ни разыгрывались, порядочные люди затыкали себе уши и отвечали:

— Знать ничего не желаем. Поделом.

Но пришло время, когда люди одумались.

Тогда они, во-первых, наняли врача, и во-вторых, позвали городского и сказали ему:

— Ежели увидишь, что такая-то занимается этим ремеслом, сунь ей желтый билет. А в каждый такой-то день недели бери всех, у кого желтый билет, за шиворот и веди к доктору.

И началась вакханалия надругательства...

Люди, между тем, все умнели, и все больше коробило их от сознания, что под боком у них идет торговля живым товаром, да еще в таких возмутительных условиях.

И многим наконец стало невыносимо мириться с этими условиями, и они стали проповедовать...

Проповедовать что? Может быть, постановку этого несчастного ремесла в лучшие условия, которые обеспечивали бы женщине существование без надругательства, а обществу — наибольшую возможную безопасность от заразы?

Ничуть: они стали проповедовать возвращение назад, к старому способу игнорирования. Отложить всякие попечения, оставить на волю рока: это называется аболиционизмом.

Все это от чистого сердца прикрывается фразами о свободе человеческой личности и так далее, но для меня это простое следствие из старой ходячей точки зрения, которая для женщины установила кличку «падшей» и для ее ремесла — название «позорного ремесла» и проповедовала брезгливое равнодушие ко всем этим неприличным вещам.

Аболиционизм — это гуманная реакция, но все-таки реакция в специальном смысле этого слова.

Шаг назад.

Не так надо браться за дело. Закрытием глаз никогда ничему не поможешь.

Я твердо убежден, что правильный путь совершенно иной; уверен, что это — единственный путь и по этому пути общество рано или поздно непременно направится, потому что другого нет.

Надо прежде всего вычеркнуть из нашего сознания слова «*падшая* женщина» и «*позорное* ремесло». Вычеркнуть без следа, ибо это нелепые сантименты, которые только мешают делу.

И когда мы тщательно вытравим из этого вопроса всякие сантименты и взглянем на него трезво, мы увидим одно: что проституция существует и будет существовать до тех пор, пока старый порядок *regum humanarum*¹ не заменится новым порядком. То есть еще очень долго.

А раз данное ремесло существует и будет существовать еще очень долго, то задача разумного гражданина не в том, чтобы вопиать и ругаться, а в том, чтобы благоустроить это ремесло.

Благоустроить ремесло — значит поставить его так, чтобы оно исправляло свою службу, по крайней мере с наименьшим вредом и для общества, и для самих ремесленников.

Так и надо отнести к проституции, и так рано или поздно к ней отнесутся, ибо другого способа нет.

Теперь есть общества защиты женщин и приюты св. Магдалины. Первые заботятся о том, чтобы женщина, рискующая по своей бедности попасть в омут проституции, не попала туда. Вторые заботятся о том, чтобы женщина, вырвавшаяся из этого омута, не упала обратно. Первые, так сказать, опекают женщину *до* проституции, вторые — *после* проституции.

Все это очень полезно, особенно первое. Здесь, в Петербурге, я видел сам одно учреждение общества защиты женщин, которое приносит, бесспорно, громадную пользу.

Но всего этого мало. Мало заботиться о женщине *до* и *после* проституции. Надо заботиться о самой проститутке, *именно в то время, пока она проститутка*.

Сколько бы мы ни уберегали девушек от «падения», сколько бы «падших» ни удалось нам спасти — все-таки, пока стоит нынешний общественный строй, будет спрос, а пока будет спрос, будет и предложение, и будут тысячи женщин, пребывающих не «до» и не «после», а в самом моменте проституции.

О них-то и надо заботиться. Это важнее всего.

¹ Здесь: дел человеческих (*лат.*).

Но заботиться не как о «падших», не как о «позорных», а как о людях, несущих на себе, по властному требованию общества, известную функцию и потому имеющих такое же право гражданства в этом обществе, как и всякий другой рабочий: мастерской, приказчик, журналист, учитель и врач.

Все мы, кроме дармоедов, все мы ремесленники разного цеха на этой земле. Проституция — это одна из цеховых групп, и больше ничего.

Всякий раз, когда перед нами встает вопрос о благоустройстве какой-нибудь цеховой группы, мы прежде всего стараемся внушить ее представителям следующий катехизис:

— Вы — такие же люди, как все другие, и имеете такое же право на благосостояние.

И так далее.

То же самое, слово в слово, должно быть повторено и повторяемо изо дня в день и этой цеховой группе, только громче и толковее.

Оберегать от чрезмерной эксплуатации, обеспечивать врачебный надзор, гарантировать и страховать, по возможности, от профессиональных болезней и профессионального истощения; содействовать пробуждению человеческого достоинства, умственному и нравственному развитию.

На Молдаванке живет умный старый человек, господин Лызлов. Он когда-то подал в Одесскую думу записку следующего содержания.

Дома терпимости убрали с Кривой и перевели на Болгарскую. Тамошние жители взвыли и подали прошение, чтобы от них убрали эти дома. Допустим, что управа перенесет их еще дальше. Что же из того? Через год и оттуда придет прошение о переводе домов еще подальше. И так без конца.

Не лучше ли, спрашивал г-н Лызлов, взять да раз и навсегда определить этим домам место где-нибудь за городом? Выстроить там здание по всем правилам гигиены (потому что теперь даже тюрьмы строятся по всем правилам гигиены). Зачем называть это здание бранным именем «дома терпимости»? Назовите как-нибудь безобидно. Не отдавайте этого приюта в полную власть жадным содержателям: поставьте там своих заведующих от города, учредите контроль и заведите при приюте *два* врачебных состава: женский — для самих женщин, чтобы не приходилось таскать их по городу к доктору, и мужской — для проходящих мужчин, чтобы не пропускать заведомо больных...

Кто помнит этот проект, помнит также, какой гогот подняли тогда добрые люди в публике и прессе. А все-таки мнение г-на Лызлова было единственно разумное слово, сказанное тогда в нашем городе по этому вопросу...

Тогда я был еще молод и не гнушался устно спорить с обывателем. Один из них, беседа о проекте г-на Лызлова, даже возмущался.

— И без того много девушек бежит от тяжелой жизни прислуги или мастерицы в публичный дом, потому что там сытно кормят и не заставляют шить или стирать. А тут нам еще предлагают устроить из публичного дома какой-то рай земной! Для чего? Для того, чтобы соблазну стало больше?

Так рассуждали в старину о тюрьме: стоит ли держать узника в чистоте и тепле и кормить его досыта свежей пищей? Да после этого всякий бедняк предпочтет украсть и попасть на казенные хлеба в тюрьму, чем носить тяжести с берега на пароход!

Логика — тоже!

И помню, что тогда же другой обыватель говорил мне:

— Чтобы реформировать проституцию по лызловскому проекту, придется потратить значительное количество общественной энергии. Так не лучше ли, чем расходовать энергию на паллиатив, употребить ее для радикального искоренения зла, проповедуя воздержание, вызывая к бойкоту публичных домов?

Старая игрушечная иллюзия, в которую, однако, еще до сих пор иные чудаки верят.

Есть только одна проповедь, которой люди следуют, могут и должны следовать: это — вариации на тему:

— Стойте за свои интересы, которым другие хотят повредить.

Но никогда люди не следовали, не могут и не должны следовать проповеди, которая зовет их к отречению от желаний, к ограничению потребностей, хотя бы это были прискорбные желания и прискорбные потребности.

Но главное — во имя чего проповедовать воздержание? Опять, очевидно, во имя половой «морали»?

Во имя этой самой половой «морали», которая уродует жизнь человеческую, клеймит младенца бастардом и его мать распутницей, воспитывает в обоих полах с детства не-

здоровое любопытство и распущенное воображение, приводит к семейным драмам и убийствам; во имя половой «морали», родившись из вечного подчинения женщины и в свою очередь ныне поддерживающей это безнравственное подчинение?

Борьба с развратом — высокая цель, но не через половую «мораль» надо к ней стремиться. Даже прекрасный идеал не всегда оправдывает употребление столь грозного оружия.

Опереться в борьбе с проституцией на половую «мораль» — значит признавать эту мораль, а признавать ее — значит поддерживать ее. Но поддерживать половую «мораль» и в то же время бороться с проституцией — это абсурд, противоречие, это значит — правой рукой вычерпывать из бочки воду, а левой снова наливать.

Одно и то же породило и половую «мораль», и, как поправку к ней, проституцию. Чтобы исчезла вторая, необходимо прежде должна рухнуть и первая.

*Только День, когда не станет
предрассудков и границ, —
только он, великий, может
сделать лишними блудниц...*

Altalena

Одесские новости. 11.03.1904



Вскользь

Петербург, 8 марта

Не без удовольствия прочитал телеграмму, что десять рускоподданных студентов высылаются из Берлина за то, что позволили себе протестовать против брани Бюлова.

Потому не без удовольствия, что это событие, надеюсь, ускорит развязку.

Положение нуждается в развязке во что бы то ни стало.

Нельзя больше мириться с отношением туземцев к студентам из России, рассеянным по Неметчине.

Это отношение до сих пор выражалось двояко: в бойкоте и в клевете.

«Бойкот» — слово заморское, а заморские слова всегда смягчают грубые понятия. По-русски же этот «бойкот» означает вот что: не знаться, не подавать руки, не замечать — обращаться так, как принято обращаться с грязными личностями, с которыми неловко быть знакомым.

Так третируют там студентов из России; и в то же время, официально как бы не замечая гостей, неофициально хозяева уделяли им очень много внимания.

Чтобы нагромоздить такую гору чистой клеветы, какую они нагромоздили, нужно осчастливить того, про кого лжешь, самым исключительным вниманием.

Иначе разве можно долгаться до того, будто бы в таком-то публичном доме видели таких-то студенток из русской колонии?

А ведь бывали и такие сплетни.

Понимаете, вы, госпожи и господа читатели? У вас, может быть, есть дочь или сестра в каком-нибудь из немецких университетов.

И в ту самую минуту, когда вы это читаете, возможно, что мясистый корпорант показывает на нее пальцем мясистому корпоранту и говорит:

— А знаешь? С нею можно. Они все такие.

Надо при этом знать, что такое Берлин.

Я как раз недавно читал известную книгу социолога-публициста Гульельмо Ферреро «Молодая Европа».

Ферреро не шовинист, не человеконенавистник; по всему видно даже, что он немцев очень уважает и ценит.

Поэтому можно положиться на его слова о берлинском разврате.

— Париж тоже развратен, — говорит Ферреро, — но в Париже все это хоть прикрыто флером поэзии.

Прежде чем овладеть парижанкой, даже самой легкомысленной из мастериц, надо за ней поухаживать, надо повздыхать, погулять в Булонском лесу и поговорить о чувствительных предметах.

В Берлине все это упразднено.

Молодой человек, студент или приказчик, обгоняет на улице барышню и зовет ее в кофейню или пивную. Если она не занята, то идет с ним; через час она у него дома, и дело в шляпе.

Никаких поэтических прикрас, ничего. Мясо есть мясо, у мяса свои потребности, и берлинец на все это смотрит трезво и помнит поговорку, что время — деньги.

У Ферреро все это рассказано без всякого порицания или укора, спокойным тоном социолога, который наблюдает и рассказывает.

И я повторяю здесь его наблюдения тоже не для субъективных выводов и не для метания громов по адресу прусского Вавилона, а просто для выяснения, какова та среда, сыновья которой указывают пальцами на студенток из России, то есть на наших сестер или дочерей.

И все это терпелось и проглатывалось, и студенческие колонии в немецких городах даже сильно росли с каждым годом, несмотря на то, что сами университеты стали ограничивать прием иностранцев.

Надо отдать полную справедливость нашим почтенным землякам: все нравственные плевки и оплеухи, какие только можно было получать, они получали и в получении расписывались, и все-таки шли опять в немецкие университеты.

Это укрепляло в туземцах убеждение, что перед ними люди, лишённые всякого чувства собственного достоинства, и усиливало их презрение.

Впрочем, виноват: не всегда студенты из России молчали. Кое-где были попытки «протеста»: если не ошибаюсь, «протесты» заключались в том, что колония собиралась в своей общей столовой, — причем не было налицо ни одного немца, — кричала глупое немецкое междометие «пфуй»¹ и в заключение «вотировала резолюцию порицания».

В лучшем случае эта резолюция потом посылалась в бюро немецких Вieg-корпораций², а там над нею смеялись.

Ибо понимали, что когда тебе в чужом доме систематически плюют в глаза, то нечего оправдываться или «протестовать» — надо взять шапку и уйти.

И вот наконец клевета, из студенческих пивных и обывательских квартир подымаясь все выше, добралась до трибуны рейхстага, и народы услышали похвальное слово германского канцлера.

После этого я уж не знаю, чего дальше ждать.

¹ Тьфу! (нем.).

² Пивные корпорации (нем.).

В собрании парламента великой державы первым ее савонником громко заявлено, что студенты из России — бездельники и попрошайки.

Хорошо сказано.

Незадолго до моего отъезда из Одессы пришла ко мне девушка из захолустья в летней кофточке — а было это на Рождество.

Она просила достать ей бесплатного учителя, только чтоб он мог заниматься днем, а не вечером.

— Почему нельзя вечером?

— Потому что вечером я сама даю урок.

— А можно узнать, сколько вы зарабатываете за этот урок?

— Можно. Я занимаюсь четыре раза в неделю и получаю два с полтиной в месяц.

— А у вас других занятий нет?

— Есть еще один урок, дневной. Тот шесть раз в неделю, за три рубля в месяц.

— Больше у вас никаких средств нет?

— Никаких. Но не в том дело. Мне хватает. Мне бы только бесплатного учителя.

Уходя, она сунула мне семь копеек.

— За что, барышня?

— Я вам на днях послала городское письмо и по незнанию наклеила копеечную марку. Вам, значит, пришлось доплатить четыре копейки; а затем вы мне тоже ответили письмом — итого семь копеек.

И излагая этот счет, она глядела мне в глаза очень просто и очень спокойно, и лицо у нее было такое решительное и такое малокровное; и, смотря на нее, я узнал в ней черты многих десятков ее подруг, более счастливых, которых я в свое время видал и знавал за границей.

Что же, эта девушка натерпится холода и голода у вас в Одессе, а потом, вероятно, тоже попадет за границу.

Мало ли там студенток и студентов, которые прошли ту же дорогу нужды и труда и все-таки дошли до университета?

И вот, когда она наконец добьется, тогда г-н Бюлов или кто-нибудь из ему подобных взойдет на трибуну рейхстага и назовет ее бездельницей и попрошайкой...

Да чего же вы еще ждете, господа?

Ждете ли вы, чтобы г-н Бюлов через год обозвал вас на том же месте уже не Schnorreg'ами¹, а прямо жуликами?

Или ждете, может быть, чтобы он провозгласил in pleno² рейхстага, что ваши девушки зашибают пфенниги тайной проституцией?

Если ждете, то и этого дождетесь; и тогда можете сколько угодно собираться у себя в столовой, и «протестовать», и кричать «пфуй», и никто не услышит, кроме прусских городовых, которые возьмут вас за шиворот, как теперь, и выбросят вон из Германии.

Я положительно отказываюсь понять, как после всего этого можно еще думать о немецких университетах, как можно жить и учиться в этой атмосфере постоянного надругательства.

Конечно, есть теперь очень распространенное и очень модное настроение: считать, что брань на воротах не виснет, что стыдно должно быть не тому, кого обругали, а тому, кто обругал, и так далее.

Грош цена этим истинам. Не потому, что сами истины плохи, а потому, что грош цена таким людям, у которых эти истины заменяют живую человеческую гордость.

Много есть таких, у которых вошло в привычку терпеть, когда им наступают на ноги, и отделяться фразой, что стыдно должно быть наступающему.

Как же. Наступающему стыдно не будет, а вот у вас это попустительство наконец войдет в привычку, и люди, сначала наступавшие вам на ногу, в конце концов будут хлестать вас по физиономиям, а вы все будете собираться у себя в столовой и провозглашать:

— Пфуй!

У кого не окончательно оскоплено самолюбие, не выщежено вон чувство собственного достоинства, тот и сам не пойдет в немецкий университет, и друзьям не посоветует.

Я еще раз напоминаю всем, кому это важно, что двадцать университетов Италии широко раскрыты для приезжей молодежи обоего пола.

Там они встретят симпатичную и дружелюбную товарищескую среду, прекрасное отношение со стороны общества, министерства и профессоров.

¹ От Schnorreg — попрошайка (*uguis*).

² На весь рейхстаг (*lat.*).

Я прошу читателя припомнить мое письмо из Белграда, напечатанное в этой газете в ноябре прошлого года — номера точно не знаю, — письмо, где рассказаны личные переговоры по этому поводу с итальянским министром народного просвещения, с товарищем министра и с авторитетными представителями тамошней интеллигенции и студенчества.

Я прошу припомнить, что все эти лица говорили о студентах из России не как о попрошайках, а как о благородной и трудолюбивой молодежи, широкому приливу которой итальянское общество будет очень радо.

Тогда, в ноябре, некто прислал мне пространное письмо с выражением сомнения:

— А вдруг в Италии не так хорошо учат, как в немецких университетах?

Я тогда ответил и теперь повторяю, что университеты Италии вполне достойны культурной страны, что профессора почти сплошь люди даровитые, вдумчивые, глубоко образованные, люди широкого кругозора и в особенности прекрасные лекторы, способные увлечь, захватить слушателя и внушить ему любовь к предмету, и что, во всяком случае, ни один из университетов Швейцарии, где наших земляков так много и где их так третируют, не может идти в сравнение хотя бы с римским или туринским.

Но и помимо этого — я не могу побороть в себе чувство возмущения перед глубиной самоуничижения, которая выразилась в этом вопросе.

Словно вдруг я увидел человека, которого всячески выжидают из чужого дома, потому что он всем там неприятен: и хозяева с ним грубы, и лакеи грубы, а он колеблется и говорит:

— А что, если в другом доме не так хорошо кормят?..

Как вдумаясь в это, иногда и самому тоже хочется закричать:

— Пфуй!

Altalena

Одесские новости. 13.03.1904



Наброски без заглавия. I

Прочитав беседу бесов в воскресном фельетоне, я тоже вспомнил одну беседу о редакционной цензуре. Эта беседа произошла не между двумя духами, а между двумя людьми, из которых один был нижеподписавшийся, а другой — босяк и пьяница. Должен, однако, сказать в оправдание свое, что было это еще до моды на босяков и пьяниц. Это было довольно давно. Нижеподписавшийся носил тогда еще форму, и все благоразумные родственники уповали, что из него выработается что-нибудь путное, а собеседник его ходил, как водится, по улицам и обращался к молодым людям в форме с фразами на иностранных языках. Теперь nous avons changé tout ça¹. Нижеподписавшийся давно уже не носит формы, и благоразумные родственники давно уже сказали себе о нем: пиши пропало! — а чем кончил его собеседник, ума не приложу. Вероятно, нехорошо кончил; но ведь есть столько способов нехорошо кончить — и в этом, собственно, и выражается в нашем климате разнообразие жизни.

Словом, это было давно, и мы повели беседу о редакционной цензуре. Не сразу, конечно. Сначала он нагнал меня и сказал:

— Помогите бывшему коллеге! Tempora mutantur².

Если бы у меня были деньги, я по молодости лет дал бы ему, и тем бы наше знакомство и кончилось. Но денег у меня тогда не было, так что мне по молодости лет стало совестно, а на почве совести людям всегда легче разговориться. Мы разговорились, и я тотчас увидел, что это был не простой жулик из тех, которые нарочно ради попрошайничества заучивают иностранные фразы, а из настоящих интеллигентов — что даже среди босяков редко случается. Тогда я зазвал его к себе, и мы стали встречаться.

Я в то время поддерживал самые оживленные сношения с толстыми редакциями: я присылал, а они отсылали. Я рассказал об этом ему, и тогда у нас и произошла та беседа о редакционной цензуре, которая мне вспомнилась теперь по поводу фельетона А. В. Амф[итеатр]ова.

¹ Мы изменили все это (фр.).

² Времена меняются (лат.).

— Видите, голубчик, — сказал он мне, просмотрев мои отвергнутые творения, — вы не тужите. Дело в том, что ваши рассказы никуда не годятся, ну их и не печатают. Но это ничего — ведь вы еще молоды, а эта беда с годами проходит. Вот со мной было хуже, потому что я посылал действительно хорошие вещи, а их не печатали.

Я спросил, не без желания царапнуть:

— А вы уверены, что посылали хорошие вещи?

— Имею свидетельства.

— От кого?

— От тех самых редакций.

— Расскажите подробно.

— Можно. Начало было то же самое, что и у вас: я посылал, а мне возвращали. Я заинтересовался этим феноменом и решил его исследовать. Как раз в то время я работал над вещицей, озаглавленной «Событие в Родри», и эта вещица мне и послужила для исследования вопроса.

— А что это была за вещица?

— Как вам сказать? Нечто вроде сказки, сказки в стихах. Содержание такое: у богатой и красивой германской девицы Ирмы был жених, который успел внушить ей высокие идеи, а затем попался на баррикадах и был расстрелян. Ирма дождалась смерти матери и тогда, совершенно свободная и одинокая, произнесла перед портретом убитого жениха такую клятву:

И теперь мой дух и тело — эту собственность твою — на твое святое дело я с восторгом отдаю. Но пойду не по тобою проторенному пути: я хочу другой дорогой к той же цели подойти. Имя «труженик» высоко превоспел и поднял ты... я взнесу другое имя до такой же высоты!

И она идет в город Родри (конечно, такого города нет на карте) и поступает инкогнито в заведение «Эдем». Поступает и подчиняется всем обязанностям, которые несут на себе хорошенькие обитательницы заведения «Эдем». Но в то же время она сближается с этими подругами, подчиняет их своему влиянию и понемногу объединяет их в настоящий оборонительный союз. Она устраивает им общую кассу, учит их требовать уважения к их человеческому достоинству — и, главное, успевает внушить им уважение к самим себе. Я помню даже, хотя это уже давно было, стихи, в которых Ирма высказывала свой взгляд на функцию этих дам:

Мы не создали разврата: мы развратом рождены. Он древнее нашей касты — и затем лишь создал нас, чтобы мощь его потоком по земле не разлилась. Ты зальешь ли в человеке вечно алчущую страсть? Не мешай нам этой страсти отдавать себя во власть: если в нас и в наше тело ты закроешь ей исход — в тот же миг она, бушующая, всю вселенную зальет... Да! Затем должны мы с торгу отдавать свои тела, чтобы девушка для мужа сохранить себя могла. Только день, когда не станет предрассудков и границ, — только он, великий, может сделать лишними блудниц... И пока тот день прекрасный не заблещет с вышины — мы, страдалицы-блудницы, миру скорбному нужны...

В этом и была идея сказки.

— А чем она кончалась?

— Бурной сценой в «Эдеме», двумя строками многоточия и словами: «Вот и все. Для этой сказки не написано конца». Да я так ее и назвал в подзаголовке: «Недописанная сказка».

— И снесли в редакцию?

— Не снес, а отправил в редакцию передового толстого журнала, потому что сам я жил в провинции. Отправил и приложил письмо следующего содержания: «Покорно прошу не отказать в сообщении, почему эта сказка не будет напечатана: из-за недостатков исполнения, из цензурных соображений или потому, что редакция не согласна с идеей?» Приложил марку на ответ и получил таковой: «Милостивый государь, ваша сказка вполне литературна, но, к сожалению, напечатана быть не может, так как ее основная идея глубоко неправильна с точки зрения социологической».

— И что же сделали?

— Ничего. Отложил эту сказку и произвел другой опыт. Вы читали стихотворения поэтессы N.?

— Читал в библиографических отделах толстых журналов. Там ее ругали за неприличные темы и приводили выдержки.

— Вот именно: ее ругали во всех журналах. Но и как раз тогда возник новый журнал, который еще не успел ее обругать. Поэтому я послал туда статью «Бакалейная мораль», где защищал поэтессу от брани. Я старался доказать, что ее поэзия есть реакция против духовного и телесного худосочия, которым отличалось последнее десятилетие русской жизни. Эта жизнь была так анемична, жалка и труслива, что в противовес ей непременно рано или поздно должны были зазвучать страстные, полнокровные призывы. К чему именно — это

не так важно. Главное — это вызвать в поколении способность к яркому порыву, а уж оно само будет знать, куда направить вспыхнувшую энергию. Я старался доказать, что в стихах этой поэтессы нет ни подмигиваний, ни старческого смакования подробностей, а звучит яркий, звонкий призыв к беззаветному увлечению как протест против хандрящего поколения, главная беда которого и заключалась в неспособности беззаветно увлечься. Я доказывал, что на всем творчестве поэтессы, несмотря на ее вольности, лежал отпечаток хорошей женственной сдержанности, чуткого такта, которым нас вовсе не избаловали в этом отношении писатели-мужчины. Я доказывал, что не замечать всего этого и не чутять в этом литературном явлении первых бессознательных проблесков протеста против пятнадцатилетнего сплина — значит смотреть на жизнь и литературу, во-первых, поверхностно, а во-вторых, с точки зрения отжившей и гнилой морали, некогда действительно проповедовавшейся в книгах, а ныне отошедшей в обиход бакалейной лавочки. Все это я изложил горячо, но вежливо и послал в редакцию нового журнала с приложением письма, где покорно просил ответить, по какой из трех причин статья не будет принята.

— И что вам ответили?

— «Милостивый государь, Ваша статья написана литературно, однако не может быть напечатана, так как редакция придерживается иных взглядов на литературную деятельность г-жи N.».

— И на этом вы успокоились?

— Нет. Я сел тогда писать очень курьезную бумагу. В то время существовало одно учреждение, которое потом перестало существовать и которое обладало компетентностью для решения всевозможных литературных вопросов. Я и написал в это учреждение пространную бумагу, в которой изложил оба опыта и поставил вопрос так: есть ли *de facto*¹ разница между редакционной цензурой и цензурой вообще?

— Ну, — сказал я, — хватили. Ведь вам не мешали послать в другой журнал или издать книжкой.

— А вот разберемся. «Событие в Родри» я нарочно послал в самый живой и наименее академичный из передовых журналов, ибо для меня было совершенно ясно, что уж остальные-

¹ Фактически, на деле (*лат.*).

то никогда не напечатают такой ереси, тем более что в них я сам читал статьи, где доказывалось, что проституцию необходимо — хлоп! — и упразднить. Следовательно, в другие передовые журналы мне ходу не было с этой сказкой. А про консервативную печать и говорить нечего. Вот и осталась моя сказка за бортом литературы. Вы говорите — издать отдельной книжечкой? Экий вы странный человек. Будь у меня на то деньги, я не стал бы и соваться в журналы. А найти издателя немислимо. Издают только тех, кто уже известен по журналам. А в журнал-то и не пускают. Вот вам и заколдованный круг. И, значит, погибла моя сказка, хотя и была написана литературно, не шаблонно, даже, кажется, не глупо и, безусловно, искренно. Погибла за то, что редактору не понравилась ее тенденция. То есть тот же результат, как если бы ее тенденция не понравилась цензору. Совершенно тот же. Инакомыслящему заткнули рот. Правда, разными средствами, но *de facto* конец вышел одинаковый...

— А про второй опыт вы не писали?

— Как же. Я ставил вопрос так — не кажется ли вам, господа, что поле журналистики есть в некотором роде судилище. Она судит явления и судит людей. И для того чтобы суд был правый, надо выслушать и обвинителя, и защитника. Почему же редактор, который здесь играет роль председателя суда, заявляет защитнику: ваша речь не будет произнесена, так как я придерживаюсь другого взгляда на деятельность подсудимого? Если бы такие слова произнес председатель настоящего суда, все юристы пришли бы в ужас, а сенат кассировал бы дело...

— Но ведь тут опять напрашивался ответ: обратись в другой журнал...

— Опять немислимо. Ведь все другие уже успели обругать мою поэтессу. Если новый орган, еще не сказавший о ней ни слова, отказался напечатать мою защиту, то тем более эти другие. А в консервативные и подавно нельзя сунуться с нападка-ми на ходячую мораль. И, значит, опять тот же результат: статья, написанная литературно и искренно, погибла. Инакомыслящему закрыли рот.

— Для чего вы, собственно, сочинили всю эту бумагу? Просили наказать редакторов, что ли?

— Ничуть. Я просто просил комитет почтенного учреждения признать ненормальность такого положения вещей.

Существуют, скажем, десять направлений в обществе и соответственно тому десять журналов. Вдруг возникает человек одиннадцатого направления. Куда ему деться? Завести свой журнал? Но для этого (не говоря уже обо всех других препятствиях) нужен свой кружок. А ведь человек одиннадцатого направления всегда на первых порах одинок. Следовательно, ему остается молчать, даже если он искренен и талантлив, только потому, что все десять направлений не могут не находить его одиннадцатую точку зрения глубоко неправильной. Инакомыслящему возбраняется слово, то есть поступают de facto совершенно так, как поступает обыкновенный цензор. А ведь надо при том заметить, что именно одиннадцатое направление легче всего и может оказаться началом той новой правды, которой так страстно ждет для себя каждая эпоха...

— Что же вам ответили оттуда?

— «Милостивый государь, комитет не считает себя вправе вмешиваться во внутренние дела редакций...»

— Этого и следовало ожидать.

— Конечно. И все-таки я пожал плечами и подумал: странно, с каких это пор писатели стали признавать принцип невмешательства во внутренние дела? Попробуй-ка им фабрикант или столоначальник заявить: вы не вправе вмешиваться во внутренние дела моей канцелярии, моего завода — они так и встанут на дыбы. И будут совершенно правы: нет на свете таких внутренних дел. А для себя, видимо, требуют невмешательства... Хотел было я им и об этом написать, да не собрался. А тут, кстати, подвернулось горе; я и запил, и сочинительство с тех пор забросил...

Такова была моя беседа с босяком, и к ней я прибавлю несколько замечаний от себя, навеянных опасением г-на Амф[итеатро]ва:

— А что, если мне, редактору передового органа, принесут наиталантливейшую статью во славу телесного наказания? Печатать?

Нет, не печатать, и вот почему.

Печать имеет двоякое значение: значение Корана и значение поваренной книги. То есть, с одной стороны, она вдохновляет, возбуждает пытливость мысли, ставит вопросы, подсказывает пути к их разрешению; с другой стороны, она служит известным чисто практическим нуждам — сообщает

расписание поездов, биржевые котировки, помещает объявления о новых продуктах и печатает заметки такого рода: «Обращаем внимание кого следует на то, что мостовая на углу таких-то улиц попорчена дождями и нуждается в исправлении».

И у русской жизни есть несколько чисто практических потребностей, которые осознаны уже ровно 50 лет тому назад и до сих пор еще не удовлетворены. Отрицать их может только слепой или недобросовестный. Печати в этих вопросах нечего больше выяснять, ибо все уже выяснено: ее дело теперь только повторять определенное, всеми давно признанное, но не осуществленное решение — *cavare lapidem*¹. Тут уже не о чем спорить: все измерено. Вокруг этих вопросов незачем будить пытливість мысли: общественная мысль уже давно произнесла свой приговор, который не может быть изменен, который будет приведен в исполнение во что бы то ни стало. Печати остается только энергично напоминать об этом приговоре. Это — почти справочный отдел, это — уже область поваренной книги, а не Корана. Здесь так же неуместно печатать статьи во славу розги, как неуместно печатать ложные расписания поездов.

Но поскольку печать есть Коран для данного поколения, поскольку она волнуется его волнениями, разбирается в им выдвинутых вопросах — в ней не может и не должно быть хозяйской цензуры. Каждое биение мысли дорого. Нехорошо, чтобы один человек или даже кучка людей захватили в свои руки одну из драгоценных (и, прошу не забывать, немногих) трибун и гнали с нее долой всех инакомыслящих. Хозяйское согласие или несогласие со взглядами писателя не должно быть критерием допущения на трибуну. Критериями должны быть: добросовестность и талантливость. Больше ничего.

Думаю даже, что все это не только «должно» быть так, но скоро так и будет. Этот перелом в журналистике бессознательно начался. Очевидно, прошло то время, когда читатель требовал от печати: бери меня за ручку и веди. Ныне он требует: открой передо мною все пути, все дороги, ослепи меня всеми маревами — уже я сам выберу, что мне по душе. И если читатель этого требует, то, значит, не с бухты-баряхты же, не по

¹ [Капля] камень точит (*лат.*).

капризу, а потому, что пришла такая пора. Печать сразу инстинктивно почуяла перемену в стихийных потребностях эпохи и подчинилась. Я вижу явно признаки этого подчинения в том, как основательно вымирает старая мода на органы, неукоснительно застегнутые на все пуговицы «направления», не допускающие ни одной нотки разнообразия. Много ли их осталось? Можно перечесть по пальцам одной руки, причем из этих пальцев три не понадобятся. И велико ли влияние этих уцелевших? Они окружены полным уважением и слабым вниманием. Всем нам приятно сознавать, что старые могикане живы; но нельзя же таить, что у них нет больше живых связей, какие были когда-то, с очередным настроением. Так и хочется применить к ним фразу, сказанную Альфонсом Доде о правилах нравственности.

— Они — как перила на лестнице: никто ими не пользуется, но как-то спокойнее себя чувствуешь, зная, что они все-таки имеются...

С каждым годом становится яснее, что наше время выдвинуло новый спрос. Спрос на печать столь же честную, как старая, столь же упорно добывающуюся практического осуществления давно произнесенных общественным мнением приговоров; но уже не позволит сегодняшний человек взять себя за руку и повести. Он ищет в своей газете, в своем журнале калейдоскопа всех веяний и настроений момента. Он не мирится с фильтром, выделяющим то, чего ему, взрослому ребенку, знать не должно. И он совершенно прав, ибо стихийно чувствует, какая печать нужна ему теперь. Не нужна ему больше печать поучающая и наставительная. Он ведь уже и сам многому учился; он знает уже сотни общественных язв и давно заучил рецепты для их исцеления. Но рецепты эти так и застряли у него в голове, и сам он давно бродит без дела, положа ручки в брючки, и киснет. Оживить его надо, напоить живой водой энергии, связать тысячью нитей с жизнью. И для этого нельзя запираť его в классную комнату и обучать все одному и тому же — надо вывести его на площадь и поставить в самой толчее жизни, открыв перед ним широко панораму вольного соперничества ста доктрин и учений. Это — задача печати в нашем поколении...

Владимир Ж.

Русь. 19.03.1904



Вскользь

Петербург, 27 марта

Р. М. Изетеа в ответ на мое мнение о берлинских студентах из России пишет, что гонения на них являются только частным эпизодом общей реакции, что преследователи студентов — все ретрограды, а передовые элементы Германии сочувствуют гонимой молодежи.

Я вполне в этом согласен с Р. М. Изетеа. Прибавлю даже больше: ни для кого из нас не тайна, что тот господин, который недавно в рейхстаге официально оскорбил студентов из России, есть не только ретроградный господин, но притом и не особенно развитой господин. И я полагаю, что гонители русских студентов в Германии все, в большинстве, люди неразвитые, а кто поумнее и поразвитее, тот понимает и уважает.

Таким образом, мы по этому вопросу вполне единомышленники с Р. М. Изетеа; только я никак не могу сообразить, для чего у Р. М. Изетеа приведен этот довод и какое отношение имеет он к тому, стоит или не стоит ездить учиться в немецкие университеты.

Разве я писал, что *лучшая* и *переговая* часть немцев клеветает на студентов из России? Я ведь этого не писал, ибо всегда полагал и полагаю обратное.

Но я настаивал и настаиваю, что туземная *среда* и главным образом студенческое отношение к коллегам из России возмутительно.

Р. М. Изетеа не отрицает этого, потому что это не подлежит отрицанию. Слишком хорошо известно, в каком отчуждении живут там наши студенты. Все знают, что если кто-нибудь из туземцев с ними сближается, то это лишь редкие исключения.

Конечно, это приятные исключения; эти исключения, допустим, составляют даже соль земли немецкой, но их все-таки мало, а большинство — огромное большинство — третирует студентов из России прескверно.

Следовательно, и при выслушивании возражений Р. М. Изетеа факт остается таким же фактом, каким был до выслушива-

ния этого возражения: нашим студентам живется в Немецкине очень плохо и очень обидно.

С тем, что живется плохо, можно еще, пожалуй, примириться, но с тем, что живется обидно, мириться, по-моему, нельзя.

Прошу Р. М. Изетеа взглянуть на этот вопрос трезво и, так сказать, с принципиальной точки зрения.

Можно ли, подвергаясь обидам скрытым и открытым, систематическим, постоянным, со всех сторон, — можно ли утешаться таким соображением:

— Да ведь кто обижает? Реакционеры, мещане, клерикалы, сытые, стадные полулюди?

Простите, но это напоминает мне один анекдот. Некого маклера у Фанкони стали было стыдить:

— Ай-ай-ай, г-н маклер, а ведь мы знаем, что вас недавно били в Бендерах.

Маклер ничуть не смутился и ответил:

— Беда большая. Все не такой важный город Бендеры!

Конечно, Бендеры — город не важный, но и в Бендерах не следует позволять себя бить.

Немецкие гонители, конечно, реакционеры; но и от реакционеров не следует принимать плевки в лицо.

Надо, понятно, презирать мнение стадных людей; и упаси меня Боже думать, что оскорбление стадного, бессознательного, неразвитого человека позорно для того, кто получил это оскорбление.

Ничуть. Если на меня ночью на улице накинутся хулиганы и ни за что ни про что меня поколотят — разве это позорно для меня? Нисколько!

Но если у меня была палка в руках и если я мог защитить себя и не дать пальцем до себя дотронуться, а вместо того зазевался или струсил и дал себя избить, — тогда это действительно позорно, ибо это означает, что я — такой человек, который без ропота готов подчиниться насилию и оскорблению, то есть совсем не человек.

Иной даст хулиганам избить себя, а потом скажет:

— Фи! Ведь это хулиганы. А все порядочные люди выражают мне сочувствие...

И на этом успокоится, и хулиганы будут и впредь его поколачивать, а порядочные люди сочувствовать; и будет он жить-поживать, привыкая к побоям и сочувствию.

Я в этом не вижу ничего хорошего с воспитательной точки зрения.

Я, напротив, полагаю, что следовало бы каждому человеку воспитываться, по возможности, в такой атмосфере, чтобы одна мысль о возможности малейшего насилия или надругательства над ним возмущала его, как возмущается человек, воспитанный в опрятности, при мысли о клопах.

Повторяю: господ гонителей, начиная с Бюлова, я ни во что нравственно не ценю и не уважаю, а передовую Германию, напротив, очень ценю и уважаю даже с некоторой долей благоговения.

Но при этом я знаю, что все сочувствие передовой Германии, очевидно, пока не властно изменить положение дела, ибо масса все-таки относится враждебно и презрительно к студентам из России; а эта масса и составляет ту студенческую среду и то местное общество, с которыми приезжие обречены жить и сталкиваться.

То есть получается то, что порядочные люди в самом деле сочувствуют, но хулиганы все-таки продолжают бить и оскорблять.

И это тяжелое положение усложняется тем, что хулиганы являются в данном случае хозяевами дома, законными хозяевами, так как они — подавляющее большинство, а ведь критерий большинства есть наиболее совершенный из критериев, какие до сих пор созданы человеческим практическим разумением.

И, таким образом, наши студенты живут в Неметчине почти наперекор воле законных хозяев: хозяева едва терпят их, выражают им на каждом шагу свое презрение, а они все-таки не уходят, утешаясь тем, что десять праведников «за нас» и что лет через сто с лишком эти десять праведников, вероятно, свергнут нынешних хозяев и займут их место.

Тут, мне кажется, не может быть двух мнений: такое положение оскорбительно.

Разница только в том, что одни из приезжих живо чувствуют обиду и по необходимости мирятся с ней, а другие так свыклись, что и никакой обиды во всем этом не чувствуют.

Это значит, что в последних самолюбие уже атрофировалось, а у первых тоже поставлено в условия, ведущие рано или поздно к атрофии.

Весь вопрос сводится к тому, как смотреть на самолюбие, ибо есть нынче и такой модный взгляд, что самолюбие ерунда, а самое важное — это попасть в модный университет и послушать модных лекторов.

Сторонникам этого взгляда я ничего не могу сказать, да не к ним я и обращался. Скатертью дорога, не только в Германию, а хоть на Алеутские острова, ибо я вообще полагаю, что последовательные сторонники этого взгляда, люди с упраздненным самолюбием, здесь, на аренах истории и цивилизации, ни на что не нужны, ни к чему не годны и только засоряют землю.

Потому что здоровое самолюбие есть, по-моему, один из самых важных центров здорового человеческого и гражданского самосознания и один из сильнейших двигателей гражданской борьбы.

Не давать себя в обиду, не допускать над собой надругательства — вот, по-моему, первое мерило человеческого достоинства. Чтобы носить по праву сан человека, надо уметь постоять за себя; кто потерял способность реагировать на оплеухи, тот, в экономии гражданских сил нашего момента, есть все равно, что труп, который тоже не реагирует.

А где нет возможности защитить свое самолюбие другими средствами, там надо забрать свои пожитки и уйти. Уйти, не жалея никаких жертв, лишь бы не допустить в себе атрофии самолюбия и гордости и не стать из человека трупом.

Повторяю для сведения всех, кому это интересно, женщин и мужчин: в Италию, в Италию, в Италию; обращайтесь за справками по адресу: А. Pormiggini, presidente della «Corda Prates», Modena (Italia)¹, на итальянском или французском языке; учитесь итальянскому языку по учебникам де-Виво, или Сперандео, или — лучше всего — Туссэна-Лангеншейдта; не робейте и не теряйте времени, и останетесь довольны.

Altalena

Одесские новости. 31.03.1904

¹ А. Пормиджини, президент ассоциации «Corda Fratres» («Братские сердца»), Модена, Италия.



Наброски без заглавия. II

Александровск-на-Днепре

Пишу из захолустья, из настоящего глухого захолустья: дома одноэтажные, мостовая шоссеяная, пыль лежит на улице медвежьими коврами, а газета приходит около двух часов дня из Екатеринослава; жители по вечерам ходят друг к другу, а барышни говорят заезжему газетчику: «Ах, с вами так страшно — вы еще, того и гляди, нас опишете!» Все это наводит на разные печальные мысли, которыми я хочу поделиться. Мне давно думается, что духовное преобладание двух городов, Петербурга и Москвы, в такой огромной земле, как Россия, есть явление далеко не отрадное. В столицах сосредоточено все лучшее, что в области духа создает страна: лучшие ученые, лучшие писатели, лучшие артисты и певцы, лучшие художники, лучшие журналы, книгоиздательства и, до недавнего времени, лучшие газеты; дошло до того, что даже консерватория и академия художеств — учреждения, которым уже безусловно, по самой природе их, место на юге, находятся тоже в столице, в области насморка и тумана. Иными словами: все, что есть в России в духовном отношении первоклассного, настоящего, заправского, — все сосредоточено в двух городах с населением в два или два с половиной миллиона. Остальная Россия живет отраженным светом, получает духовную пищу из вторых рук, довольствуется второстепенными профессорами в университетах, второстепенными певцами и актерами в театрах, второстепенными силами в местной печати. В этой остальной России живут, между прочим, совершенно такие же интеллигенты, как и в столицах: они читают те же книги — русские и иностранные, увлекаются теми же идеями и настроениями; они так же чутки, так же понятливы; они представляют из себя, так сказать, интеллигентов первой степени, а принуждены жить во второстепенной духовной обстановке, потому что весь первый сорт умственной мебели скуплен Петербургом и Москвой. Положение этих провинциалов подобно положению великовозрастного юноши, оставленного, в наказание за Бог весть какие вины, на второй год в восьмом классе: ему бы давно ходить в университет — а здесь вокруг него и интересы, и разговоры, и предметы преподавания все

не те, которые нужны ему по уровню его развития, все одной ступенью ниже, и эта разница мало-помалу угнетает, обесцвечивает его, дает бесплодно рассеяться энергии...

Мы, провинциалы, ограблены Петербургом и Москвой. Принято говорить, что экономически окраины сосут соки из центра; не знаю, правда ли это, но знаю твердо, что духовно центр высасывает соки из окраин, наживается и роскошествует за счет обеднения провинции. Ведь не в Петербурге и Москве, и даже не в округе этих городов рождены хорошие девять десятых, по крайней мере, всех тех даровитых деятелей науки, литературы, искусства, которые живут, однако, в Петербурге и Москве и работают в тамошних аудиториях, театрах, журналах. Это почти всё южане, волжане, дальние северяне, даже сибиряки, бежавшие из родных мест. Саратов пустует, Киев и Одесса нуждаются в людях, Харьков — один из интеллигентнейших городов земли Русской — сидит на мякине, об Иркутске и Томске и говорить нечего — и ведь это все важнейшие центры огромных районов размерами каждый с иную великую державу, а между тем уроженцы этих районов, чуть кто поталантливее, дезертируют в столицу; столица кишит «именами» — здесь и Иван Иванович такой-то, и Федор Федорыч такой-сякой, и Михаил Михалыч этакий, а там, «во глубине России», не из кого подчас составить порядочную драматическую труппу, нет в городе перьев для второй газеты. Безобразный, нелепый порядок.

Хуже всего то, что этот порядок воспитывает в провинциалах особую психологию — психологию унтер-офицерской вдовы. Они так привыкли к этому отраженному, второстепенному духовному существованию, что и сами наконец уверовали, будто так Бог велел. Чуть появится в их среде человек с намеками на дарование, заинтересует, всколыхнет — они сами начинают доброжелательно ахать над ним: как, мол, жаль, что вы киснете у нас в глуши, вот бы вам, голубчик, в Питер! И едет голубчик в Питер, а болото, на мгновение было всколыхнувшееся, вновь засыпает. Так сами себя секут люди захолустья; кто-нибудь, пожалуй, увидит в этом высокое самоотречение, а я твердо полагаю, что это просто недостаток самосознания, отсутствие гражданской бережливости, показатель низкого уровня развития во всех отношениях.

Я убежден, что все это должно быть изменено. Столица нужна и важна как центр государственный, но духовная эконо- мия столицы допустима только в маленьких странах. Фран-

ция вся заслонена Парижем, и еще вопрос, очень ли это выгодно для Франции; но уже Германия, например, не знает единого духовного центра — в ней, рядом с Берлином, живут и Лейпциг, и Мюнхен, и даже Франкфурт, нисколько не подчиняясь столице, не отдавая ей своих соков, вырабатывая свой самостоятельный свет, переживая свои автономные веяния и настроения. То же в Италии: Милан, Турин, Флоренция, Рим, Неаполь — все это города, совершенно равные между собой по духовному значению для страны, каждый со своими собственными складами и источниками знания, искусства, литературы; в Риме — король, парламент и министерства, но в духовной жизни Рим не задает тона остальным центрам, а развивается рядом с ними на правах вольного соперничества и равноправного обмена. Я перечислил только четыре города, но говоря строго, ведь и Венеция, и Генуя, и Болонья, и Палермо, и даже сардинский Сассари — все тоже являются более или менее автономными духовными центрами своих областей. Абсолютное значение того или другого из этих городов может быть и спорным, но бесспорно то, что ни один из них не ждет непременно из Рима указки, чем жить и как мыслить, а работает своей головой и своими силами, удерживает у себя своих даровитых уроженцев, издает у себя их книги, привлекает их к участию в своей повременной печати, в своем университете, в своих городских и земских учреждениях. Всем этим устраняется то уродливое положение вещей, когда население целой огромной страны, юг и север, запад и восток, только и видит свет, что в одном окошке — хотя бы это окошко и было даже прорублено рукой Петра Великого. И все это рано или поздно должно случиться и в России. Тут неуместны указания на то, что в Германии и в Италии, недавно лишь объединенных, сама политическая история веками выработала духовную децентрализацию, а в России было наоборот: неуместны потому, что прошлое прошло, а в настоящем необходимость умственной децентрализации в такой громадной стране выступает наружу все наглядней и настойчивей и скоро будет всеми в провинции признана и признана. Следовательно, будет и достигнута. Столица останется государственным центром России, но потеряет свое нынешнее тираническое (и на девять десятых паразитарное) преобладание на поприще развития русской мысли и культуры. Один или два города не могут и не будут задавать тон и диктовать настроение от Урала до Алтая, от Амура до Днепра. Областные центры

мало-помалу завоюют себе духовную независимость и стряхнут устаревшее предводительство Петербурга и Москвы.

Прошу ясно понять: я говорю не просто о культурном подъеме провинциальных центров — я имею в виду полную эмансипацию их от умственного руководства столиц. Мне кажется важным и неизбежным, чтобы Киев, Одесса, Казань, Саратов, Харьков, большие города Сибири, все, словом, крупные районные центры, которым это под силу, добились культурной независимости, при которой перестали бы получать духовную пищу из столицы, через вторые руки, а создавали бы ее сами, черпая из собственных источников, переживая автономные течения и настроения.

Столица и провинция должны влиять друг на друга, как равный на равного, а не как учитель на ученика.

Цель, которую должны поставить перед собой провинциальные центры, не есть цель простого культурного роста: недостаточно расти — надо освободиться. Растущая провинция должна осознать и определенно провозгласить своим боевым девизом полную духовную самостоятельность. Как бы ни повысился культурный уровень провинциального центра, его духовная жизнь все-таки будет ненормальной, настоящей и угнетенной, если главные элементы его духовной пищи привозятся издалека, говоря конкретно — недостаточно того, чтобы провинция читала много книг; необходимо, чтобы она сама производила и издавала их. Только в тот момент, когда провинциальные центры заживут всецело независимой духовной жизнью, заблестят собственным, а не отраженным духовным светом, когда Харьков или Одесса станут в такие же точно отношения к Петербургу или Москве, как хотя бы к Киеву или Казани, — только тогда задача будет исполнена.

Средства? Первое и главное средство — бережливость. Провинция не должна отдавать своих людей столицам. Талант, будь он математик, философ, поэт, актер, художник или адвокат, нужен на месте, нужен своему родному городу или, вернее, центральному городу своего родного района. Город и район должны сознавать это и не выпускать ценных людей. Всеми силами, всеми средствами надо удерживать у себя всякий элемент, способный внести новый уголек в очаг оживления. Известно, как садоводы превращают дикую яблоню в плодовую: к дикому дереву они прививают одну культурную ветку, и все деревцо перерождается. Так и малая горсть ценных и даровитых людей способна воскресить и возродить ны-

нешние крупные захоластья. Но для этого надо сберечь эту горсть, не дать ей рассыпаться. Надо самим воспитаться и других воспитать в любви к родному углу; надо внести в русское самосознание то, что немцы называют *Lokalpatriotismus*¹, а французы — *esprit du clocher*², — ввести, конечно, в умеренной дозе и разумной форме. Надо самим понять и другим внушить, как постыдно и малодушно, в конце концов, это повальное бегство способных людей из провинции в столицу, на готовые умственные или телесные хлеба. Бросить родную сторону, где каждый рабочий день их был бы днем гражданского подвига, творчески обновлял бы сонную среду, и понести свою силу туда, где и без того богато и жирно, только потому, что там легче, веселее и удобнее — ведь это настоящая измена, и такие люди дезертиры. Надо понять это и проникнуться глубоко сознанием, что южане для юга и волжане для Волги, а не для Петербурга и Москвы. И когда это сознание своих законных интересов и прав утвердится в общественном мнении провинции, когда провинциалы перестанут сами себя пороть, ахая над талантливым земляком: вот бы вам, мол, в столицу! — тогда последний и сам погнушается дезертирства, ибо сама среда воспитает его в иных понятиях; не мечтая о побеге туда, где уже готова удобная умственная атмосфера, он будет рад возможности работать над созданием такой же атмосферы у себя.

Знаю давно: на всякий призыв к индивидуализации и обособлению принято отвечать ссылкой на интересы общего прогресса. Так ответят и здесь, что дезертиры провинции несут, мол, свои силы не столицам, а всей России, что столицы являются только складочным местом, откуда и т. д., и что вообще в нынешний момент надо не дробить силы, а, напротив, сосредоточивать их. Это все будет говорить, вполне искренно, и, однако, я непреложно верю, что все это разговоры, и больше ничего. Сумма провинций и составляет Россию; следовательно, не может быть полезно для России то, что лишает лучших соков провинцию. В комнате светлее тогда, когда в десяти углах горит по одной свече, а не тогда, когда все десять свечей торчат в одном канделябре посередине; так и в России будет больше жизни и больше творческой работы, если очаги культуры, ныне собранные в одном пупе земли русской, будут разбросаны равномерно и равноправно по всем крупным

¹ Местный, провинциальный патриотизм (нем.).

² Местничество; букв.: дух [своей] колокольни (фр.).

средоточиям громадной страны. А больше будет жизни и работы — скорее побежит и поток прогресса и скорее снесет и разрушит все то, что подлежит снесению и разрушению.

Первая роль в предстоящей эмансипации захолустий выпадет, само собой разумеется, на долю провинциальной печати.

Она первая должна поднять голос за бережливую концентрацию местных сил на местной почве; она должна бороться против дезертирства лучших людей и против предрассудка, будто бы это бегство из родных углов в столицу «полезно России»; она должна вообще воспитывать в своей публике привязанность к родному району, вдумчивое отношение к его интересам, умение гордиться его успехами. Передовая провинциальная печать должна будет четко написать на флаге своем: эмансипация — и с точки зрения этого девиза каждая, дотоле маловажная строка газетного петита получит огромное значение. Этот девиз оживит прежде всего саму печать. Провинциальный газетчик пишет о местных делах обыкновенно без воодушевления, потому что пишет о сереньких явлениях: появилась недурная артистка, открылся литературный кружок, вышла в городе тощая брошюрка, и все это второстепенное, и, следовательно, не о чем и горячиться.

Но осветите все эти мелочи девизом эмансипации — и они станут вам дороги, потому что все это первые кирпичи будущего здания, и вам захочется всеми силами удерживать новую артистку у себя, развить и укрепить добрыми советами ее талант, поддержать новый кружок и побудить его к расширению деятельности, ободрить автора и издателя брошюры, ибо все это зародыши будущего образцового театра, будущего союза интеллигенции, будущего крупного книгоиздательства, которые когда-нибудь поставят ваш город на независимую культурную высоту и освободят его от ярма чужой духовной гегемонии.

Знаю и тут возражения: а инертность публики? а «независящие обстоятельства»? Знаю потому, что сам хорошо испытал на своих боках эти препятствия и могу подтвердить, что это очень солидные препятствия, и думаю, что если человек жалуется на них, то надо ему от всего сердца посочувствовать. Но если человек говорит, что из-за препятствий нельзя ровно ничего начать, что не стоит попытаться, то надо ему просто не поверить и пойти искать другого человека, ибо этот, очевидно, никуда не годится. Сколько бы мы ни ныли и ни плакались, препятствия от того не рухнут. Надо браться за молот и ковать

железо, делать все, что можно, и больше того, что можно, и тогда сама жизнь разобьет устаревшие рамки подобно тому, как весенняя река прорывает плотину или доросший птенец разбивает скорлупу яйца. Есть одна только действительная форма протеста против явлений жизни, и зовут ее — работа...

Владимир Ж.

Русь. 13.04.1904



Наброски без заглавия. III

...Мне хочется подробнее поговорить о взгляде на проституцию того моего босяка, с которым, если читатель еще не за был, мы познакомились в первой моей беседе.

Сознаю, что в тот раз я передал содержание сказки «Событие в Родри» слишком сжато и неполно, так что я сам виноват, если теория моего босяка показалась «аристократической» и чуть ли не мистической теорией «искупления», которое якобы несет на себе «раса плоток» ради того, чтобы «девушка для мужа сохранить себя могла». Моя вина, а босяк тут совершенно ни при чем. Точка зрения моего босяка была совершенно свободна от всякой мистики, сантиментов, морализирования и прочих бесполезных вещей. Это была точка зрения человека практического и трезвого, настроенного притом весьма демократически. Даже не просто демократически, а еще хуже! — сказали бы о нем «Московские ведомости», если бы знали его лично. Эта точка зрения получила в сказке «Событие в Родри» оттенок, так сказать, стихотворный, то есть потерпела, поэзии ради, ущерб недомолвок и неясностей, но нисколько не выродилась в мистическую проповедь испупительной жертвы. Если в моем изложении так показалось, то не мой босяк, а я в ответе. И теперь я обязан восстановить правду, выяснить истинное мнение моего босяка; это будет нетрудно, потому что мы с ним в этом вопросе оказались единомышленниками, и я даже буду впредь говорить не от его имени, а от своего.

Кто хочет серьезно задуматься о проституции, должен прежде всего отложить в сторону какие бы то ни было, как упомянуто выше, сантименты, и прежде всего самый назойливый и самый вредный из них — сантимент моралистический.

Не знаю, скоро ли наступит то время, когда люди поймут, что понятие «половая мораль» есть нелепость, противоречие в самом определении, как было бы нелепостью и противоречием выражение «холодный огонь». Если огонь, то не холодный. Этика не может иметь никакого касательства к половым отношениям как таковым. Телесная любовь между женщиной и мужчиной может и, если хотите, должна быть регулируема с каких угодно точек зрения: гигиенической, психопатологической, социальной. Но не с точки зрения нравственности, потому что последней тут решительно нечего делать. С почти равным правом считали во дни оны безнравственным обжорство как таковое. Это частое произнесение слова «этика» все объясняется только невысоким уровнем нашей нравственной сознательности. Когда научное сознание человека было еще на низших ступенях развития, тогда всякое знание без разбора считалось частицей религии: и первобытное врачевание, и числоведение, и звездочетство — все укладывалось под ярлык «божественного», все было прерогативой жреца. То же самое наблюдается теперь с нашим понятием о нравственности, которое до сих пор не дождалось окончательной, общепризнанной научной или хотя бы философской разработки и находится поэтому на невысокой ступени развития: мы сваливаем под рубрику морали многое такое, что по существу своему не может быть поставлено ни в какую связь, ни в какую органическую зависимость с моральными императивами. Нет сомнения, что по мере роста нашей сознательности из нынешней руды путем обычной дифференциации выделится настоящая чистая дисциплина человеческого дружелюбия, а все постороннее будет отметено прочь — и в том числе прежде всего так называемая половая мораль.

Но это когда еще будет. А в настоящий момент важно вот что: как бы мы ни смотрели на «половую мораль» вообще, мы должны признать, что в серьезном обсуждении вопроса о проституции морализирование совершенно неуместно и недопустимо. «Нравственно» или «безнравственно» поступает мужчина, покупающий тело, и женщина, продающая тело, — это столь же неважно, как вопрос о том, нравственно ли поступили македонцы, подняв восстание против турок и вызвав тем многое пролитие человеческой крови. То, что есть, — есть, хотя бы оно и было неприятно; некогда заниматься праздными вопросами, а надо стараться, чтобы неприятные феномены или как можно скорее прекратились с наименьшим вредом

и наибольшей выгодой для человечества, или, если не могут прекратиться и обречены на дальнейшее существование, получили бы возможность существовать тоже с наименьшим вредом и наибольшей выгодой для человечества. Иначе не может рассуждать тот, кто мыслит не ради времяпрепровождения, а ради наилучшего гражданского строительства.

Есть, конечно, господа, и немало, мечтающие упразднить проституцию, не прибегая к коренному обновлению того общественного строя, на почве которого проституция родилась и развилась до нынешнего блестящего процветания. С теми, кто так мечтает, нет нужды спорить: ребяческая утопичность этого благочестивого желания так очевидна, что людей, не видящих ее, никакие доводы все равно не проймут. Мы можем только пожелать мечтателям всякого успеха, а сами утвердимся, напротив, в том бесспорном взгляде, что проституция будет существовать в той или другой форме, пока держатся условия быта, ее создавшие. Иными словами, она будет процветать еще в течение периода нескольких, а может быть, и многих человеческих жизней, и никакими разговорами мы ее не уничтожим, пока не настанут совсем иные времена. Значит, нам остается трезво взглянуть в этот несчастный феномен и принять меры к тому, чтобы его неизбежное существование происходило с наименьшим вредом и для общества, и для самих представительниц.

Забудьте на мгновение о проституции и подумайте о другом прискорбном общественном явлении: о преступности. Есть воры, мошенники, убийцы. Все мы понимаем, что это весьма печально. Но в то же время все мы понимаем, что никакими разговорами не искореним преступности, пока волны исторического процесса не подточат окончательно тех социальных условий, которые воспитывают в «меньшем брате» преступника. И было время оно, когда люди на этом основании смотрели на преступника совершенно, так сказать, хирургически: отсечь большой член и выбросить его в сорную кучу. Преступнику отрубали голову или заточали его в клоповник и держали впроголодь. Забота о благе преступника понималась тогда лишь как проявление милосердия благочестивых, добрых людей, которые на праздник подавали «несчастненькому» грошик ради своего собственного спасения. Но забота о благе преступников как *долг* общества и государства — этого понятия во время оно не было. Всем казалось совершенно ясным и неоспоримым, что государство и общество должны

заботиться о положительных явлениях, а не об отрицательных: по отношению к последним допустима лишь одна работа — изолировать их, устранить из здоровой среды. Однако с тех пор, как появилась великая книга Беккариа, взгляд этот коренным образом изменился. Мы так же сурово, как и прежде, скорбим о преступности и гораздо более сознательно, чем прежде, подготавливаем новые лучшие условия быта, при которых, быть может, исцелится и эта социальная язва, и многие другие. Но в то же время мы понимаем, что недостаточно устранить преступника из здоровой среды, ибо это значит заботиться и о самом преступнике как таковом. Мы поэтому устраиваем рациональные гигиенические тюрьмы, а наиболее пылкие из нас мечтают о полной замене тюрем особыми колониями для осужденных, организованными на самых гуманных началах сердечного попечения и уважения к человеческому достоинству ближнего, который споткнулся. И эти наиболее пылкие из нас, несомненно, добьются рано или поздно осуществления своей мечты, и в тот день станет окончательно ясно, что общество, осуждая преступность и борясь против нее коренными общими мерами, в то же время всецело признает свой долг уважать в преступнике человека и заботиться о преступнике *как таковом*.

Рано или поздно тот же взгляд установится и на проституцию, и это будет единственный разумный взгляд. Проституция — зло, проституция — язва, которая должна быть искоренена, но искоренить ее можно только кружным путем, а путь этот продлится весьма и весьма, и еще внуки наши не добегут до конца его. А пока не добегут, до тех пор проституция будет существовать, хотим мы этого или нет. Значит, надо принять меры к тому, чтобы жертвам этого неизбежного феномена жилось по-человечески. Надо дать им нормальные условия жизни. Общество и государство должны осознать свой долг — заботиться о проститутке *как таковой*.

Никто теперь не заботится о проститутке *как таковой*. Есть учреждения, пекущиеся о том, чтобы женщина из бедного слоя не попала в болото разврата; они устраивают клубы, лекции, общежития; это прекрасные и весьма полезные учреждения. Есть и другие учреждения, пекущиеся о тех женщинах, которые могут еще вырваться из болота разврата: им доставляют работу, лечение — все, что нужно для начала новой жизни. Это тоже прекрасные учреждения, и надо пожелать им: плодитесь и размножайтесь. Но учреждения первого

типа заботятся о женщине *до* проституции, учреждения второго типа — о женщине *после* проституции. Никто не заботится о женщине, находящейся *в самом моменте проституции*, о проститутке как таковой. На одном берегу болота стоят добрые люди и удерживают от падения в трясину; на другом берегу добрые люди вылавливают спасенных. На тех, которые в болоте, все махнули рукой. Но ведь именно те, которые в болоте, и составляют большинство, и как бы мы ни спасали женщин *до* проституции, как бы мы их ни выручали из беды *после*, — все-таки на рынке разврата останется ровно столько живого товара, сколько требуется общественным спросом, ибо спросом, а не филантропией регулируется предложение на всех рынках мира сего.

Повторяю: надо отшвырнуть праздные моралистические сантименты, отшвырнуть праздное и часто лицемерное отвращение, стать прямо лицом к лицу с этой бедой и сказать себе: вот ремесло, которое будет еще долго существовать. Занятые в этом ремесле женщины живут в обстановке бесправия, надругательства, разнузданной эксплуатации. Эта атмосфера угнетает и развращает их. Они теряют всякое сознание своего достоинства и становятся нагими, злыми, часто бесчестными. Надо поставить это ремесло в более нормальные условия. Надо оградить женщин, занятых в нем, от бесправия, от надругательства, от неумеренной эксплуатации. Надо внушить им чувство собственного достоинства, дать им профессиональную организацию, научить их самопомощи для обороны своего профессионального благополучия. Надо сделать для них то же самое, что за границей давно уже делается для всякого другого рабочего или ремесленника и чему и в России уже положено начало законом о рабочих старостах. Надо понять, что вопрос о проституции есть только частный случай общего рабочего вопроса.

Так говорит Ирма в сказке моего босяка, обращаясь к памяти борца-жениха: «Имя "труженик" высоко превознес и поднял ты... Я внесу *другое имя* до такой же высоты!» Пусть, кто хочет, обиженно протестует против такого уравнения, но я твердо знаю и всегда буду помнить, что все мы с вами, кроме только дармоедов, живем рабочими разного цеха на этой земле: врачи, писатели, чистильщики сапог и золоторотцы, и нет между нами принципиально никакой разницы, и проституция есть только один из этих цехов — самый несчастный.

Мы обязаны это признать и отнестись не только к самой проститутке, а и к ремеслу ее, хотя со скорбью, но вместе с тем с уважением, которого достойна всякая профессия, если только она не включает насилия над законными правами ближнего, если она не есть профессия сыщика или заплечного мастера. Мы обязаны отрешиться от презрения цеха к цеху и понять, что пока существует на свете неустрашимая стихийная нужда в известной функции, почтенны те, которые несут ее на себе, хотя бы то была и прискорбная функция. Много есть на земле прискорбных функций, которые исчезнут, когда мир станет лучше. Такова хотя бы функция пушкаря, посылающего смертельную мину в броненосец, на котором поселено семьсот человеческих жизней и в который вложено не знаю сколько миллионов рублей от народного пота. Не станет войны — не будет и пушкаря, но пока есть война, мы помним, что не пушкарь ее выдумал и не пушкарь виноват, а пушкарь, напротив, исполняет опасное и тяжелое дело и имеет полное право на наше сочувствие, уважение и попечение. Мы с вами терпим без ропота строй, допускающий существование прислуги, а лакея презираем и этим презрением развращаем его до потери человеческого подобия; мы миримся с безнравственной буржуазной семьей и с противоестественными буржуазными понятиями о «половой морали», а когда в противовес им на сцену выступает проститутка, мы ее презираем. Это все непозволительное, непростительное лицемерие. Пора стряхнуть его и громко раз и навсегда признать, что нынешние условия быта, к сожалению, роковым образом выдвигают на рынок ежедневно определенное количество представителей «спроса», не имеющих возможности иным путем удовлетворить свою потребность, — и таким образом неминуемо вызывают ответное появление представительниц «предложения». Если бы чудом и удалось на один год совершенно подавить предложение, то ведь спрос на разврат не рассеялся бы в воздухе, потому что он не с бухты-барухты возник, а явился строгим последствием исконных условий общественного воспитания и тысячи других мощных причин; армия спроса, не найдя в тот год на рынке армии предложения, ринулась бы в другую сторону, ворвалась бы тем или иным путем в наши буржуазные дома, как вода, стесненная плотиной, не просачивается в дно, а затапливает берега. Оттого и говорит Ирма в сказке моего босяка: «Мы не создали разврата, мы развратом рождены. Он древнее нашей касты — и затем лишь создал

нас, чтобы мощь его потопом по земле не разлилась!» Оттого же говорит она и дальнейшие слова, которые я позволю себе вторично привести, извиняясь перед читателем за повторение: «Ты зальешь ли в человеке вечно алчущую страсть? Не мешай нам этой страсти отдавать себя во власть: если в нас и в наше тело ты закроешь ей исход, — в тот же миг она, бушующая, всю вселенную зальет. Да! Затем должны мы с торгу отдавать свои тела, чтобы девушка для мужа сохранить себя могла». Не мистическую смиренную resignation¹ со своей ролью — ролью якобы искупительной жертвы за «нравственное» сохранение зажиточных барышень — выражает Ирма в этих словах, а гордое сознание того, что в современном общественном строе, каков бы он ни был, она и подружки ее исполняют важную существенную функцию, за которую никто не имеет права корить их. С равным правом мог бы пятьдесят лет тому назад крепостной сказать барину: затем ели мы мякину по большим праздникам, чтобы ваша милость могли купить цыганок в шампанском... И вдумываясь в это все, Ирма понимает, что пока одни будут покупать цыганок в шампанском, до тех пор другим придется есть мякину; пока держится гнилой старый мир с его противоестественным пониманием физической любви как запретного плода, с его нелепым воспитанием, распалюющим в нас нездоровое любопытство к запретному плоду, с его торгашеской семьей, на вступление в которую требуется имущественный ценз и для расторжения которой необходимо одному из супругов повеситься на крючке, до тех пор не оскудеет спрос на живые клоаки для излишка половой энергии, а пауперизм не перестанет выдвигать кадры предложения. Оттого и говорит она: «Только день, когда не станет предрасудков и границ — только он, великий, может сделать лишними блудниц. А пока тот день прекрасный не заблещет с вышины, мы, страдалицы-блудницы, человечеству нужны».

Нужны — и этим все сказано. Цех, который как-никак нужен человечеству, не может и не должен изнывать под тяжестью нашего презрения. Рано или поздно мы поймем это и отнесемся к проституции трезво и разумно, как относимся ко всякой другой общественной функции, желательной или нежелательной, лишь бы в данный момент необходимой и неустранимой. Тогда мы вычеркнем из своего катехизиса неосуществимый девиз «борьбы с проституцией» и заменим его

¹ Покорность (фр.).

девизом «заботы о проститутке как таковой». Тогда мы не пойдем за нынешними аболиционистами, потому что аболиционисты предлагают нам, в сущности говоря, отвернуться от печального явления и не обращать на него никакого внимания. Напротив, мы отдадим тогда проституции как можно больше внимания и попытаемся внести в нее благоустройство. Мы не откажемся от врачебного надзора, потому что наше время, напротив, старается внести врачебный надзор повсюду, где есть в нем нужда — на фабрику, в казарму, в школу; тем более в такую область, где опасность заболевания особенно велика. Но мы тогда сумеем устроить его иначе, нежели теперь: мы устраним от этого дела городских и передадим его в руки общественного самоуправления, вместо мужчин поставим женщин-врачей, откроем широкий доступ гласности и общественному контролю. Мы распространим на проститутку рабочее законодательство, оградим ее от изнурительной эксплуатации, застрахуем ее от профессионального истощения. А самое главное будет то, что мы сумеем поднять ее человеческое самосознание и дадим ей профессиональную организацию для самопомощи и самодеятельности, и тогда она сама поймет свои интересы и исправит то, чего мы со стороны не догадались бы исправить.

Но когда мы твердо станем на точку зрения «заботы о проститутки», тогда и борьба против проституции, настоящая борьба с заранее обеспеченной победой, вовсе не прекратится. Она только уйдет в другое поле — на арену общего прогресса, на широкое поприще борьбы против всего отжившего в мире. И когда закончится борьба, мир будет обновлен и не понадобится ему более ныне приносимых жертв.

Владимир Ж.

Русь. 19.04.1904



Наброски без заглавия. IV

— Побольше строгости! — восклицает г-н Меньшиков и советует завести в гимназиях вместо нынешних молоденьких классных надзирателей старых усатых дядек из отставных солдат — с тем, чтобы эти дядьки находились при гимназистах неотлучно и контролировали всякое дыхание уст,

а в университете г-н Меньшиков предлагает завести новых педелей, которые сидели бы на лекциях, как классные дамы у барышень, и были бы при том облечены «полицейской властью». Тогда все пойдет хорошо, — обещает г-н Меньшиков. И Бог с ним, пусть обещает! Мне с некоторого времени кажется, что к словам г-на Меньшикова нельзя теперь относиться внимательно. Так и видно, что г-н Меньшиков пишет, словно в пропасть под гору катится и сам это сознает. Читая г-на Меньшикова, я все время чую подавленный стон человека, который на дне души дорого бы дал, чтобы вычеркнуть из своей жизни последние годы и начать все сначала, которому страстно хотелось бы завтра проснуться и вдруг понять, что все это последнее ему только приснилось, что он сам еще прежний и никто его иным не считает... Но все это невозможно, и человек ожесточает сердце свое и делает aus der Not eine Tugend!¹ Не с чем тут серьезно считаться, не с кем спорить; глядя на эти упрямые судороги больной души, можно только ощутить большую жалость, развести руками и сказать укоризненно:

— Вот и доигрался...

Но не в г-не Меньшикове дело и не в его проектах, а в том, что не вымер еще, действительно, предрассудок, будто в русской школе мало надзора и следует усилить и расширить его. Против этого мнения столько уже возражали, что лень повторять логические доводы. Мне хочется просто по этому поводу напомнить вам, читатель, наши с вами школьные годы, как они шли и что из этого вышло или по крайней мере могло выйти.

Мы в нашей гимназии не могли пожаловаться на отсутствие надзора. Надзор был повсюду. В самом здании гимназии он доходил до такой степени, что даже там, куда султан пешком ходит, стоял педель Терентий и радел о том, дабы мы не портили в этом месте воздуха курением табака, а инспектор и классный наставник во время «перемены» пересматривали наши ранцы и искали неизвестно чего. Ведь это же так?! Чтобы пойти в театр на «Ревизора», нужно было письменное разрешение инспектора — и в театре опять-таки пребывал Терентий и ловил курящих, беспаспортных или безмундирных. Тот же Терентий слонялся по улицам после заката солнца и доносил начальству, что мы с вами позже установленного часа гуляли на бульваре, причем шинель была застегнута

¹ Добродетель из нужды (нем.).

отнюдь не на все пуговицы. А классный наставник изредка приходил к нам на дом и просматривал книжные шкафы, и если находил «Русскую мысль», то почитал необходимым довести об этом до сведения директора, а тот вызывал родителей для серьезных разговоров и грозил исключить. Надзора было достаточно. Надзор висел над нами в школе, на улице, в театре и дома. И любопытно, что выходило из этого надзора.

А вот что выходило. Нам запрещали курить? Мы отвечали на это запрещение обманом: забирались на чердак, и один курил, а другой сторожил. Вред от табака был тот же, но мы, кроме того, привыкали к обману. Инспектор лазил по нашим ранцам. Мы принимали меры и все подстрочники и проч. носили под брюками — то есть привыкали хитрить и скрываться. Нас ловили в театре, мы прятались и переодевались. Нас ловили на бульваре, мы прятались по темным аллеям, а если Терентий туда неосторожно забирался, то во мраке швыряли в него камнями, стараясь попасть в голову. Классный наставник приходил осматривать наши этажерки. Мы вступали в союз с родителями и держали преступную, однако открыто на глазах всего русского общества издававшуюся «Русскую мысль» и Писарева в кабинете у отца, куда наставник не мог добраться. Так единственным результатом надзора было то, что мы продолжали поступать по-своему, но зато озлоблялись и привыкали всесторонне лгать, хитрить и скрываться.

Особенно в одном отношении доходило это до невероятных, ужасающих размеров. Я говорю о подлоге. Мы до того привыкали к подлогу, до того сроднились с ним, что у нас совершенно выветривалось естественное отвращение к этому деянию. Все решительно, все без исключения, от «первого» ученика до второгодника — всякий из нас умел великолепно подделывать подпись отца или матери и расписывался за них под еженедельными и четвертными отметками, под замечаниями в дневнике, под удостоверениями о том, что «сын мой таковой-то не явился в класс по болезни».

У иных из нас такие удостоверения бывали заготовлены сразу на все полугодие, с пробелами для чисел и подробностей. Никто за грех не считал. Начиная с четвертого класса, я положительно не помню ни одного товарища, который не расписывался бы сотни раз за своих родителей на всякого рода гимназических документах. И ведь именно эта распространенность подлога, эта готовность прибегать к нему без всякой причины, эта полная привычка к нему — особенно любопыт-

ны. Они доказывают, что не страх толкает детей на ложь и обман, но сам надзор вызывает инстинктивное отвращение даже в лучших из них, даже в тех, которым нечего скрывать, и внушает им вот такие средства борьбы против назойливого контроля. Я прекрасно понимаю, что в этих подлогах по существу не было ничего ужасного, что это был с нашей стороны просто естественный ответ обманом на незаслуженно подозрительное недоверие. Но ведь в воспитательном смысле она ужасна — эта фамильярная привычка к чужой подписи, эта атрофия врожденного человеку отвращения к фальшивому документу!

Если вы вникните беспристрастно, то явно усмотрите и установите, что детская психика, очевидно, не переносит назойливого, казенного, подозрительного надзора, не мирится с ним, и чтобы избыть его, инстинктивно готова на всякие ухищрения. Отсюда один вывод: усиливать надзор — значит вызывать новую ложь, новое мошенничество, новые подлоги. Принцип надзора построен на той презумпции, что малолетний человек не имеет права шагу ступить без разрешения. Никогда малолетний человек не подчинится этой презумпции не за страх, а за совесть. Уступая силе, он направит всю свою изобретательность на обман. Так оно было всегда, и так оно будет и дальше, и помешать этому немислимо. И кому эта дрессировка обманщиков по сердцу, тот пусть проповедует:

— Побольше строгости...

Да, вообще, хорошее это время, наше молодое время. Вспомнить хотя бы то, как нас приучали к законности и правосудию. Нас судили заочно, не принимая никаких свидетельских показаний, даже не позволяя нам оправдываться. Классный наставник сказал мне однажды: «Когда я вам говорю, что вы провинились, вы не должны настаивать, что вы правы. Это грубо и невежливо!» Эти впечатления суда над нами были первые наши впечатления о человеческом правосудии, которые должны были лечь в основу нашего чувства законности, воспитать в нас правосознание — в нас, которым раз и навсегда было заявлено, что никаким жалобам на брань классного надзирателя не будет дано хода и жалобщикам еще достанется.

Все это делалось для того, чтобы ничто не колебалось в наших глазах авторитета наших наставников. Но будем прямодушны, вспомним, велик ли был этот авторитет. Не было ни

одного учителя, которого мы бы не окрестили обидным прозвищем, которого не считали бы невеждой и взяточником, которого пожалели бы в беде. Из моего класса четверо стали писателями. Кто из нас когда-нибудь показывал свои опыты учителю словесности? Мы читали первые стихи друг другу, носили их изредка на просмотр журналистам нашего города, но никогда, ни одному не взбрела на ум дикая мысль вручить «заветную тетрадку» господину в синем мундире по прозвищу... резкое было прозвище у нашего учителя словесности...

Так мы жили наши гимназические годы, и если мы из этой педагогики не вышли нравственно перекошенными людьми, за то уж особое спасибо Господу Богу, чья искра нелегко поддается усилиям гасителей. Но если мы и уцелели, то детей наших, по крайней мере, да минет чаша сия!

Прямая задача школы — обучение, добросовестное и разумное обучение. Дисциплина школы должна сводиться к нормальной, минимальной дисциплине общежития: чтобы один не мешал другому слушать и все вместе не мешали учителю обучать. Внеклассный надзор есть вредная фикция, от которой школа наотрез должна отказаться. И только после этого у нее останутся огромные воспитательные средства: добрый пример наставников, дружеское, полное уважения обращение с воспитанниками, укрепление товарищеского духа и взаимопомощи и — главным образом — расширение умственного кругозора. Так уже давно поставлена школа на Западе и так, без сомнения, рано или поздно будет она поставлена в России, если не теперь, то придется потом, с той разницей, что тогда понадобится лечить новые раны, исправлять новые ошибки.

Владимир Ж.

Русь. 24.04.1904



Наброски без заглавия. VI

Прошу не пугаться: я не собираюсь *говорить о реформе правописания*. Надоела. Сам я давным-давно пишу без еров и без фиты; захочу — стану писать и без ятей, а г-н наборщик пусть делает, как ему угодно. Интересует меня все это совсем с другой стороны.

Сто раз приходилось и мне, и вам беседовать о русской орфографии, и ни разу еще, без сомнения, ни вы, ни я ни от

кого не слышали о ней доброго слова. Не было, вероятно, такого обывателя, который хоть раз в жизни да не толкнул бы ее каблуком. Каждый более или менее праздный господин время от времени производил такое исчисление: в газетном столбце 200 строк. На каждую строку в среднем приходится по одному твердому знаку. Будем считать, что всех полных столбцов в газете 24 (на трех страницах). Итого $200 \times 24 = 4800$ еров. Около пяти тысяч ненужных букв в каждом номере. Считая строку в 35 букв, это значит, что в каждом номере газеты бесплодно пропадает 150 строк. А редактору еженощно приходится откладывать часть ценного материала — «места нет». И обыватель приходит в ужас и в умиление, думая о том, сколько душеспасительных вещей можно было бы втиснуть в эти полтора-раста печатных строк и сколь далеко шагнула бы Россия вперед, ежели бы да кабы! Затем, если хватало еще свободного времени, он же исчислял, во что обходится типографии отдельная буква **Ъ** и насколько дешевле стоило бы заказать букву **е** в удвоенном количестве, и опять ощущал умиление при мысли об огромной экономии народных сил и средств. А в заключение, бросая перо, неизменно бранил академию наук и восклицал: «Да разве от них дождешься хоть шагу в этом направлении? Никогда не решатся. Напротив, тронь кто-нибудь эту самую ижицу, академия-то и возопит о потрясении устоев русского национального духа. Все дело тормозит академия». Смею настаивать, что такие разговоры можно было слышать еще даже за неделю, даже накануне того дня, в который гром ударил с ясного неба и академия посягнула на оплоты просвещения.

С этого мгновения музыка резко меняется. Обыватель оставил исчисления и вообще отрекся от всякой арифметики. Мысли его приняли внезапно самое возвышенное направление. Сердце прониклось презрением к низкой пользе. На первый план вместо низкой пользы выдвинулись метафизические соображения. Оказалось, что буква ять есть некий символ. Оказалось, что «бедные дети, томящиеся над изучением нелепого лжеправописания», суть, по новой терминологии, просто ленивые и тупые ребята, которых пороть надо, чтобы учились. И вообще, пошла писать губерния.

Я довольно внимательно слежу за тем, что пишет по этому поводу губерния, и беру на себя смелость выразить бесповоротное мнение, что против реформы не было еще высказано ни одного веского довода, ни даже намек на веский довод.

Не появилось ни одного замечания, которое выдерживало бы критику — или, позвольте сказать прямо, стоило бы критики — ничего, сколько-нибудь внушительного ни с практической точки зрения, ни со специально филологической. В практическом отношении самое серьезное соображение сводилось к вопросу: а как же мы станем различать «смѢло» и «смело» (от глагола «смести») или «нѢкогда» и «некогда»? Очень просто: в глагольной форме «смело» надо ставить над «о» ударение, а «некогда» в смысле «нет времени» писать отдельно, соединяя черточкой: мне не-когда. Таких недоразумений во всем словаре возникнет пять или шесть, а недоразумений с буквой ять, слава Богу, тысячи... А главный «филологический» довод заключается в том, что ять символизирует слияние севера с югом или что-то в этом роде, ибо малороссы говорят «хліб». Странный резон! У малороссов свой язык, оттого они и говорят «хліб». Они, кроме того, говорят «він» вместо «он» и «під» вместо «под»; следовательно, есть такое *о*, которое на Украине переходит в *і*. Никто, однако, не настаивает, чтобы на этом основании такое *о* в русском языке писали как-нибудь особенно. Значит, нет нужды в особом знаке и для такого *е*, которое у малороссов переходит в *і*...

Тут, господа, не в филологии дело и не в практических соображениях дело, потому что филология в таких пустяках решительно ни при чем, а практические соображения все до одного уже более ста лет вопиют за реформу. Дело гораздо проще и гораздо хуже. Именно потому хуже, что проще. Разгадка перемены обывательского настроения — вся целиком в зрительной непривычке. В зрительной, так сказать, неприятности, и больше ни в чем. Когда мы читаем: «Я поехал седовня на конке», нам с непривычки курьезно, и это вполне естественно. Это чувство непривычки и неудобства на первых порах возникает решительно у всех, и ничего, конечно, в том худого нет. Но худо, очень худо то, что мы так поддаемся этой непривычке, этому чувству курьеза, что мы возводим его в принцип, в довод, цепляемся за него, призываем богов и науку ему в подкрепление — мы, те самые, среди которых еще вчера, бьюсь об заклад, не удалось бы найти врагов орфографической реформы даже в отношении одного к ста.

Как бы хороши ни были новые сапоги, они всегда сначала жмут, пока нога не освоится. Нормальный человек это понимает и даже старается побольше ходить, чтобы нога поскорее привыкла. Но если человек из-за мимолетного неудобства

отказывается от новых сапог, когда старые гласом вопиют, прося каши, то это не может не навести на грустные размышления. Малый ребенок боится купания, потому что первое впечатление от воды неприятно, и это вполне простительно малому ребенку. Но если взрослые люди, целое общество подражают малому дитяти, то единственный вывод из этой странности будет тот, что в развитии этого общества, очевидно, произошла большая зацепка и рост его в некоторых отношениях застрял — *mille pardons*¹ — на ребяческом уровне. И отвыкли же вы, голубчики, от обновок! — можно сказать этим трусящим нового сапога.

Что и требовалось доказать. Русское общество отвыкло от обновок — от тех самых обновок, которых так давно и страстно ждет и которые по большей части куда поважнее, чем эта нынешняя реформа правописания — реформа в стакане воды. Видя, как люди, трезвые взрослые люди, по-детски шарохаются в сторону, испуганные исчезновением фиты, и тоскуют о фите, как о вырванном зубе, невольно является вопрос: да ведь эти господа так же точно и еще хуже оробеют и шархнутся, когда врачи русской жизни начнут вырывать из нее настоящие, нешуточные гнилые зубы! Кто поручится, что все эти милые либералы, от млека мамыши мечтающие об упразднении каланчи, не подымут тех же стонов в момент ее упразднения? Кто поручится, что именно в самый момент осуществления их застарелых желаний об отмене розги, цензуры и пр. — они не струсят и не растеряются во сто раз больше, нежели сегодня перед отменой ижицы? Ибо эта внезапная любовь к ижице не могла упасть с неба: ее причина должна корениться в нас самих. Она — симптом, признак какой-то оригинальной водобоязни, еще загадочной для врача, но ничуть не загадочной для социолога, даже для такого скромного и случайного ультрадилетанта социологии, как ваш покорный слуга. Заприте человека надолго, на недели, месяцы и годы, в темную и душную комнату, и вы увидите, как он в конце концов сживется с ядовитой, ненормальной средой; и в тот момент, когда вы наконец откроете перед ним окна и двери, — солнце и воздух ослепят и опьянят его, отвыкшего, голова закружится, и он невольно шархнется назад. Я наблюдал человека, голодавшего семь дней подряд: на четвертый день

¹ Тысяча извинений (*фр.*).

ему уже не хотелось есть; когда прошло семь дней и он разрешил себе первую закуску, желудок его не сразу и не легко принял пищу. Самые законные, самые непреодолимые потребности вырождаются, коверкаются, извращаются, теряют творческую силу, если их слишком долго подавлять. Природа установила естественный срок, в течение которого каждое влечение должно быть удовлетворено: если оно застаивается дольше этого срока, то, как стоячая вода, тлеет и закисает. Никогда уже не попадут в Москву чеховские сестры. Было им сразу сесть в вагон и поехать, когда впервые возникло это желание. Теперь уже поздно. Творческая, положительная интенсивность желаний выветрилась, и осталась от него одна бесплодная хандра. Дайте сестрам теперь хоть даровые билеты, уже они сами не поедут в Москву, хотя столько вздыхают о ней! Привезите их на вокзал, и они при третьем звонке сробеют и убегут назад — выскочат в окно, как Подколесин.

Так произошло с русским обществом, потому что вот уже сорок лет и больше сорока лет, как оно сознает все одни и те же потребности, желает все одного и того же, все об одном и том же мечтает. Это все необходимейшие потребности, давно вполне назревшие, но именно потому, что сорок лет уже лежат эти мечты без движения, они застоялись, зацвели, загнили, потеряли творящую, созидательную мощь, и осталась от них в сердце у обывателя одна бесплодная хандра бессильной неудовлетворенности. И очень возможно, что, когда придет долгожданный день и распахнутся окна и двери навстречу солнцу и вольному ветру, обыватель ощутит головокружение, зажмурится, сделает гримасу и тоскливо спросит:

— А где же каланча? Я привык к каланче, и вдруг без каланчи... Варь! Отдай мне мою каланчу!..

Трусом стал обыватель, и это хуже всего. Он очень вкусно мечтает на словах о столпотворении вавилонском, а наяву боится перенести кабинет в спальню и спальню в кабинет. Долгим опытом он приучен совмещать большие разговоры с полным бездельем. На словах он готов выкрасить небо в другую краску, но едва дело дойдет до настоящего, хоть и скромного ремонта собственного дома, — кто знает, не сробеет ли он, не скажет ли, что в старой дырявой крыше, как в букве ять, скрыт некий священный символ, а посему не трожь?

Вот чего надо бояться, вот на что надо налечь литературе и печати. Бодрость нужна, энергия, решимость, потому что,

конечно, много новостей суждено увидеть нашему поколению, много пережить знаменательного и замечательного, а для того потребен человек с действительной волей, которого не шатало бы от малейшей струи свежего воздуха.

Владимир Ж.

Русь. 24.04.1904



Вскользь

Петербург

После долгого, для меня очень томительного, промежутка возвращаюсь к вам снова, почтенный одесский читатель, и при этом испытываю глубокое удовольствие.

Тут снег идет, снег в конце апреля, господа, а у нас в Одессе теперь чуть ли не бузок цветет, и скоро запахнет акацией, и добрые люди пойдут купаться в море — между тем как я тут еще буду гулять в калошах и менять носовые платки по три раза в день.

Одно утешение в такой беде — нарезать бумагу длинными полосками и засесть за статью для родного города: пишешь и весело думаешь о том, что наконец-то прочтут тебя свои, и вспоминаешь, как у нас теперь, должно быть, хорошо.

Здравствуйте, милый читатель. Я надеюсь не расставаться больше с вами и глубоко радуюсь этой надежде.

И так как при встрече после разлуки принято немного рассказывать и о себе, то прошу вас не посетовать и не приписать нескромности, если я заговорю сегодня *pro domo mea*¹.

Я получил из Одессы несколько писем с упреками за переселение в столицу.

Упрекают меня, конечно, не потому, что считают это переселение потерей для Одессы. Напротив, в этих письмах моя бедная персона оценивается очень немилостиво и даже прямо кое-где высказывается такое мнение:

— Ушли? Туда вам и дорога.

Но вместе с тем посылается мне укор за измену родной провинции, о пользе которой я столько раз на словах ратовал.

Я настаивал, что стыдно работникам провинции, кто бы ни были они, журналисты, адвокаты или певцы, дезертировать

¹ О себе; букв.: в защиту своего дома (лат.).

из родных углов, обольщаясь привольной жизнью столицы, ибо столица ведь и богатеет именно в ущерб провинции.

— Говорили, говорили, — пишется в одном из этих писем, — а кончили тем, что сами соблазнились и перекочевали в Питер и уже там льете свои чернила...

Узнаю, хорошо узнаю голос моего читателя, почтенного одесского читателя, которого сердечно люблю, но давно и вполне знаю.

Вполне и давно знаю особенно в его отношении к пишущему человеку.

Любопытнейшее отношение, в высшей степени характерное для моего милого, но беспутного города.

Сказать, что одессит не читает пишущего человека, — грех. Напротив, в Одессе много читают — во всяком случае, больше, чем в Петербурге.

Сказать, что одессит не любит своего пишущего человека, — тоже грех. Я заметил во время своих странствий: отзовитесь перед одесситом непохвально об одесской печати — он за нее очень горячо заступится.

И сказать, что одессит не вникает в слова пишущего человека, — совсем большой грех. Напротив, одессит любит посудачить и даже пофилософствовать о прочитанном.

Но при всем том в грош ломаный ставит одессит пишущего человека и ни капельки не верит в серьезность его писаний.

Он охотно читает Максима Горького, и похваливает, и говорит: да, следовало бы нам стать сильными, — но наврите ему, что Максим Горький тайком отдает деньги в рост по пятнадцать процентов, и он поверит и даже не изумится.

Ибо он, почитывая и похваливая, никогда вовсе и не видел ничего немислимого в том, чтобы автор «Мещан» оказался Хлавой Аглицким. Напротив, ему, одесситу, всегда вполне ясно, что писания сами по себе, а автор сам по себе; и ежели автор так, а не иначе пишет, это еще далеко не значит, что он так на самом деле думает и чувствует.

А если одессит такого мнения даже о первачах литературы, то легко понять, каково нам, мелкой дичи.

Добрый одессит нас и любит, если мы ему по вкусу.

Но ни на минуту не принимает всерьез ни нас, ни наших слов.

И, заметьте, не только в том смысле, что он никогда не поступит и не подумает поступать по нашим советам.

Но он — и это главное — даже не верит, что мы сами серьезно относимся к нашим собственным словам.

Мы пишем, например, восторженную статью о новой пьесе. Он, одессит, читает, и если наша статья хорошо написана, то одобряет ее или даже восторгается ею.

Но эта статья нисколько не убедила его в том, что новая пьеса нам искренно и действительно понравилась. Он очень легко может допустить, что пьеса нам даже противна до отвращения.

А написали мы о ней восторженный отзыв просто «так». Отчего, мол, не написать? Может быть, для того, чтобы показать себя тонким критиком, а то и просто с бухты-барухты.

Никогда, ни на миг не придет одесситу в голову, что мы действительно до корня души можем быть проникнуты теми мыслями, которые высказываем печатно; он засмеется и не поверит, что мы стараемся жить сами по тому учению, которое чтим на словах.

Трудно с вами, дорогой одесский читатель, очень трудно.

Мне казалось, что если обстоятельства вытесняют меня из Одессы и насильно заставят работать в другом месте, то читатель скажет:

— Но ведь это — убежденный противник дезертирства; значит, он только временно ушел со своего места, но ушел с твердым намерением вернуться, как только можно будет.

Мне казалось, что я имею право ожидать именно такого мнения. Мои доброжелатели, если они есть, могли бы радоваться тому, что я вернусь, мои недоброжелатели сожалеть, но и те, и другие, казалось мне, должны были прежде всего понять, что человек, столько писавший против дезертирства, не станет сам дезертировать.

Оказалось — совсем напротив. И я это знаю не только по тем нескольким письмам, о которых упомянул вначале, но и по разным другим несомненным признакам: знаю, что у моего доброго читателя, благосклонного и неблагосклонного, сразу и без колебаний составилось теперь обо мне решение:

— Говорил, говорил, а кончил тем, что тоже сбежал...

Бог с вами, друг мой, читатель, я уже разучился на вас сердиться. Было время, когда огорчался — пережил недавно даже такую неделю слабости, когда не на шутку страдал от вашего такого отношения к пишущему человеку, но теперь махнул рукой и раз навсегда вознамерился пренебречь. И пренебрегу.

Буду гнуть свою линию помаленьку, беззаботно и настойчиво, как до сих пор; а когда кто-нибудь из вас меня оскорбит, как уже не раз, по правде сказать, оскорбляли, то обдам его спокойно пренебрежением и пройду себе дальше.

И вы не должны обижаться за эти мои слова и не должны находить их непочтительными, потому что без этого пренебрежения никак нельзя.

Посудите сами: ведь мы пишем то, во что глубоко верим, а вы, милый читатель, твердо считаете все наши слова болтовней, за которой нет ни песчинки серьезного убеждения.

Мы пред вами нашему богу молимся, а вы убеждены, что мы Ваньку Рутютю представляем.

Ведь это большое оскорбление, за которое нельзя молчать. И пришлось бы нам с вами рассориться.

А между тем нельзя нам с вами ссориться, надо быть друзьями, потому что время не для дразг, а для работы вместе.

Вникните в это, и вы сами увидите, что единственный способ не ссориться мне с вами, а жить в ладу, это — пренебрежение. И пренебрегу.

Пока мы с вами оба не станем более чуткими, не научимся ценить людей справедливо и понимать, что не во всяком человеке надо видеть собаку, которая лает на луну и сама своему лаю не верит.

А засим, друг мой, читатель, я жму вашу руку и прошу любить и жаловать, потому что я вас люблю и жалею.

И еще больше люблю наш молодой, хороший, умный город, о котором тоскую днем и грежу по ночам, которому служу и еще долго и долго хочу служить, и не променяю на эту чужими соками разжиревшую столицу.

Здравствуйте, друг мой, читатель, и до скорого свидания.

Altalena

Одесские новости. 3.05.1904



Вскользь

Петербург

Я прочел на первой странице газеты объявление в черном ободке и узнал, что умер один добрый человек, некогда мой классный надзиратель.

Он же обучал меня пению.

И мне вспомнилось, что в прошлом году умер другой добрый человек — некогда мой классный наставник.

Он же обучал меня эллинской мудрости.

Пусть им будет обоим уютно под землей — то были оба, как я теперь вижу, добрых человека.

Один из них так любил музыку и так задушевно пел тенорком духовные песни, а сам был маленький, невидный и скромный.

Все его третировали. Ему, вероятно, скверно жилось, и он, вероятно, никому зла не желал.

А зато я помню хорошо, что я-то желал ему зла всегда и от всего сердца.

И не я один, а все мы, ученики, то есть дети и отроки от восьми и не старше 16 лет: мы все желали ему всякого зла.

Ругали его заглазно и однажды, когда с ним приключилось воспаление легких, устроили по этому случаю благодарственный молебен св. Лентяю.

А второй из них, хотя преподавал эллинскую премудрость, больше любил педагогику. Он увлекался Яном Амосом Коменским и часто рассказывал нам про Коменского и про то, какие должны быть, по Коменскому, прекрасные отношения между воспитанником и воспитателем.

Когда он это рассказывал, видно было, что идеалы Коменюса — его идеалы и что ему очень хотелось бы вступить с нами в эти прекрасные отношения.

И он старался толково объяснить нам задаваемые уроки и никому из нас, вероятно, зла не желал.

Но мы его ненавидели, все до одного.

Мы его боялись и старались пакостить ему, чем только возможно; мы рисовали его то верхом на свинье, то в виде балерины и распространяли эти карикатуры среди учениц, которым он преподавал педагогику и которые его тоже не любили.

Я знаю, как он умер: одинокий. Никто не приходил к нему в больницу и никто не пожалел о нем на могиле.

Я не знаю, как умер первый. Но, впрочем, разве неизвестно, как умирают классные надзиратели.

И вот умерли эти два, в сущности, добрых человека, и я спрашиваю себя и вас, за что и по чьей вине прожили они всю жизнь, вечно окруженные детской нелюбовью, враждой, недоверием.

Кто виноват?

— Дети, — скажет иной. — «Сей возраст жалости не знает».

А я не думаю. Мы всегда могли немало в чем пожаловаться и на того, и на другого.

Первый из них, бедный надзиратель, всегда и всюду стоял нам поперек горла.

Как же нам было не ненавидеть его? Он отравлял нам улицу, театр и дачу, не говоря уже о классе: он, значит, отравил нам целиком несколько лет жизни.

А поклонник Коменского душил нас аористами; и к экзамену надо было «на отлет» знать глаголы на *mī*, иначе он ставил двойку и заставлял нас все лето вместо отдыха зубрить чепуху из глупой книжки Эмиля Черного, а то и вовсе вычеркивал целый учебный год из нашей жизни.

За что же нам было любить его?

Кто виноват во всем этом, не знаю, но во всяком случае не мы.

А если бы спросить о том этих двух усопших — ведь они тоже ответили бы:

— И не мы. Мы были, в сущности, два добрых человека и никому не желали зла.

Так и висит и будет висеть над их могилами нерешенный вопрос: кто виноват.

Но когда мне в прошлом или позапрошлом году сказали об одинокой смерти первого из них — того, который увлекался Коменским, мне, помню, ясно представилось, как горько должен был проклинать, умирая, этот бедный горемыка всю эту отживающую теперь, к счастью, систему, которая исковеркала его — превратила из доброго человека в придирчивого мучителя, из друга детей сделала в их глазах врагом, окружила его атмосферой холода и недоверия и так и довела до никем не оплаканной могилы...

Пусть вам будет уютно под землей, бедные люди. Желаю вам быть последними.

Altalena

Одесские новости. 4.05.1904



Наброски без заглавия. VII

Из Одессы пишут, что тамошние журналисты окончательно задумали составить корпорацию. Пишу «окончательно», потому что попытки были уже в Одессе не раз и все не удавались. Очень приятно видеть, что люди не смущаются неудачами и снова, и снова пробуют. В этом, несомненно, главный секрет всякого успеха — сказать себе самому твердо и решительно: сто раз сорвется, а я отдохну немного и полезу в сто первый раз. Девизом каждого человека, воистину желающего работать, должно быть правило: во что бы то ни стало. Кто хорошо проникся этим девизом и верно служит ему, тот *не может* не победить, как *не может* вечно падающая капля не продолбить самого твердого камня. Адмирал Камимура, посылая солдат на брандеры, сказал им так: отрубят у вас одну руку — деритесь другою, отрубят другую — деритесь ногами... Еще Петр Великий советовал учиться у врагов, и если есть чему поучиться Европе у японцев, то именно прежде всего этому культу упорства. И чтобы выйти из нынешней войны победительницей, России тоже пуще всего иного понадобится ледяное, автоматическое упорство и чудотворный девиз: во что бы то ни стало.

Итак, у одесских журналистов будет корпорация. Это уже давно сделалось необходимостью. Среди одесской интеллигенции журналисты представляют самую живую, самую деятельную группу; в значительном духовном оживлении города, ясно обнаруживавшемся в последнее время, они сыграли первую роль. Между тем отсутствие корпоративного объединения ставит их во многих отношениях ниже разных других групп интеллигенции, ослабляет энергию, уменьшает влияние и значение печати, которое уже теперь она могла бы и иметь...

Но не это, конечно, главное. Главное то, что и чисто литературное влияние провинциального газетчика страшно ослабляется этой разобщенностью. В России вообще, в провинции в особенности, существует очень нелепый, в высшей степени некультурный взгляд на «конкурента». Это проявляется и в мире идей, и в области кармана. Когда возникает новое умственное течение — марксизм ли выступает соперником народничества, идеалисты ли придут на смену экономическим материалистам, — во всех прочих лагерях тотчас подымается похоронный

воплъ. Начинают кричать о поругании заветных идеалов, об измене прогрессу; на новое течение обрушиваются непременно с излюбленным словечком «реакция!», забывая, что это словечко представляет из себя в конце концов инсинуацию и донос. Получается такое впечатление, точно не представители идейных течений говорят о новом веянии, а лавочники-старожилы (простите за правду) сердятся на нового лавазника и уверяют господина покупателя, что у того товар гнилой, да и сам он жулик. Какое-то страшное и глубоко некультурное непонимание той простой истины, что в каждом «направлении» есть своя доля правды, что каждое свято и необходимо, что одновременная работа разных партий есть первый залог прогресса, что слияние всех направлений в одно привело бы страну к застою, что партия должна осуществлять свою положительную программу, а вовсе не критиковать программу соседа и что вербовать себе сторонников надо среди нейтральных — так сказать, на нови, на девственной почве, — а стараться непременно отбить adeptов у другого направления так же некрасиво, как переманивать к себе покупателей из чужой лавки.

Если даже в области идейного соперничества установились такие приемы, то тем более в сфере состязания карманного интереса. И это более всего, может быть, отзывается на провинциальной печати. В ней работают почти сплошь люди честные и преданные делу, но за ними стоит обыкновенно издатель, для которого газета — просто прибыльное дело. И он бережет свою прибыль. И вот когда в том же городе возникает новая газета, сотрудники старого органа обыкновенно очень рады: рады, что население города, видно, оживляется и развивается, рады, что будет с кем плодотворно поспорить или просто иногда перекликнуться. Но издатель на все это смотрит иначе. Для него новая газета — конкурент его предприятия. В Европе даже настоящие «предприниматели» почти все доросли до понимания того, что рост числа торговых предприятий означает промышленное оживление края, а промышленное оживление края выгодно и для каждого отдельного предпринимателя. Но издатель ничего подобного не приемлет. Ни за что не поверит он, что если старая газета хороша и верно выражает общество, хотя бы только свое, то новая сама создаст своих читателей, привлечет к печатному листу новые контингенты публики; он твердо убежден, что «конкурент» пришел отбивать у него подписку, розницу и объявляе-

ния, и принимает меры. Меры же главным образом заключаются в замалчивании. Имя «конкурента» вычеркивается из газеты. О нем не упоминают, его не цитируют, ему не откликаются. Исключение допускается только одно: ругать издательского «конкурента» сотрудникам не возбраняется. Но и при этом предлагается не называть врага по имени, а писать: «в одной газете сказано, что...» Впрочем, теперь и в этом пошли стеснения. Знаю издателей, которые даже безымянной брани боятся:

— Неудобно. Все-таки читатель нет-нет да поинтересуется, что это, мол, за такая «одна» газетка?

В Одессе это замалчивание весьма применяется*. Во всех одесских газетах есть отдел «Пресса» или «Что пишут», где приводятся ежедневно цитаты из всех русских изданий, кроме одесских. Пусть Щедрин воскреснет и напишет статью в одной из одесских газет — другие даже не отметят этого факта. «Неудобно». Иногда бывает так, что подымет какая-нибудь из одесских газет интересный вопрос, и публика целую неделю только о нем и говорит, а в остальных газетах ни гугу. Сами одесские журналисты не раз жаловались на этот обет молчания. «Пишешь, точно в пустыне вопиешь, и никто не откликнется!» — писали они. И гг. издатели печатали эти жалобы, а замалчивания все-таки не прекращали. Только одна из тамошних газет — «Южное обозрение» — пока не обнаруживает этого страха перед именем «конкурента». Зато остальные все как будто норовят дать понять читателю, что в городе других газет совсем и нет.

Издателей не переубедишь, но их можно заставить. Несомненно, интересы сотрудников требуют взаимного внимания, требуют постоянного гласного обмена друг с другом откликами. Объединившись в корпорацию, работники провинциальной печати легко поставят на своем, и это, без всякого сомнения, утроит их влияние. Вопросы, разбираемые в нескольких изданиях сразу, будут живее захватывать более широкие круги общества; голос печати будет тогда слышнее и в местных делах, и успешнее пойдет одна из важнейших задач провинциальной печати — изгнание торгующих из храма самоуправления.

* Оставляю эти замечания моего молодого сотрудника, хотя многими читателями «Руси» они будут отнесены к тому, что они видят в печати петербургской. Что делать — пусть подумают любители советов, прежде чем их писать... (Прим. изд. «Руси».)

Но в особенности выиграет от корпоративного объединения журналистов другая, первая и главная задача провинциальной печати — та эмансипация провинциальных центров от духовной гегемонии столиц, о которой я писал уже недавно. Эта цель, давно уже осознанная лучшими представителями провинциальной интеллигенции, и печати в особенности, будет, несомненно, краеугольной заповедью корпорации одесских журналистов. И только в этом случае на прочной почве будет построено их объединение. Они должны ясно и определенно сказать себе: нашему району необходимо первоклассное самостоятельное, независимое культурное существование. Ему нужны свои высшие учебные заведения, своя академия художеств, своя консерватория, свои толстые журналы, свои книгоиздательства, свои первоклассные театры и свой, местного творчества, первоклассный репертуар. Многое из этого нужно сейчас, а многое скоро понадобится, потому что район развивается и город растет. Следовательно, всего этого надо упорно добиваться — во что бы то ни стало. Надо беречь местные силы для местной работы и не отдавать столице ни одного полезного человека. Все для себя; южане для юга, волжане для Волги. И с этой точки зрения надо ценить и обсуждать всякое встречное явление. Если оно хоть отдаленно содействует духовному освобождению выросшей провинции из-под указки сего мокрого города, оно должно быть всеми средствами укреплено и поддержано. Если оно хоть отдаленно тормозит осуществление этой задачи, оно должно быть всеми средствами, всеми силами сметено и уничтожено. Только осознав эту цель, во имя ее сплотившись и беззаветно ей служа, корпорация работников печати может уверенно идти к победе. Бодрости и успеха желаю моим одесским товарищам...

Владимир Ж.

Русь. 5.05.1904



Наброски без заглавия. VIII

Читаю в газете про господ адвокатов, и радуется душа. В газете пишут, что гг. адвокаты усердно истребляют в своей среде рекламу и даже все на нее похожее. Одному коллеге они запретили вступить в какой-то заграничный юридический союз, потому что этот союз, между прочим, печатает имена

своих членов и рассылает списки по белу свету. Господа адвокаты нашли, что это неудобно: вообразите, попадает такой список, например, в г. Монтевидео и прочитывает его какой-нибудь тамошний обыватель, которому как раз предстоит судиться у тамошнего мирового; найдет обыватель в этом списке имя г. Многоглаголова, присяжного поверенного округа казанской судебной палаты, и вдруг прельстится да выпишет он его к себе в Уругвай (или Парагвай, не помню). И выйдет реклама. Неудобно. Повторяю: душа радуется, когда подумаешь, сколь ревниво берегут господа адвокаты честь сословия и сколь тонко и далеко заглядывают ради этого вперед. Оно до того трогательно, что даже напоминает мне мои невозвратные детские годы и славную нянину сказку об умной Аннушке: как умная Аннушка в вечер своей свадьбы пошла в погреб за квасом, увидела в потолке над бочкой тяжелый крюк и разрыдалась, ибо сейчас же ярко представила себе, как у нее через год родится сын, да как он вырастет большой, да станут его тятя с мамкой посылать в погреб за квасом, а тут-то крюк, может быть, как раз и выпадет и прямо сыну в темя... *Vive la perspicacité!*¹

Я, впрочем, не адвокат и вообще профан в этом деле, но все-таки полагаю, что ежели только соблюдать должную скромность, то и профану можно сметь свое суждение иметь. И думаю, что реклама рекламе рознь. В одном городе я знал зубного врача, который развешивал свои плакаты по каморкам морских купален, квадратики с надписью: «Деру зубы без боли! Все посредством электричества!» В такой рекламе опять-таки ничего прямо преступного нет, но она просто противна, как всякая назойливость, и внушает невысокое мнение о личных качествах автора. Но есть другие способы давать о себе знать добрым людям, такие способы, в которых ничего назойливого нет. Этими способами пользуются, например, врачи или те лица, которые ищут уроков, — хорошая, работающая, интеллигентная молодежь. Они помещают в газете объявления, по большей части скромно и просто составленные, где говорится, что такой-то живет там-то и занимается тем-то. Знаю, что есть крохотное меньшинство, которое считает газетные объявления врачей «несовместимыми с профессиональной этикой». Но это меньшинство не имеет, очевидно, под собой никакой почвы, потому что врачи все-таки продолжают печататься, и общество не видит в этом ничего

¹ Да здравствует пронизательность! (*фр.*).

ззорного, и товарищеская среда не извергает таких эскулапов вон — по той простой причине, что *così fan tutti*¹. Ясно, как дважды два четыре, что газетные объявления врачей получили со всех сторон полную санкцию и всякие права гражданства. А адвокату нельзя. Почему? Отчего то, что прилично для врача и для студента-репетитора, неприлично для помощника присяжного поверенного? Тут одно из двух: или господа адвокаты считают, что их профессия, так сказать, чином повыше профессии врача и репетитора, «тоньше» и «благороднее», или тут дело не в профессиональной *этике*, а в какой-то особенной профессиональной *эстетике*, ни на чем не основанной, кроме условной традиции. Если первое, то гг. адвокаты горько ошибаются. В профессиях вообще нет никакой иерархии: что водовоз, что приват-доцент, — с субъективной стороны, как ценность в себе, это одно и то же, и профессиональная этика обоих равно сводится к двум правилам: работать честно и не допускать прижимки ни над собой, ни над товарищем. Все остальное — эстетика, или даже *есфетика*, как писали в старину. А ежели *есфетика*, то нет никакого сомнения, что скоро будет ей конец, и мы скажем: туда и дорога. Не потому вовсе, чтобы мы были врагами эстетики. Отнюдь. Полагаю, напротив, что произведения искусства должны быть оцениваемы с эстетической точки зрения, и только с нее. Но в то же время полагаю, что в делах общественных *есфетика* совершенно неуместна и никакого права голоса иметь не должна. От первого натиска серьезной потребности она разлетится пылью, и поделом. Адвокатов на Руси ежегодно становится все больше, а между тем уже и теперь есть среди них такие, которым усиленно и вотще хочется кушать. Потерпят они, потерпят, а наконец рассердятся и понесут объявления в газету. И ничего тогда ревнители «традиций» не поделают, ибо жизнь их опрокинет, и в один год времени привыкнет и публика, и сами адвокаты, а скромная *publicité*² присяжного поверенного будет так же в порядке вещей, как скромная *publicité* врача.

И когда нынешний ревнитель *есфетики* расскажет при случае своему отдаленному внуку про то, как они, деды, истребляли рекламу, то внук пожмет плечами и наивно спросит:

— А что, у вас разве других забот не было?

¹ Так поступают все (*итал.*).

² Реклама (*фр.*).

Советую будущему деду гордо на это заявить дерзкому внуку, что были и другие заботы. Была, например, забота о том, чтобы адвокат на суде был непременно во фраке. В сюртуке — нельзя. В пиджаке — тем паче. Это было бы вопиющее надругательство над священной традицией. Но традиция соблюдалась только до окружного суда включительно. Не ниже. Так, в старину порядочные люди считали, что человек начинается с барона, не ниже. В мировом съезде я сам где-то видел городского юрисконсульта в туфлях и белых носках. Могу засвидетельствовать, что правосудие от того не пострадало, но любопытно, что «традиция» вполне допускает такое потрясающее неуважение к мировому съезду. Традиция, очевидно, мировых и за судей-то не считает. А между тем мировой судья есть судья *par excellence*¹: выборный и несменяемый, то есть идеал судьи, насколько возможен наяву идеал в нашем несовершенном климате. Но все-таки традиция находит, что с него и пиджака достаточно, — и будущий дед с гордостью может указать внуку и на сию тонкость ихней «этики». Я, однако, боюсь, что внук окажется жестоковымыйным и вторично спросит:

— А что, у вас разве других забот не было?

Что тогда скажет дед? Дед промолчит, но мы за него ответим: не было. Правда, сплошь и рядом солидные присяжные поверенные брали со своих помощников, небогатых молодых людей, вкусные проценты за поручаемые дела — но «традиция» такими пустяками не интересовалась и «этика» до сих материй не снисходила. Правда, сплошь и рядом видные адвокаты защищали истязателей младенца; сплошь и рядом становилось имя какого-нибудь адвоката притчей во языцех возмущенного, потрясенного общества, но «традиция» молчала и «этика» безмолствовала, и не было такого случая, чтобы эта самая брезгливая корпорация указала языкоблуднику на дверь и вычеркнула из своих списков болтуна с продажной совестью. Вот зато строго было насчет рекламы...

Господи! Всплесните руками, добрые люди, и вдумайтесь, какими пустяками занимаемся мы с вами на этой бедной земле. Столько дела стынет и глохнет, кипучего, неотложного, а мы околачиваемся над скорлупою давно выеденных яиц, толкуем о букве «ъ», которая не нужна никому даже для того, чтобы написать слово «ять», и уничтожаем рекламу. Как познается, горько и скорбно познается во всем этом обществе, воспи-

¹ В истинном смысле слова; по определению (*фр.*).

танное вдали от всякой живой работы, пока безделье не развратило его, не приучило ценить пустяки паче серьезного дела, до того, что и теперь, в колоссальный для России исторический момент, мы все так и норовим отлынуть в сторону и заняться есфетикой!

Владимир Ж.

Русь. 07.05.1904

Р. S. Моя статья о проституции удостоилась нескольких возражений, которые значительно укрепили мое убеждение в правильности моей точки зрения на вопрос. Отвечать, однако, теперь не буду и оставляю за собою право делать это позже.



Наброски без заглавия. IX

Во вчерашнем письме из Парижа г-на Макса Волошина говорится о мисс Айседоре Дункан, которая, как известно, пляшет античные пляски в античном наряде, то есть почти совсем без нарядов, и автор письма выражает такую мысль: «Надо ввести наготу в семье, в воспитание детей, сделать ее символом чистоты...» Очень правильная мысль, очень хорошие слова!

Мы живем, кажется, в очень развратное время, а впереди, вероятно, переживем еще более развратную эпоху. У Льва Толстого где-то есть прекрасное определение разврата; к сожалению, наизусть я его не помню и должен попытаться изложить своими словами. Толстой говорит, что разврат начинается с того момента, когда вместо естественного двигателя — живой стихийной потребности — на сцену выступает искусственный двигатель — мысленное переживание, «смакование». Вот пример: пока человек ест потому, что того требует его организм, до тех пор он может быть признан (в этом отношении) нормальным и здоровым индивидом. Но бывает так, что человек, собственно, вполне сыт еще, и только мысленное переживание — воспоминание о приятном вкусовом ощущении, испытанном вчера при поглощении яств и напитков, — побуждает его взвинтить себя нарочно и сесть за стол уже без настоящего аппетита. С этого момента, где человек при чисто

физиологических отправлениях перестает руководствоваться чисто физиологической потребностью, а искусственно раздувает, гипертрофирует последнюю воображением и «смакованием», — отсюда и начинается область обжорства, т. е. желудочного разврата. В области полового разврата опять то же самое. Человек нормален и здоров, пока следует исключительно стихийным позывам природы, без всякого содействия воображения. Но едва начинается «смакование», как только человек в воображении воскрешает приятные представления и ради них искусственно взвинчивает себя, — он уже развратничает. Что сверх природы, то разврат. Формула природы: «Я проголодался и оттого иду есть». Формула разврата: «Я сейчас не голоден, но так как поглощение вкусных блюд приятно, то, чтобы испытать снова это удовольствие, поступлю так, как будто я снова естественно проголодался». И при этом, конечно, возникает некоторый суррогат настоящего аппетита или, вернее, болезненное раздражение, воспаление настоящего аппетита. Оно и отличает нормального человека от развратного. Иными словами — отличие нормального человека от развратного создается чисто психологическими моментами. Первый относится к своим физиологическим потребностям просто и непосредственно: вспоминает о них только тогда, когда они сами собой, по закону природы, просыпаются, и забывает о них, как только они, удовлетворившись, засыпают. Второй, напротив, устремляет на них свое внимание независимо от того, спят они в нем или бодрствуют. Из двух индивидов, при равенстве прочих условий, развратнее тот, который уделяет своим физическим влечениям больше внимания, тот, у которого к ним больше любопытства.

Оттого мы можем с полной уверенностью повторить, что живем мы в эпоху большого разврата. Наше половое любопытство колоссально. И не мудрено: столько поколений работало над его созданием и укреплением! Малым детям с первых лет уже внушали, что голым быть стыдно, что мальчику при девочке и девочке при мальчиках стыдно раздеваться. Подростками их начинали строго отделять друг от друга и даже учили их подчиняться этому разделению не за страх, а за совесть, то есть учили верить, что один пол для другого есть нечто запрещенное. И так как это разделение проводилось очень сурово не только в детском обиходе, но и повсюду вокруг, то они действительно весьма приучались видеть в понятии пола запретный плод, а понятие пола у них невольно отождествлялось

с наготой. Запретный плод сладок — и отсюда не могло не возникнуть сильное нездоровое любопытство к понятию пола и прежде всего к нагоде. И так как это длилось веками, то половое любопытство передавалось из рода в род, и в конце концов накопилось этого добра такие запасы, что нескоро еще их удастся расхлебать!

Но пока жила и держалась старая половая мораль, до тех пор эти запасы грязного любопытства лежали под спудом и не выступали на свет Божий в обнаженном виде. Как всякая подземная, прикрытая, «повапленная» грязь, они, конечно, отравляли почву и миазмами своими порождали многие тысячи болезненных явлений. Но люди все-таки непреложно считали нравственным долгом подавлять в себе это любопытство или по крайней мере не давать ему полной воли; даже уступая ему, они уступали с сознанием греховности этой уступки. Было, следовательно, постоянное сознание того, что человек, в силу законов половой морали, должен быть в оппозиции к своему половому любопытству.

Рухнула теперь старая половая мораль, и я продолжаю думать, что рухнула, хотя мне и возразили недавно, будто я слишком поторопился сдать ее старьевщику. Я этим не хочу сказать, что половая мораль уже ушла из нашего обихода. Напротив, она еще цепко держится и еще много порчи внесет в нашу жизнь, порчи нравственной и телесной. Но «рухнувшим» я называю всякий социальный феномен, из-под которого невозвратно выскользнула почва, который и держится теперь только в силу связей с соседними, еще прочно стоящими зданиями. Новые перетасовки реальных общественных отношений создали новое сознание, и в этом сознании для половой морали больше места нет. Нет больше и в культурных массах веры в то, что физиологический акт, сам по себе, как таковой, может быть оцениваем с точки зрения совести и морали. Часто бывает и теперь, что нравственно чуткая и умственно развитая женщина, отдавшаяся любовнику, чувствует себя виноватой перед мужем. Но при этом совесть ее всегда опирается не на сам факт, а на привходящие моменты. Если женщина это сделала тайком от мужа, она говорит: «Зачем я лгу ему? Надо было честно рассказать ему все», — то есть упрекает себя за обман. Если муж знает, то она скорбит, что «разбила его жизнь», — то есть упрекает себя за жестокость, за эгоизм. Но никогда не за сам факт «измены», потому что совесть современного культурного человека не может, не умеет больше

возмущаться перед совершенно естественным *an sich*¹ физиологическим актом.

Старая половая мораль рухнула, и, если бы только не страшное наследство многовекового уродливого воспитания, это крушение старой морали было бы для нас огромным благом. Если бы не запасы грязного любопытства, накопленные веками, половые отношения людей стали бы теперь мало-помалу входить в норму, устанавливаться на здоровых, естественных основах. Но века и века дрессировки вокруг да около «запретного плода» развили в нас уродливо огромный интерес к этому запретному плоду. И падение половой морали сняло только последнюю узду с этого любопытства. Человек, который как-никак верил в половую мораль, говорил себе: «Запретный плод сладок, но совесть велит воздерживаться от него». И по мере сил воздерживался. Но современный человек, также обуреваемый этой гипертрофией полового любопытства, этим раздражением искони развращенного воображения, не может противопоставить ему никакого запретительно-го императива, потому что нет у него больше такого императива. Он не может сказать себе: «Совесть не велит подходить к запретному плоду». Напротив, он не может не сказать себе: «То, что меня учили считать запретным плодом, не есть запретный плод, а есть нечто вполне естественное и дозволенное. Конечно, очень жаль, что нелепые общественные условия развили во мне чрезмерное любопытство, но раз это любопытство налицо и раз оно толкает меня к нему, что вполне естественно и дозволено, то на каком же основании должен я воздерживаться от естественного и дозволенного?»

Посмотрите кругом, и вы ясно увидите последствия. Еще так недавно сняты шлюзы половой морали — но половое любопытство уже значительно подняло голову и повсюду заговорило новым, смелым языком. Прежде оно таилось и шептало исподтишка — теперь оно мало-помалу начинает шествовать звонкой стопою и завоевывать себе права. И ярче всего проявляется этот новый курс именно там, где всего нелепее и вреднее проявлялась (и еще долго, по инерции, будет проявляться) власть старой половой морали: в отроческом мире. Сплошь и рядом родители перестали уже вырывать из рук четырнадцатилетнего сына или дочери такие книги, которые полвека тому назад непременно вырвали бы: перестали пото-

¹ Сам по себе (*нем.*); от филос. термина *das Ding an sich* — вещь в себе.

му, что устали, убедились в полном своем бессилии — все равно дети достанут и прочтут все, что им угодно; ничего не поделаешь. Тут ясно проявляется инстинктивное понимание того, что любопытство вырвалось на волю и нет пока никакой почвы для его обуздания. И о том же свидетельствует ранний разврат, на который жалуются все современные наблюдатели и который поистине может служить крупным отличительным признаком нашего времени. Один уже феномен *demi-vierge*, колоссально, повально распространенный, все шире и глубже расходящийся в интеллигентном обществе, захватывающий мало-помалу контингенты самого нежного возраста при полном бессилии и в конце концов даже равнодушии старшего поколения, — этот феномен один уже достаточно доказывает, что узда, некогда сдерживавшая болезненное половое любопытство, лопнула и никакими средствами починить ее нельзя.

Пусть, кто хочет, скорбит о ней и мечтает о новой узде; пусть, кому угодно, проповедают усиление строгости, закрытые пансионы для каждого пола отдельно, *lex Heinze*, изъятие иллюстрированных открыток и чехлы на панталоны для статуй. Пускай. Все равно ничего не выйдет из этих стараний, и жизнь рано или поздно опрокинет всех упирающихся и потащит их по своему руслу. И разница будет только та, что упирающиеся побредут волей-неволей в самом хвосте победоносной жизни, а мы смело, добровольно и уверенно пойдем в первых рядах ее неодолимой дружины. И, идя в первых рядах, будем на все готовы и ничего не будем пугаться, потому что жизнь идет вечно к лучшему и в самом яде дает противоядие. Старая половая мораль, возникшая из векового подчинения женщины интересам мужчины-самца, потребовала строгого разделения полов в жизни и воспитании. Это разделение развилось в нас до огромного болезненного напряжения любопытства пола к полу. Теперь это любопытство прорвалось на волю, и человек смело и жадно бросается к донныне запретной области и срывает с нее все покрывала; и подобно тому как очень изголодавшиеся люди легко могут предаться обжорству, так наше поколение, движимое застарелым, вековым любопытством, близко стоит у самой грани разврата. И вполне возможно, что наши дети или внуки даже переступят через эту грань и впереди человечество переживет еще более развратное время, чем наше. Но именно потому для наших правнуков и начнется новая эра здоровой и чистой естественности. Чем любопытство разнузданнее, тем оно скорее

удовлетворится и пропадет. Чем с большей жадностью кидается наше поколение к области, долго бывшей под запретом, тем скорее станет для него эта область обыденной и знакомой и не будет вызывать никакого сверхурочного внимания, и последующий новый человек уже отнесется к ней нормально и стихийно, без любопытства, смакования и жадности. Жизнь ведет через горе к счастью, через ошибки к познанию, через нищету к экономическому равенству, через войну ко всемирному братству. Так приведет она через ураганы разврата к исчезновению разврата; надо только понимать жизнь, не тормозить ее бега, идти вровень, смело смотреть перед собой и ничего не бояться.

Шутники скажут, вероятно, что «идти вровень» значит у меня — самому развратничать в унисон эпохе разврата! И пусть говорят. Я же смею думать, что в этом отношении совершенно излишни были бы всякие советы, потому что и без того массовый человек живет в унисон своей эпохе, а исключения, как бы ни были они почтенны и похвальны, не могут идти в счет. Идти же вровень — значит предвидеть благие культурные результаты переживаемого периода и по мере сил содействовать их наступлению. И если переживаемый нами период ведет к исчезновению полового любопытства, к установлению совершенно простых и нормальных отношений в этой области, к полному устранению из нее всякого оттенка запретного плода, то мешать этому делу, тормозить сближение полов, усиливать «запретность» и тем удесятерять любопытство — значит не понимать культурного результата эпохи и не идти с нею вровень. А идти с нею вровень — значит проводить и в жизнь, и в воспитание свежие принципы дружеского и чистого сближения полов, устранять из этой области всякую таинственность и скрытность, всякое «вырастешь, Саша, узнаешь», приучать человека с детства относиться к половым фактам так же просто и ясно, как он относится к еде, к музыке, к вопросу о воздухоплавании.

И начать в этом придется именно с той реабилитации наготы, о которой упоминает наш парижский корреспондент. Вместо усиленного культивирования стыдливости, которая в конце концов есть один из видов развращенного воображения, должен развиваться в человеке такой же простой, хладнокровный взгляд на голый торс, мужской или женский, как теперь на палец, на нос или на волосы. Человека надо приучить к наготы. А чтобы приучить — надо сделать ее для человека

обыденным явлением, внушать ему с детства не стыд перед голым телом, а спокойное уважение к его красоте и мудрой целесообразности...

— Но ведь эдак мы дойдем до крайностей! — возразила как-то одна дама, услышав такие речи. — Неужели, в конце концов, завести для барышень и молодых людей общие купальни?

— Да, — было ей ответствовано. — Ибо это гораздо лучше, нежели то, когда барышни купаются отдельно, а молодые люди подглядывают в щелку.

Владимир Ж.

Русь. 8.05.1904



Наброски без заглавия. X

Г-н С. И. не согласен с моим мнением об адвокатской «рекламе» и выставляет следующие доводы. Во-первых, клиент должен всецело доверить себя адвокату, «и душу, и тело передать в полное распоряжение поверенного»; а можно ли оказать такое доверие первому встречному только потому, что о нем напечатано в газете объявление? Поэтому, полагает г-н С. И., практика выработала более подходящие способы: публика узнает адвоката не по объявлениям, а по делам его. Слухом, мол, земля полнится. «От одного добросовестно проведенного дела адвокат переходит к другому, расширяя *исключительно* адвокатской работой свою клиентуру». Вторых, заграничные примеры не в счет. «Давно пора, — говорит г-н С. И., — бросить этот прием доказательства по сравнению с образцами чуждых нам народностей, имеющих дело с совсем иными жизненными условиями. Позвольте русской адвокатуре развиваться по катехизису, который она сама выработала...»

Охотно позволил бы, но сомневаюсь, чтобы русская адвокатура, во-первых, нуждалась в этом позволении и, во-вторых, воспользовалась им. Убежден, напротив, что она им не воспользуется и скоро откажется от своего самодельного катехизиса, а примкнет, волей-неволей, к западному.

Не подумайте, будто я такой ярый западник и непременно хотел бы навязать русской самобытности чужие моды. Совсем напротив. Я горячий поклонник всякой самобытности,

всякого, так сказать, индивидуализма, личного и национального. Мне хотелось бы, чтобы русские навек остались русскими, французы — французами, татары — татарами и чтобы все народности дружно и мирно жили в добром соседстве, учась друг у друга уму-разуму, ревниво сохраняя свои культурные особенности и не посягая на чужие. Но не во всем следует видеть культурную национальную особенность: бывают и некультурные пережитки, не представляющие никакой положительной национальной ценности, а только тормозящие правильное развитие общественной жизни.

Решительно не вижу, в чем состоят эти «иные» жизненные условия за границей, по которым заморские адвокаты могут публиковать о себе на четвертой странице, а русским нельзя. Реклама в специальном смысле этого слова, то есть публикация, крикливая и самохвальная, вообще не совместима с достоинством серьезного человека, будь он адвокат или актер, и это я с самого начала ведь имел в виду и сделал соответствующую оговорку. Но человеку нужно пропитание, а для пропитания нужна работа, а для того чтобы получить работу, нужно искать ее. Искать работу очень похвально: кто ищет работу, уж тот, очевидно, не тунеядец. Надо только искать ее честными средствами. И одно из самых честных средств — это напечатать на четвертой странице газеты объявление такого содержания: такой-то занимается тем-то, живет там-то и ищет работу. Никто, и г-н С. И. в том числе, не откажется признать вполне и безусловно честным это средство, к которому прибегает сплошь и рядом и интеллигентная молодежь, и трудовое простонародье при полном сочувствии общества. А раз это средство признано всеми за честное, то к нему, понятно, прибегнут и адвокаты, как только назреет достаточно потребность. Ибо жизнью совершенно непреодолимо руководят потребности, а не катехизисы.

А потребность назревает, назревает среди русских «условий» так же точно, как уже назрела в «иных условиях» за рубежом. Есть надо и в России, и за границей; адвокатов становится все больше и в России, и за границей. Сам г-н С. И. говорит, что бывают «зачастую» случаи, когда «молодые, небогатые помощники осаждают кабинет боевого адвоката, предлагая свои услуги...» Значит, нужен заработок, и очень нужен, раз дело доходит до «осады». И с каждым годом будет становиться нужнее, потому что число этих самых небогатых помощников будет возрастать, и «боевой адвокат» при всем добром желании поможет только небольшой части. Поэтому

в конце концов придет минута, когда «молодые и небогатые» увидят себя вынужденными снять «осаду» с кабинета боевого адвоката за полной ее бесполезностью и поискать иных путей, то есть вступить в непосредственные сношения с публикой. И при этом они поищут, конечно, способа, с одной стороны, честного, а с другой — действительного. То есть — непременно остановятся на скромном газетном объявлении, а Россия от этого не перестанет развиваться вполне самобытно.

Если адвокату клиент всецело вверяет себя — «и тело, и душу», — то ведь и пациент, пожалуй, еще больше доверяется врачу; а родители, приглашающие к сыну гувернантку, оказывают ей, быть может, еще большее доверие. Тем не менее врачи и гувернантки публикуют о себе с предложением услуг, и даже сам г-н С. И., по-видимому, не находит в этом ничего предосудительного...

А в конце концов — ни для кого не тайна, что адвокатская реклама — реклама в полном смысле слова — существует и процветает. Я уж и не говорю о тех господах, которые нарочно подкупают репортера, чтобы в уличной газете подымался трезвон по поводу каждого выхода «красы нашего форума». Это — подонки, и не в них дело. Но ведь нельзя запретить газетам совершенно добросовестно печатать отчеты о важных судебных делах и выдвигать перед читателями талантливых адвокатов. Нельзя же запретить талантливым адвокатам издавать свои речи сборниками и таким образом оповещать публику, что они за искусные специалисты своего дела. Ведь это, напротив, было бы весьма печально, если бы образцы судебного красноречия держались в тайне. И получается тот результат, что выдающегося адвоката все время рекламируют, а о среднем, массовом и небогатом даже сухого объявления не полагается. То есть богатому дается, а у бедного отнимается.

Еще меньше могу я согласиться с тем, что пишет г-н С. И. о других, слегка мною задетых вопросах адвокатской «этики». Закон велит защищать и злодея, — говорит г-н С. И., — и нельзя поэтому негодовать на адвоката, если он защищает истязателей младенца. А что касается процентов, которые годами патронами взимаются с господ помощников на передаваемые последним дела, то это, мол, дело домашнее и любовное. «Помощник знает, на каких условиях к нему переходит дело, и волен отказаться от работы».

Я ведь не говорил, г-н С. И., что помощник не волен отказаться от работы, что патрон может его принудить взять дело

на невыгодных условиях. Мы с вами, как известно, свободные граждане свободного российского государства, и принуждать нас вообще нельзя. И если бы вы или я были, предположим, не публицистами, а, например, плотниками, то любой подрядчик мог бы сказать нам: «Хотите, нанимайтесь за полтину в день, а не угодно — не принуждаю. Вы "вольны" отказаться от работы...» И если со стороны подрядчика такое отношение вполне понятно, то со стороны адвоката, особенно «боевого», оно уж и не совсем понятно. Я не говорил о тех случаях, когда помощник только «помогает» патрону в деле и за то получает от патрона часть гонорара. Я говорил о тех случаях, сплошь и рядом бывающих, когда патрон целиком передает дело помощнику, а проценты — и часто значительные — все-таки удерживает в свою пользу. Ведь не скажете вы, что сего не бывает. А ежели сие бывает, то господа патроны в этих случаях явно злоупотребляют несамостоятельным положением помощников, и проценты, идущие в карман патрона, суть проценты маклера. И если «этика» сословия вполне с этим мирится, а зато «бесповоротно осуждает» невинные газетные объявления, то уж это совсем непонятно. И чтобы понять, мы можем допустить лишь одно объяснение: «этика» сословия устремляет свое почтенное внимание на мелочи, а на то, что поважнее, закрывает глаза.

И не про тех также адвокатов я писал, которые берут на себя святую обязанность «разыскать светлое пятнышко в черством сердце злодея». Можно защищать и истязателя, но весь вопрос в том, как защищать. Честный и сознательный адвокат раскроет перед присяжными больную душу подсудимого, объяснит им, как сама жизнь исковеркала эту душу и довела ее до злодейства, переложит главную тяжесть вины с плеч личности на среду и добьется у судей снисхождения. Но когда известный и богатый адвокат, не по назначению, а за тридцать раз тридцать сребреников выступает на защиту богача, систематически истязавшего беззащитное дитя, и оправдывает его не тем, что он — маньяк, которому место в желтом доме, а тем, что его степенство были, мол, в своем праве и умеренно пороли, умеренная же секуция отнюдь не может быть признаваема за истязание, — и когда при этом и судьи, и публика прекрасно видят, что г-н адвокат говорит заведомую ложь и срамит все сословие, — почему тут «этика» молчит? А когда адвокат, выгораживая своего клиента, без всякой нужды издевается и ругается над другими подсудимыми, которым, быть может, и без того

грозит тяжкая участь, тут-то отчего молчит «этика»? Отчего не выбрасывают вон из сословия этих людей? Вот о чем я спрашивал, а ведь ни для кого опять не тайна, что и такие случаи бывают...

И повторяю: мое впечатление то, что «этика» адвокатского сословия усердно занимается пустяками, лишенными всякого принципиального значения, а в серьезных вещах пасует и оказывает попустительство. И если господа адвокаты хотят пользоваться в обществе тем нравственным престижем, какой приличествует ратникам гласного суда, то не далматским порошком для истребления блох, тараканов и рекламы добьются они этого престижа. Другие к тому пути.

Владимир Ж.

Русь. 11.05.1904



Наброски без заглавия. XI

В скобках: г-н С. И., вторично возражая мне вчера, обмолвился в том смысле, что деятельность адвокатов и врачей мне «мало известна». Спор наш об адвокатской «этике» я считаю на этот раз исчерпанным: я подробно выяснил, почему адвокатская «этика» представляется мне просто праздною эстетикой; г-н С. И. подробно выяснил, почему он придерживается совершенно обратного взгляда на адвокатскую этику. Этого достаточно. Я всегда считал, что спорить надо только для того, чтобы выяснить свою точку зрения и уяснить себе точку зрения противника, а затем пусть другие судят, кто прав и кто неправ. Но вышеприведенного замечания г-на С. И. не могу оставить без ответа. Я не имею привычки писать о том, что мне «мало известно». Мне, например, «мало известно», как поступают господа адвокаты, ежели надо взыскать по исполнительному листу, — сами ли идут или слугу Личарду посылают, и как поступают врачи при операции аппендицита — режут ли сверху вниз или снизу вверх. Посему об этих сторонах деятельности врачей и адвокатов я и не пытаюсь писать. Но когда я говорю, что иные присяжные поверенные целиком передают дело помощнику и все-таки удерживают в свою пользу проценты с гонорара, то я говорю о фактах, которые знаю; когда я говорю, что есть адвокаты, недобросовестным красно-

байством выгораживающие истязателей младенца, и что словие терпит этих господ, то говорю о фактах, которые знаю. Разве не факты все то, что я указывал в прошлый раз? А если бы кто-нибудь в этом усомнился, то я по первому слову готов назвать и доказать целый ворох фактов в этом роде, но боюсь, между нами будь сказано, что сомневающихся не найдется. И если я писал, что у врачей скромное объявление считается дозволенным, то опять нельзя сказать, будто мне это «мало известно», потому что я близко знаком с медицинскими кругами провинции, где вполне в ходу газетные объявления врачей — не только сифилидологов, но и всех остальных специальностей (да и сифилидолог, мне кажется, такой же врач, как и всякий другой эскулап, и нет никакой причины отрицать его компетентность в профессиональной «этике»). Полагаю, что в провинции работают столь же порядочные и честные врачи, как и в столице, и их мнение чего-нибудь стоит...

После этих необходимых скобок могу перейти к сути — к статье г-на Николая Н. в «С.-Пет. вед.» под заглавием «Удобная мораль». Этим заглавием автор определяет мой отрицательный взгляд на так называемую половую мораль, и в статье говорится о том, что этот мой взгляд «можно выразить одним словом: все позволено!» И говорится еще и так:

«... До сих пор мы имели глупость думать, что культурный человек именно тем и отличается от обыкновенного животного, что умеет владеть собой и держать свои инстинкты в узде. Оказывается, все это было глубочайшим заблуждением: следует широко распустить инстинкты, дать им ход, и тогда только человек может называться нормальным». «...Совершенно той же морали держались наши древние праотцы в эпоху пещерного медведя».

И затем приводится такой пример в качестве *ad absurdum*¹: живет, например, г-н Икс, а у него есть жена. Приходит г-н Игрек, начитавшийся моих статей, и требует себе жену Икса на том основании, что половая мораль не существует. Затем приходит Ипсилон и отбирает ту же госпожу у Игрека, на том же основании. Потом придет Зет. Бедная дама!

Я со своей стороны могу только пожалеть об ее горькой участи и прибавить, что г-н Игрек, хоть и «начитался», но весьма плохо понял.

¹ От *lat. reduction ad absurdum* — доведение до абсурда [в качестве доказательства от противного].

Я не полагаю, что «все позволено», и никогда этого не говорю. Напротив, очень многое в области этих отношений я считаю непозволительным. Непозволительно, чтобы старик женился на молодой; непозволительно, чтобы даже брак между людьми одних лет совершался по расчету, хотя бы то был и высший расчет глубочайшего взаимного уважения, — раз нет физического тяготения друг к другу, которое одно лишь вполне отвечает воле природы, желающей продолжения рода. Непозволительно (правда, не с точки зрения половой морали, а с точки зрения общественной половой гигиены) все то, что противно природе. Но я пойду еще дальше и могу еще больше утешить и успокоить г-на Николая Н. Когда, например, я вижу, как этот самый Игрек без серьезной любви, ради мимолетной интрижки увлекает жену Икса, в которую бедный Икс очень влюблен, и вносит таким образом горе в семью, тогда я говорю: это непозволительно, а Игрек — нехороший человек, потому что он ради своей мимолетной прихоти внес горе в семью. То есть опять не с точки зрения половой морали, а с точки зрения обыкновенной, единой и всеобъемлющей общественной этики. Икс воспитан средой так, что увлечение жены будет для него тяжелейшим ударом. Раз оно так, то порядочный человек только в том случае решится нанести Иксу этот удар, когда он сам серьезно полюбит жену Икса и будет ею любим — и на сей предмет учрежден институт развода. А тот, кто ради своей прихоти оскорбляет чужую святыню, поступает дурно и непозволительно, совершенно независимо от того, насколько эта святыня имеет действительное право на название святыни. И вовсе не о том я мечтаю, чтобы всякий, у кого есть прихоть, стал ради нее сейчас же плевать в чужие святыни, — как не о том мечтаю, чтобы люди, воспитанные в грязном любопытстве к наготу, сейчас же разделись и пошли по Невскому голыми. А мечтаю о том, чтобы ложные святыни перестали быть для Иксов святынями и чтобы не было в нас грязного любопытства к наготу. То есть мечтаю об ином, лучшем общественном воспитании человечества.

Но в одном г-н Николай Н. прав: я действительно не вижу идеала культурного человека в постоянной обузданной борьбе со своими инстинктами — как не вижу идеала, впрочем, и в распушенности инстинктов. Св. Антоний, которого каждую ночь осаждали страстные видения и который все-таки не поддавался искушению, был человек сильной веры и сильной воли, и за то ему честь и прославление. Но я не могу признать

его образцом *нормального* существа человеческой породы. Нормальный человек будет тот, которому не придется ни воевать со своими инстинктами, ни распускать их до разврата, потому что в нем не будет той болезненной гипертрофии инстинкта, которая в нас создается некоторыми уродливыми, но преходящими сторонами нашей прекрасной и драгоценной культуры. Его инстинкты будут проявлять себя лишь постольку, поскольку требует того природа для своих святых целей. И если наш прадед эпохи пещерного медведя был в *этом отношении* действительно вполне нормален (за что я, впрочем, не ручаюсь), то нам, конечно, следует в *этом отношении* снова приблизиться к нему, совершенно так же, как и в отношении физического и духовного здоровья; нам, хилым и нервным, тоже необходимо вернуться к рослому, бодрому прадеду эпохи пещерного медведя; и верьте, г-н Николай Н., что нам при этом не придется отказаться ни от железной дороги, ни от радия, ни от великих гуманных идей, выработанных цивилизацией.

Надо создать здоровое человечество. Многими путями идут к тому люди, и один из этих путей — половое оздоровление. А для полового оздоровления нужно, между прочим и во-первых, трезвое и разумное воспитание человечества не в уродливо громадном блудливом любопытстве к половой сфере, а в спокойном, уравновешенном и сознательном отношении к этой важной стороне жизни. И для этой цели будет нами постепенно и упорно разрушено все то, что усугубляет социальное лицемерие и питает половое любопытство, и будет поддержано или создано все то, что способно мирно сблизить человека с природой и превратить ее для него из источника соблазна в источник здоровой радости бытия.



Эти строки были уже написаны, когда я прочел в тех же «Ведомостях» статью г-на Зигфрида, который тоже искренно уверяет, будто Макс Волошин и я предлагаем людям ходить голыми. «Они и не подозревают, — говорит он про нас, — что можно приучить человека с детства относиться к половым фактам так же просто, как к вопросу о воздухоплавании, в то же время надевая на него с детства же рубашки, куртки и прочие принадлежности туалета». Затем г-н Зигфрид рассказывает об одном семействе, где дети, очевидно, действительно прекрасно воспитанные в этом отношении, знают все эти факты

с раннего детства и относятся к ним спокойно и разумно. А родители их голыми никогда не водили! Вот мы с г-ном Волошиным и посрамлены.

Надо было не понять ни строчки, ни слова, ни буквы из того, что было написано Максом Волошиным и мною, чтобы усмотреть у нас такие проекты, как тот, что приписывается нам г-ном Зигфридом. Мы говорили о «реабилитации наготы» — о том, что надо нам приучиться не видеть в ней ничего зазорного, а смотреть на живое тело теми же спокойными и чистыми глазами, какими средний, порядочный интеллигент смотрит на обнаженную статую; для этого нужно, чтобы человек с детства привыкал к наготы, чтобы ему с детства не внушали нарочно искусственной стыдливости, подстрекая любопытство; и эта мысль так не нова, что ее давно повторяют педагогические журналы. Где же тут хождение голыми по улицам? Да не только теперешний, а и будущий человек, идеально красивый и идеально чистый, всегда сохранит, по моему, одежду, потому что без нее холодно, потому что она красива, потому, наконец, что, именно дорожа телом, он не захочет выставлять его под ветер и солнце на загар и огрубение. Так мы надеваем на руку перчатку, чтобы кожа не портилась или не зябла, но когда нам надо обнажить кисть руки, мы это делаем без всякого стыда. Нужно воспитать себя в таком духе, чтобы ко всему нашему телу относиться так же, как теперь относимся к кисти руки. Вот и все.

И еще говорит г-н Зигфрид, что теперь мужчины уже все развращены, и только чистота женщин спасает человечество от вырождения, а если упразднить половую мораль, то и девушки ринутся в «свободную жизнь», и человечество погибнет. Поэтому г-н Зигфрид советует половой морали не разрушать.

Я не такой пессимист, как г-н Зигфрид: полагаю, что человечество все-таки в конце концов спасется. Но и я тоже писал, что предвижу впереди болото еще большего разврата, чем ныне, и, значит, еще большее вырождение. Это мне столь же прискорбно, как и моему возражателю. Но дело в том, что я — вопреки лестному мнению г-на Зигфрида — ничего сам не «реформирую», а только стараюсь, насколько умею, всматриваться в жизнь и определять, куда в данную эпоху бежит ее русло. И кажется мне, что я сегодня ясно вижу надвигающееся крушение половой морали и вижу, что в ее лице лопнет последняя узда, и не удержать нам с г-ном Зигфридом ни юношей, ни девушек, ибо любопытство накоплено веками. И видя

это, я понимаю, что борьба невозможна и что все усилия г-на Зигфрида не отдалят ни на миг крушения старой морали. Я об этом не жалею, но если бы и жалел, то и тогда не пошел бы за г-ном Зигфридом, а пошел бы за течением жизни, ибо немыслимо идти против ее течения. Жизнь — говорю и повторяю — потащит за собой всех, даже упирающихся, но эти упирающиеся тогда побредут за ее колесницей, как пленники, влекомые веревкой, а мы лучше сами бодро пойдем по ее руслу, не боясь никакого болота, ибо верим, что через эти болота жизнь приведет наших правнуков в иной, хороший мир. И да сбудется!

Владимир Ж.

Русь. 14.05.1904



Вскользь

Петербург

Недавно я видел тут на сцене пьесу в одном действии, озаглавленную «В пустыне».

Написал ее г-н Тихонов, умный и хороший драматический автор. Его первые вещи двадцать лет держатся в репертуаре, а теперь он ничего больше не пишет, несмотря на то, что время интересное и так и просится на сцену, и несмотря даже на то, что при нынешнем безрыбье способному человеку грешно лениться.

Автор сам же и играл главную роль в своей пьеске, и играл очень хорошо, с моментами серьезного актера, и все это, вместе взятое, произвело на меня большое впечатление.

В пьеске рассказано положение, каких много; одно из тех положений, о которых говорят, будто они хуже губернаторского.

У героя и жены его денег нет, а за номер уж который месяц не плачено; кто-то болен; приходит знакомая дама с ридикулем и говорит: «Сами виноваты — зачем не ищите работы?» А он искал работу, очень искал, но не нашел.

Ведь это вполне возможно. Я столько раз видел, как люди страстно ищут работу, но не находят, а потом мы с вами говорим:

— Ишь, бездельники.

И вот в этом состояла, собственно, вся пьеска. Денег нет, кто-то болен, дама с ридикулем говорит глупости, впереди сто

лет такой же нужды и никто не поможет; и даже застрелиться нельзя, потому что куда же денутся жена и больное дитя?

Кончается пьеска на том, что герой, как затравленный, забивается в угол и глядит оттуда глупыми глазами и шепчет:

— Чуда! Чуда!

И занавес опускается, а зрители, конечно, понимают, что и чудо не придет на помощь, ибо мы живем в пустыне и чудес нам никаких не полагается.

Пьеску я видел недавно, а теперь получил из Одессы вести, которые мне напомнили об этой драме.

Я там оставил в Одессе, уезжая, двух «протеже», как выражались моя горничная и все мои знакомые господа, двух талантливых братьев из захолустья.

Один, скажем, художник, а другой, предположим, скрипач. Оба интересны и даровиты, оба могут еще Бог знает чего добиться в будущем.

Я хорошо знаю, впрочем, только одного из них, старшего.

Я не знаю, как он попал в Одессу. Верно, по шпалам, или зайцем, или в товарном вагоне.

Он привез с собою свои рисунки и привез также надежду, что ему дадут учиться и помогут стать на ноги.

Где он жил в ожидании этого, мне неизвестно, зато мне известно, что он в ожидании этого питался на две копейки в день — причем я, конечно, подразумеваю те дни, когда у него имелись две копейки.

Тогда был ноябрь, и он приходил ко мне в одном пиджаке, и не решался подойти прямо к печке погреться, и робко спрашивал:

— Вы узнали, можно будет мне бесплатно учиться?

Оказывалось, что я забыл узнать, можно ли будет ему бесплатно учиться, и давал обещание узнать это непременно на будущей неделе, и говорил ему:

— Приходите, пожалуйста, на будущей неделе.

Наконец, ему дали возможность учиться и даже дали работу на фабрике.

Он повеселел, купил башмаки и даже мог бы купить пальто, но уже настал март, и пальто не нужно было.

Теперь я по месяцам не видел его, а только изредка он приходил показать мне свои новые работы и сообщить, как говорят о нем учителя.

И я видел, что тут растет талант чистой воды, и сердечно радовался, потому что все мы любим сердечно порадоваться, когда нам это ничего не стоит.

Он тоже радовался и отрывочно, с трудом, очевидно, преодолевая большую застенчивость, рассказывал мне разные свои думы.

Такие странные думы. Я до сих пор о таких думах только читал, а наяву еще не встречал, поэтому мне было очень странно, а если у меня при этом болели зубы или дела на бирже портились, то я, слушая его, мысленно определял:

— «Псих». Совсем ненормальный чудак.

Однажды он сообщил мне, что бросил фабрику, потому что другие рабочие над ним издевались.

— Били они вас? Ругали?

— Нет.

— А что же они делали с вами?

— Они смеялись, что я ношу бороду, молчу и не хожу к де-вушкам.

— Так как же вы могли из-за таких пустяков бросить работу, когда у вас ничего другого не предвидится?

Он посмотрел в землю и выговорил, запинаясь и затрудняясь:

— Потому что я не могу быть, как они; я не пойду по их дороге. Я пойду по своей особенной дороге. Я хочу победить ложь правдой.

— Псих, — подумал я: у меня в тот день вышла драка с женою.

С этих пор он стал опять голодать, а поселился где-то на даче, ближе к Малому Фонтану, в пустом строении, куда его пустили бесплатно и где осенью стало очень холодно.

— Я хочу сорвать маску с Мечникова и со всех этих людей, — тихо говорил он. — Эти люди хлопчут, как бы продлить жизнь человека и отдалить час смерти. Я хочу сорвать с них маску, я докажу, что они, значит, сами больше всего внимания уделяют смерти и сами должны называться первыми поклонниками смерти. Я докажу, что не в *этом* задача, что верная дорога иная...

— Псих, — думал я, потому что, правда, читал про такие разговоры, но наяву никогда не слыхал, и еще потому, что в этот день надо было платить по большому векселю.

Однажды он пришел окоченелый и сказал, что хозяйка дачи велела ему выселиться, но он надеется упросить ее. Горничная, та самая, которая называла его «протеже», принесла нам чаю, и он хлебнул, покраснел и тихо попросил к чаю бублика.

Тогда я сказал:

— Знаете что? Надо написать вашим землякам в захоlustье. Пусть они поддержат вас.

Он встрепенулся, заволновался и ответил мне, ища слова и запинаясь:

— Почему вы думаете, что мои земляки, там — в захоlustье? Мои земляки повсюду на свете, и я хочу всем им доказать, что я их земляк. Я докажу им это правдою.

На этот раз у меня не было ни векселя, ни жены, и я посмотрел на него вдумчиво и шепнул себе, что у этого странного человека есть какая-то своя мечта, рвущаяся наружу, и эта мечта, может быть, выразится когда-нибудь в шедевре. Кто знает?

Потом они пришли вдвоем; другой был помоложе и оказался братом. Брат явился из захоlustья — по шпалам, или зайцем, или в товарном вагоне? — и хотел стать скрипачом.

Горничная сказала, когда они ушли:

— Вот у вас и два протеже вместо одного.

Мои знакомые господа, у которых совсем не только в этом одном случае проявлялось сродство с мировоззрением моей горничной, тоже сказали:

— Хе-хе, ваш старый протеже родил нового протеже?

— Хе-хе, — ответил я, — родил...

Вскоре я уехал из Одессы и не успел познакомиться хорошо со вторым, но получил от него и от брата письма: они писали, что хозяйка дачи велит им выселиться, и разное прочее, тому подобное.

Теперь младший мне пишет:

— Учителя были мною очень довольны, потому что я выказывал большие успехи в музыке, но теперь я не уплатил за полугодие и по правилам училища не могу быть допущен к экзаменам. Брат уже давно пошел опять на фабрику, чтобы прокормить меня и себя; из училища его тоже уволили, потому что и в их училище надо платить за учение. Дачу теперь хотят отдать внаем, так что...

Я прочитал это письмо, бросил его под стол, махнул рукою и пошел в гости, а по дороге мне вспомнилась пьеска г-на Тихонова.

Такой большой город, и в нем так много праздных людей; а тут рядом карабкаются эти два брата, которые по шпалам добрались сюда, и терпели голод и нетопленную зиму, и мечтали стать один художником, другой скрипачом.

Они тут же, рядом со всеми остальными людьми, и те видят их и знают, как им живется и что терпят они.

Но выходит так, как будто никто не видит, никто не знает; они бьются головой об стену, время бежит, надежды гибнут — и как будто все люди кругом ослепли, вымерли или злобно устроили стачку молчания и сказали друг другу:

— Чур, не помогать этим обоим. Полюбуюсь, как это они выкарабкаются!

Кажется мне минутами, что я глубоко постарел душою и желчь моей души выветрилась, и больше не умею сердиться на людей, и когда про них думаю, то уж не негодую, а только бормочу свое любимое ругательство:

— Грош вам цена.

Грош вам цена: вы все равно, что пустое место, ни на что на свете не годны и только засоряете землю без всякого толку, подобные гнили и бурелому.

Про вас сказано у одного поэта:

*Покров бурелома — гнетущая мертвая гряда —
как саван могильный, на землю лесную накинута;
весною не даст он пробиться побегам оттуда,
и там, под землею, завянут они и застынут, —
застынут и сгинут от стужи подземного мрака, —
и, может быть, там, в глубине, где от века царит он,
погиб целый мир, не родив ни цветочка, ни злака,
никем на земле не замечен, никем не сосчитан.*

И про вас тоже сказано у другого поэта:

В людном мире, как в глухой пустыне.

Послушайте, мои молодые люди: то, что я скажу вам, чистая правда — более чистой правды никогда не скажу я в жизни и не напишу.

Вы в пустыне; поймите это, заучите наизусть и каждое утро, и каждый вечер повторяйте с глубокой верою эти слова: мы в пустыне.

Кругом нет никого, кто бы вам помог. Вы претерпели все, что можно претерпеть в ваши годы, но кругом никто этого не заметил.

Как вы страдали до этого дня, страдайте и дальше: идите на голод, на холод, на все, что судьбе угодно, только не сдавай-

тес; никогда и никому не должен сдаваться человек, который знает, что ему нужно.

Прошибайте лбом стены, царапайте камень ногтями; зубами и грудью проложите дорогу и добейтесь своего.

Я даю вам честное слово, друзья мои, что вы добьетесь и дойдете до своей вершины, и будете гордыми, вольными художниками; и все эти праздные люди будут льстиво говорить вам приятные вещи и шаркать ногами, а вы подадите им два пальца и скажете:

— Виноват, я очень занят.

И пойдете прочь от них без внимания и даже без горечи, как от пустого места; и пойдете к другим — к молодым и неокрепшим, которые тоже к тому времени придут из захолустья, подобно вам, на борьбу, на голод и холод, окликните их, подадите им руку и научите их великой науке бодрости, бодрости, бодрости!

Слышите? Я даю вам честное слово, что все это сбудется, только не сдавайтесь, дорогие друзья.

Здесь я не назвал ваших имен, но кто-нибудь из господ, гуляющих по улицам нашего города, может быть, узнает вас. Пусть же это не смутит вас и не заставит покраснеть: что нам до этих людей, которые через несколько лет будут извиваться перед вами, потому что вы артисты, а они щепень и мусор.

Altalena

Одесские новости. 16.05.1904



Наброски без заглавия. XII

В газете пишут об ужасном случае: маленький мальчик десяти или двенадцати лет пришел куда-то с сестренкой в гости; там детей стали угощать, и мальчику показалось, что к нему отнеслись небрежнее, чем к сестренке; он обиделся, расплакался, убежал из комнаты — и повесился.

Это была, конечно, не зависть, чувство мелкое и не способное подвинуть человека на какое бы то ни было сильное решение. Тут, очевидно, перед нами душа, хоть и детская, но глубоко впечатлительная, и потрясти ее так ужасно могло только оскорбленное самолюбие. Но кажется мне, что вообще в детской психике эти два чувства не очень резко и опреде-

ленно отделены одно от другого. Сами педагоги здесь путаются и плохо различают. Например, система отметок, по долгу у них державшемуся мнению, способствовала развитию в детях благородного соревнования, то есть самолюбия, тогда как теперь считается в том же педагогическом мире окончательно выясненным, что единицы, тройки и пятерки развивают в ребенке не самолюбие, а чистейшую зависть. Очевидно, уж очень мало дифференцированы в детской душе эти два чувства, если даже специалисты легко впадают в столь грубые ошибки; приходится признать, что дифференциация наступает в более зрелом возрасте — приблизительно, вероятно, в пору между отрочеством и юностью, а в душе ребенка действует еще некоторая смутная, неопределенная ревность за себя, в которой уже таятся зародыши и будущего самолюбия, и будущей завистливости или, вернее, такие зародыши, которые могут развиться и в самолюбие, и в зависть, смотря по обстоятельствам, то есть главным образом по воспитанию. Отсюда вытекает ясный вывод, что с этой загадочной стороной детской души следует обращаться очень и очень осторожно, стараясь влиять на нее так, чтобы со временем из нее выработалась именно не завистливость, а здоровое самолюбие, без которого человек — не человек.

Есть еще одна причина, почему здесь нужна большая осторожность и вдумчивость. Дело в том, что это смутное чувство, несмотря на всю его неопределенность, очень сильно в душе ребенка. До таких ужасных катастроф, как это самоубийство обиженного мальчика, доходит, конечно, редко, но катастрофы вообще редки, и важное значение их не в том, насколько часто они происходят, а в том, что они указывают неопровержимо на присутствие какой-то коренной глубокой неправильности, которая настоятельно требует внимания и исправления. Самоубийства детей редки, но уже одна их возможность, их мыслимость до того чудовищна, что нельзя перед лицом их возможности не сказать: тут что-нибудь да не так. И нельзя не вспомнить и не сопоставить с этим ужасным случаем множество других, гораздо менее значительных, чаще всего мелких, но принадлежащих к той же категории. Вот трехлетний ребенок кричит благим матом оттого, что на его стул посадили другого малыша. Вот четырехлетнее дитя горько рыдает потому, что бонна осмелилась приласкать другого ребенка. И так далее. Всем матерям прекрасно известны разнообразные и многочисленные проявления этой детской обидчивости, и каждая

из них может рассказать массу подобных фактов. Это будут по большей части мелочи, но в сумме своей они свидетельствуют о том же, о чем говорит и упомянутое ужасное самоубийство: во-первых, что детская обидчивость, очевидно, очень сильна; во-вторых, что мы, очевидно, обращаемся с нею не так, как следует.

Кто же эти «мы»? К кому обращен этот упрек? К семье?

Думаю, что не к семье. Кажется мне, напротив, что в чем прочем, а уж в этом отношении средняя, типичная семья всего менее грешит. Насколько можно судить из наблюдений, родители вообще довольно осторожны в обращении с детской обидчивостью. Семьи, в которых одному ребенку явно оказывают предпочтение перед другим, «больше любят» одного и тем питают обиду и зависть в другом, — такие семьи представляют исключение, более или менее частое, но не тип. Напротив, в средней типичной семье ребенка, разрыдавшегося от зависти, сплошь и рядом стараются тотчас же утешить какой-нибудь взяткой — подарком или лаской, — чтобы, так сказать, уравнять его с тем, кому он завидует. Не скажу, чтобы это было педагогически разумно, но это, во всяком случае, доказывает, что семья избегает приучать ребенка к чувству приниженности (*infériorité*¹), которое раздражало бы обидчивость, а напротив, старается воспитать дитя в сознании, что оно «не хуже других», то есть что нет нужды никому завидовать и ни на кого обижаться. И я даже думаю, что если бы воспитание зависело целиком от семьи, то в этом отношении было бы не на что пожаловаться: в ребенке развилась бы не зависть, а нормальное самолюбие. Но ведь воспитывает главным образом не семья, а среда — окружающее общество, с которым нельзя не встречаться и не считаться, которое в самый неприступный семейный home неудержимо вливает свою атмосферу. И в том, что детская обидчивость гипертрофируется и извращается в мучительную зависть, которая в исключительных случаях доводит даже до самоубийства, виновата, по-моему, не семья, а среда. К ней, к обществу, должен быть обращен упрек в неумении бережно щадить детское самолюбие.

Мне представился недавно случай наблюдать в течение довольно продолжительного времени мальчика лет девяти и небольшой кружок его сверстников. Мальчик был умный и считался главарем и коноводом своей компании, а с взрослыми

¹ Неполноценность (*фр.*).

часто «воевал» и говорил дерзости. Со мной, однако, он был очень вежлив. Как близкого родственника, он называл меня просто по имени, но относился ко мне внимательно и раз даже, когда я мимоходом упрекнул его за кому-то данный «стычок» (южный эквивалент «тумака»), совершенно неожиданно ответил:

— Хорошо, я больше не стану его бить. Я с вами всегда рад согласиться.

— За что такая честь? — удивился я.

Тогда он степенно сел против меня на кушетку и стал объяснять:

— Оттого, что вы вежливый. Вы мне говорите «вы», а остальные всегда говорят мне «ты». Марусе говорят «вы», Саше «вы», потому что им 17 и 16 лет, а мне только девять. А я не хочу. Кто со мной вежлив, я с тем буду говорить вежливо, а кто меня обижает, тому я буду говорить дерзости.

— Ну, зачем же дерзости, — возразил я, — вы лучше спокойно попросите, чтобы вам не говорили «ты», или сами тоже говорите «ты» всем, кто вам говорит «ты». А дерзости — уж это нехорошо.

— Да, как же! — ответил он, хмуря лоб, и вдруг покраснел и тихо прибавил: — Я раз заявил Петру Иванычу, чтобы он мне говорил «вы» — так надо мной потом целую неделю смеялись, а Петр Иваныч теперь говорит мне «ваше превосходительство».

Я заметил по тону, что он может расплакаться, и сказал:

— Тогда говорите им всем тоже «ты», и кончено?

Он потупился, потом замотал головой и ответил, убегая:

— Мм... Этого я не могу. Я боюсь.

Я заговорил потом об этом с его старшими сестрами, которые рассмеялись и объяснили мне, что это у Сережи старая *idée fixe*¹, не раз доводившая мальчика до рыданий. Впрочем, теперь уже не так: теперь ему девять лет, и уже не все взрослые «тыкают» ему; но прежде, лет в семь, это каждый день порождало обиды, дерзости и слезы. Маруся сообщила:

— Как-то он заявил даже претензию, чтобы гости звали его Сергеем Михайловичем, потому что нас с Сашей называют Мария Михайловна и Александра Михайловна. Право! Но уж из этого тогда у нас вышло столько смеху, что он больше не заикался. А вот насчет «ты» — ни за что не хочет примириться!

¹ Идея фикс, навязчивая идея (*фр.*).

Через несколько дней разыгралась на этой почве любопытная сценка. Были именины Сережи, и к нему пришли приятели, а к родителям знакомые. Сережа все очень беспокоился, так ли принимают его гостей, не подали ли кому-нибудь из них чай в чашечке вместо стакана, и вообще, видимо, ревниво сохранял достоинство юного сословия. Все было, конечно, в порядке: родители, зная Сережины принципы, ради праздника были особенно внимательны к малышам. Но взрослые гости не все были в курсе дела, и одна дамочка проштрафилась, так сказать, на «ефтом» самом месте: спросила у мальчика Юрки:

— А ты любишь танцевать?

После ужина Сережа подошел к этой дамочке, степенно стал перед нею и спросил:

— А вы что, Юрке родственница?

— Нет, а что?

— Вы ему не должны говорить «ты»; или говорите, как хотите, только не здесь, а здесь он мой гость, и вы не должны обижать моих гостей.

— Да разве это значит обидеть? — сказала дамочка. — Спросим Юрку, обиделся ли он.

— Спросим, — отвечал Сережа.

Я понял, что Юрка был из его компании, и Сережа, как коновод, уже давно, вероятно, успел настроить его по-своему, а потому был уверен в его ответе.

Привели Юрку, и дамочка, улыбаясь и ударяя на слове «вы», спросила:

— Скажите, господин Юра, я вас обидела тем, что спросила: «любишь танцевать» вместо «любите»?

Юрке тоже девять лет. Он растерялся и забегал глазами; лицо его сильно покраснело, и он, видимо, увиливал от встречи со взглядом Сережи. Взрослые стояли кругом и улыбались; Юрка тоже в конце концов криво и неловко улыбнулся и сказал:

— Не... ерунда... разве я большой?

Но по его лицу и по тону всем нам было ясно, что он кривит душой и сам себя ругает за трусость; было ясно, что он, ученик Сережи, понимает всю непочтительность «тыканья» и предпочел бы местоимение «вы», но перед взрослыми оробел и изменил. Так сказать, рабья привычка взяла верх. Мне рассказывали сестры, что в детской потом Сережа очень стыдил его и кричал:

— Ты государственный изменник!

Эта сценка и вообще вся эта Сережина война с взрослыми навели меня на разные мысли. Активные протестанты, как Сережа, попадаются, конечно, редко, ибо активные протестанты и среди взрослых редки. Но в глухой, невысказанной и даже самому ребенку неясной форме этот протест против «невежливости» вряд ли представляет редкость в детской психике. Напротив. Когда в семье есть дети разного возраста, рано или поздно младшие заметят, что в отношении (конечно, не семьи, а посторонних) к ним и к их старшим братьям или сестрам есть существенная разница. Если старшему брату 16, а младшему 4, тогда, конечно, эта разница в обращении пройдет для младшего незамеченной. Но если первый старше второго года на четыре или на пять, то придет момент, когда новый знакомый скажет тринадцатилетнему «вы», а девятилетнему «ты». И младший тогда почувствует, что брат, с которым он, быть может, в большой дружбе, вдруг стал почему-то выше его, «важнее», как говорят дети, что с ним иначе говорят и иначе обращаются. При детской чуткости и легкой обидчивости немислимо, чтобы младший в этот момент не ощутил укола самолюбия или, если хотите, припадка зависти. Если это ребенок глубокой впечатлительности, он запротестует, как Сережа; если он сортом пониже, то станет кривить душой, как Юрка; если он совсем поверхностен, то легко примирится, но даже в этом третьем случае в душу ребенка уже запало раз навсегда сознание своей *infériorité* — то есть уже готова лущая почва для развития обидчивости и зависти.

Думаю, что читателю ясно, к чему я веду. Всем нам случилось наблюдать людей, умеющих обращаться с детьми, и людей, не умеющих этого. И все мы знаем, что когда взрослый заговаривает с ребенком особенным, слащавым тоном, припевая и сюсюкая, — это явный знак, что он не умеет говорить с детьми и дети к нему не пойдут. Идут дети только к тому, кто ведет себя с ними совершенно естественно, как с равными, влияя, пожалуй, неуловимым нравственным авторитетом, но ничем внешним не выдавая своего превосходства. Если вдуматься, в этом уже есть указание, как вообще надо обращаться с детьми: как с равными. И полагаю, что принцип этот должен быть проведен смело и решительно и должен коснуться не одного «ты», но всего тона, всего *laga* нашего внешнего обращения с детьми. Ни на минуту, ни одним словом, ни одним жестом не должны мы выказывать ребенку наше сознание

превосходства, но должны вести себя так, чтобы он все время чувствовал с нашей стороны то же самое уважение и в тех же формах вежливости, какое он оказывает нам, и выросал бы, таким образом, в том сознании, что он «не хуже других» — в сознании, которое есть лучшая прививка против зависти и болезненных преувеличений самолюбия.

Иные хорошие люди найдут здесь, конечно, материал для смеха, но я полагаю, что смех будет праздный и неразумный. Очень малое дитя не знает еще разницы между «ты» и «вы» и потому всем «тыкает»: вполне естественно, что и мы ему на его «ты» ответим таким же «ты». Но как только ребенок сам начинает различать и говорит сверстнику «ты», а старшему «вы» — этот старший должен отвечать ему тем же. И я должен покаяться, что не вижу в этом ничего страшного, «даже» если бы ребенку было три или четыре года, потому что не только англичане, но и французы почти сплошь говорят чужим малюткам «вы», и никто этому не удивляется. Я слышал как-то возражение, что «вы» мешает сближению, но полагаю, во-первых, что ничуть не мешает, и нахожу, во-вторых, что ежели препятствует сближению «выканье» старшего младшему, то в равной степени должно препятствовать и «выканье» младшего старшему; следовательно, или говорите оба друг другу «вы», или оба друг другу «ты». Короче: платите ребенку вежливостью, мера за меру. Будьте ему в унисон. Я должен сознаться, что сам давно держусь этого правила и никогда не скажу «ты» ни одному малышу, как бы крохотен он ни был, если он ко мне обратится на «вы», и не позволю себе подать ему руку сидя, если он уже настолько цивилизован, что встает, здороваясь со мной; и это нисколько не мешает мне сближаться с детьми, рассказывать им волшебные сказки и быть у них судьей после драки...

Все это весьма не ново и не раз уже говорилось и писалось; но это обстоятельство, пожалуй, не воспрепятствует какому-нибудь доброму человеку опять истолковать мои слова невпопад и решить, например, будто я советую матерям титуловать по имени-отчеству собственных грудных детей или предлагаю отращивать мальчикам бороды, на том де основании, что раз у взрослых борода, а у детей нет, то может возникнуть зависть; или будто я говорю, что детские самоубийства происходят от местоимения «ты», а ежели ввелось «вы», то самоубийства сим прекратились бы; и всякое прочее тому подобное. На все сие не буду ни отвечать, ни даже обижаться, ибо понимаю, что тут вовсе не злой умысел: просто обыватель

мыслит или по прописному, или в лучшем случае по печатному, и совершенно не привык к самостоятельному мышлению. А потому — простим его незлобиво.

Я не берусь установить тесную зависимость между тем самоубийством мальчика и местоимением «ты». Но нельзя не видеть, что это было самоубийство мальчика с ненормально повышенным самолюбием; мальчика, в котором до огромных размеров развилась обидчивость, — и, значит, в ответе мы, которые воспитываем детей обидчивыми, а часто и завистливыми. И так как семья, во многом другом грешная, в этой беде, очевидно, неповинна, то нам остается только понять, что виноваты здесь *мы*, общество, чужие «дяди» и «тети», виновато наше некультурное отношение к ребенку, — понять и, следовательно, принять меры.

Владимир Ж.

Русь. 16.05.1904



Наброски без заглавия. XIII

Сегодня поболтаем о желтой опасности. Если вы ответите, что совсем не желаете «болтать» и не для того раскрываете газету, я возражу вам, что иначе в данном случае нельзя. Есть итальянское слово «*ciarlatano*», которое по-русски почему-то употребляется в не совсем верном смысле. По-русски «шарлатан» значит почти «мошенник», а в некоторых местностях, на Днепре, например, — «мот». На самом деле слово это рождено из итальянского глагола *ciarlare* («болтать») и означает просто болтуна — человека, ремесло которого — заговаривать зубы. Типичный *ciarlatano* — это, например, краснобай-офеня, который не столько норовит надуть покупателя, сколько просто поддерживает свою торговлю сладкопением собственного языка. А еще более типичная *ciarlataneria* — эти самые разговоры о желтой опасности: в них, собственно, нет настоящего желания обмануть читателя, сбыть ему ложь за правду, но зато явно проступают элементы красного словца и заговаривания зубов. Серьезно обсуждать эту сказку не приходится: о болтовне можно только поболтать.

Выражение «желтая опасность» только в России вошло в обиход недавно: за границей оно давно уже стало ходкой фразой. И не одна «желтая», а вообще всякая разноцветная

опасность: и черная, и красная, причем под первой разумеются сразу две — клерикальная и негритянская. Это обилие разноцветных красочных опасностей объясняется, конечно, тем, что нет на свете более удобного материала для изящного красноречия. На сцене борются две крупные силы; надо изучить арену борьбы, изучить обоих противников, плюсы и минусы каждого, но все это очень трудно и сложно: тут и является на выручку фраза об опасности, желтой ли, черной ли, весьма выгодная тем, что она дает возможность говорить о серьезном вопросе с весьма серьезным видом, с апломбом и даже беспардонностью, но при этом без всякого умственного напряжения. Дешево и сердито. В этом отношении разноцветная опасность ужасно похожа на другое красное словцо, еще не совсем вышедшее из моды: «настроение». Мне случилось как раз уехать из родного города за границу до того, как пошла мода на последнее, а вернуться назад уже тогда, когда эта мода вполне установилась и окрепла. Уезжая из родного угла, я оставил там много знакомых, которые были с детства косноязычны и, в особенности когда шла речь о литературе, часто заикались и говорили: «Э-э-э...» Но по возвращении я застал их исцелившимися от косноязычия, ибо всюду, где прежде было у них «э-э-э...», там теперь вставлялось слово «настрое-ние», и выходило гладко...

Ехал я как-то на пароходе из Фиуме в Анкону и с соседом по койке разговорился об этом северо-восточном побережье Адриатики. Там, как повсюду в Австрии, мы наблюдали отчаянную путаницу: славянин шел войной на итальянца, итальянец на славянина, немец или мадьяр на того и на другого и так далее. Узел, который куда хуже гордиева узла, потому что его даже немисливо разрубить, а можно только распутать искусно и бережно при условии взаимного уважения и основательного изучения реальных условий края.

Мой сосед, итальянец из Венеции, очевидно, хотел уже спать по случаю вечернего часа, так что не мог в эту минуту, конечно, ни вникать в реальные условия края, ни проникаться уважением к чужим самобытным индивидуальностям, ни вообще изощряться в каких бы то ни было тонкостях, поэтому он просто зевнул и сказал:

— Pericolo slavo!

— Что-о?

— Славянская опасность. Это все — славянская опасность.

— Где, когда, какая?

— А вот все эти австрийские неурядицы. Славян ужасно много: русские, поляки, чехи, русины, словаки, словенцы, хорваты, далматинцы... Чересчур много.

— А вам-то они чем мешают?

— А то как же? Ведь они добиваются всесветного владычества. Они хотят завоевать Европу и вытеснить европейскую культуру. Они страшно размножаются и становятся все сильнее, а в то же время ведут хитрую — азиатски хитрую! — панславистскую политику. Вон недавно устроили хорватскую гимназию в Заре. Это что же? Ясное дело: панславизм. Заговор. Нашествие варваров. С этим шутить нельзя. Великая вещь — славянская опасность...

С этой беседы прошло уже много лет, но она крепко засела у меня в памяти и навсегда, кажется, определила мое отношение ко всякого рода красочным опасностям — я твердо помню, что все это разговоры, разговоры, да еще разговоры сонного ума, которому лень подумать. Все это — одна *ciarlataneria*, и больше ничего.

Все! Мы слышим теперь декламацию, будто нынешняя война есть борьба двух миров, двух рас, двух культур и так далее. Это — *ciarlataneria*, звонкая болтовня без всякого содержания. Желтая раса еще вся спит, кроме одной маленькой доли — кроме японцев. Если даже Китай теперь подымется, это будет простое, хотя бы и страшное, буйство, а не настоящий серьезный опыт борьбы желтого мира против белого, потому что Китай еще не готов. Где у него обученные войска, где пушки? Если в книге судеб и написано, что когда-нибудь желтый мир даст поединок Европе, то перед этим желтый мир, несомненно, мобилизует все свои силы и весь вооружится согласно последнему слову техники братоубийства. Пока он еще к этому совсем не готов; значит, не может быть и речи о борьбе рас и культур, а остается простая кровавая борьба двух государств из-за экономических интересов.

Но курьезнее всего — ссыла на «борьбу двух культур». Что значит эта фраза? У русских есть своя национальная культура или, вернее, свой самобытный оттенок и в усвоении, и в творчестве общечеловеческой культуры; тот же самобытный оттенок есть, несомненно, и у японцев, ибо нет народа без самобытной физиономии. Чем же грозит в этом отношении «желтая опасность»? Уж не думают ли японцы навязать русским свою японскую культуру, начиная с синтоизма и кончая

харакири? Полагаю, что так же мало думают, как мало думают русские о русификации Страны восходящего солнца. И когда очнется и развернет свои силы, то и Китай меньше всего будет думать о внесении своей китайской культуры в Европу, а оставит ее при себе и для себя. И если при этом он с поклоном и точной уплатой причитающегося гонорара отпустит восвояси английских или немецких инструкторов, военных, коммерческих и иных и заменит их образованными китайцами, то все справедливые люди на свете тому порадуются, ибо справедливые люди знают, что всякая раса и всякая народность имеет право на самобытность и самоопределение и что лучше народу иметь вождей и учителей из туземцев, чем принимать пришлых людей. И останется белая раса при белой культуре, а желтая раса — при желтой.

Только в одних устах крик о желтой опасности звучит не краснобайством, а искренним ужасом: это — в устах западно-европейского фабриканта. Это он поставляет желтой расе штаны. И в тот момент, когда желтая раса наконец сама научится шить штаны и когда все справедливые люди на свете порадуются успехам ее, ибо справедливому человеку приятно приветствовать новорожденного собрата по культуре и думать: «Нашего полку прибыло!», тогда западный Колупаев останется при пиковом интересе и понесет свои штаны в судное учреждение, а там их уже, может быть, и не примут. Он это все предчувствует и хорошо понимает, и нам, русским, решительно нет основания принимать и усваивать его понимание «желтой опасности». Его — не наше, наши цели — не его цели. Для европейской буржуазии желтая опасность — далеко не звук пустой; для нее, конечно, в высшей степени важна дилемма, как быть с желтолицым: испепелить его молниями в прах — некому будет штаны покупать; даровать ему жизнь — сам начнет штаны мастерить! Остается одно: не испепелять окончательно в прах, но все время поджаривать. Это действительно в интересах Колупаева. Но только в его интересах.

Для нас, которым дороги не рынки и не чистая прибыль, а широкое повсеместное развитие рас и народностей на почве мира и прогресса, — для нас разноцветные опасности не существуют. Перед нами в настоящем — тяжелая война, но не против чужой расы, а против чужой пушки, — война, из которой необходимо выйти с достоинством, с наименьшим, конечно, насколько возможно, кровопролитием, и чем скорее это нам удалось бы, тем лучше. В будущем же перед нами — свет-

лая арена мирного сотрудничества пахарей какого угодно цвета, каждый со своим плугом и на своей меже, для блага мирного урожая.

Владимир Ж.

Русь. 23.05.1904



Наброски без заглавия. XIV

Еще не видел газет и не знаю, о чем говорят на съезде представителей исправительных учреждений. Очень хотелось бы знать, говорят ли там и как говорят о самом главном — о постановке тюремного труда?

В конце концов, мечта о тюремном перевоспитании преступника, даже юного, еще долго на три четверти останется мечтой. Верю, конечно, в то, что когда-нибудь она будет наконец осуществлена, и думаю, что к этой цели надо стремиться постоянно и неотступно, не смущаясь никакими разочарованиями, ни за что не делая шагу назад, но все-таки не думаю, чтобы результаты были близки. Преступник, говоря вообще, есть продукт отчасти психофизического вырождения, отчасти — нездоровых общественных условий. Первое заложило в нем семена антиобщественного настроения с того самого часа, когда он был только зачат в чреве женщины; вторые в том же направлении уродовали и коверкали его психику с первого дня жизни. Все это, как видите, очень солидная подготовка и дрессировка, и юноша, получивший от природы такие задатки и прошедший такую школу, нелегко поддается исправительному перевоспитанию, тем более что это перевоспитание должно будет совершиться над ним не в естественной, а в искусственной обстановке. Самая идеальная тюрьма для несовершеннолетних будет в лучшем случае все-таки теплицей, а не поприщем реальной жизни. В тюрьме нет богатых и бедных, нет продажного женского тела, нет платных развлечений: все соблазны устранены. Пусть юный грешник, проведя несколько лет в этой обстановке, даже обнаружит полное перерождение и восхитит мир прекрасным поведением. Где порука, что, выйдя на волю, он опять не поддастся соблазну зависти перед роскошью богатых, соблазну оргии при виде нарумяненных ночных девушек, соблазну кутежа перед воротами шато-кабака? Разве тюремное воспитание, будь оно

хоть распреедеальным, научило его равнодушию ко всем этим искушениям, вполне естественным в человеке молодом и уже знавшем горе? Ничуть: тюрьма только на время унесла все эти соблазны прочь из его поля зрения... В конце концов это все равно, что взять человека, до истерики боящегося тараканов, в чистую горницу, куда насекомым проход строго воспрещен. Понятно, что пока человек этот останется в чистой горнице и не увидит ни одного таракана, истерики с ним не будет, но как только перед ним снова откроют двери и он выйдет из чистой горницы в обыкновенные грязные жилые комнаты нашего здешнего бытия и при первых шагах опять увидит таракана, он опять завопит благим матом и истерически зарыдает. А с другой стороны, нельзя же ради этого заводить и в чистой горнице тараканью нечисть, нельзя же ставить себе целью воспитания приучить брезгливого человека к виду таракана, когда ясное дело, что таракан вообще нетерпим, что не разводить его надо, а всячески изводить и истреблять. Получается — бросая параллель и возвращаясь к тюремному воспитанию — безвыходное положение: с одной стороны, самое лучшее тюремное воспитание не в силах вооружить питомца для борьбы с соблазнами жизни на воле, с другой — никак тоже нельзя ввести эти соблазны в тюрьму, тем более в образцовую. Остается один вывод: всякая добрая мера в этом отношении (как и во многих других) обречена в трех четвертях на провал, пока держатся уродливости нашего общественного распорядка. Не знаю, как кому покажется этот вывод — прискорбным или отрадным; во мне, по крайней мере, он не вызывает никакого отчаяния — ничто не достигается сразу...

Но и теперь образцовая детская тюрьма (я бы назвал ее: общежитие для несовершеннолетних осужденных) может принести своим заключенным огромную пользу в двух отношениях. Во-первых, она может успокоить больные нервы. Отроки и дети, попадающие за решетку, все так или иначе озлоблены, раздражены жизнью: пребывание в общежитии, под наблюдением гуманного и умного педагога, может внести мир в мятежную душу маленького преступника. Успокоить человека, дать ему ясную улыбку и душевное равновесие — это уже очень много: такой человек будет куда устойчивее в борьбе за существование, чем *caeteris paribus*¹ другой, обуреваемый злобой и раздражением. Во-вторых, вполне во власти общежития на-

¹ При прочих равных условиях (*lat.*).

учить питомца труду и приучить к труду. Научить, то есть дать ему в руки ремесло, если он раньше не знал никакого, и приучить, то есть развить в нем ту привычку к работе, при которой человек, лишенный работы, начинает скучать по ней и рваться к любимому станку. Это тяготение к труду от природы заложено в каждом из нас как естественное стремление сил нашего организма к упражнению и применению; но во многих из нас оно парализуется разными вредными влияниями, и тогда перед воспитателем возникает задача освободить, очистить естественное влечение к труду от загромаждающих и заглушающих его наносных элементов. Эта задача вполне по силам разумному и чуткому педагогу: все дело в хорошей постановке тюремного труда. Об этом я и хотел поговорить.

Не в том дело, будет ли тюремный труд «приятен» или «неприятен», «легок» или «тяжел». Труд — не конфетка. Если бы даже была возможность обратить тюремный труд в очаровательное легонькое времяпровождение, этого не следовало бы делать потому, что на воле труд далеко не таков. Смысл тюремного перевоспитания весь в том, чтобы приучить заключенного к средним нормальным условиям жизни, ожидающей его на воле. Поэтому тюремный труд должен быть не тяжелее и не легче соответствующей (по виду труда) средней нормы на воле. Но этого недостаточно. Главное препятствие доброму воспитательному влиянию тюремного труда — и в России, и почти всюду за границей — заключается не в том, насколько он тяжел, а в том, что он — принудительный труд. Препятствие чисто психологическое, но в высшей степени важное — настолько важное, что оно почти всегда сводит на нет лучшие усилия тюремно-исправительных педагогов. Психологический момент вообще при труде имеет огромное значение даже для самых грубых людей. Я где-то читал, что каторжники пуще всего ненавидят бесцельную работу; одно из худших наказаний для них — заставить перевозить песок в тачке с одного места на другое и потом обратно, и так несколько дней подряд. Каторжник охотно предпочтет и гораздо более трудную работу, лишь бы в ней были смысл и результат. Тем более важен психологический момент для молодых осужденных, для подростков, как раз переживающих наиболее чуткую и впечатлительную пору в человеческом духовном росте. Приучить такого питомца к принудительному труду — значит внушить ему сознание: «Я работаю на станке потому, что так велит

начальство». Отсюда не может не родиться прямой вывод: «Если бы не приказ начальства, то я и не стал бы работать». Это совсем не похоже на то естественное тяготение к труду, которое тюремная педагогика должна пробудить.

Тогда что же? Объявить заключенному: «Хочешь — работай, не хочешь — не работай», и ждать, пока его потянет к верстаку? Тоже, конечно, нет, потому что никогда при таком предупреждении не потянет к верстаку человека, уже заранее испорченного отвращением к работе. Остается один выход — самый разумный: ввести в постановку тюремного труда тот же принцип, которым регулируется нормальный труд на воле. Тюрьма должна требовать от нас труда совершенно так же, как требует его жизнь, в тех же выражениях, на том же основании.

Вообразим себе два параллельных диалога: разговор человека с тюрьмой и разговор человека с жизнью. Тюрьма говорит человеку: «Ты выказал себя антиобщественным субъектом, а потому тебя изъяли из свободного обращения и заперли сюда. Здесь ты пробудешь столько-то лет; не беспокойся о пище, о крове, об одежде: казна тебя прокормит, оденет, приютит на все это время, но, кроме того, она еще берется перевоспитать тебя. Человеку необходимо трудиться, поэтому она приучит тебя к труду. Итак, бери молоток и стучи по железу!» Так говорит, конечно, тюрьма с принудительным трудом; тюрьма с трудом добровольным (если такая где-нибудь имеется) кончает несколько иначе: «Человеку необходимо трудиться, поэтому я советую тебе не лежать на боку, а ковать железо или тачать сапоги. А впрочем — как тебе угодно». Разница, конечно, немалая, но сходство то, что обе тюрьмы в унисон заявляют человеку: «Мы берем на себя твоё содержание; кроме того, мы считаем для тебя необходимым труд как воспитательное средство». Так говорят обе тюрьмы и в этом их вопиющее противоречие с жизнью, потому что жизнь говорит с нами совсем иным языком. Жизнь ставит человеку ультиматум: «Хочешь есть — работай, кто не работает — голодает. Я тебя не стану содержать: содержи себя сам. Трудись — для своего пропитания». Вдумайтесь в эту разницу, и вы увидите, что она громадна. Ни один заключенный, исполняя в тюрьме принудительную работу, не считает, что он этим трудом содержит себя. Сознание говорит ему, что содержат его те, которые заперли его сюда, а его труд — сам по себе, «кроме того», не то в наказание, не то как воспитательное средство. Если в наказание, то не может возникнуть и любви к труду. Если же как воспитательное средство, то самая заурядная

гувернантка знает, что стоит дать ребенку в руки, например, зоологическое лото и внушить ему, что это не просто игрушка, а воспитательное средство для такой-то и такой-то цели, — и ребенок тотчас станет коситься на лото, как бы не доверяя ему, и скоро бросит его прочь. Воспитательные средства надо подавать только в непроницаемых пилюлях. Игрушка должна быть в глазах ребенка самоцелью: только тогда она незаметно окажет на него свое воспитательное влияние. Так же и с тюремным трудом: пускать его под явной вывеской воспитательного средства — значит губить все дело воспитания. Труд должен играть ту же роль в тюрьме, что и в жизни: роль заработка на собственное пропитание и содержание. Тюрьма должна говорить человеку: «Хочешь есть — работай. Больного, дряхлого или ребенка я могу содержать, но юноша или взрослый должны сами себя пропитать. Трудись — для насущного хлеба». И только тогда работа в глазах заключенного из урока, навязанного для чего-то чужой волей, станет естественной повинностью, которую он несет наравне со свободными людьми, и только при этом условии создается в нем постепенно прочная привычка к труду.

«Тюремный труд как средство не для воспитания заключенного, а для пропитания» — таков принцип.

Итальянской школе позитивных криминалистов, которая, кажется, первая провозгласила этот принцип, возражали главным образом следующим соображением: «А что, если заключенный откажется от труда? Оставить его голодным, пока не образумится?»

Совершенно призрачное, нереальное соображение. В жизни так не бывает. В жизни всякий понимает, что без труда ни сыт, ни одет не будешь. И все до одного (все, кто нуждается, конечно) — все трудятся, только труд бывает разный: один шьет сапоги, другой идет воровать, третья поступает в публичный дом. Но нет и не бывало еще ни одного человека в своем уме, который лег бы на землю и сказал: «Не хочу ни работать, ни красть — или кормите меня, или помру!» Немыслим такой человек, ибо все понимают, что без затраты энергии в той или другой форме, то есть без труда, — нет и хлеба, и оно так естественно, что в жизни совершенно нет голосов протеста против этого порядка. А если нет протеста в жизни, то не будет его и в тюрьме — пусть только труд займет в тюрьме то же естественное место, как и в жизни.

Владимир Ж.

Русь. 26.05.1904



Вскользь

Петербург

В Закаспийском крае некто г-н К. вызвал к себе врача З. и приказал его выпороть.

На врача накинудись восемь молодцов, опрокинули и выпороти.

За что? Врач о том ничего не знает, да и сам К., вероятно, ничего не знает: он просто-напросто не мог отказать себе в таком пустяшном удовольствии, как порка человека с университетским образованием.

Тут дело, впрочем, не в г-не К. и не в г-не З., а в том, что такая неприятность с каждым из нас может случиться.

Вникните в эту перспективу: любой досужий человек, у которого есть в услужении 8 или даже меньше молодцов, во всякую минуту может зазвать или затащить к себе меня, вас, вашего друга или отца, даже, если угодно, вашу сестру или невесту, велит разложить на полу, раздеть и избить плетью.

Ибо чем он рискует? Суд? Во-первых, до суда иногда очень далеко; а во-вторых — ну, приговорят его за побои к тому-то и тому-то, а зато вы, или близкий вам человек, или ваша любимая женщина — останетесь высеченными, и все будут об этом знать и, глядя на вас, постоянно будут невольно вспоминать об этом, и вы будете сознавать, что они, глядя на вас, думают о вашей порке, и будете мучиться, не находя покоя на земле; и если даже станете в бешенстве рвать на себе волосы и колотиться головой об угол стены, и то не отгоните мучительного, невыносимого воспоминания, как не выбросить вон изо рта зубную боль.

Впрочем, это не всегда именно порка. Формы надругательства ведь так разнообразны!

Я с детства запомнил один случай, который на всю жизнь обучил меня быть начеку.

Кажется, я как-то писал уже об этом случае: на Среднем Фонтане гулял юноша-гимназист со своей гимназисткой; прошел мимо высокий мужчина с военными усами, толкнул барышню, оглянулся на нее и не извинился; гимназист окликнул его словами: «Надо извиниться!» — а мужчина повернулся, подошел и дал ему пощечину, от которой бедный юноша отлетел на два шага.

А тот сказал:

— Я такой-то, живу там-то. Можете жаловаться.

И ушел.

Юноша, конечно, ничего не мог сделать, потому что обидчик был куда выше и коренастее, да к тому же был вооружен.

И остался он побитый, униженный перед барышней, в которую, верно, был влюблен славной летней влюбленностью.

Гулял с нею, верно, по берегу и катался на лодке, и шла у них такая милая, уютная, молоденькая идиллия: ворвался обидчик и ни за что ни про что все испакостил так, что хоть на свет не гляди, и ничего не поделаешь. Подавай в суд!

Очень многообразны, господа, формы надругательства: не выпорют вас, так просто побьют физиономию, а то плюнут в лицо и велят лакею салфеткой размазать. Все, что угодно, могут добрые люди сделать со мной, с вами, с вашим отцом или с вашей дочерью — все, что придумают.

И ведь делают. Очень даже часто делают.

— Что же вы присоветуете, чем помочь этому горю? — спросит читатель, ибо читателю твердо ведомо, что публицист обязан давать ему советы, на которые он, читатель, непосредственно затем — простите за выражение — начхает.

Трудно присоветовать, господа, и нелегко этому горю помочь.

Не подавайте даже к мировому: не стоит. Мировой запрет его на несколько дней, а вы так и останетесь побитым; и никого и на будущее время приговор мирового судьи не напугает и не отвадит.

Сам не допускай — и других учи не допускать.

Чтобы и они скорее дали себя разорвать на куски, но не позволяли над собой надругательства.

Чтобы праздный человек не мог хлестнуть и пройти мимо, и даже забыть через минуту, а знал бы, что тут не шутят и за одно обидное слово готовы мертвой хваткой вцепиться в горло.

Это будут настоящие люди, достойные сана человека, и добрые граждане, на которых родина сможет положиться в день опасности, потому что не дадут они в обиду ее, как не дадут в обиду себя.

А овцы человеческого племени здесь никому не нужны.

Altalena

Одесские новости. 27.05.1904



Сидя на полу...¹

Помню еще из детских лет одно место в Pirké Aboth: «не утешай ближнего своего, — учил Симеон, сын Элеазара, — пока еще лежит перед ним усопший». Вряд ли скоро мы сможем обменяться друг с другом словами утешения, потому что долго еще будет усопший перед нами. Тому причиною самые особенности нашего горя, горя нынешнего человека. Мы ведь не так горюем, как наши деды в старину. Горе дедов напоминало грозу: у того поколения было цельное сердце, и когда налетала скорбь, они умели рыдать и рвать на себе волосы: гроза освежала душу, и потом было легче. Не таково наше горе. Мы разучились кричать от нравственной боли, да и боль эту чуем не так определенно и ярко. Сказывается то раздвоение души, которым заражен современный человек: сердце его как бы расколосось на две половины, и одна за другую следят и сторожат насмешливо друг друга, не позволяя целиком отдаться ни радости, ни горю, и все, что мы чувствуем, — чувствуем только в поддуши. Сказывается, что все острые недуги дедов, которые налетали, как буря, рвали и терзали крепкое тело и, попиравав, отлетали, и бодрым подымался человек на работу, — эти недуги у нас, у внуков, стали затяжными болезнями, которые не рвут, не терзают, но всасываются понемногу и капля за каплей отравляют нашу кровь, и уже до могилы не отпустят свою добычу, день за днем изводя не пыткой, не мукой, а именно своею тихой полуболью и недомоганием. Так и наше горе. Мы теперь не бьемся об стену головою и не захлебываемся в судороге рыданий. Горе наше тихое, горе наше бледное, как малая капелька яду или слабый укол заржавленной булавки; но уж оно понемногу впилося и вьелось в нас, и каждый день обновится оно новым уколом и новою каплей отравы, и проникнет во все ткани души и извилины мозга, и не выжжем его и не вырвем из сердца. Так придет минута, когда мы поймем, что легче было бы нам в тот проклятый день кататься по полу от страшной боли и раздирать себе лицо ногтями, чтобы завтра подняться опять с облегченной и освеженной душою, чем изо дня в день, из года в год томиться об утра-

¹ Печатается позднейший вариант: П. Сидя на полу... // Жаботинский, В. Доктор Герцль. Одесса, 1905.

те, которая не может быть заменена, и тосковать тихим, но ядовитым и беспросветным унынием. Мы поймем это и горько пожалеем, что разучились рыдать, как рыдали деды, и нам до отчаяния захочется вырвать у себя бурные вопли, но их не будет. Так говорит Господь в одном из сказаний Бялика, молодого чудотворца нашей древней народной речи:

*...И обоймет всего тебя желанье
вопить и выть, реветь, как вол, влекомый
на бойню, но замкну твои уста,
и не застнешь...*

Опустела наша сторожевая башня. Я недавно писал, не называя имени:

Возникают иногда из среды народа особенные люди, одаренные сверхобычной чуткостью, которой нет у других смертных; все заветное, что осколками разбросано в душе миллионов, в душе такого человека собрано воедино, спаяно в один слиток; и тогда бог народа говорит его устами и творит его рукой, и он будет избранным вождем массы, с правом осуществлять ее истинную стихийную волю... Счастливы те народы, которым судьба вовремя дарит такого предводителя.

Я тогда не назвал его, но думал о нем, потому что воистину такого человека дала судьба нашему народу: все заветное, что слабыми точками искрилось в душе десяти миллионов, в его сердце было собрано, словно в могучем рефлекторе, в один ослепительный луч. Когда будет подведен итог его подвига, книжники наши должны будут устроить большой пересмотр учению о том, что не личности делают историю. Да, творит историю стоногая Причина и стихийное желание масс, но с мучительной медленностью ползет эта история, если не впряжется в ее колесницу гениальный человек, сердце которого чутко собрало и отразило неуловимые потребности толпы и нашло то слово, которое нужно для их выражения. Так маховое колесо в машине: правда, не оно дает машине движение — напротив, оно само приводится в движение машиной; но с ним машина работает легче и скорее, и есть мертвые точки, на которых непременно затормозилась бы она без помощи махового колеса. Маховое колесо истории — сердце гения-вождя.

Сердце! Если вдуматься глубоко, то именно в сердце и была тайна обаяния и силы этого человека, имя которого напоми-

нало о сердце и который умер от недуга сердца. Гений его не был в отдельности гением оратора, или писателя, или государственного мужа; его гений был сосредоточен глубже, внутри — в великом сердце, сердце великой чуткости, которое умело понимать дух каждого мгновения и подсказывало нужное слово и оратору, и писателю, и вождю. Основной и главный талант его, быть может, и заключался в этом дивном искусстве находить вовремя нужное слово. Мы видели это уменье в Базеле, где он до волшебной тонкости чуял настроение мятежной массы, знал, когда можно ее покорить и когда надо уступить, и владел ею, как владеет ветром мореход, опытный в обращении с парусами. Но не в Базеле дал он нам лучший образец этого искусства: тоньше и глубже всего почувал он нужду мгновения, самое нужное и верное слово подсказало ему великое сердце в тот день, когда впервые он выступил перед нами с призывом к историческому творчеству. Это слово было им угадано с изумительным ясновидением и ответило, как струна струне, в унисон нашим неясным порывам. Я думаю, что слово это не было, собственно, ни *Judenstaat*¹, ни «домой», ни даже Сион, а нечто иное, более глубокое. Мы тогда сидели за канавой у края большой дороги жизни, и по дороге совершалось величавое шествие народов к историческим их судьбам; мы же, как нищие, сидели в стороне с протянутой рукою, и молили о подачке, и божились на разных языках, что мы вполне заслужили подачку; иногда нам ее давали, и нам казалось, что мы очень довольны, так как нынче хозяин в духе и у него можно выпросить даже не совсем еще обглоданную кость. Но это нам казалось, а в глубине души назревало отвращение к месту нищих за канавой, к протянутой руке, и смутно тянуло на большую дорогу — идти по ней, как другие, и не просить, а самим ковать свое счастье. Тогда пришел он, и отозвался на смутный порыв нашей души, и сказал нам: «Делайте сами свою историю. Выходите на арену, чтобы доля ваша отныне была делом ваших рук». Еще никогда эхо на земле так не было похоже на родивший его голос, как это слово отклика на то, чего мы ждали, и оттого никогда еще слово смертного человека так не перерождало поколения. Мы стали другими людьми, мы ожили от прикосновений к той почве, которую он вдвинул нам под ноги: я лишь недавно вполне ощутил эту почву под собою и только с той минуты понял, что значит жить

¹ См. примеч. к с. 57.

и дышать, и если бы завтра я проснулся и вдруг увидел, что все это был сон, что я прежний и почвы этой под ногами наяву нет и не может быть, я убил бы себя, потому что нельзя тому, кто раз дышал воздухом горной вершины, примиренно вернуться назад и сесть у канавы... Но на зов человека с великим сердцем пошли не только мы, солдаты его полка, — пошли за ним и те, которые до сих пор о нем говорят со скрежетом зубов и считают себя его злыми врагами, ибо и они ожили, и они поняли, что нужно самим ковать свою историю, хотя и не попали еще в настоящую кузницу. Не пошли за ним только те, которые не могли пойти, потому что для них уже было поздно, как было бы поздно для трупа; и в этом отношении опять оправдалась его громовая в своей простоте фраза, произнесенная в Базеле на предсмертном конгрессе: «Мы теряем тех, в лице которых мы ничего не теряем». Отсохшие ветви не должны висеть на живом дереве, обременяя и заражая ствол, и спасибо ножу, который отсек их, и могучим ударом отделил живое от мертвого, и указал живому его дорогу. Этот подвиг не сотрется, и никакая сила уже не отменит совершившегося в нас переворота. Ибсен говорит о строителе Сольнесе, который создал высокую башню, но когда сам поднялся на ее вершину, голова у него закружилась, и он упал и разбился о камни площади. У создателя *нашей* башни и на *большой* высоте не закружилась бы голова, и не сам он упал, а молния с неба ударила в великое сердце и низвергла его на мостовую чужой земли. Но башня устояла!

Только опустела наша сторожевая башня. Мне минутами кажется, что мы все-таки еще не вдумались в ужас и бездну этого несчастья. Мы как будто еще не поверили, не поняли. Ведь бывает иногда, что придет весть, и услышишь ее, и даже освоишься с нею, но только потом, почти случайно, вдруг озарится она изнутри особенным светом, и станет понятна не уму, а сердцу ее величина. И думается мне, что в ту минуту, когда мы вникнем и поймем, — все-таки, несмотря на жалкую раздвоенность нашей души, нестерпимая боль перережет наш мозг от виска до виска, и станет нам худо и страшно, как ребенку, покинутому среди злой толпы матерью, которая пошла утопиться. Как тот нечестивец из Мидраша, которому в ухо заползло жадное насекомое и там внутри шевелилось и сверлило, так замечаем мы в то мгновение от нечеловеческой боли и готовы будем отдать жизнь в уплату, лишь бы заглушить муку и утопить жгучую скорбь. Но не в чем утопить, и время не поможет...

Есть одно только средство утопить наше горе. Есть одно такое слово, которое может исцелить всякую скорбь на земле. Сколько живу, я мучительно гадал это слово, и теперь знаю, что угадал. Это слово — старое слово *работа*.

В дни траура человеку нельзя не заглядывать к себе в душу и не говорить о ней окружающим людям, и не поставится мне в вину, если я заговорю о том, что переживает теперь моя душа и что скрыто для нее в этом слове *работа*. Верьте мне, еще ни в одной песне до сих пор не лежало для меня столько божественной глубины, сколько теперь в этом слове. С того дня, когда я только начал размышлять, под моим черепом угнездились вопросы, которым не было решения, и они томили меня, отравляя тоскою. Но теперь я чувю решение и примирение всех этих вопросов в могучем слове *работа*. И в какой лабиринт ни бросает меня иногда своевольная мысль, и я блуждаю там без Ариадны и без света, но в слове *работа* открывается мне непорываемая, негораемая, нерушимая путеводная нить. Как мы чувствуем и не можем не чувствовать, что наше существование, и хотя бы все, кроме *я*, оказалось беспричинной иллюзией, но в существовании *я* мы не властны сомневаться, так я теперь стихийно чувствую, и не могу не чувствовать, и не властен сомневаться, что в слове *работа* — цель жизни, оправдание жизни, награда жизни. Мы хотим смысла в жизни? Мы хотим радости? Мы хотим спасения? — Работа! Нет другого ответа на земле, нет других лозунгов у нашей эпохи. Не должно быть теперь на свете другого кумира, кроме этой богини. Была сказка о живой воде, и я ей не верил, но теперь я верю, потому что живая вода — это работа. Как Ада Негри, сделайте исповеданием веры вашей вопрос: «Работал ли ты?» И пытайте им без жалости всех и каждого: тех, с кем вы дружитесь, и тех, кого любите: пусть ответят. И если скажут они «нет», опорочьте их вашим презрением и отгоните от себя.

Бешеную скачку работы начнем мы теперь, если в нас еще уцелела хоть искорка живой силы. Мы не можем остановиться даже в день такой утраты. Когда зимою, в степи, за санями гонятся стаей голодные волки, возница яростно бьет лошадей и кричит седокам: «Крепче держитесь, а кто выпадет, хоть будь он отец родной, мы не остановимся!» Мы бы так не сделали: если бы за нами гнались, и мы бежали от погони, и внезапно не стало бы с нами даже малейшего и последнего из нас, мы остановили бы коней, чтобы спасти мертвого от поругания хищников. Но мы не от погони бежим. Мы сами несемся вдо-

гонку идеалу, который грозит ускользнуть, если мы потеряем мгновение. Нам нельзя останавливаться, даже когда величайший и первый из нас упал на дороге. Страшный удар разразился над нами, но ведь это не первый и не последний; мы уже много страдали, и много страданий ждет нас еще впереди — будьте готовы. Стисните зубы, сожмите кулаки, и пусть кони мчатся дальше.

Владимир Жаботинский

Еврейская жизнь. 1904. № 6. С. 14–21



Письмо об автономизме

Милостивый государь,

вопрос, заданный мне вами, настолько важен, что вы позволите мне ответить вам печатно. Перед тем, однако же, как приступлю собственно к ответу, мне хочется высказать вам мое приятное изумление: к таким вежливым, спокойным приемам спора, как ваше письмо, до сих пор мы далеко не были приучены со стороны того именно лагеря, к которому вы, очевидно, принадлежите. Возражения, исходящие против нас оттуда, составляют большей частью в самой резкой форме, со множеством обидных и безусловно несправедливых поклепов. Наши, конечно, в том же тоне откликаются. В конце концов получается обоюдная злоба, нехорошая вражда между братьями по крови и по идеалу — вражда, скорбь о которой красиво и трогательно выражена в стихотворении молодого поэта — сиониста Дмитрия Цензора, напечатанном недавно в одной из южных газет:

К высоте страны нагорной, чтобы встретить бледный день,
я иду пустыней черной, словно призрачная тень. Робко, робко направляю осторожный, чуткий шаг: стережет меня — я знаю — в темноте незримый враг.

Вот он... близко... Беспощадно я к груди его прижал — и направил в сердце жадно окровавленный кинжал... И безумием объята вмиг душа моя была: *я узнал в нем облик брата, очерк милого чела!*

...Я бегу в пустыне злобной, черным ужасом объят; ночь висит, как свод надгробный; тени мрачные стоят... Я гляжу им прямо в лица — и не знаю, кто мне враг...

О, блесни, блесни, зарница, и разбей зловещий мрак!

Смею думать, что всему этому виной — наша некультурность, ибо культурные люди в борьбе партий умеют обходиться без резкостей и пены у рта. И так как я твердо верю, что некультурность мало-помалу побивается культурой, то верю так же твердо, что скоро действительно мелькнет нам зарница просветления, которая поможет братьям узнать друг друга и прекратить побоище. Ваше письмо считаю за один из первых проблесков ее — и радуюсь этому сердечно.

Вы формулируете свои возражения в заключительной части письма так:

И я, без сомнения, признаю, что сохранение национальных индивидуальностей не только не враждебно прогрессивному идеалу, но и желательно и даже необходимо для прогресса, под которым мы понимаем стремление к богатому разнообразию видов, а не к однообразию; и поэтому признаю долгом каждой народности — оберегать свою самобытность (усваивая себе, конечно, все приобретения общечеловеческой цивилизации) и не уродовать чужой самобытности. Но не могу понять, отчего необходимым условием сохранения национальной самобытности вы считаете собственную территорию. Вообразите себе народ, тоже рассеянный на пространных землях большого государства, — например, Соединенных Штатов, — но пользующийся там национальной автономией. Он видит в Северной Америке свою родину, любит ее и служит ей; всех иноплеменных ее жителей он считает своими братьями, но в то же время обладает правом жить по своему духовному укладу, учреждать свои национальные школы от низших до высших и вести в них преподавание на своем языке, посылать своих национальных представителей в вашингтонский конгресс и в муниципалитеты, издавать для себя законы в пределах, предоставляемых конституцией страны, и для того иметь, кроме общих парламента и городских дум, еще свои национальные органы самоуправления — и центральный, и местные, наконец, свои собственные суды для разбора дел между соплеменниками и, если тогда еще понадобится, свое национальное войско, входящее в состав общегосударственной армии Соединенных Штатов. Что может помешать этому народу сохранить на веки вечные свою национальную индивидуальность? Ведь мы знаем из опыта, что победители, желающие ассимилировать покоренную нацию, прежде всего захватывают в свои руки ее школу, суд, органы самоуправления и войско; значит, ясно, что пока эти четыре учреждения находятся в руках данного безземельного народа и он может свободно управлять ими в национально-самобытном духе, — до тех пор ему не грозит ассимиляция. Вы скажете, что немислимо добиться в чу-

жой земле таких беспримерно широких прав; а я вам отвечу на это, что не сионистам, мечтающим о гораздо более трудных подвигах, пророчить неосуществимость какого бы то ни было проекта. За легкость я не ручаюсь, но думаю, что, во всяком случае, *это* куда легче (по крайней мере для евреев Америки и Западной Европы), нежели переправить миллионы в Сион и создать там новое царство.

Затем вы, милостивый государь, ссылаетесь на то, что приблизительно такое же решение еврейского вопроса предложено в «Письмах» нашего известного историка, и напоминаете, что партия профессора Масарика в Чехии уже выставила требование национальной автономии для тамошних евреев.

Прежде всего, одно замечание: вы напрасно думаете, будто я скажу, что «немыслимо добиться в чужой земле таких беспримерно широких прав». Ничего подобного я не скажу. Я не разделяю, правда, вашего мнения, будто осуществление вашего идеала легче идеала сионистов: напротив, я даже полагаю, что гораздо и бесконечно труднее. Но не вижу в нем и ничего невозможного — с течением времени, конечно. В Чехии, например, да и в других областях Австро-Венгрии, разным народностями в конце концов придется, вероятно, принять именно то государственное устройство, которое вы предлагаете. Там есть, очевидно, места, где разноплеменное население живет настолько вперемежку, что никакая территориальная межа невозможна, а в то же время ни Ганс, ни Венцель уходить не хотят. Остается — или перерезать друг друга, или установить автономно на чистом базисе национальности вместо применявшегося доньше базиса территории. Будем надеяться, что австрийцы выберут из этих двух выходов не первый, а второй. Прочно упорядочить отношения на этих новых устоях будет, конечно, с непривычки нелегко: но я ничуть не сомневаюсь, что в конце концов это удастся, и «успокоится земля», как сказано в Танахе. Соседи мало-помалу забудут былые распри и заживут мирком да ладком. Но ведь мы с вами, милостивый государь, радеем не только о мирке да ладке: мы хотим, чтобы мирное житье совмещалось с обеспеченным сохранением национальной самобытности каждого из примирившихся противников; и если бы оказалось, что при данной системе примирения самобытности того или другого по-прежнему грозит опасность ассимиляции, то нам, как людям последовательным, пришлось бы непременно отказаться

наотрез от этой системы примирения и поискать какой-нибудь другой. И в том-то и вопрос: обеспечивает ли предлагаемый вами автономизм прочное сохранение национальной самобытности еврейского народа? Но мы с вами для удобства обсуждения можем свести этот вопрос к другому, более глубокому. Дело в том, что вы главным необходимым условием для сохранения национальности считаете, очевидно, волевой акт: народ должен *желать* сохранения своей самобытности, и этого достаточно. Конечно, вы не упускаете из виду, что это желание должно иметь реальные основания в жизни народа, в его потребностях, иначе оно понемногу атрофируется и народ без сопротивления сольется с окружающей средой; но пока воля к национальному самосохранению существует, пока желание уберечь свою самобытность прочно держится в психике народа на реальном корню, до тех пор, считаете вы, он добровольно ни за что не направится по пути ассимиляции, и даже рассеяние среди чужих племен ему не страшно. Я согласен с вами в том, что народ не станет ассимилироваться, покуда в нем есть сознательное или бессознательное желание сохранить свою самобытность; и также согласен с вами в том, что эта воля к национальному самосохранению может существовать и управляться нами только до тех пор, пока есть реальные условия, реальные потребности, ее вызывающие, — а если эти реальные причины исчезнут, то исчезнет и желание народа быть самобытным, и он растает среди земных племен. Следовательно, из вопроса: «обеспечивает ли автономия прочное сохранение еврейской самобытности?» мы с вами смело можем сделать другой вопрос: «обеспечивает ли автономия сохранение тех причин, которые способны непрерывно вызывать и поддерживать в еврейском народе инстинктивное желание сохранять неприкосновенной свою самобытную индивидуальность?»

Это и обсудим.

Несколько лет тому назад я спросил себя: откуда берется в нас чувство национальной самобытности? Отчего нам так мил родной язык (тем из нас, конечно, у кого есть родной язык); отчего национальная мелодия, даже без слов, нас волнует особенным волнением? Где источник этой привязанности к своему национальному укладу, настолько сильной, что за нее люди готовы принять муку? И первый пришедший мне в голову ответ был: источник ее — в воспитании каждого из нас. Уклад жизни, в котором мы воспитаны, дорог и близок нам на всю жизнь. Но я взгляделся и понял ошибочность тако-

го ответа, потому что, во-первых, я наблюдал людей, которые были воспитаны совершенно вне национального уклада, не видали в детстве ни одного седера, не сидели в куще в день праздника Суккот, не играли в орехи на Хануку и вообще не унесли с собой из детских лет ни одного красивого образа национально-религиозной жизни, но зато запомнили много обидного, унижительного, отталкивающего, а у некоторых из этих людей еще и отцы были так же точно воспитаны: и тем не менее, когда пришло время, что-то встрепенуло этих людей, они оглянулись, затосковали по своей национальности и подошли к ней — познакомиться и породниться. Во-вторых, не сплошь и рядом ли восстает поколение против того именно уклада, в котором оно воспитано? В том и заключается ведь борьба отцов и детей, что сыны в один прекрасный день начинают ненавидеть те самые принципы, на которых искони строилась семейная жизнь их круга и с которыми поэтому неразрывно связаны все их воспоминания детства: начинают ненавидеть, возмущаются и опрокидывают, сознательно выдвигая новые принципы. А если воспитание, само по себе, не властно создать навсегда в нас привязанность к определенному укладу жизни и если эта привязанность часто возникает и помимо воспитания и даже наперекор ему, — то ясно, что не в воспитании человека надо искать источник национального чувства, а в чем-то предшествующем воспитанию. В чем же? Вдумавшись в этот вопрос, я тогда ответил себе: в крови. И на этой точке зрения стою и теперь.

Чувство национальной самобытности лежит «в крови» человека, в его физически-расовом типе, и только в нем. Мы не верим в то, что дух независим от тела: мы верим, что психика человека прежде всего обуславливается его физической структурой. Никакое воспитание — ни семья, ни среда — не сделает пылким и порывистым того, кому дан от природы спокойный темперамент, и наоборот. Психика *naroga* еще более цельно и полно отражает его физический тип, чем психика отдельного человека. Народ вырабатывает свой самобытный психический уклад потому, что этот уклад один только соответствует его физически-расовому типу, и *drugой* психики на почве *этого* типа и быть не могло. В смысле обычаев и обрядов уклад жизни, конечно, меняется под влиянием времени; но ведь национальная самобытность не в обрядах и обычаях, и под «самобытным укладом» мы с вами понимаем, конечно, нечто более внутреннее: это «нечто» в разное время выражается

в неодинаковых внешних проявлениях, сообразно эпохе и социальной среде, — но само по себе оно всегда одно и то же, куда цел физически-расовый тип. Так, милостивый государь, медный кларнет может звучать выше или ниже, верно или фальшиво, чисто или хрипло, может играть молитву или вальс, среди просторного зала или в тесной каморке, — и все это меняет его звук; но всегда будет слышно вам, что это кларнет, а не валторна и не арфа, и вы не смешаете звуков его со звуками другого инструмента, куда цел, так сказать, его физически-расовый тип, куда тело его, форма его есть тело и форма кларнета. Гните его, коверкайте, ломайте: он, быть может, совсем перестанет звучать, но и последний звук его, нечистый, пискливый, будет все-таки звуком кларнета, потому что кларнет не может давать других звуков, кроме звуков кларнета. И если вы хотите, чтобы он зазвучал как валторна или как литавры, то есть одно только средство: расплавьте его медь на огне и перелейте в форму валторны. Только тогда, получив тело валторны, он заговорит звуками валторны.

Оттого мы не верим в духовную ассимиляцию. Чтобы еврей, беспримесно рожденный от поколений еврейской крови, усвоил себе психику немца или француза — это так же физически немыслимо, как физически немыслимо негру перестать быть негром: даже еще более немыслимо, потому что ядро психики есть еще более неотделимый и невытравимый расовый признак, чем цвет кожи, лицевой угол и форма черепа. Еврей, воспитанный среди немцев, может воспринять немецкие обычаи, слова, повадки, насквозь промокнуть немецкой жидкостью, — но ядро психики у него останется еврейское, потому что его кровь, его тело, его физически-расовый тип еврейские. И это будет проступать и проявляться для наблюдательного глаза во всех его действиях и состояниях; и если он женится на такой же чистокровной и так же воспитанной еврейке, то и сын их опять-таки будет бессознательно евреем до мозга костей, и умелый наблюдатель всегда отличит под его немецкой шерстью еврейскую кожу и еврейское мясо. Основные черты нашего духа отражают основные свойства нашего тела; имея тело еврея, нельзя выковать в себе душу француза. Духовная ассимиляция с людьми иной крови совершенно неосуществима. Человек не властен ассимилироваться с людьми иной крови. Чтобы ассимилироваться воистину, он должен переменить тело: стать их соплеменником по крови, то есть путем ряда смешанных браков произвести

через много десятков лет такого правнука, в котором останется только ничтожная примесь еврейской крови. Тот правнук уже будет по психике настоящим французом или немцем. Иного пути нет. Пока мы евреи по крови, дети еврея и еврейки, до тех пор нам могут грозить гонения, презрение, вырождение, но ассимиляция в настоящем смысле этого слова, ассимиляция как полное исчезновение нашей психической самобытности — это нам не опасно. Ассимиляции не будет, пока не явятся смешанные браки. Только в тот момент, когда смешанные браки, постепенно учащаясь, станут подавляющим большинством, — дети евреев будут уже наполовину неевреями по крови и будет пробита первая брешь для настоящей, окончательной ассимиляции, никогда не поправимой. Преобладание смешанного брака — вот единственное безошибочно верное средство для истребления национальности как таковой. Все исчезнувшие племена (кроме тех, конечно, которые были целиком вырезаны или вымерли под гнетом ненормальных условий жизни) исчезли именно в пропасти смешанного брака. То, что вы, милостивый государь, нам предлагаете, не грозит нам действительно ни резней, ни вымиранием. Но осуществление вашего плана — автономия в рассеянии на чужой земле — привело бы наш народ, совершенно естественно и совершенно неотвратимо, к постепенному преобладанию смешанного брака и через него к полному исчезновению еврейства как такового с лица земли.

Мы не знаем, каковы будут формы половых отношений в будущем человечестве при будущем строе. Но одно несомненно: построены они будут на принципе свободного выбора. Мужчина и женщина будут сходиться по взаимному влечению, не принимая во внимание решительно никаких посторонних доводов. Что же касается взаимного влечения, то мы опять-таки можем смело предсказать, что оно и в будущем, как теперь, будет подчиняться теории вероятностей — в том смысле, что если данный мужчина, скажем, в три раза более вращается в кругу А, чем в кругу Б, то в 75 случаях из ста, по теории вероятностей, он выберет себе жену не из второго круга, а из первого. Современное общество разбито на слои и группы, которые относятся друг к другу или с завистью, или с пренебрежением, или просто с неприязнью; поэтому в громадном большинстве случаев браки заключаются внутри одного и того же слоя, одной и той же группы. Но ведь мы с вами, милостивый государь, мечтаем о том времени,

когда не будет причин ни для зависти снизу вверх, ни для пренебрежения сверху вниз, ни для вражды между отдельными национальными группами человечества, — или национальные группы будут, *без сомнения*, жить в добром соседстве, полном согласии и взаимном уважении. Говорю «*без сомнения*» — потому что, если бы вы не надеялись, что ваш план приведет в конце концов к «доброму соседству, полному согласию и взаимному уважению» отдельных национальностей, а ждали бы, напротив, что и при осуществлении вашего плана сохранится вражда племен, то вы и не предлагали бы своего плана; ибо над тем мы с вами и голову ломаем, каким бы путем дать нашему народу национальное существование без чужой вражды.

Вообразите же себе, милостивый государь, эту картину будущего доброго соседства. Наши потомки спокойно живут среди чужого народа; они в двадцать раз малочисленнее этого народа, но последний их не притесняет, признает их автономию и считает их такими же сынами отечества, как и своих родных детей. Если при этом еще устранить экономическую конкуренцию и невежество — главные факторы всякой вражды, в исчезновение которых мы с вами оба твердо верим, — то мы увидим, что тут налицо все причины для самых оживленных дружеских сношений между нашими потомками и окружающим их народом, без малейшей неприязни или отчужденности. В наши дни есть города, где евреи составляют крохотное меньшинство среди массы населения, но эта крохотная кучка живет совершенно замкнуто, и еврей вращается в еврейском кругу в десять раз более, чем в нееврейском, потому что там его не любят. Но в то светлое будущее время нелюбви к еврею не останется, и еврей, и нееврей будут относиться друг к другу, как братья (иначе не стоило бы и огород городить, и автономию заводить). Поэтому тогда картина жизни такого города будет совсем иная. Предположим даже, что евреи в нем будут уже не крохотной кучкой, а солидной группой около 15 процентов населения: для страны, где евреи составляют всего 4 процента, это будет даже очень «еврейский» город. Как же станет жить эта группа евреев среди 85 процентов иноплеменных сограждан? Опять в отчуждении? Конечно, нет, потому что вражды не будет, а будет полное согласие и взаимное уважение. Следовательно, еврей будет так же легко и свободно сближаться и дружить с неевреем, как и с евреем, а поэтому естественно будет больше вращаться, по теории вероятностей, в той группе населения, которая многочислен-

нее: ибо если я, хотя сам брюнет, ровно ничего не имею против блондинов, то в городе, где числится 15 процентов черноволосых на 85 процентов белокурых, я по крайней мере в три раза чаще буду сталкиваться и сходиться с блондинами, чем с брюнетами. И если еврей в три раза больше будет вращаться в нееврейском кругу, нежели в еврейском, то (примите во внимание полное согласие и взаимное уважение) вполне естественно, что в 75 случаях на 100 он почувствует склонность не к еврейской женщине, а к иноплеменной. Вы, конечно, не полагаете, чтобы запрещение смешанных браков уцелело в своде законов до того времени. Мы с вами, напротив, верим, что любовь между мужчиной и женщиной будет тогда освобождена от всяких пут и условностей и всякое взаимное влечение, ныне часто в зародыше искусственно заглушаемое, тогда гораздо легче и скорее будет приводить к своей конечной цели — к продолжению рода. Из 75 процентов взаимных склонностей между евреями и нееврейками (или между еврейками и нееврейками), таким образом, естественно и свободно получится 75 процентов смешанных брачных союзов, от которых родятся уже не евреи, а полуевреи. Для «коренного» населения это будет крохотная, незаметная примесь; для евреев, как меньшинства, это будет началом поглощения. В других городах, где евреев окажется больше 15 процентов, процесс поглощения пойдет медленнее; но немало будет мест, где евреев окажется гораздо меньше 15 процентов, и там зато поглощение зашагает семимильными сапогами...

Виджу отсюда, милостивый государь, вашу невольную улыбку при чтении этого кропотливого подсчета будущих бракосочетаний. Принято не говорить о подробностях будущего строя: это считается наивным и смешным. Г-н Бикерман не преминул бы даже заявить, что это ненаучно. Я тоже полагаю, что мелочи будущего строя не могут быть предугаданы, да и не нужно их вовсе. Но ведь не все мелочи: наши планы будущей жизни включают в себя и крупные, основные подробности, которые мы вполне можем предвидеть, ничуть не фантазируя, как предвидел победу буржуазии знаменитый француз, произнесший фразу: «*Ceci tuera cela*»¹. Мы (я имею в виду и нас, и вас), мы, которые пытаемся творить будущее, говорим во имя будущего, обещаем массам будущее, — мы не имеем права отказываться от изучения этого будущего.

¹ Это прикончит то (*фр.*).

Мы обязаны заранее вдуматься во все возможные последствия того шага, к которому призываем народ. Никакая кропотливость не может быть при этом ни излишней, ни наивной, ни смешной: она только докажет серьезное, вдумчивое отношение к серьезному вопросу. И если я заставил вас прочитать эту длинную и подробную статистику грядущих браков, то лишь потому, что хотел добросовестно и осязательно выяснить и себе, и вам общие положения, которые теперь резюмирую:

Автономия в галуте должна привести к установлению нормальных отношений между евреями и неевреями: к полному равенству, доброму согласию и взаимному уважению. Если она не приведет к этой норме в самой полной и совершенной степени, если при ней сохранится навеки хоть тень вражды или пренебрежения к еврею как таковому, то автономия в галуте не есть решение еврейского вопроса. Если же она действительно приведет к тому, что еврей, сохраняя свою национальность, будет жить среди чужого народа как полноправный и уважаемый согражданин, то неотвратимым последствием этих дружеских отношений явится преобладание смешанных браков, удесятеряемое тем обстоятельством, что евреи повсюду составляют численно слабое меньшинство. Это поведет к фактическому растворению расы в инородном большинстве. А так как самобытная национальная психика может существовать только при сохранении физически-расового типа, то по мере физического слияния евреев с нееврейским большинством исчезнет и еврейская культурная национальная индивидуальность. Национальная индивидуальность сохраняется, пока в народе есть желание сохранить ее; это желание существует, пока существует его реальный корень, то есть определенная «кровь», определенный физически-расовый тип, которому точно соответствует одна только данная самобытная психическая индивидуальность, и никакая другая. С изменением физического типа атрофируется и желание сохранять во что бы то ни стало национальную психику, ибо она уже не будет соответствовать изменившейся «крови». Нет физического корня — завянет и духовный цветок, воля к сохранению национальной индивидуальности, и эта индивидуальность тихонько расплывается в море чужой воды. И это будет финал беспримерной, столько-вековой титанической борьбы еврейского народа за свою народную самобытность.

Я не знаю, милостивый государь, что вы мне ответите, и буду нетерпеливо ждать вашего письма. Но предвижу два

довода с вашей стороны почти наверное и хочу предупредить их; а предвижу потому, что ваши единомышленники не раз уже отвечали мне этими двумя возражениями. Они говорили, во-первых, что евреи, по крайней мере в России, сгущены в определенных городах, и нет основания ждать, что они все возьмут да рассыплются по лицу земли русской, как только им это позволят: большие массы их всегда останутся в округе нынешней «черты», и там они будут находиться во все не в таком ничтожном меньшинстве, чтобы по теории вероятностей неизбежно последовало преобладание смешанных браков. Я отвечаю на это следующими соображениями. В черте оседлости евреи и теперь составляют только 14 процентов населения. Если бы черта оседлости раскрылась, этот процент, несомненно, сильно понизился бы через эмиграции в другие губернии. Правда, в городском населении евреи составляют гораздо более значительный процент, хотя все-таки меньшинство; но по мере промышленного развития страны обычная «тяга» за счет деревни удвоит и утроит нееврейское население городов, и евреи в конце концов окажутся в очень слабом меньшинстве даже на стогнах самого Бердичева. Но любопытнее всего то, что этот довод со стороны ваших единомышленников есть уже уступка точке зрения сионистов. В этом доводе уже слышится признание того принципа, что сохранение национальности невозможно, если она составляет численно слабое меньшинство на данной территории. Это звучит уже отказом от вашего девиза, что необходимость территориальной концентрации есть только предрассудок, и не страшно никакое рассеяние, когда у народа есть автономия.

Второе возражение ваших единомышленников обыкновенно звучало так: мы требуем для каждой народности, на чьей бы земле она ни жила, права на полное самоопределение. Народность, лишенная этого права, должна его добиться. Мы — заклятые враги насильственного или искусственного подавления чужой самобытности. Но если автономия в конце концов незаметным, естественным и безболезненным путем приведет к слиянию нашего племени с окружающим населением, то мы в этом никакой беды не видим. Беда, если это растворение в инородной массе достигается путем гнета, ценой страданий; но если оно произойдет мирно и любовно, при помощи добровольных браков, никого не притесняя, никого не оскорбляя, — что же в этом ужасного?

Ответ на эти слова поневоле должен звучать несколько резко, ибо тут обнаруживается пропасть между двумя мировоззрениями. Наша точка зрения та, что сохранение национальных индивидуальностей необходимо в интересах прогресса, что убыль хотя бы одной национальной разновидности сама по себе является траурным событием для всего человечества и что никакой жертвы не жалко для предотвращения этой убыли. Вы же, милостивый государь (если только вы присоединяетесь к вышеприведенному возражению), вы находите, очевидно, что сохранение самобытности само по себе совсем не важно, а важно только то, чтобы никто не угнетал народность и не навязывал ей насильно чужую маску; но если вам удастся внушить этой народности такой шаг, последствием которого явится безболезненное и добровольное принятие чужой маски, то вы за это не в ответе и тужить не станете. Национальная индивидуальность вам не дорога, не свята; существует она — прекрасно; исчезла — тоже прекрасно. Дорог и свят сам только принцип свободы и справедливости: раз данное племя уцепилось за свою самобытность, словно за святыню, то вы не хотите, чтобы эту святыню вырвали у него насильно — хотя сами в ней ровно ничего святого не видите и со своей стороны ровно ничего не имеете против ее полного упразднения — лишь бы только без насилия и гнета. Это все очень похвальные чувства, милостивый государь, — эта любовь к справедливости и свободе и это уважение к чужой святыне. Но не именуйте же себя националистами, ибо националистами называются те, которые желают сохранения племенной самобытности навеки и во что бы то ни стало. Не называйте себя националистами. Перед тем как позвать под ваше знамя нашу молодежь, стоящую на распутье, спросите себя вдумчиво: не грозит ли ваша дорога незаметно и безболезненно привести наше племя, столько перенесшее за свою самобытность, к последнему костру, в огне которого без следа испарится эта самобытность, непоправимо и неотвратимо? Задайте себе этот вопрос и загляните ради него глубоко и подробно в чертежи будущего, как они вам рисуются, ибо, повторяю, кто зовет людей за собою, не имеет права не знать и не ручаться за каждую извилину своего пути. И если вы действительно сознаете, что ваши призывы только ведут нас по новой удобной тропе к той же старой могиле ассимиляции, то не молчите об этом. Заявите громко. Назовите себя громко партией безболезненного самоубийства, партией почетной

капитуляции в рассрочку, но не именуйте себя националистами, чтобы за вами ошибкой не пошли те, которые желают нашему народу жизни вечной и не хотят его гибели, ни насильственной, ни безболезненной, — чтобы не пошли за вами и потом, когда поздно будет вернуться, не послали вам горького упрека за обман.

Впрочем, один из виднейших литературных представителей автономизма в устной беседе сказал мне как-то:

Если нам и грозит убийственная эпидемия смешанных браков, то лишь тогда, когда погаснет последняя искра неприязни между евреем и неевреем. А неужели вы надеетесь, что когда-нибудь это свершится? Какой оптимизм! Я верю, что автономия избавит нас от прямого гнета, укрепит нас и духом и телом, освободит нас от презрения народов, но я не обольщаюсь розовыми надеждами и предвижу без всяких сомнений, что сознание чуждости вечно стеною будет стоять между нашими потомками и потомками наших соседей, и каждый из них иначе, лучше, с более цельным уважением отнесется к родному соплеменнику, чем к еврею, и смешанные браки останутся и тогда исключением...

Может быть, это, милостивый государь, и ваше мнение? Лично я недавно еще твердо разделял его и написал в одной брошюре, что если даже родина есть только тень, никому не нужная, — то был уже, говорят, на свете человек Петер Шлемль, продавший свою тень дьяволу, — и люди с отвращением сторонились его; ибо цельной здоровой природе противно все неполное, несовершенное — тело без тени, лисица без хвоста, народ без земли. Теперь я уже не так уверен в этом: я не стану ручаться, но не буду и наотрез отрицать, что просвещение и переустройство быта могут совершенно примирить племена земли с существованием беспочвенного народа. Это я сказал уже в начале моего письма. Но вы, милостивый государь, или многие из ваших единомышленников в глубине души тоже не ручаетесь, быть может, за полное, совершенное и безусловное примирение? Вы, быть может, готовы помириться на социальном-политическом равенстве плюс национальная самобытность и не станете тужить, если коренное население и тогда все-таки будет видеть в наших потомках, по выражению Нордау, «граждан второстепенного достоинства»: пусть, мол, ценят нас как им угодно, лишь бы не притесняли и не мешали нам оставаться евреями? Но если вы миритесь с такой перспективой, то никогда не помирятся с нею наши потомки

и не поблагодарят вас за нее. Чем культурнее те условия, в которых воспиталось и выросло поколение, тем оно чувствительнее к тончайшей моральной обиде. Негру во времена рабства не страшна была ругань, так как он привык к тому, что большее брани, — к плетям; но для нас с вами один оскорбительный намек часто равняется пощечине, потому что мы воспитаны в более культурных условиях. Испанские евреи во времена гонений были бы в восторге, если бы им дали то положение, которым пользуются теперь наши в Румынии; но в настоящее время даже итальянский «израэлит»¹, идеально равноправный, свободно шагающий по всем вершинам общественной и политической жизни Италии, все-таки страдает душой, потому что ему внятно чувствуется в самом почтительном и дружеском отношении коренного итальянца «что-то такое», какая-то легкая, но неизлечимая царапина пренебрежения к «гражданину второстепенного достоинства». Я напому вам сказку (она постоянно приходит мне в голову, когда я говорю об итальянских евреях) — сказку о царевне, которая была так изнеженна, что одна горошина под периной не дала ей уснуть всю ночь. Поколение, воспитанное в гордом национальном самосознании и никогда не испытывавшее гнета, никогда не примирится с неполным уважением окружающей массы, ни за что не потерпит вечной второстепенности.

Разрешить еврейский вопрос — значит вернуть нам полное, совершенное, безусловное равенство со всеми народами земли; если уцелеет хоть одна царапина, хоть одна горошина пренебрежения к нам, то наши потомки, чем будут они культурнее, тем больше будут страдать от этого неравенства, и «проклятый вопрос» окажется воскресшим —

*и вновь тогда, быть может, с укоризной
чужими нас хозяин назовет —
и вновь пойдет за новой отчиной
измученный, обманутый народ?..*

Еврейский вопрос может быть или решен вполне, до конца, без остатка, или вовсе не может быть решен. Если автономизм не есть полное решение, то бросьте его. Если автономизм есть полное решение еврейского вопроса, если он действительно сулит нам совершенное, ничем не омраченное духовное равенство с населением, то он неминуемо сулит нам и окончательное растворение в этой окружающей массе.

¹ Еврей (итал.).

Сохранение национальной самобытности возможно только при сохранении чистоты расы, а для этого необходима своя территория, на которой народ наш составлял бы подавляющее большинство. И если вы, милостивый государь, с ужасом спросите меня: — Так что же, вы хотите *обособления* во что бы то ни стало? — то я отвечу вам, что не надо бояться никаких слов, и в том числе также и слова «обособление». Поэт, ученый, мыслитель, всякий, кому нужно творчески работать и проявлять свою личность, должен непременно обособиться на время своего труда, затвориться в четырех стенах и никого не видеть, потому что немислимо писать стихи или создавать философские системы под шум чужого разговора. Творчество невозможно без обособления; и если в этом обособлении поэт или ученый пишет вещи, полезные для общества, то их обособление есть гражданский подвиг.

Национальность тоже должна творить: национальное духовное творчество — это *raison d'être*¹ всякой народности, и если не ради творчества, то незачем ей существовать. Для этой задачи творящая народность нуждается в обособлении так же точно, как нуждается в нем творящая личность. И если народ не стал трупом, то в обособлении своем он создаст новые ценности; а когда создаст их, то не спрячет для себя, но принесет к общему международному столу на всеобщую пользу, и обособление его будет заслугой пред лицом человечества.

Владимир Жаботинский

Еврейская жизнь. 1904. № 6. С. 113–124



Письмо об автономизме. II

ВАШИ ИНТЕРЕСЫ

Милостивый государь, в своем ответе вы пишете:

Даже тот из нас, кто согласится с вашими доказательствами, что автономизм не обеспечивает сохранения еврейской народности как таковой, — все-таки возразит вам, что так далеко в будущее мы не имеем права заглядывать. Тосковать о том, что когда-то, через сотни лет, совершенно безболезненно, еврейская нация растворится в массах окружающего населения, —

¹ Смысл (фр.).

ведь это значит сентиментальничать, когда вокруг нас реальная нужда, бесправие и невежество. Мы называем себя националистами вот почему: в нашем народе мы констатируем реальное и сильное желание сохранить свою национальность и, признавая всю законность этого желания, хотим добиться кратчайшим путем таких условий, при которых народ сможет сохранять и развивать свою самобытную культуру, пока он того желает. Но если мало-помалу, без мук и потрясений, в самом народе исчезнет это желание, то кто же имеет право дальше навязывать народу самобытность, которой он сам больше не будет желать. Попробуйте прийти с вашими доводами к труженику, зарабатывающему на всю семью 80 копеек в день, — он вам ответит: «Это слишком тонко для меня. Мои задачи две: первая — добиться такого заработка, при котором я мог бы с семьей безбедно существовать; вторая — быть добрым евреем, потому что во мне есть потребность быть евреем. Заботиться о том, что будет через десять поколений, уцелеет ли тогда еврейство или потихоньку сотрется, — руководиться этими догадками я не могу и не имею права, потому что предо мною насущные нужды, которые важнее ваших догадок.

И труженик будет совершенно прав. Я понимаю, если бы вы грозили ему, что автономизм приведет к новым гонениям, то нам следовало бы призадуматься и не подводить правнуков, хотя бы и отдаленных, под новые страдания. Но вы говорите, что это ужасное слияние произойдет без всяких страданий; значит, если даже верны ваши догадки, наши правнуки будут «сливаться с чужими» без всякой печали и даже с полным удовольствием. Что же вас в этом пугает? Только то, что исчезнет одна национальная индивидуальность: какой-то совершенно отвлеченный убыток, при котором даже нельзя будет определить, кто, собственно, потерпевший, кто жалуется на этот убыток? Никто! И ради этой метафизики вы требуете от современной еврейской трудящейся бедноты жертв и подвигов?!

Разберемся, милостивый государь. Вы, очевидно, утверждаете, что задача трудящегося бедного еврея состоит только в том, чтобы добиваться удовлетворения своих интересов, и, кроме своих интересов, он ни о чем ином не может и не должен заботиться. Я с этим вполне согласен. Но вы, кроме того, настаиваете, что интересы трудящегося еврея сводятся к нормальному и свободному удовлетворению всех его здоровых потребностей — в том числе национальной, пока она есть, — а вовсе не к тому, чтобы ценою жертв обеспечить вечное сохранение нашей народности. В этом я не могу с вами согласиться.

Мне думается, милостивый государь, что точка зрения на трудящегося бедного человека у нас с вами совершенно одна и та же. Я считаю, что трудящийся бедный человек составляет огромное большинство человечества. Пока — это еще большинство малограмотное и малосознательное, но с течением времени оно станет, конечно, образованным и сознательным, а потому подавляюще сильным и совершенно непобедимым. Поэтому, когда я говорю о будущем, то не делаю никакой разницы между трудящимся человеком и всем человечеством. Думаю, что вы со мною в этом совершенно согласны. И думаю, кроме того, что из этой точки зрения вытекает непреложно один вывод: когда мы говорим об интересах человечества, то говорим тем самым об интересах трудящегося люда, и когда говорим о задачах человечества, то говорим тем самым о задачах труженика, а потому, когда мы признаем какой-либо идеал полезным и нужным для человечества, мы тем самым признаем, что задача достижения этого идеала падает всецело на плечи трудящихся людей, и если бы они отказались от нее, то поступили бы неразумно, как люди еще не сознательные, еще не понявшие своих классовых интересов; ибо что такое интересы человечества, если не классовые интересы трудящегося люда, — и в этом не могут сомневаться ни я, ни вы и никто из людей нашего общественного мировоззрения.

Поэтому я понял бы ваши слова, если бы их произнес кто-нибудь из наших товарищей ассимиляторов. Они считают, что сохранение национальных особенностей мешает единению и ведет к раздорам, а потому надеются в будущем на слияние всех народностей в единое стадо. Как оно произойдет, что это будет за новая смешанная раса, войдут ли в нее только белые или негры тоже — этих подробностей наши товарищи ассимиляторы еще ни разу, кажется, точно не определили; но допрашивать вас об этих деталях я и не стану, конечно, потому что вы твердо называете себя не ассимилятором, а националистом. Значит, ваша точка зрения совершенно противоположна: будущее смешение всех рас и народностей воедино, причем у жителя Камчатки и жителя Туниса окажется одна и та же расовая психика и один и тот же расовый физический тип, — в это вы, конечно, не верите и даже, без сомнения, понимаете, что серьезно и с убеждением повторять такие курьезы можно только с бухты-барахты, не подумавши толком, или же прямо назло, «в пику», чтобы кого-нибудь подразнить. Вы, напротив, убеждены, очевидно, что разделение человечества

на расово-культурные типы, во-первых, никогда не сгладится; во-вторых, нисколько не мешает единению и мирному преуспеянию; в-третьих, и полезно, и прогрессивно, и желательное, как всякое разнообразие в природе.

Это убеждение сквозит в обоих ваших письмах — иначе вы, как человек сознательный, ни на минуту не приняли бы клички националиста. Если бы вы считали сохранение национальных различий не только вредным, но даже просто безразличным моментом, от которого миру и прогрессу ни тепло ни холодно, — вы не могли бы не примкнуть всецело к ассимиляторам; ибо когда сознательный человек видит, что его ближние готовы страдать и бороться за нечто безразличное, за нечто такое, от чего миру и прогрессу ни тепло ни холодно, — он старается открыть им глаза и втолковать, что святыня, за которую они страдают, есть святыня призрачная, ошибочная, а потому им надо просто отказаться от нее и понести свои силы и свое самопожертвование на более важные, истинные алтари. Если вы так не поступаете, если вы советуете евреям добиваться национальной автономии, то есть бороться за свою национальную самобытность, то ясно, что вы не считаете эту самобытность за нечто безразличное, а напротив, видите в ее сохранении цель, за которую стоит бороться честному прогрессисту. Почему? Неужели только потому, что она евреям субъективно дорога? Мало ли что кому субъективно дорого. Евреям долго был дорог обычай стричь замужним женщинам косы; но ведь мы с вами, тем не менее, горячо боролись бы против этого обычая, потому что, хоть он субъективно и дорог, но объективно никуда не годится. И если вы не только не боретесь против инстинкта национального самосохранения, а даже придумываете во имя его новые и трудные задачи, то вы, несомненно, чуете в нем не одну субъективную ценность, но и объективную — видите в нем фактор, далеко не безразличный в интересах прогресса и человечества.

Но в таком случае, простите — я не постигаю, как можно утверждать, что забота о прочном и стойком сохранении одной из наиболее даровитых национальных индивидуальностей не входит в интересы трудящегося люда. Простите — это значит несколько унижать труженика и его мировую роль. Это значит сводить его задачу к куску хлеба, и только. Это значит заявлять от его имени: так как нам сегодня совсем не до статуй и картин, то пусть горят музеи Дрездена и Флоренции, а нам наплевать! Это неверно, милостивый государь.

В странах, где пролетариат достиг уже значительной ступени сознательности и умственного развития, там он не меньше других слоев общества ценит сокровища искусства и дорожит ими, ибо понимает, что будущему культурному и счастливому человечеству все понадобится — и техника, и философия, и музыка, — и поэтому Рафаэль, Кант, Шопен — все это части народного богатства, социальная собственность человечества, и только дикарь и невежда способен не дорожить ею. Класс, сознавший величие своей мировой роли, понявший, что он и человечество — одно и то же, — класс этот не может объявить, что ему дела нет ни до чего прочего, кроме сытого и безобидного житья. Все, что важно для человечества, дорого и ему. Если отдельное развитие племенных индивидуальностей полезно прогрессу человечества, то развитой и сознательный пролетариат не может отвернуться от этой задачи, как не может заявить, что ему совершенно не нужны астрономия или древняя история Востока. Идеалы трудящегося люда, милостивый государь, это совсем не то, что идеалы думского гласного из купцов, который на всякую затею духовного порядка — школу, театр, выставку — отвечает резолюцией: не надоть. Труженик, развившийся до полной сознательности, не может сказать: «Мне все равно, сохранится ли еврейская народность или нет — лишь бы никто не угнетал ее и лишь бы слияние, если оно произойдет, произошло без насилий и страданий». Это было бы все равно, что согласиться на убийство ближнего — лишь бы только его раньше незаметно усыпили, а потом умертвили без всякой боли под приятным наркозом. На это согласится только тот, кто считает жизнь одного человека ненужной или излишней для человечества. Но сознательный труженик, в глазах которого сохранение национальностей важно и желательно в интересах прогресса и человечества, не предложит одной из этих национальностей двинуться по такому пути, который грозит привести ее к исчезновению, хотя и безболезненному. Прежде чем выбрать для нашего племени ту или другую дорогу, он семь раз отмерит и обдумает все детали своего плана, — без жалости отбросит все то, что способно хотя бы впоследствии повредить народной самобытности, и твердо поставит ногу на избранную тропинку только тогда, когда всей душою поверит, что она приведет его к условиям, неизбежно и раз навсегда обеспечивающим неприкосновенное сохранение нации. Тогда, избрав тропинку, он не спросит, как вы, милостивый государь, стоит ли она «подвигов

и жертв», ибо что полезно человечеству, ради того никакой жертвы не может быть жалко. В ряду задач, осуществление которых нужно человечеству, цель свободного развития племенных индивидуальностей так же важна и громадна, как и цель свободы личности, и цель социального равенства. Ради этой цели в течение двадцати веков ряды поколений нашего народа, побуждаемые инстинктом, изо дня в день приносили неисчислимые жертвы, хотя тоже были голодны и неправы. Тем скорее должен быть готов на всякую жертву, на голод и муки, если они потребуются для спасения нашей национальной жизни, развитой и сознательный труженик-еврей XX века, ясно оценивший и понявший все значение своей мировой роли и всю важность национальной задачи.

Но и помимо этих соображений, я в конце концов не понимаю, милостивый государь, о каких «жертвах» вы говорите. «Подвигов» сионизм, конечно, требует и еще потребует немало: подвиги терпения, настойчивости, а может быть, и самоотвержения... Но «жертвы»? Говоря о «жертвах», которых требует, по-вашему, сионизм от еврейской трудящейся бедноты, вы, очевидно, полагаете, что эмиграция и создание своего государства принесут нашим трудящимся массам такие лишения, от которых они избавились бы, если бы остались на местах прописки и хлопотали об автономии? Странная точка зрения. Мне всегда казалось, что эмиграция искони служила средством избавиться от чрезмерных лишений, а вовсе не приобрести новые...

Разберемся, милостивый государь, и в этом вопросе.

В прошлом году в журнале «Южные записки» появилась статья М. Гепштейна «Арийцы и семиты на экономической арене» — статья очень дельная, хотя слишком сжатая. Журнал этот не имел большого распространения, так что вряд ли статья М. Гепштейна вам известна. Случайно она у меня под рукою, так что я могу привести ее существенные части.

Целый ряд исторических причин, — говорит М. Гепштейн, — тесно связанных с ненормальным положением евреев, сделал из последних нацию посредников, мелкую буржуазию, выполнявшую торговую функцию среди экономически неразвитых народов.

В 19 веке еврейская нация осталась по преимуществу народом мелкобуржуазным. Исторически свыкшиеся с определенной экономической деятельностью, евреи посвящают себя главным образом торговле и ремеслу. У евреев почти совершенно нет земледельцев и есть самый незначительный процент фаб-

рично-заводских рабочих. Подавляющее большинство евреев — это мелкие торговцы и ремесленники, из которых громадная часть представляет собою экономически вырождающуюся массу.

Между тем та экономическая эволюция, которая характеризует современное социальное развитие, делает все менее нужными выполняемые евреями экономические функции. Мелкие ремесленники и мелкие торговцы вытесняются экономическим развитием общественного строя, и это вытеснение особенно сильно отражается на евреях в силу их специфической мелкобуржуазности. В то же время, наряду с экономической эволюцией строя, происходит другой процесс: народы, среди которых живут евреи, делаясь достаточно сильными в экономическом смысле, чтобы самим выполнять мелкобуржуазные функции евреев, вытесняют последних из различных областей экономической деятельности. Этот процесс «вытеснения» характеризует не только мелкобуржуазные общества, но и те, которые вступили на путь капиталистического развития. Еврейская мелкая буржуазия, вытесняемая и развитием строя, и окрепшими экономически арийскими народностями, среди которых она живет, вынуждена превратиться в пролетариев.

Далее у автора получается такая картина. С одной стороны, пролетаризация необходима — со дня на день все труднее становится жить мелкобуржуазными функциями. Кулак нужды толкает еврейского *Lüftmensch*'а¹ в ряды пролетариата. Но с другой стороны, доступ в эти ряды ему тоже естественно затруднен. Века мелкобуржуазных отправлений совершенно не приспособили его к роли рабочего (кроме двух-трех специальных отраслей). У него нет прежде всего мускульной силы и физической выносливости — тех качеств, которые всего нужнее рабочему и которыми вполне обладает рабочий-ариец как потомок земледельцев. Ясно поэтому, что капиталисту еврей-рабочий невыгоден, и при равных условиях он предпочтет арийца; а если возьмет еврея, то только за меньшую плату и на условиях более тяжелой работы. Отсюда два последствия: во-первых, худо еврею, и он еще больше вырождается (автор упоминает здесь об английской «потогонной системе»), во-вторых, худо и арийцу, потому что еврей сбивает плату. Неминуемо возникает неудовольствие против наплыва семитов, а затем «антиалиенистские» законы и т. д.

¹ Непрактичный человек, прожектер, мечтатель; букв.: человек воздуха (*цивш*).

Процесс вытеснения, таким образом, — говорит М. Гепштейн, — захватывает не только еврейскую буржуазию, но и еврейских рабочих...

Извольте, милостивый государь, найти выход из этого заколдованного круга. Пролетаризироваться необходимо, да нельзя. При «вытеснении» из одного места возникает необходимость переселиться в другое — и необходимость настолько реальная и солидная, что из России, например, по данным одного недавнего совещания, эмигрирует теперь по 50 000 в год. Но, говорит М. Гепштейн:

Эмиграция в ее современной форме нисколько не разрешает социально-экономической проблемы, характеризующей еврейский вопрос. Еврейская масса эмигрирует в культурные густонаселенные страны (Англия и Америка). Скапливаясь там снова в большом количестве, она возбуждает в новых местах неудовольствие и вызывает процесс «вытеснения». Притом в культурных странах, где имеется достаточное количество своих излишних рабочих рук, процесс пролетаризации евреев делается все более затруднительным (Англия) и принимает подчас самые тяжелые формы.

Эмиграция должна быть направлена в страну *некультурную и незаселенную*. Организованная планомерная (земледельческая и промышленная) колонизация должна создать в этой стране из евреев *фактическое большинство*. Руководя сама своей судьбой, еврейская народность получит возможность развиваться всесторонне и сделаться из нации, своеобразно мелкобуржуазной (торговой и ремесленной) по своим функциям, нормальным народом. Еврейская, вырождающаяся экономически, мелкая буржуазия, переселяясь в страну некультурную, требующую рабочих рук, получит возможность перейти к другим, более прогрессивным формам экономической деятельности. Этот переход, в силу отсутствия господствующей, более сильной народности, не будет сопровождаться тем экономическим вырождением, которое характеризует современную пролетаризацию евреев, — тем более, что, как доказывает опыт Новой Зеландии или Австралии, в общественных организациях, возникающих в наше время, социальные формы экономической деятельности гораздо совершеннее, чем в старых «исторически» развившихся государствах...

Обдумайте все это, милостивый государь, и объясните мне тогда, о каких «жертвах» демону сионизма вы говорили, от каких реальных благ или надежд должна будет отказаться

еврейская беднота, покидая свои галицийские или румынские местечки для «старого новоселья» — *Altneuland*?¹ А потом, обдумав это все, обратите внимание на последние строки цитаты и вникните в них. Припомните, что и Соединенные Штаты Северной Америки далеко опередили свою мать — Англию, потому что молодой отпрыск всегда гибче старого ствола и всегда легче поддается новым прививкам и новым приемам культуры. В исторически сложившихся государствах уже издавна существуют известные рамки, отвердевшие от времени до каменного подобия, и побегам новой жизни, новым общественным отношениям приходится медленно, шаг за шагом пробивать себе дорогу. Приходится опрокидывать много старых уютных гнезд, больно задевать разные живые интересы, тесно связанные со старым режимом, ломать старые традиции, — и все это оказывает сильное сопротивление и замедляет движение социального прогресса. На «новоселье» все эти препятствия устранены: нет ни реальных интересов, жизненно прикреплённых к старому строю, ни столь цепких общественных традиций и предрассудков. Поселенцы «новоселья» привозят с собой в готовом виде все усовершенствования техники и все тонкости культуры и, значит, начинают новую жизнь с высшей ступени, до которой успела дойти цивилизация старых государств, но с этой ступени новая страна двинется вперед гораздо легче и быстрее, потому что пут и цепей гораздо меньше...

Вот еще выписка из чужой статьи, и вы не посетуете, милостивый государь, если она будет несколько длинна. В русской печати я прочел недавно сообщение о том, что в Австралии теперь пало консервативное министерство и его место заняло рабочее министерство Ватсона. Вот как излагает газета программу этого министерства:

При всяких изменениях законодательства об избирательном праве партия требует сохранения принципа всеобщих, прямых и тайных выборов в парламент, которые должны происходить в праздничный день. Школы, как низшая, так и средняя и высшая, должны быть без всякой платы открыты для всех. Относительно налогов косвенных находим требования, чтобы менее состоятельные классы были от них по возможности освобождены. Прямой налог, прогрессивный и подходящий,

¹ Старо-новая страна (*нем.*) — так Т. Герцль назвал Эрец-Исраэль, страну Израиля.

должен платить всякий, зарабатывающий 200 рублей в год, причем он распространяется и на находящихся за границей граждан.

Отметим требования партии в социальном законодательстве. Здесь заслуживает внимания прежде всего требование закона, по которому всякие могущие возникнуть недоразумения между фабрикантами и рабочими обязательно подлежат рассмотрению особых третейских судов, решению которых бесспорно подчиняются обе стороны.

Этот закон является одним из первых, который рабочему министерству предстоит провести в жизнь. Наряду с этим законом идут такие требования улучшения фабричного, заводского и промыслового законодательства вообще, как узаконение восьмичасового рабочего дня там, где это только является возможным, введение нормы для минимальной платы во всех производствах, уничтожение поштучной платы в казенных предприятиях, устройство мастерских для безработных.

Железные дороги, общества страхования жизни и от огня должны устраиваться и эксплуатироваться государством. Его же непосредственному контролю должны подлежать производство и продажа крепких напитков.

Такова программа австралийской рабочей партии, существующая далеко не только на бумаге, в чем легко убедиться даже при поверхностном знакомстве с политическим и социальным строем австралийских колоний. В Виктории, Новом Южном Уэльсе и в Новой Зеландии политическая власть находится почти всецело в руках представителей рабочего класса, что не преминуло в сильной степени отразиться на всем политическом строе этих стран. Возьмем хотя бы фабричное законодательство. Детям моложе 14 лет работа на фабрике совершенно запрещена; для находящихся в возрасте от 14 до 16 лет она разрешена при неременном условии только семичасового рабочего дня. Последняя норма, то есть семичасовой рабочий день, распространяется также на всех женщин, занятых вообще на фабриках и заводах. Кроме воскресного отдыха, на соблюдение которого законом обращается особое внимание, обязательен еще отдых в размере половины рабочего дня в середине недели. Все эти постановления распространяются также и на кустарные производства, где еще недавно так называемая потогонная система находилась в полной силе и практиковалась в больших размерах.

Весьма интересен опыт нормировки заработной платы, проведенный уже на практике в значительных размерах в австралийских колониях. На принадлежащих казне железных дорогах Новой Зеландии, Нового Южного Уэльса и Виктории введена минимальная рабочая плата в 3 рубля 25 копеек в день. Виктория пошла еще дальше в этом направлении, и там уже узаконена ми-

нимальная плата в портняжном производстве в размере 3 рубля 50 копеек в день для мужчин и 1 рубль 50 копеек для женщин; в сапожном — 3 рубля для мужчин и 10 рублей в неделю для женщин; для булочных минимальная плата нормирована в размере 45 копеек в час и т. д.

Несколько лет тому назад в одной из самых передовых европейских стран, в Англии, был возбужден вопрос о материальном обеспечении государством всех достигших известного возраста стариков. Обеспечение это предполагалось осуществить в виде государственной пенсии, и, если память нам не изменяет, соответственный билль об этом был внесен в парламенте. То, что в Европе с ее многовековой культурой имеется в проекте, в Австралии уже осуществлено в самых широких размерах. В Новой Зеландии государственную пенсию получают все достигшие 65-летнего возраста жители в размере 170 рублей в год, с тем, однако, ограничением, что при доходе в 500 рублей в год право на получение пенсии не признается. Кроме того, при доходе в 310 рублей пенсия выдается в сокращенном размере.

Наш очерк, далеко не полный, тем не менее в достаточной, как нам кажется, степени показывает, как далеко ушли правительства и парламенты австралийских колоний в попечении о вверенных им гражданах. Что результаты эти достигнуты главным образом под давлением вождей рабочей партии — в этом откровенно сознаются самые ярые их противники...

Австралию создали переселенцы из Англии — «беглецы», по терминологии ваших единомышленников. Обдумайте, милостивый государь, эти строки.

Я не примкну никогда к тем, которые стали бы уверять еврейскую массу, будто в Altneuland она сразу найдет уже готовый рай. Я предвижу много тяжелой работы, неудач, ошибок и разочарований; предвижу, может быть, и жестокие столкновения с внешними силами. Я предвижу и «подвиги», и «жертвы» — только далеко не те «жертвы», которыми грозите нам вы. Но опыт истории — опыт, записанный не в книгах, а в самой жизни больших республик, благополучно процветающих за морем, — ручается неопровержимо за то, что еврейская масса не в убыток себе совершит эти подвиги и принесет эти жертвы. Не скрою: даже если бы я думал иначе, — если бы я был уверен, что обеспечение нашей народной самобытности, потребовав много жертв от нашей бедноты, в то же время на целое столетие отдалило бы день ее экономического освобождения, — и тогда я, не колеблясь, продолжал бы звать ее к этим жертвам — во вред ей самой, но во имя Сиона.

Никто, быть может, не пошел бы на зов, а я бы все-таки звал, потому что лучше, по-моему, отдалить экономическое освобождение на сто и на двести лет, чем умереть как нация — навсегда. Но в этом нет нужды. Наша земля, купленная средствами народа, будет с самого начала собственностью нации; наш конгресс, созданный всеобщей подачей голосов мужчин и женщин, будет ею же создаваться и тогда, когда будет именоваться уже не конгрессом, а парламентом. Помня все это и помня опыт истории, блистательно оправдавший уже столько великих переселений, мы спокойно и твердо требуем от наших трудящихся масс и подвигов, и жертв, так как мы знаем, что там, на старом новоселье, где они впервые начнут сами ковать свою долю, они найдут для этой работы свежую и благоприятную среду, и уж от них одних будет зависеть, отстанут ли они в экономическом прогрессе от старой Европы или могучими скачками опередят ее и раньше нее завоюют свое счастье.

Владимир Жаботинский

Еврейская жизнь. 1904. № 7. С. 81–90



Наброски без заглавия. XV

Было недавно в газетах, что некое педагогическое лицо в одном из далеких учебных округов произнесло речь на ту тему, что ученики средней школы распущены и что надо привести их в порядок и заставить уважать школьные законы. И в заключение оратор высказал надежду на своеобразное единение семьи со школой в том смысле, что семья будет помогать школе установить бдительный надзор за точным исполнением школьных законов.

Семья переживает теперь болезненный кризис, кризис с обеих сторон, в обеих своих функциях: в союзе между мужем и женой и в союзе между родителями и детьми. О первом я сегодня говорить не буду, но на втором следует остановиться по поводу этой учебной речи, так как есть подозрение, что именно отношения семьи и школы сыграли немалую роль в подготовке нынешнего кризиса между отцами и детьми. Причем слово «кризис» я употребляю, кажется, только по свойственной газетчику лукавой уклончивости. Беллетристы

и драматурги — те откровеннее: г-н Найденов в «Детях Ванюшина» изобразил уже не кризис, а нечто похуже, а г-н Юшкевич прямо назвал одну такую картинку погребальным заглавием «Распад». Обо всем этом стоит почаще задумываться. Нужна всяческая осторожность в отношениях между родителями и детьми, чтобы хранить их должным образом, не портить, не обострять их, бережно залечивать возникающие трещины, не допускать, действительно, перехода из кризиса в распад. И, значит, особенно осторожно следует относиться ко всяким внешним влияниям и натискам, чтобы камень, брошенный снаружи, не мог прорваться внутрь семейного союза и разбить его нежные скрепы.

Средняя школа, как она была организована Толстым, измучила молодое поколение: этот факт даже в «Гражданине» теперь не отрицается. Своей мелочной придирчивостью она расшатала его нервы, приучила к какому-то неприязненному настроению и к целой системе школьного и внешкольного надувательства. Хуже всего здесь, конечно, расшатавшие нервы: это — ущерб, которого не исправишь и который, еще посмотрим, какой наследственностью, отзовется на наших будущих детях. Но когда в этом ущербе винят целиком одну школу, во мне возмущается чувство справедливости, потому что семья еще более виновата. Школа, в конце концов, оперировала все-таки над чужими детьми, так что ее безучастная черствость еще может быть хоть объяснена и понята. Но семья — не чужая. Семья должна была чувствовать сердце ребенка, беречь и утешать его; она могла смягчить неудобства и недостатки системы, а это ли она делала?

Старая школа вредила ребенку двояко: в своем обучении и в своем воспитании. С одной стороны, она требовала от ученика зазубривания таких предметов, которые были и сложны, и бесполезны, и неинтересны. С другой стороны, она подчиняла ученика мелочной, утомительной, безусловно, антипедагогической дисциплине и за малейшее нарушение досаждала ему карами. Получалось такое впечатление, что действительно школа мучит. Но если немного взглядеться, тотчас же станет видно, что сама по себе школа не могла бы оказать и половины того влияния на детскую нервную систему, если бы не безучастие самой семьи. Есть такая сказка про то, как заспорили солнце, ветер и мороз, кто из них сильнее. «Вон идет прохожий, — сказала солнце, — я поражу его солнечным ударом».

«Нет, — возразил ветер, — я могу этого не допустить: я стану дуть изо всей силы, и твои лучи потеряют свою убийственную мощь». Тогда сказал мороз: «А я заставлю путника замерзнуть». «Нет, — отвечал ему ветер, — никакой холод не страшен человеку, если я стихну и не стану дуть». И согласились оба — мороз и солнце, — что ветер всех сильнее. Так точно было вполне во власти семьи парализовать наполовину угнетающее влияние школы там, где оно было, потому что семья все-таки сильнее всех, и без ее содействия, в конце концов, волос не мог бы упасть с головы ребенка.

Я помню свои детские годы. У меня тогда был директор, которого мы, маленькие школьники, боялись и ненавидели и, поверьте, не без причины. Жестокий и неумный, он «любил» оставлять «без обеда», уменьшать отметки за поведение, делать выговоры, ставить в угол, вписывать «замечания» в дневник и вызывать наших родителей для переговоров о нашем окаянстве. Все это были, конечно, немалые неприятности в обиходе ребенка. Но помню, что все мы тогда, вдумываясь в эти наказания, прекрасно понимали, что сами по себе они далеко не так ужасны. Остаться «без обеда», во-первых, не значит на самом деле потерять обед, потому что дома потом накормят, а во-вторых, временем «сиденья» можно воспользоваться для приготовления уроков, и потом уже дома зато свободен. Еще менее могли бы нас задевать остальные кары, которые раздражались даже не над нашей личностью, а над нашими тетрадями: дурные отметки, замечания, выговоры или даже объяснения с родителями. Все это могло бы быть, но на самом деле было не так. Было то, что оставленный «без обеда» горько плакал — потому что дома его ожидал гнев родителей. Поставленный в угол ходил уже весь день со стесненным сердцем — потому что, если родители узнают... А у кого была в тетради четверка за поведение или «замечание» такого, например, содержания: «Жевал булку на уроке гимнастики», — тот несколько дней ходил в мучительном угнетенном состоянии, всякими хитростями оттягивая срок, когда придется показать грех родителям и рассердить или огорчить их. Одну пытку я помню особенно: это когда директор меня же заставлял передать матери приглашение «пожаловать». Мне дома не грозило никакое наказание, но я просто знал, что мать от этой вести, как ушибленная, сожмется, съежится, будет мучиться весь день и всю ночь при мысли о завтрашнем испытании, и весь наш

мирный трудовой дом будет отравлен и расстроен этой неприятностью. Говорю, положив руку на сердце, что с тех пор никогда не испытывал таких душевных терзаний; каково же было другим детям, которых, может быть, еще и бивали дома? И получалась такая странность: сама по себе строгость школы была, конечно, неприятна и тяжела, но никогда не могла бы так глубоко задевать и мучить нас, если бы мы не боялись, что на каждый щелчок со стороны школы, часто почти призрачный, семья откликнется уже не призрачными, а самыми реальными и буквальными пинками, нередко даже физическими. Иными словами — школа не так издергала бы наши нервы, если бы семья была более самостоятельна по отношению к ней, как и должна быть: где же, в самом деле, ребенку искать защиты и доверия против несправедливости и бессердечия, как не в своей семье? И в то же время мы прекрасно знали, что семья вовсе не согласна с придирками нашей школы. Сплошь и рядом мы слышали, как наши семейные громко возмущались, что нам нельзя носить серые брюки при белой блузе, что нельзя пойти с родными в театр без разрешения инспектора, что приходится зубрить латынь и что на большой перемене детям даже не позволяют побегать и ставят за беготню в угол. И когда после всех этих справедливых сетований на нас, за нарушение какой-нибудь из этих явных несообразностей, обрушивалось дисциплинарное мероприятие, — те же накидывались, и утраивали, и удесятворяли нашу нравственную пытку. Вместо того чтобы держать нашу сторону, чтобы утешать нас, чтобы внушить нам философское спокойствие перед придирками школьной формалистики, перед ее «безобеденными» сидениями, углами, выговорами и замечаниями, они сами же гипнотизировали нас, сами учили нас видеть в школьных карах что-то ужасное, сами поддерживали в нас вечно угнетенное настроение...

То же было и в дидактической области. Мы любим жаловаться на переутомление учащихся. А кто виноват? Одна школа? Неправда. Школа действительно учила многому ненужному и трудному, но разве она требовала от детей «пятерок» во что бы то ни стало? Школа требовала минимума, достаточно для перехода из класса в класс: тройки, даже тройки «с минусом». Это именно в семье подгакивали всегда детей на пятерки из той самой латыни, которую тут же вслух называли «ерундой»; это она, семья, всячески подгоняла детей зубрить

свыше сил и способностей, не довольствуясь минимумом удовлетворительных успехов, заставляла их «натягивать на первого ученика» — и все это без какой бы то ни было реальной нужды и без должного внимания к тому, во что это ребенку обходится. Среди моих знакомых ни тогда, ни теперь я не знаю почти ни одного отца или матери, которые были бы способны честно сказать ребенку: «Так как тебе латынь не нужна, то учись на тройку — больше не надо». Вместо того ребенка, напротив, стыдят, поддразнивают, называют ленивцем, иногда наказывают. И одновременно ему же громко называют латынь «ерундой» и после всего этого кричат о переутомлении с видом совершенно непричастных людей, забывая, что кабы ветер не помогал, то и солнце не спалило бы, и мороз бы не заморозил.

Несмотря на вопль о ниспослании строгости, который прошел по темным переулкам русской печати, я все-таки верю, что старые ошибки не будут возобновлены. Во всяком случае, независимо от каких бы то ни было школьных «систем», у себя в семье ребенок должен встречать доверие и защиту. Если бы мне пришлось отдать своего сына в то заведение, где я учился сам, я сказал бы ему раз навсегда: «Знай, мой мальчик, что я тебе друг и буду за тебя всегда, пока ты прав. И если тебе придется учиться ненужным вещам, то учись им настолько, чтобы не оставаться из-за них на второй год, а остальные силы направь лучше на что-нибудь полезное и интересное. И если тебя ни за что ни про что поставят в угол, то ты не огорчайся, потому что это пустяк. И если тебя оставят "без обеда", если тебе напишут "замечание" в дневник или велют пригласить меня "объясниться", то ты не тужи и не бойся: я пойду, объяснюсь и защищу тебя, лишь бы ты не сделал ничего нечестного и неблагородного». И после этого я знал бы, что мой сын легко перенесет свою учебную страду, потому что я буду не усиливать, а смягчать и парализовывать ее царапины. И — самое важное — после этого я знал бы, что мой сын никогда не перенесет своей неприязни к учебной страде на меня как союзника ее, никогда не отождествит меня со своими утеснителями, но вырастет, напротив, в том сознании, что отец ему первый друг и защитник. И когда он подрастет, то выйдет из него друг и продолжатель моего дела — конечно, в новых условиях, новыми средствами, по новым чертежам, — но не враг мой, не мятежник против меня, не презрительный критикан моего прошлого и моих святынь. Одно из двух: или

семья за своих детей, или семья против своих детей. Если за, то пусть облегчает их ранние горести, пусть не отказывает им в защите, когда они просят о ней, отстаивая свое человеческое право. А если против, то пусть заранее поставит крест над собой и пусть не дивится потом неизбежному «распаду».

Владимир Ж.

Русь. 17.06.1904



Наброски без заглавия. XVI

Обратили ли вы внимание на то, что в последнее время, начиная с римской поездки Лубе, в газетах все чаще стали мелькать не то слухи, не то сплетни о каком-то новом курсе папской политики? Если обратили, то заметили, без сомнения, насколько сбивчивы и противоречивы эти намеки, так что в конце концов совершенно непонятно, что, собственно, происходит. А происходит между тем нечто любопытное, в чем стоит разобраться.

За кулисами Ватикана ведется интересная упорная борьба. То разносится слух, будто папа идет на примирение с Италией, то слышатся голоса, что папа твердо решил продолжать политику Пия IX и Льва XIII, то есть требовать себе светской власти над Римом. То всплывает совсем уже невероятный слух, будто итальянское правительство согласно разыграть комедию формальной уступки Рима престолу св. Петра с тем, чтобы эта уступка только значилась на бумаге: шаг, на который Италия, конечно, никогда не пойдет — тем более что Ватикану неизмеримо нужнее дружба Италии, чем Италии дружба Ватикана. Этот слух, вероятно, просто-напросто отразил в себе последние, уже минимальные желания тамошних крайних клерикалов, теряющих почву под ногами ввиду явно приближающегося факта — громкого и полного отказа папы от светских претензий, и клерикалы хватаются за соломинку, стараются напророчить компромисс... Прибавьте к этому зловещие фразы, то и дело мелькающие в газетах: «Слухи о скорой отставке государственного секретаря папы, Мерри дель Валя, неосновательны. Положение дель Валя, напротив, еще никогда не было так прочно, как теперь»... Скверная и неприятная фраза: когда о ком-нибудь или о чем-нибудь начинают

писать, что «напротив, никогда еще его положение так прочно не было...», то ясно, что мы уже присутствуем на отпевании.

Однако вернемся к Ватикану. Закулисная борьба, очевидно, сводится к следующему. Начиная с 20 сентября 1870 года, когда итальянские войска заняли Рим, папский престол находится в состоянии хронического протеста. Не имея пушек, он не может воевать с Италией, но зато у него с Италией прерваны всякие дипломатические сношения. При Квиринале нет нунция, при Ватикане — итальянского посланника. Папы сидят в Ватикане безвыездно и объявляют себя пленниками, хотя никто не мешает им ездить куда угодно. В каждой энциклике папы не упускают подтвердить, что Рим у них отнят незаконно, а потому должен быть возвращен. Итальянское знамя не может быть развернуто ни в одном храме Италии: когда случился такой факт в римском Пантеоне во время похорон Умберто, Рамполла послал властям протест — нечто вроде «первого предостережения». Практически же на общественной жизни Италии эта бескровная война между папством и королевством отражается только в одном отношении: папы запрещают всем верующим принимать участие в выборах в итальянскую палату депутатов, пока Рим не возвращен св. престолу. *Nec electores, nec electi* (ни избирателей, ни депутатов) — такой пароль дан всем клерикалам-«темпоралистам» (то есть поборникам *potere temporale* — светской власти папы). Оттого в итальянском парламенте нет клерикальной партии, хотя клерикалы в стране довольно влиятельны, что заметно по городским думам, особенно в южной половине полуострова. Заполнение городских и сельских общин не только не возбраняется папами, но даже поощряется, и клерикалы дружно и неглупо работают в этом направлении. Но так как общественная жизнь новорожденного государства за последние 34 года естественно сосредоточивалась главным образом вокруг палаццо Монтечиторио в Риме, где палата депутатов, а не вокруг местных дум и ратуш, то и вышло, что за последние 34 года клерикалы не играли почти никакой роли в главных событиях Италии. Все, чем практически волновался за это время народ, относилось к парламенту или исходило из парламента — и тем самым совершилось помимо клерикалов. Получился мало-помалу тот результат, что население привыкло в вопросах внутренней и внешней политики не считаться с клерикалами, устранять их из поля зрения. Нужен ли новый закон, назрела ли отмена старого — клерикалы тут ни при

чем, так как они к парламенту принципиально никакого касательства не имеют. В конце концов у населения стало невольное складываться представление, что жизнь сама по себе, а клерикалы сами по себе. Как это отозвалось на доходах св. престола, составляющихся из доброхотной лепты верующих, — о том знают тамошние казначеи, которые отчетов не публикуют, но надо думать, что ничего утешительного для них в таком отчете не оказалось бы. Смертные несут свою лепту преимущественно туда, откуда чают себе пользы; нет расчета на пользу — смертные начинают экономить. Такова природа человеческая.

Еще до кончины Льва XIII стало выясняться, что жизнь требует нового курса. Но Лев XIII никогда не пошел бы на уступки. Зато большинство клерикальных деятелей, видимо, давно уже клонило к примирению с Италией. Почему на недавнем конклаве был избран папой кардинал Сарто, которого никто не ждал, не гадал, это не выяснено до сих пор. Но конклав, почему бы то ни было, избирая именно этого прелата, не мог не знать, что он не раз открыто и официально заявлял себя «итальянофилом» — приветствовал в Венеции короля, водил дружбу с депутатами и так далее. Если бы конклаву нужен был на этот раз просто безразличный папа, папа-граммофон — как утверждали потом многие, — то мало ли безличных кардиналов, не скомпрометировавших себя дружбой с «узурпаторами»? Ясное дело, что если конклав сделал папой Сарто, значит, и среди кардиналов большинство настроено в пользу мира и лада с Италией. А кардиналы — князья и предводители церкви; следовательно, выходило бы из всего этого, собственно, так, что церковь св. Петра, в лице своих руководителей, желает примириться с Квириналом. То есть, казалось бы, протяни руку да мирись, ибо кто же хозяйева, как не папа и кардинальское большинство?

Но на деле все это вышло далеко не так просто и легко. На деле сейчас же со вступлением нового папы начались странности и противоречия. Прежде всего поразил выбор государственного секретаря. Кардинала Сарто знали как человека умеренных и примирительных взглядов, а главой своей политики он совершенно нежданно избрал монсеньора Мерри дель Валя, определенно известного своей близостью к иезуитам и своим непримиримо клерикальным направлением. Этот выбор еще больше удивил общество тем, что дель Валь еще даже не был кардиналом, тогда как до сих пор

папский *segretario di Stato*¹ всегда выбирался из обладателей красной мантии. Отчего же папа назначил именно его? Загадки никто не мог объяснить, но все почувствовали, что тут действует какое-то сильное влияние и давление, настолько могучее, что может тягаться даже с влиянием кардинальского большинства. Иными словами, в воздухе запахло св. Игнатием Лойолой. Стало понятно, что орден иезуитов востребован и решил дать новую битву ненавистной объединенной Италии — хотя бы наперекор и самому Пию X и воле конклава, ясно выразившейся в избрании Пия X. Последовавшие затем загадочные противоречия укрепили эту догадку. Пий X, принимая кого-то из братии монастыря, что в Монте Кассино, сказал ему на прощанье: «Передайте вашему настоятелю, что мы с ним увидимся там, у вас, в Монте Кассино». Эту фразу сообщила «*Tribuna*», прекрасно осведомленная. Фраза вызвала сенсацию: чтобы попасть в Монте Кассино, папа должен выехать из Ватикана, то есть отбросить фикцию «ватиканского плена», то есть отказаться от протеста против захвата Рима, то есть... и так далее. Клерикальная печать долго отмалчивалась, а потом, не касаясь самого факта, поместила официальное заявление, что никуда папа не поедет, и все эти слухи ни на чем не основаны. Очевидно, папа предполагает, а кто-то предполагает. Но кто же может диктовать папе, заставляя главу церкви, словно ребенка, брать назад свои решения? У кого столько силы и влияния? И опять запахло св. Игнатием. А когда появилась наконец первая энциклика Пия X, где о самом главном — о светской власти — говорилось в очень неопределенных выражениях, так что, с одной стороны, выходило, что папство не уступит своих «прав», но, с другой стороны, не было в этом заявлении даже следа былой воинствующей энергии, то всем стало окончательно ясно, в чем разгадка этой половинчатости и расплывчатости ватиканского настроения: папа как итальянофил тянет в одну сторону, а иезуиты как итальянофобы — в другую.

Кто перетянет? Судя по всем признакам, уже перетянул папа Сарто, со своей характерно крестьянской энергией упорства помаленьку. Прием короля кардиналом Свампа в Болонье и аналогичные факты — все это вещи небывалые, без прецедентов — вещи, которыми не шутят. Это симптомы и даже нарочитые манифестации. Да и а priori ясно, что тем долж-

¹ Госсекретарь (итал.).

но было кончиться. Орден иезуитов, конечно, очень богат, но разрыв конкордата с Францией недалек, а тогда французским католикам придется за свой счет содержать храмы, кюре и епископов. Расход колоссальный — и соответственно уменьшится добротная лепта, текшая доныне обильно из Франции в Рим и составлявшая главный доход св. престола. Тут предвидятся миллионные убытки, а таких даже иезуиты не могут же возмещать из года в год. А между тем Италия уже 34 года регулярно выплачивает папе солидную субсидию, которой Ватикан до сих пор не принимал, но которая непркосновенно лежит, растет и ждет только примирения, чтобы наводнить папские кассы. Затем, примирение с Италией введет клерикалов в широкую политическую жизнь страны, сблизит церковь с практическими интересами итальянского населения и тем, помимо всяких моральных выгод, значительно увеличит лепту этого населения. Словом, сколько бы ни трубили иезуиты, упорствуя до конца, что положение Мерри дель Валя и папские притязания на Рим «никогда еще»... *et caetera*¹, но сила вещей постановила свой приговор, и ничего не поделаешь. Близится день, когда папа и король обменяются визитами, и св. престол, махнув рукой на светскую власть, займется своими духовными делами.

Что выйдет из этой перемены для Италии — другой вопрос. И вопрос в высшей степени важный и интересный далеко не для одной Италии. Дело в том, что, примирившись с Квириналом, Ватикан разрешит своему воинству доступ к избирательным урнам. Кто может подсчитать, насколько многочисленной окажется новорожденная клерикальная группа в обновленной палате на Монтечиторио? Точно — никто не предскажет, но одно ясно, что клерикальная группа явится и что она будет не из самых слабых. На политической арене Италии, на скамьях крайней правой ее парламента сразу появится новая организованная сила. Как это отзовется? Радоваться этому? Печалиться? Ответ на эти вопросы зависит от основной точки зрения каждого, считает ли он полезной или вредной для прогресса открытую реализацию реально существующих задерживающих сил, к которым, конечно, надо причислить клерикализм. Не знаю, как вы, и сегодня спорить уж об этом не буду за недостатком места и времени, но я лично всегда полагал и полагаю, что именно в общих

¹ И так далее (*лат.*).

интересах прогресса — открытая реализация задерживающих сил всегда желательна. Раз они реально существуют, пусть лучше организуются и выступают плотным строем, а не скрываются в траве, неуловимые и не поддающиеся учету. Видно, по крайней мере, с кем споришь, и легче спорить...

Владимир Ж.

Русь. 22.06.1904



Наброски без заглавия. XVII

Знакомые люди недавно показали мне книжку г-на Бориса Гегидзе «В университете» — и сказали, что книжка эта нехорошая и что в ней очень много неправды, а впрочем, посоветовали прочитать. Я улучил время и прочитал. Действительно, хорошего мало. Но мне кажется, что винить г-на Гегидзе нечего. Конечно, он во многом не прав. Но это именно неправота, а вовсе не «неправда». Неправдой мы называем в подобных случаях нечто злостное и злонамеренное, за такую неправду на того, кто ее произнес и написал, мы негодуем. У г-на Гегидзе, по-моему, не чувствуется ни злобы, ни злых намерений: чувствуется только то, что человек не понял, а потому и не прав; и так как ему самому от своей неправоты грустно, то и нам следует не винить, не негодовать, а вдуматься в то, почему автор не понял, и, уяснив причину, намотать ее себе на ус.

Но прежде всего — оговорка. Г-н Гегидзе во многом не прав, но во многом и прав. Кутящая и франтящая половина русской молодежи изображена у него без всяких преувеличений — быть может, даже в несколько смягченных тонах. И в этом отношении то глухое неудовольствие, которое вызвала его книжка в некоторых группах интеллигенции, ничем не может быть оправдано. Очень хорошо, конечно, когда у общества есть своя святыня, и особенно приятно, когда роль этой святыни играет такой симпатичный объект, как русская молодежь. Но нельзя делать из святыни полинезийское «табу», не подлежащее прикосновениям и критике. Нельзя забывать, что симпатичная среда всегда состоит из маленького симпатичного меньшинства и огромного, совершенно бесцветного большинства, так же точно как среда не-симпатичная состоит из того же огромного бесцветного боль-

шинства плюс маленькое несимпатичное меньшинство. Разница между симпатичной и несимпатичной средой зависит не от самих членов этой среды, а от общественно-исторических особенностей данного момента. Если в данный момент сила вещей отдает первенство симпатичному меньшинству, среда будет симпатичной, если несимпатичному, то наоборот. Окраска среды — это и есть окраска первенствующего меньшинства, подобно тому, как мы целый дом называем белым или серым, в зависимости от того, в какой цвет выкрашена его наружная стена. Самая же масса всегда и во все моменты, кроме разве исключительных моментов стихийного энтузиазма, остается бледной и бесцветной, и о каждом из ее членов можно смело сказать, что «меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он». И так как зрелище всякого ничтожества непривлекательно, то и здесь ничего привлекательно нет, но человек, развернувший перед нами это зрелище, заслуживает вовсе не укора, а внимания и даже, если полагается, благодарности.

Выше я обмолвился, что г-н Гегидзе даже смягчил несколько тон. Право, я не знаю этой среды в Петербурге, но имел возможность наблюдать ее в большом русском городе европейского пошиба и могу побожиться, что там были типы, перед которыми любой портрет из книжки г-на Гегидзе — яко воробей супротив орла. У г-на Гегидзе пьют, играют в карты, шатаются по нехорошим местам — и только. В этом нет еще, слава Богу, никакой уголовщины. Я взял бы на себя смелость поручиться, что на самых окраинах испорченности в этой среде весьма попадаетесь если не прямая уголовщина, то нечто с нею пограничное. В «Руси» была недавно заметка г-на Буринского о студенте-альфонсе. «Племянник», рассказавший г-ну Буринскому эту историю, уверял, что никакая логика не докажет «безнравственности» такого заработка. Я — в скобках — тоже полагаю, что во всех подобных вопросах моральная точка зрения совершенно ни при чем, а плевая скверность альфонса должна быть уяснена с другой точки зрения — общественно-гражданской. Но это в скобках; я вспомнил об альфонсе только для того, чтобы перейти к другим разновидностям того же типа, в безнравственности которых даже племянник г-на Буринского не усомнится. Это — настоящие сутенеры, не только зашибающие оной функцией деньгу, но даже вымогающие и эксплуатирующие на этой почве. Вы спросите в испуге: разве есть? Есть, говорю. Есть и другие:

в разгар опасной эпидемии в одном большом городе два студента-санитара уличены были во взяточничестве. Г-н Гегидзе все это обошел молчанием. У него есть картежники, но ведь он устоял перед искушением вывести хоть одну компанию шулеров. Не выведен у него и коллега-предатель. Трудно как-то предположить, чтобы не нашлось оригиналов. Напротив, эти скверные наросты, скорбь всего честного студенчества, давно уже просятся под обличительное перо. Ясно, что г-н Гегидзе сел писать свою книжку вовсе не с желанием чернить и клеветать, иначе он не упустил бы лучших козырей: он, видимо, даже несколько щадил и стеснялся...

И, тем не менее, ничего не понял г-н Гегидзе в *настоящей* молодежи, в той, которая на первом плане и которую каждый из нас имеет в виду, когда произносит слово «молодежь». У г-на Гегидзе есть несколько попыток изобразить и ту среду, которая не кутит, но учится, думает, читает, всем интересуется, — и в ней он грустно констатирует красноречие, любовь и болтовню, своеобразный педантизм, увлечение формой и ущерб сути, вообще недостаточную серьезность и малую сознательность. И ставит г-н Гегидзе крест и над этой половиной, и отходит прочь от храма науки, и пишет на вратах его дантовскую резолюцию. *Per me si va tra la perduta gente*, а по-русски: Пропавшие люди живут под этой крышей.

Ничего не понял г-н Гегидзе, или по крайней мере его герой, от имени которого ведется повествование. И это непонимание так типично для современного российского обывателя, что грех было бы не остановиться и не растолковать себе, откуда это непонимание исходит и что знаменует. Ибо мы на каждом шагу натываемся на это обывательское недоумение понять ценность самых выдающихся явлений жизни из каких угодно категорий: печати, земства, театра. «Печать? — говорит он, презрительно хмыкая. — Хороша идейная сила. Издатель мечтает о пятаке, редактор все время боится, как бы кого не обидеть из сильных мира сего, передовик — я его знаю: был некогда адвокатом по бракоразводным делам, фельетонисты все повывлетали из третьего класса гимназии, а репортеры только потому и попали в газету, что временно другого занятия не нашлось. За каждого из всех этих господ я копейки не дам, а глядишь — они-то и суть общественное мнение...» — «Театр? Культурное влияние драмы? Оставьте, пожалуйста. Знаю я драматурга: первейший моветон, жену в гроб вогнал, а туда же еще пишет и поучает, какова должна быть семья;

актрисы и актеры каждую ночь после спектакля до четырех часов кутят, а я должен верить, что это все храм искусства, где мне говорят искренно-возвышенные слова?» — «Тоже, вот, и самоуправление называется. Михаил Петрович свое имение вконец разорил, а теперь уездным хозяйством управляет; из членов управы один — завзятый картежник, а другой каждый день цветные галстуки меняет. Раз у него галстуки на уме, какой же он земец?..» И так далее, без конца. И когда спросишь такого разочарованного обывателя: «Чего же вы, батенька, собственно, хотите?», он немного растеряется и поэтому еще с большим пылом закричит: «Я вот чего хочу, милостивый государь! Я говорю, что пока мы все моветоны, ничего у нас путного не выйдет ни из печати, ни из театра, ни из земства! Надо сначала людям поумнеть, усовершенствоваться, а потом уже пусть идут писать статейки, сочинять драмы и управлять уездным хозяйством. Вот чего я хочу. А до тех пор все это лишняя болтовня!»

Не могу сомневаться, что каждый из читателей слышал такие речи и не раз. Очень уж это распространенное настроение, распространенное особенно потому, что оно и дешево, и сердито. Главным образом дешево. Настолько дешево, что даже не учившийся в семинарии очень легко может применить эту точку зрения в какой угодно области — и ничего, сойдет. Можно взять любое из огромных событий всемирной истории и рассмотреть его этак в испачканный микроскоп. Распространение христианства? Да, это было великое просветление, но среди первых адептов в Риме, до начала гонений, было, несомненно, столько равнодушных краснобаев... Крестовые походы, духовная любовь к Иерусалиму? Да, но в глубине души у каждого крестоносца могла жить и маленькая мечта о большой наживе. В наши дни англо-бурская война? Да, но сколько дрязг и раздоров было внутри бурского лагеря, а зачем же Крюгер не умер на поле битвы, а уехал в Европу, якобы о чем-то просить; да и Кронье, говорят, на самом деле не то чтобы очень, и Девет, пожалуй, не так чтобы уж совсем...

Это можно продолжать до бесконечности. И обыватель в самом деле продолжает до бесконечности. Сплошь и рядом вы слышите из уст его про то, что душа его тоскует о великом деле. «Ну, так построй лестницу до самого неба!» — предлагаете вы ему, справедливо полагая, что дело это превеликое. Но он, оказывается, не так полагает. «Лестница до самого неба? — говорит он. — Да... Но вы вникните: таскать кирпичи,

пачкаться в известке, ссориться с плотниками... Нет! Слишком все это грязно. Нет! Раньше надо просветить этого плотника, внушить ему сознание долга, чтобы не приходилось с ним ругаться; раньше надо изобрести такую известку, чтобы не пачкала, и такие кирпичи, которые сами бы себя таскали!» И сидит разочарованный обыватель без дела. А в качестве крайнего проявления этого «критического» духа помню я из рассказов Кота-Мурлыки одного героя, который полюбил прелестную девушку, но никак не мог заставить себя забыть, что и она подвержена всем моментам пищеварения, что у нее в изящном носике противная слизистая оболочка, и вообще, ежи рассмотреть в микроскоп....

Баста, довольно примеров! Общее в них то, что здесь обыватель, как я выше выразился, на всякую крупную вещь норovit посмотреть непременно в изгаженный микроскоп: увидеть кривые деревья — и из-за них леса не заметить. Глядя на прекрасный дворец, он не любит издали его стройностью, но подходит вплотную и выведывает, не жулик ли хозяин и не вор ли подрядчик? Он на самом солнце готов считать пятна и ради пятен обругать это солнце нехорошими словами. Не выносит он пятен, и не хочет пачкаться его лебяжьей белизны обывательская душа, а так как немыслимо работать, не запачкав рук (народ недаром называет «белоручкой» бездельника), и так как нет такой красавицы, на белом лбу у которой не было бы ни одного пятнышка, то он, обыватель, становится в оппозицию к мирозданию, и все уже не по нем. Между тем прогресс идет своим чередом, газеты приносят понемногу свою пользу, театр свою, земство свою, молодежь свою, буры совершают подвиги, здоровые люди любят и женятся, несмотря на формы пищеварения, — и только он, обыватель, ковыряется глазами в своем любимом сору и косит в великолепной бесполезности. Грош ему цена!

Надо заметить, что это критиканство — специально российское явление. За границей его нет. Там понимают, что как Монблан состоит из крошечных атомов, так все великое слагается из множества мелких составных частей, каждая из которых сама по себе может быть очень даже неприглядна. Там понимают, что великие подвиги создаются мелкой, упорной, кропотливой и небрезгливой черной работой каждого серенького дня. Там это понимают потому, что там искони привыкли работать; в России этого не понимают потому, что слишком долго и бесплодно тосковали о работе, а она все не давалась

в руки, пока наконец люди не потеряли представления о том, что такое работа на самом деле, не создали себе о ней совершенно фантастическое понятие, как о чем-то ужасно эффектным, непременно под музыку... Метко это было недавно выражено в «Journal de Saint-Pétérshbourg» словами: ряд поколений qui ont eu le sort de gratter du papier au lieu d'agir¹...

Часто, очень часто критиканствует обыватель обо всем, что хорошего в жизни, в том числе и о молодежи. И мне всегда невольно вспоминается при этом известное выражение: нет великого человека для его лакея. Лакею действительно трудно поверить, что его барин и есть великий человек, ибо он этому барину горчичники ставит и пластыри наклеивает, знает все его прыщи, болячки и мозоли; и так как на прыщи, болячки и мозоли обращено все внимание лакея, то, естественно, эти неприятные мелочи заслоняют в его представлении все остальное, ибо он никогда не видал великого человека на арене его величия, а видит его каждый день только в спальне да в уборной. И лакею оно простительно, ибо таково его ремесло. Но подходить к явлению огромной важности и ценности и, закрывая глаза на его перспективу, копаться только в мозолях и прыщах — это, простите, это значит смотреть на великого человека с точки зрения лакея...

Владимир Ж.

Русь. 1.07.1904



Наброски без заглавия. XVIII

В лице Чехова умер человек, сыгравший крупную историческую роль в общественном и гражданском развитии России. Это, впрочем, не все понимали и не все и теперь согласятся. Его часто упрекали именно за то, что он будто бы ничего не давал для положительной жизни, вперед не двигал и даже назад не толкал. Сетовали, что он только попусту огорчает публику, вгоняет в слезы, а пути не указывает. Один господин (правда, уже давно) написал даже целое дознание под заглавием «Есть ли у г-на Чехова идеалы?». Я, впрочем, этого произведения читать не стал и не знаю, оказались ли, по данным дознания, налицо признаки идеала или нет. Но заглавие

¹ Которые занимались бумагомаранием, вместо того чтобы действовать (фр.).

запомнил как типичное доказательство той печальной истины, что прошлое поколение, в массе, подходило к Чехову совсем не с той стороны, с которой надо было, то есть совершенно не поняло его, не заметило и не оценило его громадного исторического значения. Было бы жаль, если бы теперь и мы, которым досталась скорбь пережить его, забыли признать его роль в духовном повороте, переживаемом Россией, и на его могиле низко поклониться не только праху поэта, но и памяти учителя.

Чтобы оценить эту гражданскую заслугу Чехова, надо хорошенько взглядеться в лицо той эпохи, которой он служил: что это была за эпоха, чего ей недоставало и какие нужны были ей пророки. Взглядеться нетрудно: эпоху эту мы знаем и помним, ибо героями ее были если не мы сами, то даже не отцы наши, а просто наши старшие братья. Дело было только лет 10 — 12 назад, не больше. Время было совершенно бесцветное и безлюдное, да другого и быть не могло, потому что это был результат того самого ряда поколений *qui ont eu le sort de gratter du papier au lieu d'agir*. Опять повторяю выражение здешней французской газеты, о котором упоминал в прошлой статье, и не раз еще его повторю, потому что уж очень оно бьет в самую точку. Я бы только прибавил: марали бумагу и вообще занимались разговорами, *au lieu d'agir*. Семьдесят пять лет разговоров — и, кроме коротенького перерыва, никакой работы — вот история российской интеллигенции. Что работы не было, ибо и не могло быть, — это все мы слишком хорошо знаем. Что было зато много разговоров — это ясно уже из отсутствия работы: где нельзя дело делать, там или умирают, или вкладывают всю энергию в разговоры. И был действительно целый потоп разговоров. Одна за другой налетали новые идеи, теории, системы; старое разрушалось, новое воздвигало на развалинах свои замки, но все это на словах, и замки были воздушные. Наяву оставалось все по-прежнему, ибо разговаривающие были сами по себе, а явь — сама по себе. В результате получалась непролазная бездна между идеями и практической жизнью. С одной стороны, это сильно облегчило «идеям» их полет: не имея никакой связи с земной жизнью, следовательно, и никаких уз, «идеи» помчались головокружительным вихрем; оттого и получилось то странное явление, что при сравнительной отсталости внешнего строя жизни интеллигентные русские во многих отношениях гораздо прогрессивнее расположены, чем французы, немцы или англичане, меньше их

заражены мелкими предрассудками и вообще менее буржуазны. Но, с другой стороны, все это и было именно только «расположением духа», а в жизнь не претворялось — и оттого в душу интеллигента мало-помалу бессознательно всосалось глубокое убеждение в полной практической бесполезности всяких «идей». Впрочем, слово «убеждение» здесь не подходит. Напротив, в самые тяжелые мгновения интеллигент все-таки был «убежден», твердо и сознательно убежден, что рано или поздно, а «идеи» прорвутся в жизнь, и жил с этой верой, и умирал с нею. Но это была сознательная вера, построенная не столько на внутреннем инстинкте предчувствия, сколько на неопровержимых свидетельствах мировой истории, которая всегда и всюду в конце концов давала победу «идеям». А *внутри* было нечто другое: внутри души интеллигента жила бессознательная *привычка* к пропасти, лежавшей между «идеями» и практикой: эту привычку он всосал с молоком матери, потому что и отец его, и дед состарились и умерли на посту разговоров *au lieu d'agir*. Психика нескольких поколений была дрессирована бездельем — и эта дрессировка могла привести только к одному результату, и действительно привела: к упадку энергии. То поколение, с которым воспитался Чехов, было уже отмечено полной атрофией энергии, клеймом безотрадной вялости. Оно родилось с опущенными руками и, родившись, стало скучать. И оно, конечно, не могло не предвидеть в конце концов неизбежной победы «идей», но это была холодная, жидкая уверенность, а не пламенная вера, способная придать и удесятерить силу. И понятно: когда и дед, и отец верили в те же самые вещи и ровно ничего из этой веры не вышло, то уже внуку трудно сохранить энтузиазм. Энтузиазм, по существу своему, есть нечто молниеподобное — яркое, но мгновенное: перевести его в хроническую форму, вроде насморка, чтобы держался и зимой, и летом, невозможно. Поколение Чехова не знало энтузиазма, порыва, импульса и, когда встречало энтузиаста, не могло удержаться от насмешливой улыбки, и даже как бы конфузилось за чужую наивность. Никогда еще не было более исковерканного поколения в России, и да не повторится.

Такова была эпоха. Чего ей недоставало? Энергии, способности к энтузиазму и порыву. Какие пророки были ей нужны? Пророки энергии, энтузиазма и порыва. Но для того чтобы они, придя, могли не вотще, а наверняка и плодотворно сеять семена оживления, надо было еще подготовить

почву. Толпа инстинктивно чуяла, что чего-то важного ей недостает, и смутно чего-то ждала, но ожидание было смутное, невыясненное, несконцентрированное, и в этом нестройном гуле еще легко мог бы затеряться бесследно призыв к новой жизни. Надо было сосредоточить настроение растерянной массы вокруг главной и основной нужды момента, а главная нужда эпохи безвольных нытиков была бодрость и энергия. Тогда и возник Чехов. С того дня, как он впервые нашел себя самого, до мгновения кончины — его песня была сплошным молением о бодрости, о силе, о полете и порыве. Он ни о чем никогда не говорил, кроме нашей серой жизни, серой и унылой насквозь от «оврагов» до вершин, но об этой жизни он умел говорить так просто, задушевно и вместе с тем так чародейски искусно, что нам сразу выяснялся главный ее фон и тон — заунывный тон

*Безрадостной жизни, лишеной желаний и цели, —
Унылой, как ливень, — как вой леденящей метели.
В степи, где не видно дороги...*

И становилось понятно, что так больше жить нельзя, что такая жизнь — не жизнь и такие люди — не люди, а нужна жизнь яркая и творческая, и люди для нее сильные, способные увлекаться — добром или злом, на подвиг или на грех — лишь бы увлекаться, отдаваться целиком, всей глубиной порыва, до самого дна души. Чем больше мы слушали Чехова, тем яснее становилось, о чем мы тоскуем: мы, бессильные, тосковали о силе. Сильная личность стала нашим идолом, как в рассказе Чехова «Воры», где серый писарек или, не помню, фельдшер завистливо любителю на яркую жизнь конокрадов, — мы тоже почуяли, что в иные минуты даже грешная сила лучше праведной дряблости. Так путнику, томящемуся жаждой в пустыне, грезится вода, вода, вода, и под конец уж он мечтает о том, какое это счастье утонуть, утонуть и захлебнуться насмерть, но в воде, холодной и обильной воде. К силе тянуло нас, как к воде изнемогшего от жажды.

Почва была готова, настроение сконцентрировано, ожидание сосредоточено — пришла пора зазвучать призыву, и призыв зазвучал. Произнес его не Чехов: *эта* задача пала на долю другому таланту. Чехов истолковал усталому поколению его заветную думу, научил его устремить все взоры в одну точку горизонта. М. Горький пришел и в этой точке, словно в вол-

шебном фонаре, рассыпал перед нами те именно образы, которых мы ждали, по которым скучали, — образы цельной силы и глубокого порыва. Правдиво ли списал он эти образы с реальной жизни — что за дело! Правда, разные люди — вроде того господина, что сочинил дознание об идеалах Чехова, — не раз пытались углубиться в вопрос о том, является ли М. Горький точным бытописателем босяков или не точным, но вопрос это был совершенно праздный, потому что не в босяках было дело, и даже, может быть, и босяков-то никаких у Горького не было. Он явился просто сказочником — пришел в надлежащую минуту рассказать нам сказку о том, о чем мы давно мечтали; и так как действие сказки всегда совершается далеко, в неведомой стране, за тридевять земель, — он и перенес свои сказки в таинственное царство босой команды, — просто потому, что нам оно незнакомо и о нем еще можно рассказывать красивые небылицы. Но в этих небылицах и лежал секрет обаяния — эти-то небылицы и сослужили российской интеллигенции великую решительную службу: яркими чертами обрисовали то, чего ей недоставало и к чему ее томительно влекло, и завершили, и закрепили ее духовное перерождение. Древние греки, говорят, окружали прекрасными статуями женщину, в себе носившую дитя, чтобы она любовалась их стройными телами и родила стройного ребенка. В трудный переходный момент, когда Россия, быть может, готовилась к родам новой жизни, М. Горький чаровал ее картинами яркой неукротимой силы — чтобы назревающее поколение с зарей нового столетия вошло в жизнь энергичным и сильным. В этом отношении совершенно неисчислима заслуга этого таланта и завидна его судьба, потому что редко удавалось человеку настолько вовремя прийти, найти так удачно и метко то именно слово, которого ждет эпоха, окрасить цветом своей личности целый исторический поворот и поистине, хоть на час, стать вождем поколения и властителем его дум. С этой точки зрения само собой напрашивается сравнение с недавно умершим Теодором Герцлем, предводителем сионистов: люди, конечно, разного порядка, моменты — здесь и там — далеко не одинаковой важности, результаты не одинаковой ценности, но и один, и другой в промежуток немногих лет изумительно переродили настроение своих аудиторий, вдохнули в них как бы новую психику — и оба, когда вдумаясь, напоминают нам о том, что пора было бы критически пересмотреть наши узко правоверные учения о ничтожестве личности в истории...

Роль, выпавшая в этом повороте Чехову, была не так ярка, но без Чехова не так быстро и не так полно совершился бы этот поворот. Его работа — работа собирателя русской печали, что накопилась целым рядом поколений, отлученных от живого дела, — работа его требовала больше вдумчивости, чуткости, любви, даже больше таланта, чтобы ни одной слезинки не забыть и все привести к одному знаменателю — к тоске о человеке-соколе, способном желать и дерзнуть. Если теперь интереснее стало жить, чем было десять лет тому назад, если опять забродили надежды и встрепенулись новые силы, — благодарность тому, кто подготовил миг пробуждения. На краю могилы он успел заметить это свершившееся пробуждение, и на палитре его засверкали было новые бодрые радостные искры, но теперь он умер, и без него утвердятся в жизни молодые всходы, которым суждено, быть может, осуществить то, о чем он каждой страницей, каждым словом тосковал. Жизнь их будет горяча и красива, как пламя; мы, нищие, ничего не можем пожелать этому назревающему поколению богачей, кроме одной радости: чтобы в неизбежные минуты усталости был у них такой же чуткий друг и задушевный утешитель, какого схоронили теперь их старшие братья.

Владимир Ж.

Русь. 4.07.1904



Наброски без заглавия. XXI

В «Откликах» г-н Абаддона сказал несколько слов о близкой «эмансипации провинциальных центров от культурной гегемонии столиц» и о росте южных газет, южных книгоиздательств, южных литературных и иных обществ. Я не стыжусь признаться, что прочитал эти строки с учащенным пульсом: это — первое, беспристрастное и в то же время авторитетное признание плодов очень трудной и сложной работы. Лучшие силы провинции искони уходили в столицу, и провинция — громадные заселенные пространства — оставалась при второстепенных духовных средствах. Печать, наука, театр — во всех отношениях провинция осуждена была питаться товаром

второго сорта. Можно себе представить, легко ли было при помощи этих же сил второго разряда начать и вести борьбу за культурную эмансипацию, то есть конкурировать с первоклассными ресурсами столицы. Мечта о соперничестве, например, со столичной печатью, вслух почти не высказывалась, да и внутри, втихомолку, тоже, вероятно, не формулировалась с полной ясностью — из опасения, что свои же местные люди засмеют и скажут: «Куда вам!» Приходилось бороться с врожденной склонностью провинциала к дезертированию в столицу, с полным отсутствием трезвой гражданской привязанности к родному углу. Чуть выдвигалось мало-мальски заметное дарование, пробуждались в нем и тяга в столицу, мечты о питерской «жизни» и питерских гонорарах. Местные писатели, получившие доступ хоть однажды в столичную толстую журналистику, не хотели уже и пальцем о палец ударить для печати своего края и на всякую просьбу отвечали очень резонно: «В толстом журнале мне дадут столько-то рублей за лист, а вы не можете; но если бы и вы, поднатужившись, дали столько же, то мне все-таки выгоднее печататься в журнале, который читает вся Россия». И это звучало трезво и разумно, и в этом не слышалось ни тени того сознания, что ради превращения крупных захолуствий в культурные центры стоило бы пожертвовать кое-какими выгодами — и денежными, и моральными. А раз не слышалось этого сознания, то и возражать на такие резоны нельзя было, и провинциальной газете приходилось мириться со своей ролью — выкармливать птенца, пока у него крылья не окрепнут, а он тогда на нее плюнет. Курьезнее и обиднее всего было то, что сама публика, в интересах которой велась эта борьба, ничего не понимала и, грабя самое себя, жужжала в уши каждому своему работнику не из круглых бездарностей: «Вот бы вам, батенька, в столицу!»

Если так трудно было с печатью, то в других отношениях было еще труднее. С официальной наукой совсем ничего нельзя было поделаться: назначение тех или других ее представителей никоим образом не могло зависеть от желания или нежелания местных людей. А жрецы науки со своей стороны так же точно тяготели, кто получше, в столицу, как и пишущая братия, и только в самое последнее время эта тяга и у них как будто ослабевает — может быть, оттого, что и они уже заметили рост и оживление провинции. Но еще хуже, пожалуй, обстояли дела в отношении театра. Тут уже было повальное

бегство на север: устарелая и преувеличенная репутация казенных театров влекла в Петербург и Москву буквально всех, в ком была лишь искра дарования. Провинция жила не театром, а какими-то суррогатами театра, и только летом отдыхала на гастролерах, тоскливо подумывая о том, сколько из этих гастролеров здесь, в провинции, родились, выросли и на ноги стали. В этом отношении выше всякого спасибо стоит заслуга покойного Соловцова. Сам он был недюжинный талант, но нашел в себе решимость бросить Александринский театр и начать дело в Киеве. Он объединил вокруг себя несколько блестящих дарований и создал труппу, которой могли позавидовать столицы. Люди тонкого вкуса говорили мне, что даже у Станиславского «Дядя Ваня» не шел так хорошо, как у Соловцова при жизни Рощина и г-жи Немирович. Но странно трагическая судьба киевской труппы известна: умер Киселевский, актер редкой силы; умер блестящий комик Чужбинов; был убит Рощин-Инсаров — «зародыш русского Поссарта», по справедливому выражению г-на Дорошевича; умерла талантливая Немирович и, наконец, в самый день десятилетия киевской антрепризы умер сам Соловцов. Все, кроме Киселевского, умерли в самом расцвете лет, и от этого разгрома уцелели только двое из соловцовских первачей — Пасхалова и Неделин, — и опять не стало образцовой первоклассной труппы в провинции, но инициатива Соловцова доказала, что театральное дело в провинции может быть поднято до какого угодно уровня, и это доказательство не забудется. Новое одесское дело г-на Долинова, начатое, по-видимому, с сознательным намерением дать югу во что бы то ни стало первоклассную русскую драму, которая могла бы со временем создать свою самобытную традицию в русском искусстве, — это и есть многообещающее продолжение сибиряковского начала. Но сколько трудностей и тут на пути!

Надо отдать полную справедливость столичной печати — и толстой, и ежедневной: от нее в этой работе провинциальная интеллигенция не получила ни помощи, ни ободрения, ни доброго слова. Оттого привет г-на Абаддоны растрогал меня, как растрогает всех культурных работников провинции от мала до велика. Там к этому не привыкли. Там привыкли, что столичная печать отмечала курьезы и скандалы провинциального быта, но о духовном росте провинции и ее печати самым гробовым образом молчала. Это — упаси Боже! — вызывалось не

ревностью: столица просто не замечала. Тем обиднее было, тем чаще возникали сомнения в успешности работы, потому что все-таки мнение столичной печати было бы на первых порах очень важно для неокрепших провинциалов. Даже когда столица ненароком обращала внимание на иногороднюю печать, это выходило как-то не с того конца. Замечаемо и отмечемо бывало не то, что провинциальная газета жила в тесном слиянии со своим читателем, старалась заменить ему кое в чем, по возможности, и журнал, и иностранную прессу, давала живые картины общественной жизни за границей, задорно волновалась всеми вопросами искусства, литературы и — *si fata sinant*¹ — политики, вообще будоражила и оживляла свою публику так, как давно уже не колыхала своих читателей побледневшая петербургская ежедневница; это как-то не замечалось, а отмечаемы зато бывали случайные факты из той же области скандалов и курьезов — например, что два журналиста поругались с необычайной жестокостью... Как это ни странно со стороны органов, призванных обозревать всю русскую жизнь и отмечать и ободрять всякое проявление живой и бодрой силы, — в толстых журналах за последние годы не было ни одной путной заметки о культурном росте провинции. Все это в конце концов подействовало хорошо: оно приучило провинциалов рассчитывать только на себя и придало им, *par dépit*², необходимую долю самоуверенности. Помню, как-то один добрый и талантливый столичный журналист оплакал печатно одного из своих провинциальных коллег: вот, мол, и даровитый, и симпатичный, но работает в провинции, и оттого «никто о нем не знает». Оплаканый коллега был благодарен за доброе слово, но решительно не понимал скорбного настроения столичного журналиста. Он говорил мне:

— Как же это так «никто» обо мне не знает? Газета моя расходуется по району, который будет величиной с добрых пол-Франции; аудитория у меня, по самому скромному счету, тысяч в 75; читают мои очерки на джутовых и табачных фабриках, в народных чайных у пристани, за прилавками магазинов, в кабинетах зажиточной интеллигенции; после каждого очерка я получаю десятки писем, где меня хвалят

¹ Если судьбе угодно (*лат.*).

² Назло, из духа противоречия (*фр.*).

или упрекают, благодарят или опровергают. А он божится, что меня никто не знает. Эти столичане, очевидно, провинциалов даже за людей не считают!..

Был этот разговор около двух лет тому назад. Теперь это настроение, вероятно, еще окрепло, и в умах культурных работников провинции с каждым днем упрочивается сознание, что свет на столице не клином сошелся, что огромные районы юго-запада, черноморского и прикаспийского юга или Поволжья представляют огромное поле, на котором не зазорно работать самими что ни на есть тонкими и усовершенствованными плугами. Попутно оживлению провинции растет и уровень морального и материального комфорта, доступный на месте провинциальному журналисту или актеру, и все это с каждым днем прочнее будет удерживать местные силы от дезертирства, хотя бы столица и еще десять лет игнорировала то, что происходит в остальной России.

Все это так, но как это все медленно достигается и в особенности как тяжело дается перевоспитание публики, того самого обывателя, ради которого и ведется эта сложная работа эмансипации. Есть, говорят, такие мужья и вообще главы семейства, которые обыкновенно позже всех посторонних узнают о событиях, совершившихся в их собственном доме. Очень похож на них провинциальный обыватель, который до сих пор не понял, в чем дело. Он, быть может, давно перестал выписывать столичную газету, и читает свою местную, и даже похваливает, но в глубине души у него издавна засело убеждение, что в провинции все — второй сорт и вообще труха по сравнению с Питером. И когда он встречает того самого журналиста, благодаря которому получил возможность заменить столичную газету местной, он по шаблону говорит ему старый комплимент: «Вот бы вам, батенька, с вашим талантом да в Петербург»... И если тот возразит, что ему и в провинции хорошо, обыватель даже не поверит, ибо ему даже не приходит в голову, что если провинция хуже столицы, то с этим надо бороться, ревниво удерживая местные силы на месте. Эта психика унтер-офицерской вдовы, эта недогадливая косность обывателя страшно тормозит усилия культурных работников провинции, и для них, для обывательской публики, полезнее всего было бы почаще слышать из столицы, в которую они еще по старой памяти так набожно верят, констатирование совершившегося у них под носом и даже не замеченного ими перерождения провинции. Если эти вели-

ковозрастные ученики никак не могут сами догадаться, что они выросли из коротких штанишек, пусть учитель напомнит им, что они уже не школяры. Это необходимо. И оттого я особенно радуюсь возможности закончить сегодня тем же, с чего начал, — признательным указанием на мимолетное, но авторитетное замечание г-на Абаддоны, которое далеко не без пользы будет подхвачено в провинции.

Владимир Ж.

Русь. 24.07.1904



Вскользь

...Я как-то уехал из Петербурга на Днепр, и так как Петербурга я не люблю и жилось мне тут не хорошо, я дал себе зарок отдохнуть на юге душой и освежиться.

Поселился в небольшом тихом городке, тщательно удалил от себя, не разбирая пола, всех, кому было больше девятнадцати лет, и разделил свой день на две такие части: до обеда сидел взаперти за своими работами, а после обеда набирал компанию самой зеленой юности, включительно до одной барышни тринадцати лет, и мы уходили куда-нибудь шататься или уезжали на лодке.

Было нам ужасно весело, по крайней мере мне.

Я болтал о пустяках, хрипел итальянские песенки, бегал наперегонки, катался по траве; один раз даже одетым полез в воду — не с какой-нибудь целью, а просто так, для веселости, и чтобы выкинуть что-нибудь такое, что не всякий день делаешь.

Думаю, что не только мне было весело, но и всей компании, потому что уж очень мы попадали в тон друг другу и нам было так очень уютно.

А в тон друг другу попадали действительно до полного тождества, до того, что во время наших прогулок где-нибудь на реке или в лесу, когда вдруг посреди нашего щебета выпадала минута молчания и мы только млели от блаженства природы, нам всем одновременно приходила в голову одна и та же мысль, и мы в один голос восклицали:

— Как хорошо, что предки с нами не поехали!

Это в самом деле было очень хорошо, и мы всегда старательно оставляли старших дома.

Это у нас даже называлось нарочитым термином: посолить предков.

Впрочем, мы делали это искусно и им даже виду не показывали; напротив, мы их аккуратно приглашали с собой, но уж как-то само устраивалось, что они за нами ни разу не увязывались.

Однажды, Впрочем, едва не вышла такая беда: мы собрались устроить большую поездку на целый день вверх по реке, на остров, и кто-то из покойного поколения выразил желание поехать с нами.

Надо сознаться, что мои друзья были в отчаянии, и я тоже совсем приуныл. Ничего нельзя было придумать для предотвращения такой неприятности: не прямо же сказать, чтобы сидели дома.

Та самая тринадцатилетняя барышня всю ночь не спала и молилась, да минет чаша сия.

Господь действительно послал свою милость: у кого-то из предков разболелись зубы, и мы поехали одни.

По случаю избавления от опасности нам было, конечно, веселее, чем когда-либо, и тут и вышел тот случай, о котором я хочу рассказать.

Дело в том, что мы, уезжая, полагали вернуться вечером, но на острове оказалось так хорошо, что мы решили там и переночевать, в большом трактире у пристани.

В состав моей компании входили члены двух семейств: одно было представлено целым выводком молодежи всяческого пола и не свыше лет пятнадцати, а другое — двумя девушками девятнадцати и семнадцати лет.

Поэтому были сообщены сочинены два письма, кажется, даже в стихах, с извещением, чтобы нас раньше завтраго не ждали; а я вручил эти письма лодочнику, дал ему рубль и приказал ехать в город и аккуратно вручить оба письма соответствующим предкам.

Отправив лодочника, мы пошли завтракать, потом пошли скитаться по острову, потом смотрели какой-то замок и оранжерею, потом опять что-то такое ели, потом играли в шарады, причем я изображал мадам Патти в слове «гидропатия»¹ и пел сопрано, потом бегали в ловитки, пока совсем не посходили с ума от веселья и приволья.

У меня на душе было так, точно меня выкупали в водах Леты и улетела вон из головы и отлипла от сердца вся скверна, слякоть и мразь, накопленные за семь лет поденной газетчины.

¹Гидротерапия.

Я только накануне сочинил фельетон о травосеянии, но в этот день потерял всякое воспоминание о бездне премудрости, и если бы вы назвали при мне, например, имя Энгельса, я, как сквозь сон, припомнил бы, что это, кажется, компаньон по издательству журнала «Нива», n'est-ce pas¹?

А в конце концов, когда мы устали и когда уже стемнело, мы вернулись в трактир, выбрали огромную комнату на втором этаже, нанесли туда целый потоп свежего сена, легли и стали сосать шоколад и рассказывать разные сказки. Тонуть в сене было чудесно, и с блаженством думалось о том, как через час подымется луна и можно будет тихо-тихо, еще переговариваясь лениво и расслабленно друг с другом, понемножку задремать,

*как меж цветами пташка, на закате,
вся в аромате...*

Вдруг вошел кабатчик и спросил:

— То не до вас депеша?

Оказалось, телеграмма была действительно «до нас». Там было сказано: «Приезжайте сегодня, страшно беспокоюсь». Было подписано имя матери двух старших барышень.

Вот тебе и раз...

Тут у нас вышел принципиальный спор.

Барышни были ужасно огорчены, но считали необходимым вернуться; младшая молодежь, едва не плача, уговаривала их остаться.

Я тоже советовал остаться:

— Ведь ваша мать письмо получила, значит, вы свое дело сделали, и ей нет причины беспокоиться и думать, что вы утонули в реке.

— А вот видите, она все-таки беспокоится...

— Так ведь это уже не ваша вина, а ее. Вам-то за что же лишать себя веселого бивуака? Ведь не каждый день случается.

Девушки принципиально соглашались, но говорили, что все-таки, хоть мама и не права, а она будет мучиться и беспокоиться напролет всю ночь; ergo² — надо ехать. И надели свои кофточки.

Оставаться без них не было смысла; мы расплатились, наняли лодку и поехали, молча и хмурясь, и были похожи на побитых щенят.

¹ Не так ли? (фр.).

² Следовательно (лат.).

Вот и весь случай.

Дня через два я встретился где-то с матерью этих барышень.

— Стыдно! — сказала она.

— А в чем дело? — спросил я.

— Вам телеграфируют, что я беспокоюсь, а вы уговариваете моих дивчат не обращать внимания на мою тревогу и заставить меня страдать ради вашего пустого удовольствия!

— Гм. Видите ли, тамап, — ответил я, — это требует пространного обсуждения. Вы вот говорите: ради пустого удовольствия. У вас в этом городе какие-то захолустные термины: «пустое» удовольствие. Точно не все равно, какое оно, пустое или полное. Вам теперь, тамап, лет 38: вы уже, значит, старенькая — мы с вашими дивчатами, когда говорим о предках, подразумеваем и вас. И потому именно, что вы уже не дитя, вам полагалось бы знать, что у человека в жизни бывает очень мало хороших дней, о которых можно было бы с приятностью вспоминать; а ведь это очень важно для дальнейшей жизни — иметь о чем повспоминать с приятностью и сердечной улыбкой. Вы сами, вероятно, когда на душе станет особенно погано, отдыхаете и освежаетесь на приятных воспоминаниях. Причем могу вас уверить, что это вовсе не воспоминания о первой встрече с вашим покойным мужем: покойник был прекрасный человек, но браки в наше время, как известно, заключаются без всякого романтизма, а серьезно и с оглядкой, так что и вспомнить нечего. Тем не менее хорошие воспоминания у вас есть, и если вы пороетесь в них, то убедитесь, что все они относятся к той поре, когда вам было, как теперь вашим дочерям, очень немного лет, и почти все сводятся к тому, что вот когда-то вы в компании молодежи провели день или вечер не так, как всякий день или вечер, а иначе, необычно, и это было почему-то ужасно весело. Если бы в минуту кислого настроения вдруг не оказалось за вашей спиной ни одного такого воспоминания, то есть если бы в вашей молодости не было таких дней, вы лишились бы очень большой утечи; а когда вы еще подрастаете и кислые минуты превратятся в горькие часы, эти воспоминания, при всей их скромной незначительности для постороннего человека, приобретут для вас еще большую ценность. Но когда ваши дивчата переживают такой день беспричинной и безоблачной веселости, вам это кажется пустым удовольствием, и ради своего каприза, ради какого-то совершенно немотивированного «беспокойства» вы им пере-

биваете этот хороший день и портите немногую радость. Извините, тапан, но это выражение «пустое удовольствие» напоминает мне теорию моего инспектора Трошки — будто выпускать ученика из класса во время урока можно только «по уважительной причине», а никак не «попусту». А если ребенку просто утомительно стало сидеть в классе, то есть организм потребовал свежего воздуха и движения, — это для Трошки «попусту». Но ведь на то Трошка был неуч, а вы где-то педагогику проходили. Какая же вам нужна «уважительная причина» для того, чтобы удовольствие не было «пустым»? Вы забываете, что все мы, живущие на болоте цивилизации, страшно издерганы, от мала до велика: я — скорострельным писательством с десятью процентами всяческих осечек, ваши дивчата — беготней по урокам и интеллигентной хандрой и даже наши совсем юные спутники — экзаменами, гимназией, придирками. Ведь недаром же мы этак всей душой были в тот день счастливы, недаром так радостно ухватились за мысль переночевать на сене: очевидно, душа изболелась от пакостной обыденщины, стихийно захотелось на минутку раздолья, своей воли, свежего сена. Размять затекшие плечи. Если бы вы не помешали, дивчата вернулись бы домой освеженные на целый заряд времени, а теперь они вернулись с досадой и мусором в сердце. А все ради чего? Ради того, чтобы вы не «беспокоились», хотя вас предупредили, и, значит, беспокоиться было решительно не о чем. Вы меня опять-таки простите, тапан, но это пренебрежение к чужому удовольствию, это разделение счастливых минуток на «пустые» и «уважительные», это все очень уж как-то некультурно и легкомысленно.

— И вовсе я не даром беспокоилась, — прервала эта госпожа со значительным видом, — у меня были причины.

Я махнул рукой:

— Слышал, но пропускаю мимо ушей. Мне потом что-то жужжали: что трактир на острове считается в городе «не того», что туда ваши обыватели ездят с чужими женами, и так далее. Какая-то чушь, которая никакого отношения к нам не имела, о которой даже заговаривать, вам в особенности, не стоило бы; и я для того и пропускаю мимо ушей, чтобы не сделать вам выговора за мещанское направление мыслей. Мы лучше это оставим, потому что я, собственно, еще не ответил вам на вопрос: отчего я советовал вашим дочерям остаться и причинить вам тревогу? Для вашей пользы, дорогая, для вашей пользы. Мне по-человечески было бы жалко вашей

беспокойной бессонницы. Но взгляните в корень дела. В жизни ведь нет такого пустяка, который не был бы симптомом чего-нибудь серьезного и крупного. Когда я вижу, что, где дочери весело, там матери тошно, я говорю себе: эге! Мать и дочь — люди, очевидно, противоположного настроения, и тут не сегодня, так завтра будут конфликты. Сегодня в пустяке, а завтра в чем-нибудь важном: сегодня из-за ночевки на сене, а завтра... *chi lo sa*¹? Тут, тамап, надо смотреть прямо в суть реальных отношений и не делать себе иллюзий. Вы прислали дивчатам приказ: не ночевать на сене. Я спрашиваю, по совести, у ваших дивчат: признаете ли вы за тамап право заведовать и распоряжаться вашими ночлегами и вообще вашими поступками? Вы, тамап, сами понимаете, что девушки семнадцати и девятнадцати лет, начитанные, передовые, непременно по совести ответят: «Нет, мы не признаем ни за кем права командовать нами, а на этот раз уступили маме потому, что мы ее любим и нам ее жаль, и жертва не Бог вещь какая». На это я отвечаю: «А если не признаете за собой ничьей укачки, то, значит, у вас непременно выйдут тяжелые конфликты, если вы раньше исподволь не приучите вашу мать к сознанию, что она сама по себе, а ночлеги на сене тоже сами по себе. А приучение надо начинать именно с маловажных столкновений: поволновалась бы одну ночь, зато поняла бы, в чем дело, и впредь уже была бы готова. А то вы ее оставляете в заблуждении, будто и во всем намерены сообразовываться с ее настроением, — и когда придет серьезный момент и спор будет не о пустяке, и уж тут вы уступить не захотите, — то ваша бедная тамап тогда заплатится не бессонницей и не тревогой, а большими рыданиями. Подготовьте ее. Резонно?

— Видите ли, — сказала она гораздо более рассудительным тоном, чем я ожидал, — во многом я с вами согласна. Я тоже была молода и не признавала за своей матерью права регулировать каждый мой шаг. Но всему же есть границы. Я, когда была барышней, отвоевала себе право читать Золя, ходить без родителей в театр, гулять со студентами. Но мне никогда не приходило в голову провести ночь вне дома. Я понимала, что это неудобно. Да и никогда еще, до этого раза, я не видала примера, чтобы девушка не понимала таких простых вещей...

— Совершенно верно, тамап, — сказал я, — вы произнесли удивительно меткое слово: «Я не видала примера». Это

¹ Кто знает? (*итал.*)

очень типично. Когда вы, предки, требуете от ваших сыновей или дочерей доверия и послушания, то ссылаетесь на вашу опытность: я, мол, много жил и приобрел опыт, а потому и могу тобой руководить. Но опыт-то у вас какой-то странный, совершенно отрицательный: весь он именно в том и состоит, что вы «не видали примера». На моих глазах несчетные десятки раз молодежь выдвигала трудные инициативы: один затеял образцовую школу, другой — газету в медвежьем углу, третий — бюро юридической помощи крестьянам — и всегда предки, покачивая головой, говорили им: «Ничего не выйдет». — Почему? — «Да как же: мы опытни — и никогда не видали примера, чтобы образцовая школа выживала больше года, газеты в медвежьем углу — больше месяца, консультационное бюро — больше одной недели. Значит, и у вас ничего не выйдет». Так они и жили, норовя погасить всякий проблеск, и были уверены, что на их стороне опыт, — тогда как весь их опыт заключался в том, что они никогда ничего не видали. Ведь это скорее похоже на самую розовую неопытность... А ничего не видали потому, что их поколение, поколение 80-х годов, еще долго в истории будет в пример поставляемо как племя нытиков без порыва и без отваги начинаний — племя, которое не прожило, а прокисло свой век и не записало в летописи родины ни одного интересного дня. Вы же, папа, знаете, что теперь налетели другие птицы и поют иные песни. Время не то. Значит, быть теперь вашим дивчатам под руководством у вас совершенно немислимо. Вам, вероятно, известно, что системы пушек в современной артиллерии меняются очень часто. Как же взять старого служаку, учившегося палить еще из пушек образца 1880 года, и поручить ему обучение молодых солдат, которым придется работать с орудиями совершенно другой модели? А ведь жизнь теперь понеслась даже побыстрее, чем прогресс пушечного ремесла. Верьте мне, поступать в сегодняшней практической жизни по советам вашего поколения — это все равно, что, придя в гористую местность, нанять себе проводника из степных кочевников или учиться стенографии по церковно-славянскому букварю...

На этом, кажется, наш разговор и кончился, но я потом еще раздумывал на эту тему и не без тревоги спрашивал себя:

— Неужели и я, когда придет мое время, буду чужд и враждебен моим детям и тоже стану поперек их радости, и они тоже назовут меня насмешливо «предком»?

Не хотелось бы.

Знаю, что между отцами и детьми само время вырывает яму, и я не смогу верить в то, во что поверят мои дети, и не смогу сочувствовать многому из того нового, что замечу в них.

Но не хотелось бы мне тогда, на старости лет, повторить надоевшую ошибку, не хотелось бы тоже оказаться в положении скучной и лишней помехи на пути молодых сил.

Мне хотелось бы до могилы свято помнить и сознавать, что молодые силы всегда идут в сторону добра и правды, хотя их пути для старых глаз, быть может, и неисповедимы.

Хотелось бы верить, что я никогда не соблазнусь ролью тормоза в колесах катящейся жизни, но сумею и в старости, если доживу, почуять ее стихийное направление и пойти рядом...

Altalena

Одесские новости. 25.07.1904



Наброски без заглавия. XXII

Опять в этом месяце где-то слушались процессы об истязании детей, родных и не родных, и в газетах по этому поводу промелькнули письма очевидцев на тему вообще о том, как часто и много бьют в России детей. Я не читаю обыкновенно ни таких писем, ни судебных отчетов о таких делах. Не могу. Вообще у меня, выражаясь по-обывательски, «нет никаких нервов»: я видал самые кровавые хирургические операции и глазом не моргнул. Одного не в силах видеть: избияния, то есть вообще физической расправы сильного над слабым, взрослого над малым, троих над одним, власть имущего над властью не имущим; одним словом, такой расправы, при которой заранее известно, что пассивная сторона не может обороняться. Мне кажется, что, если бы мне пришлось высмотреть до конца смертную казнь или сечение оштрафованного солдата, со всей этой процедурой барабанного боя, я сошел бы с ума.

Оттого, жалея себя, эгоистически избегаю читать судебные отчеты о процессах детоистязателей. Однако, кроме этой, еще и по другой причине я считаю лишним следить за этими процессами. Мне претит то, что на суде все доискиваются непременно «истязания»: обвинитель доказывает, что была не порка, а именно истязание, а защитник настаивает, что было

не истязание, а именно порка. Публика сидит и слушает, и у нее создается и укрепляется убеждение, что вся беда в истязании, а вот ежели только порка, тогда хорошо, тогда можно. И так как я уважаю суд, то мне тяжело читать, как в зале суда обывателю внушаются такие превратные убеждения. Оттого и не читаю.

Через сто лет, читая про наши времена, потомки не поверят. То есть поверят, конечно, тому, что, с одной стороны, существовали Толстой и Чехов, а с другой — темная неграмотная толпа, которая была детей. Но не поверят тому, что были люди очень грамотные, которые читали Толстого и Чехова и в то же время были способны хладнокровно раздеть малого ребенка, положить его перед собой и делать ему больно с таким расчетом, чтобы как раз в самую меру, чтобы порка не перешла в истязание. Не поверят потомки!

Когда обнаруживается, что люди в таком-то отношении поступают дурно, господа авторы писем в редакцию тотчас же подают благой совет: «Проповедуйте этим людям, чтобы они перестали поступать дурно!» Авторы писем в редакцию думают, что этим можно достигнуть желаемого. Один из них недавно заявил в «Руси», что в существовании проституции виноваты мужчины, потому что, не будь спроса, не было бы и предложения, а потому надо проповедовать мужчинам воздержание, и кончен бал — нет больше проституции. А среди тех писем, в которых говорилось о случаях истязания детей и которых я поэтому не читал, были, без сомнения, те же советы нам, газетчикам, и вообще людям печатного ремесла: «Проповедуйте, чтобы взрослые не истязали детей!» Не сомневаюсь, что были такие советы, потому что обыватель наивен — неисповедимо, несокрушимо наивен. Мужчина развратничает, потому что это ему удобно, и родители бьют детей, потому что им это удобнее, чем воспитывать их сложными нравственными средствами, а господа авторы писем в редакцию думают, будто массовый человек способен «воздерживаться», повинясь какой-то проповеди, от того, что ему удобно. Да какая же еще проповедь нужна или возможна после той страшной главы «Братьев Карамазовых», где Иван рассказывает Алеше о страданиях побитого ребенка, а кроткий Алеша в исступлении шепчет: «Казнить!», — какая? Могу вас уверить, добрые люди, что среди умеренно порющих есть немало интеллигентов, которые читали Достоевского и содрогались над этой главой, но теперь Достоевский на полочке,

а детей своих они все-таки бьют, потому что это им удобно. Я всегда полагал, что Щедрин слишком слабо сказал: «Писатель пописывает, а читатель почитывает». Для характеристики отношений между русским писателем и русским читателем нужно более крепкое словцо.

Вечная ошибка прекраснодушных — думать, будто можно чего-то путного достигнуть, проповедуя грешникам и разбойникам. Они, мол, покаются и перестанут грешить и насильничать. Розовая наивность! Никогда не перестанет человек насильничать, пока это ему удобно. Если вы хотите, чтобы человек перестал насильничать, устройте так, чтобы насилие стало ему самому неудобно. Это значит: создайте вокруг него такую атмосферу, которая препятствовала бы его насильническим действиям и, в ответ на каждое из них, сулила бы ему невыгоды и неприятности. Это значит: не тому проповедуйте, кому насилие удобно, а тем, кому оно неудобно. С самим грешником, верьте мне, и разговаривать не стоит — не послушается. А если один на тысячу даже раскается и потом удивит мир праведностью, то это будет блестящее исключение, которое, как известно, только подтвердит печальное правило. Я совершенно непоколебимо уверен, что сколько бы мы ни извели бумаги на проповедование порющим родителям, чтобы они перестали пороть, ничего не выйдет. Обществу должны мы проповедовать — всем тем, чью душу возмущает и потрясает такое надругательство над ребенком, должны мы проповедовать, чтобы они, которых большинство, не ограничивались письмами в редакцию, а просто не допускали избиения так же, как честный человек не допустит при себе убийства или кражи — силой. Создайте атмосферу, при которой всякий, заносающий руку над ребенком — отец, отчим или воспитатель, — знали бы, что они не обернутся неприятностей, что вполне посторонние люди не поколеблются без разговоров схватить его за шиворот и оттащить от избиваемого, что на него полетят жалобы к прокурору, что к нему начнут наведываться околоточные, — одним словом, что общество не признает за ним права бить ребенка так же точно, как не признает за ним права бить взрослого чужого человека. Только тогда он увидит, что ему же гораздо удобнее и выгоднее перейти к другим приемам воспитания, более сложным, зато не влекущим за собой этого града неприятностей. Только тогда вы понемногу выведете из моды детобойство.

Но для этого надо прежде всего, чтобы мы сами перестали проводить иезуитское различие между поркой в меру и истязанием. Надо нам, обществу, понять, что в побоях над ребенком нет никакой меры, нет ни порки, ни истязания, а есть только одна сплошная подлая мерзость, которая не должна быть терпима ни законом, ни частными честными людьми. Каждый из нас, кто не трус, если слышит из ворот вопли взрослого человека, непременно кинется во двор помешать избиению. Но я десятки раз наблюдал, как порядочные люди, слыша вопли ребенка, только оглядывались и проходили мимо: там, мол, родители секут, а они имеют право, и нельзя вмешиваться. Вдумайтесь только в эту формулу, и вы ахнете — такая в ней темная бездна распахнется перед вами: один человек имеет право бить и мучить другого, потому что тот еще маленький. Что это такое? Где мы живем? Зачем мы грамотны, зачем на нас не звериные шкуры, зачем мы не ползаем на четвереньках, если у нас такие взгляды?

Я могу понять психологию драки, но психология побоев — это, мне кажется, должно быть нечто совершенно непостижимое для честного культурного человека. Уверенно и продолжительно избивать маленькое существо, лишенное возможности обороняться... да как это делается? Что при этом испытываешь? Какое затмение переживаешь? И волосы буквально дыбом встают, когда вникнешь в тот ужасный факт, что рядом сотни даже интеллигентных людей не видят в этом ничего непостижимого, не испытывают при этом никакого затмения и даже чувствуют себя в полном своем праве. Ну и пусть. Бог с ними. Но чтобы общество и закон, стоя тут же, признавали это право и только хладнокровно считали удары, следя, чтобы число их как-нибудь ненароком не перескочило за мифическую границу, где кончатся побои и начинается «истязание», — допустимо ли это? Одно из двух: или махнем вовсе рукой и дадим истязателям полную волю истязать, или твердо установим, что никто — ни отец, ни брат, ни сват — не имеет права даже руку поднять над головой ребенка. Суд и закон должны, ради своего достоинства, или вычеркнуть из списка преступлений само слово «детоистязание», или карать каждый удар, нанесенный отцом сыну, так же строго и трижды строже, нежели побои взрослого чужого человека, но не играть комедии микроскопического исследования детских синяков, дабы определить, от чего сие: от педагогики или от истязания. А впереди суда и закона должно пойти общество,

каждый из нас, и не допустить нигде, никогда и ни за что насилия взрослого над ребенком, не разбирая ни «меры», ни родителей, ни иных детоистязателей.

Владимир Ж.

Русь. 26.07.1904



Летучий листок. I

Петербург, 23 июля

На 6-м конгрессе я встретил учителя, который когда-то, в детстве, обучал меня святому нашему языку. Признаться, я был изрядным шалопаем и числился едва ли не самым слабым его учеником, однако он обрадовался нашей встрече и потащил меня на заседание группы «Иврия».

Меня приятно удивило то, что присутствующие свободно изъясняются на языке наших праотцев, я как зачарованный слушал речь Ицхака Эпштейна из Галилеи. Блестящий оратор: древнееврейский в его устах не менее благозвучен, чем итальянский! Жаль, что удалось понять лишь одно-единственное слово: *работай!*¹

Бедный учитель краснел за нас обоих: он, конечно, знал, что я не силен в иврите, но вот уж не думал, что его питомец ? полный профан. Я усовестился, и обещал, что до января сочиню для «А-Цофе» статью на иврите. В январе взял отсрочку до марта. Но вот уж и июль на дворе, а я пишу вам по-русски, уповая лишь на хорошего переводчика. Я даже обратился (на иврите) к известному знатоку нашего языка с просьбой оказать мне эту услугу. Добрых три часа корпел над коротеньким — две странички — письмецом, можете представить, сколь изящным и трогательным, преисполненным энтузиазма и доверия было сие послание. Я не сомневался, что самое твердокаменное сердце растает, читая эти строки. Оказалось, сердце моего гебраиста — тверже камня. Он отделался открыткой, где было (по-русски) написано: «Ничего не понимаю».

Делать нечего. Вооружимся терпением, сказал бы генерал Куропаткин. Придется снова просить отсрочку до января... Или до марта? Но всему есть предел: это мой единственный

¹ Господá! (ивр.).

шанс, и я обязан его использовать. Я уверен, что это действительно последняя отсрочка: в один прекрасный день редакция избавится от необходимости переводить мои статьи: достаточно будет просто выправить ошибки в иврите. Хотя в глубине души я сомневаюсь, что это будет просто...

Я собираюсь говорить не только о сионизме. Мне представляется, что у нас, евреев, даже сейчас, в рассеянии, имеются определенные признаки государства. Разумеется, государство без территории — это человек без ног; но ведь и без ног он человек. Говорят, что в мире пять великих держав, и шестая держава — пресса. В таком случае можно считать нас седьмой, хоть и не великой. Но послушать наших ненавистников, так мы и сейчас уже самая настоящая держава. Они приписывают нам такую власть, такое влияние на мировую политику, что сравнить нас даже с Великобританией — все равно как человека с обезьяной.

А если мы спросим: может ли считаться державой такая нация, которой любая другая нация может щелкнуть по носу, то услышим в ответ, что англо-бурская война показала: даже самой великой державе тоже можно щелкнуть по носу, и притом весьма чувствительно.

Короче говоря, мы уже государство. Больше того, мы всегда были государством, только сами не знали этого. И вся идея нового движения, возникшего среди нас, зиждется на том, что мы стали сознавать свою государственность и, таким образом, вступаем в эпоху ренессанса. При этом неизбежны всевозможные течения и направления, сопровождающиеся внутренними противоречиями и конфликтами: богатых и бедных, отцов и сыновей, учителей и учеников, битой спины и палки. Я хотел бы обсудить это с читателями ивритской газеты. Сионизм в широком смысле слова охватывает все аспекты еврейского возрождения: любой вопрос, связанный с существованием еврейства, входит в круг вопросов сионизма. Поэтому я не ограничусь рассмотрением проблем сионистского движения. Но сегодняшняя статья (точнее, полстатья) посвящается именно этой теме. На то есть две причины: первая — заканчивается шлошим вождя диаспоры и вторая — перед нами стоит исключительно важная задача, о которой говорится в статье г-на С., опубликованной на прошлой неделе в «А-Цофе» (перевод из журнала «Еврейская жизнь»). Речь идет о создании Керен Каемет школ для Палестины, о чем я пишу ниже.

В последнее время я виделся с несколькими добрыми сионистами, приехавшими из Литвы. Они все были очень встревожены и жаловались на рост территориализма. Они говорили, что молодежь восклицает: «куда угодно, только не в Палестину!», и называет Палестину *dos gerêgerte land*¹, и пишет внутри Давидова щита слово «Эрец». Я лично видел на одном листке даже такой щит Давидов, внутри которого было написано «Киев» — что уже совсем странно. И все-таки надо сказать, что менее всего должен беспокоить нас именно территориализм. Достаточно, по-моему, вдуматься, чтобы признать его недоразумением, которое скоро должно растаять без всякого следа.

Взгляните пытливо на самых ярких территориалистов: вы увидите, что это по большей части та самая молодежь, которая недавно еще насмехалась над верой Герцля в силу дипломатии. Невольно возникает вопрос: как же быть, если Уганда окончательно провалится? А ведь нечего лицемерить: она провалилась. Это уже ясно до того, что самые горячие угандисты вроде д-ра Пасманика начинают писать: «Прежде всего необходимо разделиться с Угандой!»

И когда Уганда сойдет со сцены, наши территориалисты окажутся в очень затруднительном положении. Территория — но какая? где? Им придется послать делегацию, которая объехала бы все столицы и всюду спрашивала бы: «нет ли у вас свободного пустыря, и почем продаете?» Но ведь это значило бы опять возложить все народные надежды на ту самую «дипломатию», которую левое молодое крыло сионистов всегда осмеивало.

Ясный вывод отсюда, по-моему, тот, что наши «ховевей эрец» не пойдут на такую измену своим недавним убеждениям: они для этого слишком последовательны и слишком умны. Они в конце концов не могут не понять, что даже для убежденного территориалиста единственная пригодная территория — это Палестина, потому что больше некуда идти. Они вспомнят то, что всем нам вообще следовало бы подтвердить: что и теперь уже Палестина есть самая еврейская страна в мире, ибо ни в какой другой земле мы не составляем такого большого процента населения, как в *Altneuland*², где на 600 тысяч жителей приходится 70 тысяч евреев. И так как евреи

¹ См. примеч. к с. 53.

² См. примеч. к с. 247.

очень быстро воспринимают просвещение, то из этих 70 тысяч (если бы даже не переселить туда больше ни одного еврея из Европы) в течение каких-нибудь 15—20 лет можно создать сильную культурную массу, которая, несомненно, получит преобладающее влияние среди остального дикого и невежественного населения. Нет в настоящее время страны, которую бы легче было объевреить, чем Палестину.

Из всего этого совершенно ясно вытекает одно предсказание: на ближайшем конгрессе бесповоротно будет начата крупная и сложная работа в Палестине. Достаточно прислушаться к разговорам, чтобы понять, что это решение созрело и не может не проявиться явно и сильно на 7-м конгрессе.

До сих пор сионизм пальцем о палец не ударил для работы в Палестине, и многие упрекают его за это. Мне кажется, что этот упрек неразумен и несправедлив и что сионисты очень хорошо поступили, если до сих пор не ударили пальцем о палец для работы в Палестине. Ибо до сих пор у них была другая задача. После неудачного опыта палестинофилов стало ясно, что мирное завоевание Палестины есть предприятие *политическое*, а потому оно может быть исполнено только *политической* организацией. Благотворительному учреждению, как богато ни было бы оно, такая задача не под силу.

Неудача ховевей Цион заставила всех осознать, что нечего и мечтать о попытках «автоэмансипации», пока мы не представляем собой настоящей политической организации. Когда это сознание окрепло и созрело, оно выдвинуло вождя, который создал эту политическую организацию. Создал ее за самый короткий промежуток времени: за семь лет. Для того чтобы совершить так быстро такую огромную работу, надо было, конечно, сосредоточить на ней все силы и помыслы народа, не отвлекаясь ни на мгновение в сторону, — даже в сторону Палестины. Если бы Герцль сразу призвал нас к работе в земле Израиля, это была бы грубая ошибка, точно такая же, как если бы студента первого курса послали делать больному операцию. Нужно кончить курс учения, чтобы иметь право лечить больных. Надо стать политической организацией, чтобы иметь право приступить к политической задаче. И теперь это сделано. Теперь мы стали политической организацией. Конечно, эта организация еще должна расти и усиливаться, надо усердно привлекать к ней новых людей, надо вести к тому, чтобы наконец под ее знаменем объединился *весь* еврейский народ, кроме только тех элементов, в груди которых уже

умерло все еврейское. Это расширение, укрепление и обогащение организации потребует, конечно, еще много времени и усилий. Но сама организация уже создана, уже готова, уже способна взять на себя политическую задачу мирного покорения Палестины. Оттого теперь со всех сторон и заговорили так горячо о работе в земле Израиля: мы чувствуем, что уже готовы, и рвемся к тому делу, к которому семь лет готовились. Значит, пора начинать.

История ховевей Цион и ховевей Аргентина открыла еще одну истину: невозможно получить искусственных колонистов. Нельзя прийти к человеку, который думать не думал об Эрец-Исраэль, и предложить ему землю, деньги, всяческие льготы только за то, что он поедет в Палестину. Поехать-то он поедет, но никогда не забудет, что его просили, ему предлагали поехать, и поэтому тот, кто предлагал, обязан до скончания века содержать его самого, и детей его, и внуков. Рано или поздно деньги иссякнут, так как на это никаких сокровищ не хватит. Колонист, уповающий на пожизненную субсидию, — не тот халуц¹, который нам нужен. Нужно, чтобы сыны Израилевы лелеяли мечту об Эрец-Исраэль и рвались туда так, как сейчас в Америку. Но это будет не раньше, чем Эрец-Исраэль сумеет удовлетворить все потребности колониста, то есть когда понадобятся рабочие руки — а рабочие руки не могут появиться раньше, чем начнется индустриализация. Вот тогда эмигранты наши станут рваться туда так же, как рвутся они в Нью-Йорк. Из этого следует, что требуется развивать в Стране Израиля промышленность, строить заводы, фабрики, прокладывать дороги, каналы, приобретать и обрабатывать невозделанные земли. Можно не сомневаться, что в конце концов это произойдет, ибо капиталисты Германии и Англии не сидят сложа руки, и если мы хотим, чтобы деловая жизнь развивалась в нужном *нам* направлении, чтобы востребовались *наши* рабочие руки, то создать все это должны именно *мы*, а не немцы и не англичане.

И сделать все это очень легко, потому что мы в Палестине большая сила — нас уже 70 тысяч! Но нету шансов на то, что удастся это когда-либо осуществить, если мы не учредим нормальные, хорошо оборудованные школы. Только школы могут

¹ Халуц (*ивр.*) — букв.: пионер, первопроходец.

превратить примитивную массу, не готовую к действительно плодотворному труду, в культурных рабочих, в созидателей, чей национальный идеал — высоко нести знамя Теодора Герцля до полной победы нашего дела. И даже если мы, европейские евреи, изменим этому знамени, вспомним выражение: Францию победил не прусский солдат, а прусский школьный учитель. Посмотрите на японскую школу. Всеобщее обязательное образование преобразило нацию. Если хотим национального возрождения, мы должны предоставить еврейскому населению Палестины то, что обеспечивает мощь и силу всякой культурной страны: широкое, полное и бесплатное всеобщее образование детей школьного возраста. Для этого требуются средства, и вы должны их собрать. Собирайте эти деньги с именем Герцля на устах, и цель ваша будет достойна этого имени, а имя — цели. День скорби и траура, день смерти Герцля, станет днем света для ваших внуков на свободной Земле Израиля.

Дорогой читатель, я уважаю ваше мнение, как, надеюсь, и вы — мое. Я ведь пишу не только потому что люблю писать, да и вы читаете не просто так: пробежал глазами по строчкам, и из головы долой, о чем вы читали, зачем читали... Если я, повашему, не прав, говорите, в чем. Ну, а прав — так возьмемся и построим в Стране Израиля достойный Герцля памятник — еврейскую школу!

Владимир Жаботинский

А-Цофе. № 476. 30.07(12.08).1904

Перевод с ивр. Мих. Липкина



Герцль: идеалы, тактика, личность¹

Не беру на себя задачи сказать на этих немногих страницах что-либо цельное о последнем из эксилархов над Израилем. Это просто беглые догадки о его внутреннем мире, догадки, основанные на слышанном, виденном, читанном. Вся его личность еще загадочна и долго такую останется, но я выделил из нее некоторые частные загадки, потому что они меня больше всего интересовали. И, полагаю, не меня одного. Мне кажется, что почти каждый из нас, кому случалось задумывать-

¹ Печатается позднейший вариант: III. Доктор Герцль // Жаботинский В. Доктор Герцль. Одесса, 1905.

ся о Герцле еще при жизни его, не раз и без тревоги спрашивал себя: каковы же в полном объеме политические и общественные убеждения этого человека? до какой грани доходят его передовые взгляды, и где начинается его консерватизм? Конечно, он мог бы в ответ на это сказать: — Приди и прочти, — потому что, в самом деле, его убеждения достаточно ясно были высказаны в его речах и писаниях. Тем не менее возникали неясности, потому что некоторые шаги Герцля многим из нас казались нелегко примируемыми с его собственным гражданским мировоззрением. Опять-таки и тут большинство понимало, что все это вполне объясняется его в высшей степени щекотливым дипломатическим положением. Но все-таки получалась некоторая неуверенность, и для массы эта сторона личности Герцля — его гражданское *credo*¹, — если, конечно, не в целом, то во многих деталях остается вопросом, и этот вопрос не может не занимать многих в нашей среде, особенно молодежь. После 2-го конгресса возникла новая загадка: что за роль играла в сионизме Герцля Палестина? Был ли он способен отказаться от заветной земли ради скорейшего достижения *Judenstaat*'a²? В старинном девизе: *le shana habaa b'Irushalaim*³ — что было в его глазах важнее: имя ли Иерусалима или заманчиво близкий срок «через год»? Мнения разделились. Правда, теперь этот вопрос уже для всех решен и ясен, но были дни, когда он глубоко нас волновал и внес немало тревоги...

А для тех из нас — и таких тоже не мало, — внимание которых привлекала не одна только практическая сторона дела, но и личность Герцля сама по себе, как таковая, — для тех поверх этих частностей постоянно всплывал один обобщающий вопрос: кто он и что он, в конце концов? в чем тайна его влияния, в чем его магнит? Чем покорил он эту жестоковыйную, искони скептическую массу?

Повторяю: ни на первый вопрос, ни на второй и третий я не собираюсь дать здесь сколько-нибудь полный или уверенный ответ. Я просто много и усиленно думал обо всем этом и старался сообразить и угадать, и то, чем теперь могу поделиться, это, как упомянуто выше, только отрывочные соображения и догадки.

¹ Кредо, символ веры (*лат.*).

² См. примеч. к с. 57.

³ В следующем году — в Иерусалиме! (*ивр.*).

Недавно вышел новый русский перевод «Altneuland»¹, изданный редакцией журнала «Образование» под заглавием «Обновленная земля»². Событие приятное, хотя в то же время нельзя не предвидеть, что оно способно вызвать в русской печати не совсем благоприятные для нас отзывы. В романе имеются некоторые щекотливые места, подмеченные и европейской критикой, — и места эти как раз такого свойства, что именно русская критика может особенно пылко за них ухватиться.

Не собираюсь здесь подробно спорить с уже выслушанными критиками «Старого новоселья» (это, по-моему, был бы самый правильный перевод непереводаемого слова «Altneuland»). Но когда читаешь и слышишь эти столь частые возгласы о «буржуазности» герцлевских предсказаний, трудно не пожалеть плечами и не подивиться, как легко люди из-за мелочей забывают о главной сути. Надо иметь наглазники на висках, чтобы не заметить, что картина, рисуемая Герцлем, есть картина в высшей степени прогрессивного общественного строя. Оговоримся: прогрессивного, но, конечно, не для *утопии*. *Утопией* называется очерк идеального строя — того строя, в котором автор видит воплощение всех своих общественно-политических идеалов, поэтому авторы утопий смело переносятся в очень отдаленные столетия или даже тысячелетия.

Но Герцль никогда не собирался писать утопию, то есть рисовать картину полного существования своих гражданских идеалов. Цель «Altneuland» совершенно другая: Герцль хотел показать, какой *Judenstaat* можно создать при благоприятных обстоятельствах за самое короткое время, чуть ли не буквально *le shana habaa*. Читавшие роман, несомненно, заметили, как настойчиво подчеркивает и напоминает Герцль на каждом шагу, что в его «Новой Общине» решительно нет ничего небывалого, что все элементы ее — как материально-технические, так и моральные — имелись налицо еще и в конце XIX века. Ясно поэтому, что при сравнении с настоящими утопиями, срок которых придет, по мнению самих авторов, не раньше как лет через полтора по крайней мере, — видение Герцля, относящееся к 1923 году, должно неминуемо носить менее прогрессивный характер. Было бы нелепо, если бы оно было

¹ См. примеч. к с. 247.

² Герцль, Т. Обновленная земля / Пер. А. Даманской. СПб., 1904.

иначе! Но если бы действительно через 20 лет могла осуществиться герцлевская Новая Община, то тогда, в 1923 году, она оказалась бы, несомненно, во всех отношениях впереди всех остальных культурных держав. Помилуйте: кооперативное начало чуть ли не во всех отраслях промышленности; экспроприация земли (с. 117 нового перевода); полное гражданское и политическое равноправие женщин (с. 78—79); полная религиозная и национальная терпимость; свобода слова, собраний, союзов — для 1923 года это очень хорошо, даже слишком хорошо; и если бы это осуществилось не то что к 1923 году, но хотя бы к 1953, то и тогда, смею уверить, еще многие культурные страны позавидовали бы такой Палестине. Для утопии «Altneuland», бесспорно, отстала, но ведь «Altneuland» не утопия, а просто, так сказать, смета на 1923 год, и для такой сметы она в высшей степени прогрессивна, даже чересчур, даже невероятно прогрессивна. Повторяю: надо иметь наглазники, чтобы не видеть этого из-за пяти-шести коробящих фраз, там и сям разбросанных. А между тем ведь именно эти пять-шесть и сосредоточивают на себе все внимание критиков, устных и печатных. Из-за того что мусульманка Фатьма будто бы рада сидеть взаперти и еврейка Сара будто бы тоже в принципе согласна затвориться, ежели супруг пожелает, — критики забывают, что женщины в «Altneuland» пользуются пассивным и активным избирательным правом... И так во всем: неприятная третьестепенная деталь заслоняет прекрасные основные элементы герцлевского плана. Мне обидчиво указывали даже на такой пустяк, как то, что на с. 66 у одного из альтнейландцев оказывается лакей, да еще ливрейный: как будто в 1923 году уже не будет ливрейных лакеев. Любопытно, между прочим, что в старом киевском переводе¹ этот лакей назван «негром», а на с. 173 нового перевода читатель найдет любопытные и явно авторские мечтания о будущем национальном возрождении угнетенной и рассеянной черной расы на ее исторической родине — в Африке... Или еще мелочь: на с. 133 имеется комплимент по адресу баденского герцога Фридриха, «доброго и мудрого». Сказать, чтобы вставка эта звучала особенно кстати, было бы грешно. Она с художественной точки зрения совершенно излишняя. Но я слышал упреки по адресу Герцля не за художественность, а за расшаркивание перед сильными мира сего. В ответ на это необходимо напо-

¹ Герцль, Т. Обновленная страна. Киев, 1903.

мнить, что в данном случае Герцль, очевидно, не покривил душою. Как раз недавно газеты писали о баденской реформе избирательного права, которою вводится в герцогстве система всеобщих, прямых, равных и тайных выборов. Сообщая об этом, «Южные записки» — журнал безукоризненно передовой и вообще один из лучших в настоящее время русских журналов — считают нужным прибавить: «Замечательно, что в то время как в других государствах Германии главными врагами всеобщего права являются правящие круги, в Бадене великий герцог приветствовал реформу таким рескриптом: “Считаю своим долгом поздравить вас и ваших товарищей с успехом избирательной реформы, одинаково делающей честь министерству и палате. Слава Богу, теперь создана почва, на которой возможно мирное развитие нашей дорогой родины и увеличения ее благосостояния. Ничто меня так не радует, как возможность работать для блага страны в союзе с ее собственными выборными представителями, одушевленными тем же желанием служить благу нации, каким одушевлен я сам”». Не имея охоты решительно ни перед кем расшаркиваться, я должен, однако, сказать, что хорошего человека — отчего не похвалить? Тем более что баденский великий герцог, как известно, и сионизму оказал некоторые услуги, — причем оказал их (le-havdil!) совершенно бескорыстно, потому что у него в Бадене еврейский вопрос далеко не так остро поставлен. Чтобы при всем том увидеть в этой мимолетней похвале — по адресу человека, вполне ее заслужившего, — доказательство какого-то реакционного настроения, нужны опять-таки наглазники...

Но является, конечно, вопрос: зачем, однако, понадобились Герцлю все эти спорные мелочи? Зачем он их вставил? Зачем эти осторожные, настойчивые и многократные заверения в том, что, несмотря на полную свою неравноправность, женщины все-таки не потеряют там своей женственности и не откажутся от материнства, — зачем эти вылазки против одного из очень популярных социальных прогнозов? Неужели Герцль не понимал, что все это многим не понравится и оттолкнет их от его планов, между тем как он написал свой роман не для отгалкивания, а для привлечения сторонников? В чем другом, а в вопросах художественного впечатления Герцль обладал изумительным мастерством: это видно по его «философским рассказам» (о них подробно ниже), которые,

¹ Здесь: в отличие от некоторых (*ивр.*).

не обинуясь, я позволю себе назвать шедевром в смысле стиля и чувства меры: ни одного слова лишнего. А «Altneuland» написан позже. Герцль не мог не понимать, что *все* решительно «преступные» места в его романе, все эти ливрейные лакеи и затворницы Фатьмы, — все это мелкие неважные детали, — и ежели их вычеркнуть, то роман не пострадает, а ежели оставить, то непременно выйдут недоразумения с демократами. И если при всем том Герцль сохранил эти детали, то ясно, что роман его был рассчитан на ту именно публику, в глазах которой как раз эти мелочи являются плюсом и приманкой.

В том-то и дело. Когда я произношу слова «пропаганда сионизма», у меня сейчас же возникает представление о вполне определенных доводах: я должен доказывать, что сохранение национальных индивидуальностей несколько не враждебно общему социальному прогрессу, что для этого сохранения нужна собственная территория, и так далее. Но если я предложу эти приемы спора какому-нибудь магиду, пропагандирующему нашу идею среди ортодоксов, он ответит: «Какие глупости! Кого это может убедить? Тут нужно доказать, что сионизм не противоречит ни одному «пасуку» Библии и Талмуда, и больше ничего!» Прав и он, прав и я. Каждый выбирает специфические средства и приемы под стать той публике, среди которой он главным образом агитирует, и со специфическими воображениями которой он больше всего знаком. Теодор Герцль в течение восьми лет неустанно вел нашу дипломатическую агитацию, то есть пропагандировал нашу идею среди власть имущих и боролся со специфическими возражениями этих сфер. И совершенно понятно, что малопомалу эти специфические возражения стали в глазах Герцля главным препятствием для пропаганды и успеха сионизма, так же естественно, как мне, например, главными препонами на пути сионизма кажутся специфические возражения моей свободомыслящей среды, а магиду — специфические возражения ортодоксов. Я мечтаю: хорошо бы сочинить такую книгу, в которой дано было бы прочное обоснование сионизма с самоновейшей научной точки зрения. Магид мечтает: хорошо бы найти такой «пасук», из инициалов которого получалось бы слово «Базель», «Actions-Comité»¹ или что-нибудь в этом роде, тогда мое дело в шляпе! И он прав, и я прав. И прав был Герцль, когда решил, что нужна такая книга, в ко-

¹ Исполнительный комитет (фр.).

торой был бы успокоительный ответ на специфические возражения превосходительных особ. А среди этих возражений было, без всякого сомнения, немало доводов чисто консервативного свойства, и Герцлю нельзя было с ними не считаться. Поэтому он и сделал в этом направлении все, что можно было сделать, усыпав весь роман уверениями, что «Altneuland» не внесет в обиход мира сего никаких «этаких» крайностей. Эта самая Сара, которая, несмотря на все женские права, ушла в материнство, или этот самый ливрейный лакей, — для нас с вами эти детали ничуть незаманчивы, но для персон и особ они очень нужны, не то чтобы в качестве приманки, а просто для успокоения. Необходимо было дать им впечатление полного *comme il faut*¹ — и всякий справедливый человек признает, что в «Altneuland» Герцль не принес в жертву этой комильфотности ни одного из принципов самого корректного, самого классического либерализма, ничего не подарил ей, кроме нескольких ловко подобранных мелочей. Я меньше всего склонен строить все наши надежды на успехах дипломатии, но и я полагаю, что в высшей степени важно и нужно расположить в нашу пользу власть имущих. Одного романа для этой цели, конечно, мало. Герцль метил в нее разными средствами. Одно из этих средств — «Altneuland» и, в частности, некоторые комильфотные детали этого романа. А попал ли роман в эту свою цель? Закрыв глаза, я готов поручиться: да. О Герцле много спорили, но одного таланта никто у него не отрицал: он всегда понимал свою аудиторию, чуял ее настроение и знал, кого какими доводами взять. Подождите: мы еще в свое время учтем реальные выгоды, которые принесет нам и отчасти уже, быть может, неведомо принесла эта книга.

— Либерализм, и больше ничего? — спросят иные. — Самый корректный и классический либерализм все-таки буржуазен.

С этим я согласен. Несомненно, гражданское и общественно-политическое *credo* Герцля не есть наше с вами *credo*. Но так и следует. Было бы очень вредно для дела, было бы совершенно ненормально, если бы это было иначе. Надо помнить, что сионизм — не партия. Сионизм — это национальная организация, суррогат государственной организации, пока нет государства. В силу этого принципа в грань сионизма должны войти и в конце концов войдут все, кто признает себя евреем:

¹ Благопристойность (*фр.*).

адвокаты в черных фраках, ортодоксы в «капотях», экстерны в косоворотках. Герцль был поэтому не вожаком партии, но экзилархом, потенциально и принципиально главою целого народа. А во главе народа могут стоять только предводители идеологии того класса, который в этом народе является господствующим. Это правило не имеет исключений. Всякий иной порядок был бы бессмыслен и практически совершенно непрочен. Когда во Франции Мильеран соблазнился на попытку внести в свое лице хоть маленькое изменение в этот порядок, из его попытки получился один конфуз, и собственные товарищи жестоко осудили его за эту авантюру. В 1903 году итальянский премьер, составляя кабинет министров, предложил один из портфелей Турати, но Турати, хотя и сторонник Мильерана, отказался от министерского поста по тем же соображениям. Если представители меньшинства так осторожно относятся даже к принятию одного из десятка министерских портфелей, то тем более единичный представитель целой нации, ее президент, не может не быть и должен быть представителем идеологии ее господствующего класса. Предъявлять к предводителю народа те требования, которые предъявляются обыкновенно к вожакам отдельных партий в народе, значит одно из двух: или считать сионизм партией, то есть совершенно не понимать потенциальной сущности сионизма, — или полагать, что при нынешних производственных отношениях во главе какой бы то ни было нации возможно сколько-нибудь прочное существование не буржуазного или антибуржуазного представительства, то есть совершенно не понимать хода и смысла истории.

Не надо только спекулировать словом «буржуа», пользуясь его двояким значением, особенно по-русски. По-русски слово «буржуа» сейчас приводит на ум другое — «буржуй», и люди легкомысленные или недобросовестные часто пользуются этим созвучием для «херема»¹ над инакомыслящими. Надо всегда помнить, что «буржуй» (у Горького «мещанин») есть понятие бытовое, а «буржуа» — политическое, и одно с другим ничем изнутри не связано. Буржуа может не быть буржуем, и буржуй может не принадлежать ни даже краем уха к буржуазии. Загляните в дом к иному немецкому рабочему, избирателю Бебеля, и филистерски размеренный строй его семейного быта подчас заставит вас подумать: о, какой это,

¹ То есть отлучения, исключения из общины (*ивр.*).

в конце концов, буржуй! А между тем он не только не буржуа, но даже совсем напротив. В то же время Линкольн, Парнелл, Гладстон, Мадзини, Каваллотти — все это несомненные буржуа, носители классически-буржуазных идеологий, но их имена вечно будут окружены уважением потомков. Герцлю принадлежит одно из первых мест в этом блестящем ряду великих людей третьего сословия. Из того, что мы с вами предвидим наступление момента, когда это сословие уступит господство другому, более многочисленному общественному слою, далеко еще не следует, что мы вправе забыть о передовой роли, которую сыграла буржуазия в мировой истории и которую с таким беспристрастием подчеркивал сам основатель пролетарского мировоззрения. И было бы очень наивно думать, что эта роль уже сыграна до конца и что классическому «либерализму» нечего уже больше делать на земле. Я полагаю, напротив, что нет еще на свете страны, где лучшие заветы классического либерализма были бы осуществлены во всем полном объеме, и даже смею верить, что не только в 1923 году, но и в 1950-м добрых три четверти тогдашнего культурного мира будут все еще только вздыхать и мечтать о полном осуществлении настоящего буржуазного либерализма.

В начале этой статьи я мельком упомянул о том, как часто те или другие дипломатические шаги Теодора Герцля вызывали ожесточенную критику, особенно густо посыпанную ходкими терминами «буржуазно» и «реакционно» — два, кстати сказать, жупельных слова, которые вполне достаточно уже всем надоели и которые потому пора уже забросить. Этот род критики, должен сознаться, производил на меня всегда особенно неприятное впечатление. Когда при мне громят наш фанатический шовинизм или что-нибудь в этом роде, я могу спорить или не спорить, считать своего противника человеком только увлекающимся или просто ограниченным, но я при этом не имею никакой причины не уважать его. Совершенно другое дело, когда начинается эта эстетически-брезгливая критика визитов и рукопожатий, эти принципиальные и всесторонние исследования вопроса о том, можно ли и должно ли посылать приветственные телеграммы турецкому падишаху и ездить в Петербург. Тут невольно становится не по себе, ибо с первого слова этой критики вы начинаете понимать, что здесь перед вами одна из прискорбнейших разновидностей человеческой природы: праздный человек. Только праздный человек способен принять свою мнимую брезгливость

за серьезный гражданский критерий. Скажу конкретно: для того чтобы устроить концерт в пользу бедных, надо выхлопотать разрешение, т. е. обивать пороги, дожидаться в передних и просить; кто на это решится, тот и устроит концерт, соберет деньги и накормит несколько голодных семейств, а кому щепетильность не позволит, тот не будет обивать порогов, не устроит концерта, не соберет ни копейки и никого не накормит. Это дилемма жизни: работать — руки запачкаешь, а жаль руки пачкать — так сиди праздным. Народ это знает, и недаром у русских крестьян «белоручка» значит «бездельник».

Люди, промышляющие критикой телеграмм и визитов, любят называть свою критику этической. Смею настаивать, что этика здесь решительно не при чем, а все дело в одной эстетике, и в очень праздной эстетике. А эстетическая оценка очень пригодна по отношению к художественным произведениям, но совершенно неуместна по отношению к фактам действительной жизни, которые должны быть измеряемы только меркою реальной пользы для человечества. Что же касается до этики, то с этической точки всегда можно и должно критиковать цели и идеалы, но не всегда средства. У Лассала в драме «Зикинген» есть одна сильная тирада Ульриха фон Гуттена, в которой доказывается, что все хорошее на земле проведено и завоевано мечом, то есть насилием и кровью. Это — неопровержимая историческая истина: ни одна победа за правое дело не далась его поборникам без убийств, обманов и компромиссов, то есть и ради правого дела приходилось пятнать себе руки далеко не этическими средствами. У Герцля есть одна блестящая иллюстрация к этому правилу. Я говорю о пьесе «Солон в Лидии», которая, в скобках сказать, вообще уясняет многое в психике покойного — например его привязанность к основам нынешнего экономического строя, в которых он видел необходимые для человека побуждения к совершенствованию. В этой драме рассказывается про то, как юноша Эвкосмос изобрел способ добывать муку чуть ли не прямо из воздуха, в неиссякаемом количестве и без всяких затрат. Мудрый Солон предвидит, что это открытие освободит людей от необходимости работать и, значит, положит предел всякому прогрессу. Чтобы устранить эту опасность, у Солона есть только одно средство: умертвить этого чудного юношу, который так страстно любит человечество и желает ему помочь. И Солон, не колеблясь, убивает Эвкосмоса. Руки мудреца запятнаны кровью, но он сделал

свое дало: спас человечество. Белые руки только у праздных и бесполезных.

Нельзя принять известного иезуитского правила, что все средства хороши для достижения цели, но все-таки надо помнить, что крупные дела совершаются только при помощи сильно действующих средств, а такие средства неминуемо должны иметь и свою неприятную сторону, и с этим нельзя не считаться. И уж во всяком случае нравственная оценка средств и методов борца должна руководиться исключительно меркою реального блага и реального вреда, но никогда не может основываться на какой-то совершенно отвлеченной эстетической разборчивости праздных людей. Серьезный борец имеет полное право презрительно игнорировать эту разборчивость. Перед тем как наметить себе цель, он долго и много подумает, со всех сторон разберет и оценит ее, но раз она твердо выбрана, то у серьезного борца может быть одно только стремление: *удача*, — и один только метод: *во что бы то ни стало*. Так мне кажется. Чувствую, что многим я, вероятно, не угодил, но правда та, что никаким иным методом никогда не была и не будет достигнута ни одна победа прогресса на земле.

Вторая загадка теперь уже не загадка. Еще задолго до его кончины все поняли, что ни на один миг и ни одним помыслом не изменял он Палестине с того дня, когда полюбил ее впервые. Полюбил он ее не сразу: в этом отношении повторилась над ним легенда о Пигмалионе, который изваял прекрасную женскую статую и полюбил ее так страстно, что боги для него дали ей жизнь, и она сошла к нему с пьедестала и была с тех пор навеки его подругой. Для Герцля Галатеей была Палестина. Восемь лет тому назад она казалась ему просто мертвою глыбой; он почти нехотя прикоснулся к ней своими пальцами великого ваятеля перед Богом, и сначала даже сам подивился, когда из бесформенной глыбы стали вырисовываться, освобождаясь, какие-то прекрасные и дорогие очертания — пока память о нашей родине, затерянная где-то глубоко, не воскресла и не вспыхнула в нем, и она не стала для него живым и любимым, теплым и родным существом, так что в «*Altneuland*» уже каждая строчка напоена этой любовью к нашей земле, хорошею радостью за нее — за то, что вот она, хоть и только в видении, но все-таки возрождена, заселена, вспахана, засеяна, обласкана всеми ласками сыновнего труда. Женщину можно полюбить и разлюбить, но когда так любят землю, ей уже не изменяют никогда.

Теперь это все понимают. Но я знаю, что иные поняли это сразу, еще на 6-м конгрессе. Это у них было необъяснимое — потому что факты, казалось, противоречили, — но совершенно твердое и отчетливое впечатление. Об этом впечатлении я хочу рассказать. Было это в закрытом собрании Neinsager'ов, вечером того дня, когда состоялось поименное голосование об Уганде. Neinsager'ы собрались около десяти часов. Я хорошо помню то настроение. Нам тогда казалось, что не над нами, а над всем народом разразился в этот день такой погром, какого еще не было за восемнадцать веков. Мы в те часы яснее, чем когда-либо, чувствовали, что наше движение, от вершины до корня, есть настоящее дело всего народа, истинная эманация народного стремления и народной воли. Масса молчалива, она не говорит, но думает, и сионизм угадал именно то, что она думает. Да и не трудно угадать. Во дни скорби, на чужбине, о чем могут мечтать люди, как не о родине, воспетой и благословенной во всех божьих книгах, озаренной чудесными сказаниями, хранящей развалины святынь, данной пращурам, отнятой у дедов и обетованной внуками? Надо *не хотеть* понять, чтобы не понять необходимости, неизбежной стихийной необходимостью этой народной мечты. И оттого именно, что она стихийна, удар, ей нанесенный, так больно отозвался на ее поборниках. Выход из залы после голосования действительно не был демонстрацией. Уговору не было. Как древние от большого горя или большого стыда закутывали голову плащами, так люди меньшинства сразу почувствовали необходимость уйти от этих «чужих», спрятав свое горе. Они плакали оттого же, отчего за трое суток до этого дня ходили, как сами не свои, с тяжелым беспокойством в душе; как сказал один из них: «в сердце моем грубо дотронулись до чего-то такого, до чего нельзя было, не надо было дотрагиваться»...

Были там люди, много поработавшие для сионизма и, во всяком случае, тесно сжившиеся с этой надеждою. Они уже так реально полюбили Палестину и твердо верили, что при жизни ступят гражданами на ее почву. Если бы еще двадцать лет подряд султан отсылал Герцля ни с чем, они только говорили бы себе: это не беда, авось следующая попытка удастся, а пока будем работать. Но часть тех, кого не пугают неудачи, пугает соблазн. В ту минуту, когда перед нами ясно предстала угроза соблазна, опасность измены, они почувствовали боль, которую всякий, испытавший ее в тот день вместе с нами,

смело назовет невыносимой. Это было невыносимо, потому что было ясно, как легко многие и слишком многие из самой массы, гонимые нуждою, согласятся оторвать лучшую половину своей стихийной мечты и помириться, так сказать, на гривенник за рубль. Для людей, сросшихся с мыслью о Палестине, почти физически уже дышавших ее воздухом, это было невыносимо. Ибо, я думаю, тяжело сносить удары судьбы, но еще тяжелее, если даже улыбка судьбы является ударом, если даже удача грозит разбить надолго что-то такое, «до чего не надо было дотрагиваться». Чужие вообще не понимают нашего горя, но я думаю, что они поняли бы его, если бы вникли именно в эту странную трагедию племени, дети которого должны плакать за дверью на лестнице в день своего первого, за две тысячи лет, политического успеха.

Таково было настроение. Разные лица что-то такое говорили, предлагали меры и полумеры, но все это было так растерянно, неуверенно, и люди слушали рассеянно, потому что все ждали Герцля.

Явился Герцль. Зная публику, председательствовавший предупредил ее, что теперь неудобно встречать «кого бы то ни было» аплодисментами; и я полагаю, что, несмотря на все искреннее огорчение, для многих это предостережение пришлось кстати. По крайней мере при входе Герцля они усердно зашикали друг на друга, точно боясь, что кто-нибудь вот-вот прорвется и захлопает под привычным гипнозом. Герцль понял смысл этого взаимного «цыц!», чуть-чуть улыбнулся, чуть-чуть вскинул глазами на публику, протеснился к столу и сел рядом с председателем на чье-то волшебным образом освободившееся место. Я старался следить за каждым его движением. Именно здесь, куда он явился без фрака, без молотка и трибуны и всей той помпы, которая на конгрессе отделяет его от публики, явился просто как делегат одного из кишиневских кружков объясняться и чуть ли не оправдываться, — именно здесь меня особенно занимало, как он будет держать себя, какими средствами будет подчинять себе слушателей, не собьется ли с тона, не споткнется ли.

Он попросил, чтобы ему передали, что здесь говорилось до него. Когда ему сообщили о чем-то предложении ввести в малый Actions-Comité кого-нибудь из Neinsager'ов, он, помню, опять вскинул глазами и полурезко, полуиронически спросил:

— Надзирателя?

Потом встал, попросил, чтоб было тихо, и произнес речь, которую я в ту же ночь на память записал и могу произнести довольно точно.

— Я нахожу, — начал он, — что ваше заявление о недемонстративном характере вашего ухода из зала доказывает известную политическую зрелость. Я подумал было там, на конгрессе, что это демонстрация, и хотел так же игнорировать ее, как игнорировал на прошлом конгрессе массовый уход фракции. Но мне прибежали сказать: эти люди там плачут! Тогда я понял, что вы не демонстрировали, а ушли по невольному движению, потому что вам почудилось нарушение базельской программы. Оттого я и пришел к вам объясниться. Это недоразумение. Базельская программа остается неприкосновенной и цельной.

Я был в этом году в Константинополе; я был там гостем султана. Султан умеет принимать гостей: он дает им дворцовые экипажи и дворцовые ялики для переезда в Ильдыз-Кiosk; он дает им ордена и осыпает их любезностями. Все это, может быть, оглушило и отуманило бы кого-нибудь другого, я же всмотрелся и в этот туман и сказал себе: эти люди хотят меня перехитрить. Здесь я ничего не добьюсь.

Конечно, если бы я мог привезти с собою большие суммы, тогда, может быть, на меня посмотрели бы иначе. Но по этому поводу я вспомнил одну старую историю. Это было в 1901 году. Я тогда тоже был в Константинополе и увидел, что момент удобный и что, имея 15 миллионов, можно добиться чартера. Тогда я поехал в Лондон и заявил об этом, и сочувствующие раскупили акции нашего банка ровно на 80 тысяч. 80 тысяч вместо 15 миллионов. Понимаете? Когда на такие призывы дают *такие* ответы, тогда надо все-таки быть сдержаннее в кристике, чем это принято в нашей организации.

Таково мое положение. Денег вы мне не даете. Остается дипломатия, но ведь я увидел за эти последние два дня, как вы мне помогаете, как вы меня поддерживаете в моих дипломатических попытках!

Я обдумал в этот последний приезд в Константинополь все шансы за и против и сказал себе: терпение, попытаемся в другом месте. И тогда я начал переговоры в Эль-Арише, который когда-то считался частью Палестины. Переговоры шли удачно, но сам Эль-Ариш оказался неподходящим. Я был потрясен. Тогда английское правительство предложило мне Ост-Африку.

Господа, вы простите мне, быть может, преувеличенную оценку этого шага, но я старый поклонник английского народа. Это предложение тронуло меня до глубины души. Это был прекрасный поступок, на который способна только культурнейшая из наций. Я хорошо понимаю психологию этого поступка, и оттого его красота только выигрывает в моих глазах. Я понимаю, что Англия, вынужденная теперь закрыть еврейской эмиграции доступ в королевство, глубоко чувствовала, как этот образ действий противоречит старинному и священному праву убежища, которым Англия всегда гордилась. И она сочла своим долгом предложить еврейскому народу компенсацию, и форма этой компенсации явилась, говорю вам, историческим моментом, эпохой в летописи нашего народа, фактом, на который отныне мы можем ссылаться, как на неопровержимое доказательство нашего национального значения.

Господа, был уже момент, когда я хотел прийти на конгресс и сказать вам, — потому что я не хлопочу о сторонниках и аплодисментах, я говорю всегда прямо то, в чем убежден, — сказать вам: «Я потерял всякую надежду добиться Палестины!» Я уже хотел заявить вам это, и только Нордау меня уговаривал не отчаиваться и выжидать... Но тут как раз я получил обещание русского правительства поддержать наши хлопоты в Константинополе, и надежда опять явилась. Конечно, с этой поддержкой я рискую потерять в Турции прежние симпатии: раньше гонимый еврей обращался к гонимому турку, а теперь еврей заручился христианской помощью, и турку это не может нравиться. Но не в том дело, буду ли я там по-прежнему ездить в придворной коляске или в наемной, а в том, добьюсь ли я чего-нибудь положительного; и надежда на это, повторяю, опять явилась. И оттого я, открывая конгресс, сказал вам, что мы по-прежнему будем домогаться Сиона. Но неужели из-за этого можно было ответить англичанам форменным отказом даже без рассмотрения их проекта? Не говоря о всем прочем, вы этим шагом поставили бы меня в ужасное положение: никто не захотел бы дальше вести со мною переговоры, раз я не обладаю влиянием даже настолько, чтобы конгресс серьезно изучал получаемые мною предложения...

Я нарушил базельскую программу? Никогда! Не я, а другие сто раз нарушали ее — нарушали, когда выделялись во всякие группы с совершенно посторонними задачами. Я же стоял и стою на почве базельской программы, но мне нужно доверие, а не подозрительность, потому что без доверия

нельзя быть вождем. И вот что я вам еще скажу. В этом учреждении, которое я создал (позвольте мне сказать это, потому что это правда), в этом учреждении я оставил для себя только одно: возможность во всякую минуту сойти со сцены. Вы можете когда угодно удалить меня; я без ропота вернусь к давно, поверьте, желанному покою частной жизни. Пожелаю вам одного, — чтобы люди после этого не имели права сказать, что вы несправедливо поняли мои намерения и что вы мне заплатили неблагодарностью...

Герцль говорил, как всегда, спокойно, выразительно, без всяких ораторских приемов, вполне владея собою; в каждом слове слышалась уверенность в себе, и, стоя перед своей оппозицией, он не стеснялся говорить с нею резко и в то же время снисходительно, как власть имеющий, почти как старший с ребенком; были моменты, когда я думал, что сейчас раздадутся протестующие голоса, но эти голоса не раздавались. С первых фраз его, по тому выражению, которое приняли почти все лица в этом зале, по той особенной тишине, которая сейчас же установилась, я понял все значение исторической фразы Ломоносова: «Скорее академии можно отставить от меня, чем меня от академии».

Когда он ушел, опять заговорили разные лица. Говорили и предлагали много дельного, что и было в следующие дни проведено на конгрессе, но было ясно, что мысли аудитории носят поверх всего этого, заняты чем-то иным. Было понятно, что все мысленно перебирают одно за другим слова Герцля и пытаются что-то сквозь них отгадать, что-то главное, чего он все-таки ясно не сказал, хотя именно ради этого слова мы призывали его к себе и одного этого слова только и ждали от него. Мне тоже хотелось отгадать это слово, и поэтому я не пошел спать, а до рассвета просидел у Мюнстера, над рекою, вместе с одним из старых делегатов, моим земляком, очень умным, сосредоточенным и вдумчивым человеком, и девушкой, студенткой из Лозанны, которая не была делегаткой, но как-то сумела пройти в это невеселое собрание и была теперь огорчена и подавлена. Она говорила с дрожью в голосе:

— Что все это значит? Объясните мне. Я как в потемках, я уже ничего не понимаю. Палестины уже нет? Герцль уже от нее отказался?

Старый делегат подумал и заговорил:

— Вы задаете два вопроса: первый — не погибла ли уже для нас Палестина, и второй — не отказался ли от нее Герцль.

Я вам отвечу на каждый вопрос отдельно, потому что первое (это важно помнить) от второго нисколько не зависит. Видите ли, у нас в сионизме есть две тенденции. Одну представляет Герцль, другую — мы. Герцль — практик, верующий в историческое значение личности; быть вождем сионистов значит для него главным образом добиваться такой комбинации, которая побудила бы власть имущих уступить еврейскому народу землю, которая ему нужна. Вы ведь слышали: когда ему не повезло у султана, он «потерял надежду», а когда Плеве обещал ему поддержку, «надежда опять явилась»; завтра Плеве передумает, и снова «нет надежды»... Мы не так верим в чудотворное действие переговоров. Мы требуем медленной и систематической работы возрождения еврейской земли и еврейского духа, мы хотим прежде упорным трудом оплодотворить и обогатить Палестину и в то же время вывести еврейство из духовного рабства, сделать его сознательным и национально-гордым, и только тогда оно сможет реально добиться Палестины, завоевать ее, как сказано в писании, «не силой, не воинством, а духом». Это вам ответ на первый вопрос. Но не заключите отсюда, будто между обеими тенденциями существует органический разлад, незаполнимая пропасть. Я лично, по крайней мере, вижу большую правоту и в точке зрения Герцля и думаю, что одно помогает другому, и все мы с разных концов ждем одну и ту же свечу — светильник еврейского скитания, — и тем скорее она догорит. Конечно, люди, занимающиеся почитыванием книжек, настаивают, что наша точка зрения научнее точки зрения Герцля. Я, собственно, мог бы сказать, что обе не «научны». Прочно возродить национальную культуру без предварительного сплочения масс на одной территории — это с научной точки зрения все равно, что посеять репу в воздухе. Но я вообще полагаю, что мерка научности неприменима к политическим вопросам современности; историко-философские теории могут до некоторой степени уяснить прошедшее, но не могут регулировать настоящее. История имеет свои законы, но нам, смотрящим на нее снизу, она еще долго будет казаться сцеплением случайностей. Такая же случайность, какая сегодня отдала Герцлю Ост-Африку, завтра может отдать ему Палестину. Политика есть игра случайностей, в которой у сильного и умного человека всегда есть по крайней мере 50 шансов выиграть, если только он *хочет* выиграть. Герцль еще может выиграть Палестину, если только он еще *хочет* выиграть ее, и вопрос, который не высказан, но

который всех наиболее занимает и мучит, есть именно вопрос о том, хочет ли еще Герцль выиграть Палестину, будет ли он еще добиваться Палестины?

Я говорю: да. Не судите о Герцле по психологии среднего западноевропейского сиониста. Средний западный сионист — трезвый и немножко вульгарный практик, которому нравится то, что в обиходе называется квартира со всеми удобствами. Национальная квартира со всеми удобствами, и притом не слишком высоко, — и больше ничего. Герцль — личность совсем другого полета, практик иного сорта. Он практик в выборе средств, но он слишком выдающийся человек, чтобы не быть поэтом и идеалистом в своих целях. Этот человек был бы неполон, нецелен, был бы недостаточно честолюбив, если бы не мечтал всеми силами души совершить подвиг во всей его цельности, чтобы история записала, что Теодор Герцль на своих плечах пронес и целиком осуществил то, о чем целый народ молился в течение долгих веков. Я убежден, что Сион для этого человека страшно дорог, дороже, чем для многих и многих, именно потому, что перспектива возрождения Сиона гораздо заманчивее, бесконечно грандиознее простой колонизации первого встречного закоулка. Возрождение Сиона не имело бы примера в истории; заселить Ост-Африку значило бы только повторить барона Гирша в исправленном издании и увеличенном формате. В день, когда бы Герцль увидел, что надежда на Сион окончательно рухнула, что ничего действительно не останется, кроме Ост-Африки, он испытал бы страшную горе, потому что это было бы крушением колоссально честолюбивой мечты, превращением из вождя в простого организатора большой эмиграции. И вот мой ответ на ваш второй вопрос: я вынес глубокое убеждение, что Герцль еще ведет игру, еще не сложил оружия, далеко еще не отказался и до гроба не откажется от надежды воплотить мечту Израиля во всем ее величии, от которого голова кружится...

Писано уже не раз — и в этом, кажется, все писавшие о Герцле между собою сошлись, — что сила его заключалась не в одном каком-либо специальном таланте, а в его целом, в ансамбле его натуры, которая вся была как-то удивительно прилажена, и не было в ней ничего лишнего или недостающего. Это уже стало общим местом, когда говорят о Герцле. Но это все-таки не объясняет, по-моему, самого главного. О таком человеке можно сказать, что он напоминает картину,

строго выдержанную в своем стиле. Но одной выдержанности далеко не достаточно для того, чтобы зрителям картина понравилась: необходимо, чтобы стиль, в котором она выдержана, был им по сердцу. А для того чтобы они горячо, как родную, полюбили эту картину, необходимо, чтобы стиль ее был для души их родным. Образ Теодора Герцля был, несомненно, безукоризненно выдержан, но для того чтобы толпа окружала этот образ таким обожанием, так отдавалась его обаянию, было необходимо, чтобы стиль, в котором выдержан этот образ, оказался глубоко родным душе этой толпы.

Мы, собственно говоря, и не видели наяву настоящего еврея. Когда народность живет нормальной жизнью, на своей земле, живет активно, то есть сама строит, удачно или неудачно, свою историю, тогда настоящие вполне национальные типы в ней далеко не редкость. Тогда в ней сплошь и рядом встречаются люди, в которых нет ни одной черточки, не пропитанной национальным оттенком. О таких людях говорят: это с головы до ног русский, или немец, или англичанин. У евреев такого типа нет и почти не может быть. Со дней Бар-Кохбы мы больше не принимаем никакого активного участия в нашей собственной истории; события, совершающиеся над нашими головами за эти без малого два тысячелетия, происходят совершенно не по нашей воле и даже не нами вызываются. Поэтому тот тип, который мы видим теперь вокруг себя, является не плодом народной самодеятельности, а результатом разных прихотей чужой руки, которая и так и этак ковала и перековывала нас. Это не еврей, а, так сказать, «жид». Все его самые типические черты — от душевной приниженности до жалобной интонации — не выросли свободно и естественно из его национальной психики, а были извне навязаны и выдавлены коверкающим гнетом враждебной среды. Грязь и пыль на теле путника, шрамы от удара на лбу избитого человека — разве это его кожа или его лицо? Это чужеродное наслоение, это «не я», и надо смыть его, чтобы добраться до «я». Но не все пятна легко смываются, не все шрамы скоро сглаживаются. Для того чтобы смыть с нашего тела и духа пыль галута, осадки двухтысячелетней пассивности, понадобится много времени и много воды — и воды не от здешних рек. Только тогда выйдет наружу из-под этих наслоений наше настоящее еврейское зерно. Только тогда зачатят между нами люди того типа, о котором можно будет сказать: еврей с головы до пят! Но теперь этому типу неоткуда возникнуть, и только

чудом, редкостным исключением, странным атавизмом может он появиться в нашей среде и в наши дни. И поэтому, когда мы мечтаем о настоящем еврее и мысленно пишем уже его портрет, нам не с кого писать. Нет образца! И нам приходится прибегнуть к способу «от противоположного», то есть за исходную точку взять нынешнего типического «жида» и постараться вообразить себе его полную противоположность. Мы вычеркнем из этого образа все те черты, присутствие которых так типично для «жида», и внесем в этот образ все те свойства, отсутствие которых для «жида» так типично. Так как «жид» и некрасив, и хил, и невзрачен, то мы наделим наш идеальный образ еврея мужественною красотою, статностью, могучими плечами, энергичными движениями, яркими тонами колорита. «Жид» запуган и принижен, а тот должен быть горд и независим. Жид всем противен, а тот должен быть обаятелен. Жид привык подчиняться, а тот должен уметь повелевать. Жид любит, затаив дыхание, прятаться от чужого глаза, а тот должен смело и величаво идти навстречу всему миру, всем глядя прямо и глубоко в глаза и подымать перед ними свое знамя: *ibgi apochi!* И главное, кроме всего прочего, он должен иметь действительное право на эти два слова пророка Ионы и должен быть евреем от головы до пят. В нем должна чувяться великая своеобразная скорбь еврейских пророков, еврейский мечтательный лиризм, еврейская фантазия в предугадывании будущего, еврейская вера в своего живого Бога — с прописной или строчной буквы, еврейский практический гений, еврейская образность речи и исконно еврейская, ни в одном народе еще не превзойденная любовь к родному племени. Так рисовал себе народ идеал настоящего свободного еврея. И все это оказалось наяву спаяно и в полной мере воплощено в живом человеке, а человек этот был доктор Герцль.

Сила его лежала не в том, что весь образ его — и внешность, и душа — изумительно были выдержаны в одном стиле, сила его в том, что стиль этот был еврейский. Герцль был совершенным и полным образцом еврея от головы до ног, еврея до мозга костей. Ни одной черты не нашлось бы в нем, которая не была бы типически еврейскою, и это была совсем особенная, высшего порядка типичность, которая напоминала не гетто, а Библию. Такими, верно, снились народу его цари. Таким должно было сниться народу вообще все хорошее, что было в его прошлом, потому что и отвлеченные понятия — свобода, слава, сила — снятся нам чаще всего тоже воплощениями

в прекрасные человеческие образы. Нужно только, чтобы народ хоть раз увидел этого человека: с этой минуты обаяние совершилось и не могло не совершиться, ибо мы увидели в нем наяву то, о чем мечтали сознательно и бессознательно, и даже самые недоверчивые и осторожные из нас, любуясь им, не могли победить какого-то особенного волнения. Тут, конечно, была и благодарность, и уважение, и справедливо высокая оценка его значения для нашего дела, но выше и прежде всего было тут обаяние, совершенно стихийное и непобедимое, потому что он говорил с нами не столько словами, сколько теми особенными невидимыми лучами и токами, которые всегда в природе связуют наэлектризованные сродные элементы. Он был плоть от лучшей плоти и крови нашей, квинтэссенция из лучших наших соков. Он стал для нас типом национальной легенды, и это проявлялось даже в мелочах, даже в том, как мы его называли. Никто не говорил о нем просто «Герцль», как говорят обо всех других людях; ходячим его именем в народе стало «Доктор Герцль», и это звучало почти мистически, как «Доктор Фауст»... Оттого другой, потеряв доверие или уважение, потерял бы с ними обаяние, но Герцль никогда и ни при каких условиях не мог бы утратить обаяние над еврейскою массой. Он был действительно тот человек, который может повести за собою массу, куда ему угодно, даже по ложному пути, если захочет, и масса пошла бы, закрыла бы глаза на все ради него, чтобы только не оторваться, не лишиться этого живого образа, в котором была собрана вся красота ее прошлого и все светлые пророчества о предназначенном впереди.

Мне кажется, что если бы обладать полным знанием еврейства, изучить все действительно национальные проявления духовного его творчества и по этим источникам а priori построить со всевозможной точностью еврейский идеал личности, схема этой личности целиком совпала бы с личностью Герцля. И тогда многое такое, что для современников Герцля было бы в его личности непонятно, объяснялось бы просто тем, что непонятная нам черта была именно еврейской чертой, а непонятной казалась нам она только потому, что мы вообще отвыкли от всего по-настоящему еврейского. Я укажу мимоходом на одну такую черту. При чтении романа «Altneuland» многих, вероятно, удивил эпизод корабля «Futuro». Сам по себе этот эпизод написан кровью — это, может быть, самое красивое место во всем романе, но прочитав эти страницы, невольно пожимаешь плечами и спрашиваешь себя:

очень мило, но зачем? Тут как раз главное место романа, отчет о том, как совершилось заселение Палестины, и вдруг этот важный отчет раскалывается пополам какою-то сказкой, почти стихотворением в прозе, о судне, на котором едет около 500 «лучших людей всего мира, конечно, без различия национальностей и религий», — «философы и поэты, изобретатели и ученые, артисты, социологи, экономисты, дипломаты, журналисты», — едут за счет и по приглашению сионистской организации посетить обновленную страну. На это ушло около шести страниц, а весь отчет о массовой колонизации занимает около 32 страниц. Отчет довольно подробен и достоин самого серьезного изучения в практических целях, но при чем тут «Futuro»? Ведь эта интеллектуальная *Lustreise*¹ органически несколько не входит в колонизационные системы Герцля. Отчет таинственного «Джо» с этой вставкой производит впечатление вроде учебника бухгалтерии, снабженного раскрашенными картинками с изображением пастушков, пастушек, травки, барашков и т. п. И невольно, удивляясь, вспоминаешь аналогичную страничку «Judenstaat»: как раз между двумя параграфами со столь серьезными заглавиями, как «Конституция» и «Взаимная солидарность и международные договоры», красуется нежданно-негаданно крошечный отрывок под заголовком «Знамя». «Я предложил бы белый флаг с семью золотыми звездами, где белое поле символизировало бы новую светлую жизнь, а звезды — наш семичасовой рабочий день, ибо во имя труда идут евреи в новую страну...» В свое время достаточно посмеялись над этим отрывком. Иные рассуждали даже так: какое серьезное значение может иметь книга, в которой попадают такие ребячества? Оказалось, что эта книга, тем не менее, в течение семи лет направила историю десятиmillionного народа в новое русло...

Мы слишком привыкли к свойствам северного и западного мышления и забыли, что еврейство искони мыслило образами и даже в самых утонченных построениях головоломных умствований помогало своей логике образными примерами. В Талмуде сказания Агады тесно переплетены с нравоучениями Галахи; и там, где римское право выражалось безличными обобщенными формулами, там талмудисты писали: «Если есть у тебя бык, и этот бык, выйдя на пастбище, забодает жену соседа твоего...» Все это мы давно забыли, и наше вообра-

¹ Увеселительная поездка (нем.).

жение выцвело и посерело так же, как наши некогда смуглые и румяные щеки, наши некогда черные волосы и глаза. Герцль и в этом отношении был исключением из правила. У него была непреодолимая потребность создавать образы, унаследованные прямо из библейского символизма, и мысль, очевидно, не выливалась у него полно и цельно, пока он не воплощал ее в конкретной форме, в картине, как воплотил свою идею возрождения нации во имя всемирного братства, идею националиста-космополита Исайи, в этой странной трогательной легенде о плавучей международной республике духа, которая четырежды в столетие должна появляться у берегов Св[ятой] земли. Герцль как-то непостижимо сохранил восточную красоту и восточную фантазию — все яркие краски нашей палестинской внешности и нашей палестинской психики. «Был он еврей и ничто еврейское не было ему чуждо»...

Перечитывая недавно все, что есть на русском языке из его сочинений, я наткнулся на одну книгу, которая мне тоже уяснила некоторые другие стороны его личности — стороны, сильно помогавшие его влиянию. Это книга — «Философские рассказы»¹. Слово «философские» не совсем тут подходит, хотя несомненно, что эта книга из тех, которые читаются далеко не для одного развлечения. Каждый из этих небольших набросков — если исключить один или два рассказа совершенно другого стиля и настроения, неизвестно зачем включенные в издание, — каждый тонко и изящно задевает какую-нибудь из странностей и загадок человеческой — чаще всего общественной — жизни. Жалею, что эта статья разрослась за пределы моего обыкновения, и нет уже времени подробно говорить об этом сборнике, иначе стоило бы передать содержание лучших новелл и проследить их действительно глубокую вдумчивость. Такие вещи, как «Афера г-на Буонапарте», «Гостиница Анилина», «Воздушный корабль», «Солон в Лидии» (впоследствии переделано в драму) и многое другое, — все это само по себе, независимо от личности автора, в высшей степени интересно и в художественном, и в «философском» отношении. Но так как писать об этом подробно не придется, я советую читателям, еще не знающим этой книги, прочесть ее. Это большое удовольствие. Читающие по-русски совсем как-то не знают — разве только понаслышке, — что Герцль был большой стилист и серьезный художник слова. До сих пор его

¹ Герцль Т. Философские рассказы. СПб., 1902.

переводили на русский язык так скверно, что не только до стилиа, но и до смысла подчас трудно было добраться. «Философские рассказы», по исключению, переведены очень хорошо, и в них действительно виден крупный, прямо первоклассный литературный талант. Из этих 17 набросков больше половины — настоящие шедевры маленькой изящной и умной новеллы. Они выдержаны с изумительным чувством меры, часто глубоко трогательны («Сара Гольцман») и на каждом шагу положительно искрятся остроумием — благородным остроумием тонкого, изящного, чуть-чуть насмешливого наблюдателя. И в художественном отношении, и по углубленности мысли «Рассказы» несравненно выше «Altneuland» (новое явное доказательство, что в этом романе далеко не все вылилось из души и многое привнесено из политического расчета) — и могут занять одно из передних мест даже в книжном шкафу не сиониста, а просто любителя умной и красивой литературы.

Но меня как сиониста больше всего поразило не художественное исполнение рассказов, а две внутренние особенности: углубленная вздумчивость и знание человеческой души. Видно по ним, что автор не умел проходить мимо явлений жизни, как проезжает пресыщенный турист на обратном пути через новую страну: не глядя в окна и думая только о делах. Он во все вглядывался и вникал. Много, с чем мы свыклись и чего уже не замечали, — он, очевидно, пылливо анализировал, пока не добирался до скрытых в каждом явлении трудных и вечных загадок личной и общественной психологии. Ко всему вокруг себя он относился проникновенно и серьезно, как большой ум, понимающий, что в обыходе жизни для психолога нет мелочей, ибо каждая мелочь есть симптом тех или других крупных, основных моментов данной человеческой души. Таким образом, очевидно, ни одна встреча за всю жизнь не пропала даром для человека, написавшего эти рассказы, и к годам своей зрелости он научился с полуслова понимать до дна всякое настроение человека и толпы. Оттого ему в этих рассказах так легко дается обрисовка самых разнообразных типов. Два-три слова, и характер очерчен, и уже во всем дальнейшем изложении он не изменит себе и не нарушит своей типической физиономии. Только большой и пронизательный сердцевед мог чертить такие портреты. И, перелистывая эти страницы Герцля-писателя, начинаешь уяснять себе тайну одной из самых поразительных способностей Герцля-вождя: его необычайное «чутье реального», доходившее почти до

пределов ясновидения, до чтения мыслей, его изумительное, столько раз испытанное умение с одного взгляда безошибочно понять настроение отдельного человека и целой толпы...

В докторе Герцле были слиты самые заветные, идеальные черты еврейства, и это дало ему власть; он знал людей и жизнь, как никто, и это укрепило за ним власть. Он любил все то, что искони стихийно любил наш народ, и нашел для народа тот путь, которого народ искони ощупью искал. В Герцле сочеталось все, что было нужно идеальному вождю еврейского народа. Не надо обманываться: дважды в век не бывает таких сочетаний. В галуте больше у нас не будет такого человека, но, быть может, и не понадобится. Гений нужен только для первого шага. Он указал дорогу и дошел до первого привала; стан народный склонит голову перед его памятью и довершит его дело.

Владимир Жаботинский

Еврейская жизнь. 1904. № 8. С. 1–27.



Десять книг¹

РАЗГОВОР

Мы собрались как-то на даче небольшой компанией на прогулку и там, полулежа на траве и грызя бутерброды, повели разговоры о разных легких предметах. Между прочим один из нас, адвокат, задал вопрос:

— Если бы нам было объявлено, что решено сжечь дотла все решительно книги и будет оставлено миру всего только десять книг, по нашему выбору, — какие десять книг выбрали бы мы?

И стали мы думать и гадать, какие имена следовало бы внести в список этих десяти.

— Прежде всего, я думаю, Ветхий и Новый Завет, — сказала вопросительно одна дама. Адвокат кивнул головою и тоже вопросительно оглядел всех, — не возразит ли кто против этого выбора? Но все тоже утвердительно кивнули головами, и адвокат загнул один палец и заявил:

— Первая.

¹ Печатается позднейший вариант: *Жаботинский, В. Десять книг.* СПб., 1905.

— Потом предлагаю Гомера, — сказал один из собеседников.

Послышались неопределенные протесты: слушающие как будто и соглашались, но приличия ради, а в глубине души как будто и не понимали необходимости. Был между нами студент-медик, которому после реального училища пришлось вы зубрить всю классическую премудрость, и он за то ненавидел ее смертельно. Он казался откровеннее других и вознегодовал:

— Не желаю Гомера. Да и не думаю, чтобы вы его искренно желали. Я считаю вообще это почтительное преклонение перед старыми книгами, которых уже никто теперь не в состоянии с интересом прочесть, одним из проявлений того, что за границей называют *snobbisme*. Охотно признаю, что «Илиада» и «Одиссея» произведения замечательные, что они дают богатый материал для истории времен царя Гороха и для истории литературы. Но волновать они нас уже не могут. Мы читаем их совершенно равнодушно, а то даже и зевая. Никаких поучений для себя мы из них не выносим. Когда я слышу, как интеллигентный человек вслух восторгается красотами Гомера, я не верю в его чистосердечие. По-моему, в числе десяти Гомеру никак не место. Надо выбрать только такие вещи, которые способны вечно задевать живые струны человеческого духа.

— Это правда, — слышались голоса.

Адвокат, выжидавший с протянутым безымянным пальцем, сказал:

— Слово принадлежит предложившему Гомера для защиты оно, причем я просил бы его принять, если угодно, к руководству следующее замечание. Каждый из нас, конечно, вправе мотивировать свой выбор одним личным вкусом, но было бы желательнее приводить и объективные доводы. Мы здесь хотим спасти от сожжения десять книг в интересах всего человечества; значит, надо в каждом отдельном случае доказать, что данная книга в том или ином отношении представляет собою вечную ценность для человеческого духа.

— Совершенно верно, — ответил тот из нас, который предложил Гомера, — я исхожу из той же точки зрения. Поэтому я разделяю свою защиту на две части: во-первых, выскажу вам мое субъективное впечатление от Гомера, во-вторых, мое объективное мнение о его ценности для всего человечества и во все времена. Позволите?

— Говорите, говорите.

— Я человек искренний и не заражен снобизмом, а Гомера все-таки душевно люблю и читаю всегда с непосредственным наслаждением. «Идей», в русском смысле этого слова, я в нем, конечно, не нахожу, а фабула, сама по себе, меня тоже не особенно восхищает; люблю я Гомера за его типы. Люди у него великолепные, монументальные. Когда им смешно, они хохочут так, что своды мира трясутся; когда им больно или грустно, они ложатся на землю и кричат так, что за версту слышно. Читая о том, как эти люди даже ели и пили, я вижу ясно, что ни у одного из них не было ни гнилых зубов, ни катара в желудке, и мне это приятно, как приятно и в жизни встретиться с человеком, у которого приятный цвет лица. Читая Гомера, я всегда вспоминаю о том, что нынешний человек очень редко умеет красиво делать две вещи: есть и смеяться. Мы жуем неловко и не изящно, потому что половина коренных зубов уже не имеет себе пары для растирания пищи, и со стороны, человеку не едущему, часто противно смотреть. А смеемся мы еще хуже: давясь, захлебываясь, икая, со спазмами в горле. Почти никогда не слышно хорошего, настоящего, ровного смеха колокольчиком, когда человек закидывает голову и хохочет легко и звонко. Я был когда-то влюблен в одну барышню, которая умела красиво смеяться, и с тех пор меня коробит, когда слышу неприятно заикающийся смех других людей, и мой в том числе. А у Гомера я вижу людей, которые все делали важно, звучно и красиво: и ели так, и хохотали так, и плакали, и сражались, и умирали так. Люди, словом, великолепные и великолепно функционирующие. Вот что мне нравится в Гомере, и отсюда я вывожу его объективную ценность. Я спрашиваю себя: почему меня так восхищают и трогают Гомеровы герои? Тут нельзя отделаться пустою фразой: таков мой вкус. Вкус должен быть обусловлен чем-нибудь глубоким и органическим. И я говорю себе: нет никакого сомнения, что идеальный человек должен быть так же великолепен во всех своих проявлениях, как эти первоначальные образчики человеческой породы. Тысячелетия борьбы за существование чересчур изопресли нас в одних отношениях и ослабили в других; получилась дисгармония, потеря равновесия, получился нынешний уродливый и искалеченный человек. Но я верю, что мы идем шаг за шагом к осуществлению такого дня, когда борьба за существование будет введена в железные рамки нового общественного строя и тяжесть будет почти незаметна отдельной личности. Это даст личности новый

простор. Она сможет опять развиваться гармонично и нормально; возродится до прежнего великолепия во всех своих функциях ее тело и уравновесится и угмонится наболевший дух. Это не будет копия гомеровского типа: будущий человек будет бесконечно сложнее, многостороннее, богаче, глубже и зорче первобытного, но одно будет в них общее: то великолепие безупречной здоровой природы, которым насквозь светится Гомер. Еще много воды утечет, пока вернется былое стихийное звериное здоровье человека, и до тех пор часто лучшие люди будут с ужасом оглядываться в физическое вырождение и нравственную недужность современных поколений и будут грозить и призывать к сближению с природой, как Руссо, как Лев Толстой. Но у меня есть Гомер, а с ним на что мне Руссо и Толстой? Они только призывают и проповедают, тогда как он сразу рисует передо мною во всем великолепии то самое, к чему они зовут меня; они оба во многом неправы и несправедливы, тогда как он — сама правда и простота. И они оба, и он творят одно и то же святое дело — не дают человеку забыть, «что он был и что стал»; но Гомер в этом воспитательном отношении во столько же раз действительнее и сильнее, во сколько вообще в воспитании живой пример сильнее самой блестящей нотации. Я поддерживаю кандидатуру Гомера.

— Два, — сказал адвокат и пригнул безумянный палец.

— Виноват, — продолжал защитник Гомера, — я прибавлю еще несколько слов. Нападки на Гомера нашего милого медика ничуть меня не удивили: мне хорошо знакомо это настроение. Знаю, что есть очень много вполне интеллигентных людей, которые в глубине души не понимают, чем собственно восторгаться в Шекспире, Данте и Гете. Они признают в этих авторах и талант, или даже гений, и глубокий ум, и огромное значение для того времени, когда каждый из них жил и действовал; но непосредственно волновать читателя сегодня, в 1904 году, ни Данте, ни Гете, ни даже Шекспир, по мнению этих людей, уже не могут. И те из них, кто похрабрее, сознаются вам, пожалуй, что им на «Гамлете» скучно. Я слышал такие признания сплошь и рядом от самых интеллигентных людей и долго не мог себе объяснить такое падение вкуса. Но теперь мне кажется, что я понимаю причину.

Обратите внимание, кто у нас читает классиков мировой литературы: молодежь и только молодежь, начиная от подростков лет пятнадцати (часто раньше) и кончая не позже лет двадцати двух — двадцати трех. И это вполне понятно: когда

ум пробуждается, он прежде всего набрасывается на те имена, которые санкцией всего мира признаны за лучшие. Против этого нельзя даже восставать, ибо чем же лучше развить и воспитать вкус, как не чтением классиков? Но с другой стороны, получается нечто весьма невеселое. Ведь классик в день создания своего шедевра был человек зрелый, много повидавший, много пострадавший; создавая свой шедевр, он пользовался опытом более или менее долгой жизни, и понять его как следует, волноваться над его страницами может только тот, кто тоже много испытал и много страдал. Гений был человек зрелый и писал для зрелых людей; но именно с того момента, когда он стал общепризнанным гением, он переходит в исключительное ведение самой юной молодежи. Она очень симпатична и чутка, но все-таки она еще не была в Саксонии и не может полно понять и пережить настроение человека, уже побывавшего в Саксонии, да еще гениального человека. Потому особенно сильного впечатления он, гений, на эту молодежь не производит, особенно с третьего или четвертого поколения, когда устареют некоторые обороты языка и приемы изложения; а между тем классик уже прочтен, дело сделано, и вряд ли юноша впоследствии, когда сам станет зрелым мужем, успеет или вспомнит перечитать его: жизнь так быстра, так много новинок, что мы вообще не охотники до перечитывания прочитанных книг. Я говорю не об одном Гомере: он находится в особенно невыгодном положении, потому что его официально изучают в гимназиях. Когда вам читают художественное произведение по пятнадцать строчек в день, пережевывая при том эти пятнадцать строк со всеми аористами и желательными наклонениями, то уже вы, конечно, никогда не найдете в этом произведении красоты. Но и те классики, которых Бог упас от этой участи, тоже роковым образом подчинены общему трагическому процессу: с момента признания их гениальности они читаются исключительно молодежью, которая не в силах воспринять и пережить их творения во всей полноте; иными словами — именно с того дня, когда классик попадает в руки воспитывающихся поколений, он перестает быть в истинном смысле воспитателем поколений. Он похоронен, и только немногие люди еще способны понять и прочувствовать его до глубины.

— Что же вы прикажете? — спросил его обидчиво студент, — иметь родителям наблюдение, дабы сыны и дочери ничего не читали, кроме Жюль Верна?

— Совсем не то, — сказал защитник Гомера. — Я прежде всего сам не был послушным сыном, да и не люблю, признаться, типа благонаправленного дитяти, а особенно подростка. Уж по этому по одному не могу я быть сторонником «изъятия» той или другой книги из отроческих рук: сам я в свое детское время никогда не подчинялся этим «изъятиям» и вполне уверен, что мой сын тоже не подчинится, ибо ведь и он не лыком шит. Но кроме того, какой смысл запрещать? Ведь и самый яркий поклонник неограниченной родительской власти тоже не станет запрещать сыну позже восемнадцати-девятнадцатилетнего возраста; а я вам говорю, что Данте писал свою «комедию» в пожилых годах, много пережив и испытав, и двадцатипятилетний юноша, прочитавший «Ад» хотя бы даже в подлиннике, почти столь же мало проникнет в глубь его настроений, как и подросток пятнадцати или шестнадцати лет. Тут ничем не поможешь, и я не для того заговорил об этом, чтобы предложить спасительное мероприятие. Я просто констатировал факт и больше ничего. Если хотите, в другой раз вместе подумаем, как бы вернуть классикам понимание читающей публики. А сейчас у нас задача другая: назвать третье имя...

— Я назову, — отозвалась молодая дама, — предлагаю «Декамерон».

Поднялись энергичные протесты. Адвокат постучал тростью о пень, на котором сидел, и сказал:

— Слово принадлежит вам для защиты интересов Боккаччо. Мы ждем.

— Прошу внимания, — сказала молодая дама, — но я раньше расскажу вам один посторонний случай. Зимой был в Петербурге бал художников. Я приехала поздно, и меня прежде всего спросили: — А видали вы барышню в носовом платочке? — «Это что такое?» — Это? Самый эффектный костюм на вечере. — И показали мне эту барышню: довольно хорошо сложенная блондинка в тонком и туго обтянутом белом плаще до колена под плащом, очевидно, ничего, и плечи и руки голые. Было действительно очень эффектно. Барышня в носовом платочке получила первый приз от публики и вообще имела успех. Когда вечер кончился и она со своими кавалерами уходила, остатки публики стояли по дороге и провожали ее комплиментами. Я сидела немного поодаль, а возле меня были две чужие барышни, кажется, дурнушки и уже не молоденькие. Они смотрели на уходившую блондинку очень несочувственно, и я расслышала, как одна сказала другой со злостью в голосе:

«В первый раз в жизни вижу!» И мне тут невольно захотелось рассмеяться — так комично показалось мне то положение, в которое блондинка поставила этих двух барышень. Не в том дело, что она их затмила, а в том, что она так легко и грациозно вышибла их из их идейной позиции. Вы вникните: они «в первый раз в жизни» увидели такое неприличие. Они до сих пор думали, что являться на людях в носовом платке нельзя. Вы могли бы целый час спорить с ними, приводя тысячи доводов, а они все-таки остались бы при твердом убеждении, что нельзя. И вдруг им наглядно показали, что можно. Вот захотела, и можно. И тогда я поняла это смешное растерянное положение, в котором оказались мои барышни по милости смелой блондинки. Мне пришло в голову, что ведь и кроме них должно было быть немало на этом балу таких людей, которые до сих пор были уверены, будто нельзя. И вдруг им всем тут показали, что можно. Двух барышень это открытие разозлило, но ведь были, несомненно, и такие, которых это открытие привело в восторг. Например, меня. Не потому, чтобы я тоже собиралась надеть к балу носовой платок *ohne weiteres*¹: я к этому не привыкла, мне было бы неловко, и я этого не сделаю. Но я обрадовалась открытию потому, что до сих пор по привычке считала лицемерие и *pruderie*² факторами очень сильными, пойти против которых невозможно, и вдруг увидела, что это неверно, что через лицемерие и *pruderie* можно преспокойно перешагнуть и никакого грома и молнии от этого не будет. Как не обрадоваться, когда враг, которого считаешь сильным, оказывается неспособным постоять за себя? А для того чтобы обнаружить это его бессилие, недостаточно спорить и доказывать словами: гораздо легче и скорее доказать это наяву неопровержимым фактом. Повторю слова моего предшественника о Гомере: живой пример действительнее всякой нотации.

— А Декамерон? — вежливо напомнил адвокат.

— Да я и говорю о Декамероне, — сказала дама.

— В средние века над христианским миром тяготел клерикальный гнет. Он убивал всякое свободное развитие жизни. Для того чтобы оправдать и освятить свой образ действий, он создал теорию греховности жизни. Он проповедовал, что всякое проявление жизни само по себе преступно

¹ Запросто, непринужденно (нем.).

² Преувеличенная стыдливость, чопорность (фр.).

и благочестивый человек должен с ним бороться. И чем ярче было данное проявление жизни, тем больше ненавидели его мракобесы. Больше всего пугало и возмущало их именно то, что могло дать человеку наибольшую joie de vivre¹: смех, веселье, пляска, песни, любовь. Поэтому, когда началось возрождение народов, прежде всего перед ними встала задача: оправдать оклеветанную жизнь. Опровергнуть предрассудок, будто радость жизни греховна, и внушить людям веру в то, что жизнь есть благо и всякий лепесток ее прекрасен и дорог. Только такая проповедь могла вырвать опору у клерикальной тирании и лишить ее идейной почвы. И чем гуще и мрачнее был прежде гнет над жизнью и презрение к ней, тем ярче и смелее надо было теперь прославлять жизнь, рискуя даже впасть в крайность, потому что на крайности и отвечают крайностью. Это и сделал Боккаччо. Не умствуя, не приводя никаких доводов, он просто и грациозно, с самой очаровательной наглостью рассказал сто веселых сказок о веселых людях, которые живут себе, поживают, хохочут во все горло, поют песни, целуются, даже до чрезмерности и, что называется, даже в ус себе не дуют, как будто и не бывало на свете кодекса умерщвления плоти, а если на минуту и вспоминают об этом кодексе и его глашатаях, то поднимают и кодекс, и глашатаев на смех так заразительно, что читатель берет за бока. Лучшего средства нельзя было придумать, чтобы на место мрачной ненависти к солнцу, здоровью, веселью и хохоту выдвинуть новое мировоззрение, полное эллинской любви ко всему, что есть жизнь. Именно своей беззастенчивой и полнокровной игривостью Боккаччо из всех гуманистов нанес самый тяжелый удар престижу клерикализма, и это надо помнить. Когда при мне почтенные люди говорят о Декамероне, я всегда злюсь. Они стараются оправдать Боккаччо, уверяют друг друга, что у него «таких» новелл вовсе не очень много и что не в них ценность Декамерона, а в сатире на нравы духовенства... Какая чепуха! Сатира на католическое духовенство и в то время не могла бы иметь особенно оглушительного успеха, ибо кто же не знал, что патеры далеко не постники? Это было всегда общим местом. Да и с какой точки зрения мог бы именно Боккаччо обрушиться на них за эту скромную жизнь? Ведь уж он-то, наверное, не видел в ней греха! Для него, напротив, грешки патеров служили козырем и доводом

¹ Радость жизни (фр.).

в пользу веселого житья. Надо быть искренними, и одно из двух: или совсем предать Боккаччо анафеме, или признать, что именно в «таких» его новеллах весь его гражданский смысл и заслуга, и даже не в их содержании, а в тоне, в той ненависти к духу постничества и в той полнокровной любви к радостям жизни, которая звучит в каждой его шутке. В этом его ценность не только историческая, но и современная и вечная. Правда, теперь дух постничества, дух ненависти ко всему, что есть жизнь, не играет уже такой огромной роли, не воплощает в себе всех многообразных сторон современного гнета над человечеством; но он все-таки жив и дает себя знать, и плодит немало лицемерия, лжи, неискренности и горя, сплошь и рядом отравляя нам радости жизни. Во времена Боккаччо все предрассудки, задерживавшие рост и развитие общества, основывались на этом духе постничества и им прикрывались. В наше время уже, конечно, не все, но добрая четверть из числа предрассудков, которые теперь тормозят освобождение человечества и личности, все еще растет именно из этого корня отвращения к здоровой жизни, и еще не скоро мы их истребим. Поэтому и теперь, и еще долго нужна будет книга, в которой ярко и смело выражен протест против насилия над полнотою и свободою здоровой жизни. Согласны?

Адвокат оглядел присутствующих и сказал, загибая средний палец:

— Три. Предлагаю назвать четвертую.

— Я за Шекспира, — сказал старичок с лысиной до воротничка. — Вы все напираете на то, что Гомер или Боккаччо подчеркнули одну какую-нибудь сторону: или красоту цельной непосредственной человеческой природы, или протест во имя права на жизнь. Это хорошо, но односторонне. Я люблю Шекспира за то, что он всесторонен, как энциклопедический словарь. У него все сказано. У него есть и юноша Ромео, весь — беззаветное увлечение одной страстью, и Гамлет, не способный отдаться ни идее, ни женщине иначе как только в полдуши. У него есть король Лир, который прошел дорогу от престола до низенького шалаша и понял, чего стоит величие властителя и подобострастие рабов. У него есть Отелло — потрясающая повесть о честной, наивной и великой душе, для которой доверие было кислородом, единственной естественной атмосферой, и когда ее вырвали из этой атмосферы и напоили угаром подозрения, она задохлась. У него есть Ричард и Фальстаф — два портрета из галереи человеческого падения,

ужасного и смешного. А его женщины! Я на своем веку знал много девиц и дам, и когда вспоминаю о какой-либо из них, то всегда могу свести каждую к основному шекспировскому типу: вот Джульетта, которая была кротким ребенком и ради своей любви стала могучей, бесстрашной и самоотверженной; вот Миранда, спокойная, тихая, милая, чистая, доверчивая — одна из тех женщин, которые всю жизнь проживут, как на волшебном острове, не заметив житейской нечисти; грязному Калибану не удастся прикоснуться к ним, и они умрут такими же невинными и не ведающими зла мирского, как родились. Вот строптивая Катарина, прототип новейшей *vièrge forte*¹ — от названия романа Марселя Прево «Сильные девы» (1900) — или, быть может, скорее, внучка древней нимфы, вольной, гордой и пугливой лесной самки, которая бешено отбивалась от объятий самца-сатира, втайне желая его. Вот, на каждом шагу, остроумная Беатриче, которая слово за слово пикируется со своим кавалером, а кончит тем, что влюбится в него. Леди Макбет встречается реже, потому что все вообще сильное редко, но если бы нас с вами, простых смертных, допустили за высокопоставленные кулисы истории, сколько женских ручек с несмываемыми кровавыми пятнами увидели бы мы там... Говорю вам: на что ни взгляни, вспомнишь Шекспира. Даже такое новорожденное явление, как еврей-сионист или националист, было бы непонятно мне, если бы я не вспомнил странной психологии венецианского жида, который на последних ступенях отвержения сохранил суровую национальную гордость и говорит: «мой святой народ»...

— Я тоже за Шекспира, — вмешалась барышня-курсистка, сидя на подоконнике, болтая туфельками и грызя шоколад. — Он за женское равноправие. У него в «Шейлоке» выступают адвокатами две женщины и оказываются умнее всех мужчин.

Адвокат засмеялся и объявил:

— Решено: четыре!.. Итак, остается назвать еще шесть. Прошу вносить предложения.

— «Тысяча и одна ночь», — решительным тоном заявил студент.

— А мотивировка?

— Мотивировка та, что в этой книге человеческая фантазия достигает своего апогея. А так как фантазия есть одна из самых важных сторон человеческого духа, то сохранение

¹ Эмансипированная девственница; букв.: сильная дева (*фр.*)

такой книги, безусловно, необходимо, особенно теперь, когда мы переживаем полный упадок фантазий и в литературе, и в жизни.

— Ну, тут мы поспорим, — сказал адвокат. — Прежде всего, я не согласен с вами в том, будто мы переживаем теперь упадок фантазии. По-моему, совсем напротив. Ведь фантазия не есть только умение сочинять волшебные сказки. Смелые научные или философские гипотезы, новые теории, великие изобретения в области техники — ведь это все та же работа фантазии. И даже фантазии высшего качества. И всем этим наше время очень богато. А если в беллетристической литературе действительно вымирает погоня за фабулой — или, по-русски, «выдумкой», — роман с приключениями, уступая место правдивому изображению реальной жизни, то, по-моему, тем лучше. Нам и нужна правда, а не выдумка.

— Потому что вы смешиваете понятия! — горячо возразил студент. — Вы полагаете, что правда противоречит фантазии. Это, безусловно, неверно. Писать правду — значит изображать только то, что действительно бывает в жизни. Но жизнь очень разнообразна. В ней возможны самые неожиданные сочетания событий. И для того чтобы рассказывать об этих многообразных комбинациях, необходимо, чтобы они пришли в голову рассказчику. Но в том-то и дело, что есть писатели, которым из тысячи комбинаций, вполне возможных, по меньшей мере девятьсот девяносто никогда не приходили в голову, а приходили и приходят только десять самых обыкновенных: родился, поступил на службу, помер... Это и значит не иметь фантазии. Фантазия не в том, чтобы придумывать ложь, — фантазия в том, чтобы представлять себе жизнь во всем многообразии. От писателя не то требуется, чтобы он «выдумал» случаи, которых не бывает, — требуется, чтобы он умел придумывать в большом и разнообразном количестве те случаи жизни, которые действительно бывают. Обладать фантазией — значит охватывать своим кругозором широкое поле жизни; не иметь фантазии — значит видеть только одну узенькую полоску этого поля. А тот, чьему зрению доступна только узенькая полоска жизни, тот не может рассказать и всей правды, а только узенькую полоску правды. Писатель без фантазии всегда односторонен и никогда не правдив. Немыслимо изображать правду, не обладая «выдумкой».

— Я не вполне с вами согласен, — ответил адвокат, — но ваша точка зрения теперь мне ясна. Вы считаете, что в худо-

жественной словесности элемент фантазии необходим, а ввиду этого, как напоминание и назидание, хотите сохранить сказки Шахерезады.

— Нет, нет, — заторопился студент, — вы суживаете мою мысль. Желая сохранить сказки Шахерезады, я радею вовсе не об интересах словесности. Я имею в виду интересы жизни, общественную пользу. Я ценю и признаю литературу лишь как отражение известных экономических процессов, происходящих в обществе. И если я замечаю в литературе данного периода какой-нибудь характерный феномен вроде упадка фантазии, это меня занимает лишь постольку, поскольку знаменует, что и в жизни, очевидно, произошли какие-то перемены, соответствующие оскудению фабулы. Сказки «тысяча и одной ночи» дороги мне совсем не ради того влияния, которое они могут оказывать на господ писателей, а ради их влияния на самую жизнь, для напоминания и назидания общественному настроению, — если только (должен оговориться) вообще признавать, что литература, будучи сама продуктом общественного настроения, способна, в свою очередь, на него же влиять...

— А нельзя ли полюбопытствовать, — спросил адвокат, — какие это явления в современной жизни соответствуют, по вашему мнению, упадку фантазии в литературе?

— А я так даже не понимаю, — вставила хозяйка дачи, — в чем это вы заметили оскудение фабулы у наших современных авторов?

— Я отвечу на оба ваши вопроса, только раньше на второй: *place aux dames!*¹ И кроме того, что *place aux dames*, этот вопрос сам по себе важен: у каких именно современных авторов я заметил оскудение фантазии. Было бы несправедливо, пожалуй, сказать, что у всех или даже у большинства: точной статистики нет, да я всех ныне пишущих, им же имя легион, и не знаю. Убыль фантазии я заметил только у нескольких, — но в том-то и дело, что как раз эти несколько и состоят теперь в особенной и даже чрезвычайной моде. Наряду с ними есть и другие даровитые писатели: их любят, их ценят, но бурной и шумной моды на них нет. А как только в полном смысле слова модное имя — сейчас вы констатируете самое роковое бессилие фабулы. Это симптоматично. Это показывает, что нищета фабулы соответствует общественному настроению момента!

¹ Сначала дамы! (фр.)

— Имена?

— Извольте. Начнем хотя бы с Пшибышевского. «Нотосариенс»¹ вы, конечно, все читали. В романе три части, и во всех трех на первом плане стоит дерзостный и властный человек — существо, так сказать, могучее на подвиг и на грех, — одним словом, извините за избитое выражение, сверхчеловек да и только. Сам он себя уподобляет молнии, которая на своем пути испепеляет все: и дубы, и полевые ландыши. И я против этой характеристики ничего не имею: такие типы, несомненно, в жизни бывают — иначе откуда бы взялись Наполеон или Бисмарк? Но вот, нарисовав такого человека великой дерзости, Пшибышевский начинает его проявлять и, так сказать, продуцировать, и тут-то и начинается любопытное. Скажите, если бы вы, например, хотели показать, что герой вашего романа — искусный фехтовальщик, как бы вы это показали? Ответ ясен: вы заставили бы его биться тоже с сильными и искусными противниками один на один или даже одного против многих, и тогда было бы ясно, что он за молодец. Большая сила проявляется только на больших объектах, на трудных точках приложения. Сообразно этому, раз Пшибышевский вывел на сцену человека великого дерзновения, победителя над моралью и совестью, человека-молнию, то в интересах Пшибышевского было бы проявить огромную силу своего героя в огромных же конфликтах, ввести его в столкновения с массами и стихиями, чтобы тут, на фоне громадных коллизий, ярко выступила вся мощь этого человека. Вместо того, что совершает Фальк на страницах романа? В первой части портит одну барышню, во второй части портит другую барышню и в третьей части портит третью барышню. Больше ничего. Где-то в конце намекается мельком на политическую деятельность Фалька, но так бледно и сухо, в таких общих чертах, что сейчас же видно: автор или не хотел показать своего героя в более крупных ситуациях, чем интрижки с барышнями, или не умел. Но предположить, что не хотел, — трудно, потому что эти ситуации были бы в интересах автора, лучше обрисовали бы сильную личность героя. Значит, не умел или, по-моему, органически не мог. Потому что для изображения крупных коллизий нужна фантазия, «выдумка», так как эти коллизии на каждом шагу не валяются. Скучной фантазии модного романиста хватило только на обыденщину — на одну барышню,

¹ Человек разумный (лат.).

еще барышню и еще барышню. И на этих сереньких объектах, за неимением лучшего, заставил он Фалька проявить свою адскую дерзновенность. И вышла стрельба из пушки по воробьям...

— Ну, а еще кто?

— Да хоть русские модные писатели: Горький и Андреев. Хозяйка всплеснула руками.

— Это Горький-то скуден фантазией? Да у кого же еще такая сила воображения?

— И не спорю. Воображение — да. Но прошу не смешивать воображения с фантазией. Большая разница. Воображение — это способность представить себе ярко и живо один отдельный образ или момент. Фантазия — это способность придумать много разных образов и моментов и сочетать их в связную и сложную комбинацию. Воображение и фантазия — это статистика и динамика. Воображение — это фотографическая карточка, фантазия — кинематограф. Воображения у Горького хоть отбавляй. Фантазии — ни тени. Лучшее, что дал Горький, — это наброски, статистические снимки одного момента. Попробуйте рассказать фабулу любого из его рассказов — не удастся. Фабулы почти нет. Комбинации событий всегда самые серые, самые скудные — и это несмотря на то, что жизнь босяка полна неожиданностей и необычайностей. А вся мощь и красочность таланта Горького уходит на обрисовку типа и отчасти обстановки: море смеялось, Мальва говорила то-то и то-то, — а динамики, движения, действия никакого. И эта органическая неспособность связывать отдельные моменты в сложную фабулу окончательно подтвердилась тогда, когда Горький перешел к роману и особенно к драме. Я не намерен теперь обсуждать, удачны или нет обе пьесы Горького. В скобках даже скажу, что я их очень высоко ценю; но в то же время они ясно и неопровержимо доказали одно: что Горький так же беден фантазией, как до роскоши богат воображением, красками, силами чувства и ума. И чуя эту свою органическую неспособность заполнять картину вширь, он в драмах все норовит уйти вглубь: он углубляет пуще художественной меры обрисовку типов, настроений, обстановки, в ущерб движению и действию... А Андреев...

— Ну, уж об Андрееве «не скажите», — усмехнулся адвокат. — Тут фантазии даже как будто слишком. Фабула «Фивейского» — самая пестрая, да и в «Бездне» далеко не обыденный случай рассказан.

— Вот, вот именно! — подхватил студент. — Это-то и особенно важно. Я тоже думаю, что Андреев органически вовсе не лишен фантазии. Но он ее как бы гнушает. Он ее почти не пускает в ход. Он избегает широких, многофигурных, полных движения полотен и концентрирует все внимание на отдельных точках и пятнышках, но зато уж эти точки расковыривает, так сказать, до самого дна и еще глубже. В журнале «Весы» я прочел недавно меткое выражение — не помню чье, Брюсова или Белого: «от любой мелочи можно просверлить отверстие в Вечность» — или в таком роде. Это и есть формула «творчества не вширь, а вглубь»: остановиться на мелочи, всмотреться в нее и пробуровать дырочку в самую Вечность, в самую бездну основных вопросов и противоречий природы человеческой. Может быть, тем и объяснима та любопытная странность, что русская литература забросила роман и почти целиком ушла в коротенькие рассказы: ведь роман без фабулы как-никак а выйдет скучноват. Литература явно избегает фабулы. Избегает даже там, где автор, как Андреев, сам по себе и не беден фантазией; избегает даже там, где этой фабулы не надо придумывать, где она уже готова, — например в повестях из босяцкого быта, который так хорошо известен Горькому и так полон необычайностей и неожиданностей. И ничем этого не объяснить, как только духом времени, настроением эпохи, которые, по-видимому, не благоприятствуют полету фантазии даже там, где фантазия имеется, — противятся постройке сложной фабулы даже тогда, когда эта фабула сама собою напрашивается. И как последнее, самое яркое подтверждение, я сошлюсь на другого модного писателя — модного, положим, больше за границей, чем в России, — на д'Аннунцио. Более яркого представителя «убыли фантазии» нельзя и представить. В этом отношении даже Пшибышевский сильнее. Бессилие «выдумки» в романах и драмах д'Аннунцио доходит до поражающих размеров. И вдруг я узнаю, что д'Аннунцио написал поэму о Гарибальди. Жизнь Гарибальди — сама по себе волшебная сказка: тут не надо «выдумки» — фабула готова, и богатейшая. — Интересно, что выйдет у д'Аннунцио, — подумал я и выписал себе «Ночь на Капрере». Оказывается: д'Аннунцио отбросил прочь весь фабулярный элемент многобурной жизни своего героя и посвятил поэму тысячи в две стихов изображению совершенно статического момента: сидит Гарибальди ночью на своем острове, переживает какие-то настроения и думает какие-то думы. Это уже совсем похоже

на симптом какой-то болезни, на какое-то органическое отращивание к фабуле, то есть к изображению жизни многообразной и сложной, богатой комбинациями, — даже там, повторы, где ничего придумывать не надо, где фабула уже готова...

— Хорошо-с, — сказал адвокат, — но возвращаясь к нашей теме, — какую же роль в исправлении этой беды могут сыграть сказки Шахерезады?

— Никакой. Исправят беду не сказки Шахерезады, а сложные социальные процессы; но сказки Шахерезады будут в этом отношении полезным напоминанием и назиданием. Я говорю: раз у самых модных писателей наблюдается убыль фантазии в изображении жизни, — следовательно, жизнь вокруг них действительно перестала давать пищу фантазии, обесцветилась, стала монотонна и однообразна. И она еще долго будет однообразна и монотонна, пока не обновится этот экономический строй, сваливающий на плечи каждой отдельной личности громадную тяжесть вопроса о личном и семейном пропитании и под этой тяжестью нивелирующий всех и вся, дрессируя нашу психику и сосредоточивая насильственно все наши помыслы и настроения вокруг одного всеобщего центра — погони за хлебом. Во времена сословно-цехового строя эта тяжесть еще лежала отчасти на коллективных плечах сословия или цеха, но теперь она обрушилась на каждого человека в отдельности и для всех непреодолимо стала главной и преобладающей заботой жизни, так что природное разнообразие типов и индивидуальностей все стерлось и сравнилось в этом общем основном и всеобъемлющем настроении погони за хлебом. Из однообразия настроений только и могла получиться однообразная и монотонная жизнь — жизнь без фабулы. Я потому и стою за сказки Шахерезады, что вижу в них яркую, прекрасную противоположность этой нашей жизни. Увлекаться ими — значит протестовать против нашего уродливого общественного устройства, потому что в них все: фабула жизни, тысячи неожиданных комбинаций и сцеплений, приключения, необычайности, кипучее многообразие жизненных проявлений, даже ложь и суеверие, — но я это прощаю, потому что и это ярко, и это непохоже на наше бесцветное существование! Человечеству надо помнить, что жизнь должна быть богата и многообразна и что наступит день, когда тяжесть вопроса о хлебе окончательно переляжет с плеч отдельной личности на плечи всего общества и освобожденная личность снова заживет полной, всесторонней

и разнообразной жизнью — жизнью с богатой фабулой, с беспредельным пространством для фантазии. Я охрип... и кончил.

— Кто за «Тысяча и одну ночь», кто против? — спросил адвокат.

— Советую всем согласиться, — предложила хозяйка, — а то этот марксенок опять заладит новую лекцию на два часа. Вообще, предлагаю после этой речи отдохнуть и подкрепиться.

— Итак, пять, — сказал адвокат, и мы пошли на дачу подкрепляться.

Но оказалось, что и за ужином разговор продолжался на ту же тему — о десяти книгах. Одна из дам, более или менее пожилая, хлопотала за Байрона, против которого горячо восстал еще охрипший студент.

— Нам не нужно разочарованности! — восклицал он с набитым ртом, — и без того нытиков на свете довольно. Ни за что не допущу Байрона.

— У вас ходячее представление о Байроне, — возражала дама, — или, скажу резче: ученическое представление. В учебнике сказано, что герои Байрона разочарованы, и вы так и затвердили: раз Байрон, значит разочарованность. Простите, но это мне напоминает представление французов о русском *le barine*¹: сидит под сенью развесистой клюквы и закусывает самоварами, густо смазанными зернистой икрой. И так как эта картина русского блаженства могла возникнуть только у такого француза, который знал Россию лишь понаслышке, да и то плохо, то у меня является нескромный вопрос: да вы Байрона читали?

— Мм... — неопределенно выразился студент; впрочем, он в эту минуту жевал.

— Вот то-то и «мм». Да не вы одни, а вообще, я думаю, мало кто теперь читал Байрона. А между тем ведь именно теперь и читать-то его. Не знаю эпохи, когда бы он больше мог прийти ко двору, чем нынче. Мы зачитываемся Горьким; можно сказать, что целое поколение уже воспиталось на Горьком и прониклось его основным мотивом. А этот основной мотив — протест сильной личности против склада жизни, удобного и пригодного только для мелких людишек. Но ведь это и есть основной тон Байрона. Разочарованность, которую вы затвердили из учебника, есть только второстепенная подробность, а суть байронизма в этом самом протесте сильной лично-

¹ О барине (*фр.*).

сти, которой тесно в быту, созданном по плечу мещан и ужей. Манфред, Лара, Корсар, Сарданапал, Чайльд-Гарольд, Дон Жуан, Каин — все его герои, словом — это те же типы Горького, даже в том же освещении, только из другого общественного слоя. Все они также тяготятся мещанством жизни, ее мелочностью и лицемерием, также уходят прочь из общества — бродяжить и скитаться. Те же босяки, только поизящнее в одежде и речах. Так сказать, босяки в стихах и под музыку. Понимаете? Вы только что отстаивали «Тысячу и одну ночь», потому что никогда снова, по-вашему, жизнь наша не станет богата фабулой и фантазией и человек не будет развиваться полно, сильно, всесторонне. Я с вами вполне согласна. Но ведь разочарование героев Байрона, их бегство из мещанского быта и есть эта сама жажда фабулы в жизни, прорыв к фантазии в жизни! Наше время, что бы там ни говорили, есть время индивидуализма: все мы влюблены в мечты о сильной и властной личности, ждем не дождемся ее прихода на историческую сцену и даже ради того и мечтаем о более справедливом устройстве бытовых отношений, чтобы на той новой почве каждая человеческая единица могла развиваться в сильную личность. Но в таком случае Байрон должен быть настольной книгой у каждого из нас. Это корень индивидуализма. Когда мы говорили тут о Гомере, было высказано, что при сохранении Илиады и Одиссеи нам не нужен ни Руссо, ни Толстой. Я с еще большим правом могу сказать: сохраним Байрона, и мы тогда можем обойтись и без Ницше, и без Максима Горького...

— Позвольте! — воспротивился студент. — Отчего же не наоборот? Я готов признать, что в числе десяти книг было бы важно сохранить и кого-нибудь из апостолов сильной личности, но в таком случае я за Горького. Сами же вы говорите, что тон у обоих один и тот же, одни и те же типы, только у Байрона они носят на себе классовый отпечаток господствующих слоев общества, а у Горького они демократичны. Оттого и надо предпочесть Горького. Его протест против мещанства глубже, потому что он показал семена этого протеста уже не только в среде вырождающихся потомков феодальной аристократии, но и на самом дне огромных народных масс, тех именно масс, которым принадлежит будущее.

— Видите ли, — ответила дама, — это вопрос очень трудный. Прежде надо решить, допустимо ли вообще состязание между Байроном и Горьким, не слишком ли это разные величины. Я лично полагаю, что никакого состязания между ними

быть не может. Я нахожу, что в Манфреде и Каине Байрон проник до таких бездонностей человеческого отчаяния, в которые ни Гете, ни Шопенгауэр не заглядывали; поэтому для меня Байрон стоит на недостижимой высоте и не подлежит конкуренции. Но вы мне скажете, что нам тут нужны не бездонности отчаяния, а гимн сильной личности, а в этом отношении действительно нельзя не считаться с большей демократичностью Горького. Однако я вам на это вот что отвечу: я человек уже старый и очень осторожный. Я вообще предпочитаю подождать, переждать два-три поколения, прежде чем окончательно установить за данным писателем ту или другую художественную оценку. Заметьте: только художественную. Общественное значение писателя выясняется, по-моему, гораздо раньше художественного, потому что общественное влияние писателя есть факт, осязаемый факт. Что касается, в частности, до Горького, например, то его общественное значение выяснилось уже теперь, и это значение, без спора, громадно. Повторяю, что на нем за эти семь-восемь лет успело перевоспитаться целое поколение, и не просто как-нибудь перевоспитаться, а именно к лучшему, к силе, бодрости, смелости и энергии. Это, мне кажется, понимают уже все толковые люди в России. Но относительно чисто художественной оценки Горького, оценки его таланта и его права на вечную память во храме всемирной словесности, — в этом вопросе не только не замечается единомыслия, но и отдельные люди, например я, далеко еще не выработали себе окончательного взгляда. Что талант есть, это мы все знаем, а какого ранга и чина — этого никто не знает. Тем более что тут ослепляет беспримерная, подавляюще-огромная общественная роль, сыгранная этим писателем, и не дает трезво и холодно всмотреться в самое зерно его таланта, очищенное, беспримесное, и определить без ошибки, что за сорт — первый или второй. Кто знает: может быть, пройдет лет двадцать, и яркая красочность, которой мы восторгаемся, потускнеет и останется просто среднего качества беллетристика? Или, наоборот, только тогда, через двадцать лет, и обнаружится в полной мере вся художественная прочность и ценность этого своеобразного дарования? Во всяком случае, я предлагаю не одного Горького, а всех вообще сегодняшних и (особенно) здравствующих писателей из конкурса устранить, согласно умному правилу: о присутствующих не говорят...

Студент не возражал. Адвокат оглядел собеседников и спросил:

— Итак, Байрон? Итого шесть.

— Я все время молчу, — сказала хозяйка, — так что теперь считаю себя в праве предложить сразу две книги: во-первых, Мюссе, во-вторых, «Путешествие Гулливера».

— Вот тебе и на! — сказала несколько голосов.

— Странный выбор! — кольнул студент, утираясь салфеткой. — Что Мюссе, это я понимаю: дамский вкус сказался. Но Свифт? С какой стати? Мы ведь тут не библиотеку для детей составляем...

Адвокат стукнул ложечкой о стакан:

— Порядок, порядок, господа. Слово принадлежит господине дома сего для мотивировки.

Хозяйка сказала:

— Мотивировка у меня самая простая. Мы тут, я заметила, выбираем книги так, чтобы в этой библиотеке из десяти названий было представлено отражение всех, по возможности, главных мотивов человеческого творчества, и при этом непременно в самых ярких и типических образцах. Но у нас до сих пор не назван ни один поэт любви; я и предлагаю Мюссе, как поэта любви *par excellence*¹. А Свифта беру как представителя сатиры. Я знаю, что многие считают сатиру не то низшим, не то совсем даже ложным родом искусства. Я в этих тонкостях не судья, знаю одно: что сатиры писались и пишутся испокон веков по наши дни, и, следовательно, этот вид художественного творчества тоже соответствует какой-то вечной и важной потребности человеческого духа. А потому я думаю, что обойтись без сатирика значило бы оставить большой и вредный пробел. Что же касается до Свифта лично, то, по-моему, хотя наш студент и читал его еще в детстве (это, впрочем, было не так давно), а «Гулливер» все-таки очень полезная книга для взрослых — хотя бы потому, что там рассказано, на какие чудеса способен народ карликов, если ему даны от небесных властей любовь к родному углу и от земной власти разумное государственное устройство. Очень полезный вообще урок.

Студент не сдавался:

— Мюссе? Отчего же не Анакреон? Отчего не «Дафнис и Хлоя»? «Дафнис и Хлоя» — это совсем уже «современно»,

¹ По определению (фр.).

потому что Хлоя — самая настоящая *demi-vierge* четвертого столетия...

— Да и в области сатиры, — сказал тот, который предложил Гомера, — есть Ювенал, Аристофан, наконец, Щедрин...

Хозяйка растерянно развела руками. — Ах, господа, — сказала она, — я знала, что вы меня забросаете мудреными именами. Я не читала ни Анакреона, ни «Дафниса и Хлои», ни Ювенала; Аристофана пробовала читать и взяла «Облака», но мне на второй странице надоело; Щедрина я очень люблю, но его никто, кроме русских, не может ни ценить, ни даже понимать. А Свифт понятен всем — это ясно уже из того, что его столько лет читают с неослабевающим интересом...

— Виноват, как же это Щедрин никому, кроме русских, не понятен? — спросил защитник Гомера. — А Иудушка Головлев? Самый международный тип!

— Да, еще бы, — отбивалась хозяйка, — потому и международный, что он и списан-то с Тартюфа.

— Кстати! — вскричал еще кто-то, — уж если искать сатирика, то как же это мы забыли о Мольере?

— А Гоголь? — торжествовал студент, любуясь разгромом своей обидчицы.

Адвокат опять постучал ложечкой и сказал:

— Господа, прошу слова. Я хочу предложить вам одно имя, которое, быть может, примирит всех. Я вполне согласен с нашей милою хозяйкой, что и любовь, и сатира имеют полное право на представительство в нашей библиотеке десяти. Поэтому я напоминаю вам о поэте, который сочетал в своей душе, с одной стороны, всю нежность и тонкость Мюссэ и все дерзкое беззаботное эпикурейство Анакреона, а с другой стороны, — соленое остроумие Аристофана, гражданско-критическую вдумчивость Свифта, желчный гнев Щедрина, скорбную улыбку Гоголя и изящно гаменскую¹ насмешливость Мольера. Одним словом, предлагаю вам избрать седьмым Генриха Гейне.

— Просим, просим, — радостно зашумел студент, — bravo, именно, Гейне. Это я понимаю! Это уж не то, что дамский вкус...

Гейне был принят. Пришло новое лицо — барышня извилистого вида, с волосами, начесанными на уши. Мы рассказали ей предмет спора. Она подняла руку, полузакрыла глаза и сказала:

¹ От *fr. gamin* — уличный мальчишка; проказник.

— Если есть еще место, впишите Эдгара По. Это родоначальник декадентов.

— Как бы не так, — ответил студент. — Надо еще доказать, что декадентство имеет право на вечное сохранение, что в нем есть положительная идейная ценность, которая пригодилась бы последующим поколениям. Это во-первых, а во-вторых, нужно доказать, что Эдгар По декадент. Я сам поклонник По, и именно потому буду отрицать всякую связь его с декадентами. В нем совершенно нет их туману и шатания мыслей. Он, напротив, удивительно ясный, определительный, отчетливый писатель. Даже в таких произведениях, где неясность, полутонность нужна, эта неясность у него чувствуется только в построении, в стиле, в фоне, а слова зато всегда совершенно понятны, и не приходится ломать себе голову над каждой строкою, точно она из Апокалипсиса. Да лучший свидетель тому — сам По. Вспомните, что он говорит о своих приемах творчества в статье «Philosophy of Composition». Не знаю, переведена ли она; во всяком случае, подробно ее не помню, но смысл таков: есть, мол, у меня поэма «Ворон», и ее люди хвалят и, вероятно, полагают, что она создана в угаре безотчетного вдохновения. А на самом деле никакого угара не было, и составил я свою поэму по самому строгому плану и расчету. Именно, ощутил я в себе расположение написать вещь, посвященную настроению скорби, и рассудил так. Чтобы вещь производила цельное впечатление сразу — она должна быть не особенно велика: строк 100, не больше. Затем, впечатление будет особенно сильно, если эта скорбь будет красива. И я стал придумывать момент, в котором скорбь сочеталась бы с красотой, и нашел, что самый подходящий момент такого рода будет смерть молодого, прекрасного, любимого существа. А еще красивее будет изобразить эту смерть не наяву, а в воспоминании покинутого друга, потому что воспоминание всегда изящнее и прекраснее реального события. А для таких воспоминаний самая подходящая обстановка — ночь, особенно бурная полночь, когда за окном воет вьюга. Так и сложился у меня остов поэмы: зимняя полночь — покинутый друг вспоминает об умершей подруге... Установив, таким образом, основу содержания, я задумался о форме и пришел к убеждению, что для силы впечатления очень полезно ввести рефрен — какое-нибудь многозначительное выражение, которое повторялось бы в разных местах поэмы и усиливало бы в читателях основное настроение. Но для того чтобы рефрен этот не звучал искусственной выдум-

кой автора, необходимо повторять его не от себя, а вложить в уста живому существу, одному из действующих лиц поэмы. Что же это будет за живое существо? Человек? Неудобно: разумный человек не станет повторять одного и того же выражения, точно попугай. Тогда, может быть, попугай? Тоже неудобно: птица пестрая и веселая, для скорбной поэмы не годится. Тогда я вспомнил, что многие утверждают, будто можно обучить человеческому языку ворону — птицу черную, зловещую и в данном случае подходящую. Осталось одно: выбрать рефрен. Рефрен должен удовлетворять трем условиям: краткость, многозначительность, звучность. Для краткости я решил взять рефрен из одного слова. Для звучности остановился на гласной *o*, как самой звучной и торжественной из гласных, и на согласной *г*, которая легко поддается удваиванию и издавна считалась одним из самых сильных звуков человеческой речи. Из сочетания обеих получился слог *og*, а тут уже я легко набрел на слово «nevermore» (никогда), краткое, звучное и многозначительное...

— Все врет ваш Эдгар По, — даже рассердилась хозяйка, махнув рукою, — он, поверьте, раньше написал «Ворона», а потом все это придумал.

— Возможно, — сказал студент. — Но и тогда ясно, что По не был нимало склонен к туманным экстазам, путаности и непроходимости декадентов, а наоборот — любил даже рисовать обдуманностью и ясностью своих концепций и форм...

Извилистая барышня сказала презрительно:

— Я философствовать не умею, а просто чувствую, что По родной декадентам, и с меня довольно...

— Видите ли, — мягко вмешался старый господин, — я позволю себе взять слово для выяснения этих разногласий. Я тоже нахожу, что По — родоначальник декадентов, и при этом вовсе не отрицаю всяческой ясности и отчетливости его манеры творчества. Но я полагаю, что сбивчивость и путаность тона совсем не так характерна для декадентства. Это — внешнее, почти случайное. Что типично для декадентства — это самый декаданс, психология «упадка», то есть особенная аномальная угонченность, переходящая в извращенность. Она возникает в культурном человеке, когда он, залпом наглотившись разнообразнейших впечатлений, но ни одному не отдавшись всецело, ни одного, так сказать, не переварив, оказывается в очень странном и совершенно нелогическом положении: уже пресыщен, но все еще не удовлетворен. Состояние курьезное,

потому что обыкновенно, ведь пресыщение может наступить только после удовлетворения, — но как бы то ни было, это состояние переживается многими культурными единицами нашего жадного и неуравновешенного времени и еще долго и долго будет переживаться. Отличительная черта этого состояния — тяготение к ненормальностям, уродливостям, абберациям человеческой психики. Это тяготение, действительно, явно проступает у Эдгара По. У него есть целый ряд рассказов, посвященных таким ненормальностям психики, — почти мономаниям. Герои новелл «Береника», «Сердце-обличитель», «Черная кошка», «Человек толпы», «Гибель Эшерова дома» и многих других в одном всегда похожи друг на друга: их впечатлительность уродливо односторонняя, до чрезмерной всепоглощающей тонкости развита в одном каком-нибудь направлении. У одного — гиперболизм «внимания», у другого — зрительной или слуховой восприимчивости, у третьего — ощущение страха и так далее. Одним словом, та самая неуравновешенность современного человека, о которой мы здесь все время говорили, против которой мы выставили Гомера, как певца здоровой личности, — она в Эдгаре По нашла одного из первых своих портретистов. Конечно, быть портретистом извращенной личности декаданса еще не значит быть декадентом. Декадентом в истинном смысле я называю только того писателя, который сам обслуживает извращенные вкусы личности декаданса. Этого у По нет — но к этому пришли его последователи. Это, конечно, тоже специальная функция, в данный момент неизбежная и потому даже полезная, но все-таки я думаю, что в наш сборник десяти, составляемый в целях наилучшего воспитания человечества к здоровой и разумной жизни, вряд ли уместно включать произведения, рассчитанные на нездоровый и неразумный вкус извращенного поколения. Совершенно другое дело — портретная галерея этого поколения. Она, по-моему, прямо необходима. Если мы включили Гомера как полюс нормальности, то надо включить и другой полюс, отрицательный, антинормальный, чтобы иметь перед глазами в картинном изображении весь путь человеческой души. Но не Эдгара По я считаю типическим отражателем этого другого полюса. У По даны только намеки, наброски. Я предлагаю другого писателя, который действительно дал полную обширную галерею болезней извращенного духа, и из этой галереи людские поколения вечно будут черпать материалы для психологии неуравновешенной личности,

для диагноза и этиологии ее недугов и для лечения. Это — Достоевский. Для меня лично в его произведениях таится глубокий социальный смысл, большая правда о русских общественных отношениях и большая любовь к России; но я считаюсь с тем, что эта сторона имеет интерес вечности, может быть, только для русских, и не вношу ее в мотивировку. Устраняю, чтобы не вызывать споров, даже такой законный довод, как ссыла на философскую глубину Достоевского, — хотя лично я присоветовал бы всякому в качестве лучшего пособия к изучению всемирной истории главу о великом инквизиторе. Массовых движений она не уяснит, но всюду, где на арену истории выступает активная личность — будь это великий завоеватель Тамерлан или крупный временщик начала XX столетия, — там перед вами иллюстрация к этому изумительному отрывку из галлюцинаций Ивана Карамазова. За последним примером недалеко ходить: только недавно в одной из стран Европы сошел со сцены крупный и интересный деятель, ярко индивидуальная система которого колебалась на неуловимой границе между политической романтикой и политическим авантюризмом и из уст которого достойные люди слышали фразу: «я сначала укрощу свою страну, подавлю в ней всякое дыхание строптивой жизни, а потом дам ей счастье, о котором она и не мечтала». Да ведь это он, герой карамазовской «поэмки»! Но повторяю, чтобы не вызывать споров, я и философию Достоевского оставляю в стороне и мотивирую свое предложение одним только доводом: Достоевский оставил огромную портретную галерею нервного поколения, исковерканного неизбежной односторонностью капиталистического общественного строя. Эта односторонность сохранится до дней полной гармонии, то есть очень и очень долго; следовательно, то, что дал Достоевский, отражает основные черты далеко не одного XIX века, и еще поздние наши потомки будут узнавать себя в его героях...

Извилистая барышня нашла, что Достоевский скучноват; впрочем, она спорить не стала, и Достоевский был избран восьмым.

Девятого предложила молодая дама — та самая, которая провела Декамерон.

— В выборе книг, — сказала она, — мы руководимся одной (как выражаются господа адвокаты) презумпцией: что идеи, заключенные в книгах, способны влиять на волю чело-

вечества и направлять ее на добро. И это действительно так: у человека — у животного *homo sapiens* — есть потребность служить отечественной идее, создать себе живого бога и во имя его подвижничать. На эту потребность и опирается всякая проповедь; и когда мы составляем свой каталог десяти книг, мы, собственно, составляем воспитательную библиотеку для этой потребности, потому что на ней одной зиждется все идейное значение литературы. Но в таком случае необходимо дать место и такому произведению, которое представляло бы саму (терпеть не могу говорить «самое») — саму эту потребность, воспевало бы способность человека быть рыцарем и подвижником во имя идеи. Остальные девять книг научат его избрать для своего подвижничества разумную и полезную идею; но именно потому хоть одна книга пусть напоминает ему, что человеку необходима такая идея. В мировой литературе есть произведение, где рассказана жизнь одного настоящего рыцаря идеи, рассказано о его героизме, о его самопожертвованиях, о его ошибках и том хохоте, которым отвечал весь мир на его подвиг, а он все-таки не сдался и был рыцарем до смертного часа. Вы понимаете, конечно, я говорю о Сервантесе.

— Уд-дивительно! — сказал студент, — дамы все детские книги выбирают. Хозяйка — «Гулливера», вы — «Дон Кихота»... Делать нечего, пусть...

Остальные кивнули головами. Адвокат сказал не без торжественности:

— Девять! Господа, осталось одно свободное место. Прощу теперь об особенной вдумчивости и осторожности.

— Н-да, — вставил студент. — Дело щекотливое: тьма кандидатов и одна вакансия... Придется резать без пощады.

— Господа, — сказал адвокат, — я сижу, слушаю и удивляюсь, что у нас до сих пор не названо одно имя, с которого, собственно, и следовало начать, — Гете.

— Режу и проваливаю, — решительно заявил студент. — Я утверждаю самым положительным образом, при полном уважении к гениальным способностям экзаменуемого литератора, что ни моему сердцу, ни уму никогда от него не было ни шерсти, ни молока, — и смею думать, что многие здесь ко мне присоединятся.

— Ну, уж это ах оставьте, — возразил адвокат. — Когда тут говорили о Достоевском, мне хотелось вмешаться и сказать, что нужен не Достоевский, а Гете. Если Гомера признать

за один полюс первобытной, цельной, здоровой личности, то другим полюсом будет непременно Фауст. За огромный промежуток времени, отделяющий Гомера от Гете, человеческая личность совершила громадный путь, дошла до громадных высот, и вот она в Фаусте как раз и стоит на недосягаемых вершинах культурного развития, где уже все изведено, испытано, пережито. У Гомера вещь мудрость дикаря, у Гете мудрость жреца, прочитавшего все тайны, какие только написаны в звездах. У Гомера детство человечества, у Гете его полная зрелость. Если мы включим в наш список для вечного сохранения один этап, мы должны включить и другой...

— Режу и проваливаю, — повторил студент. — Прежде всего, в таком случае надо поднять вопрос об исключении Достоевского и замене его Гете. А против этого я буду восставать зубами и когтями. Размеров таланта я, конечно, не сравниваю: это было бы смешно. Но ведь мы выбираем не по таланту, а по полезности. Как же не признать, что в качестве антипода Гомеру Достоевский гораздо полезнее Гете? Фауст прежде всего не реальная фигура, а символ, некое отвлеченное «томление духа» в воплощении и на двух ногах: ни нервов, ни социальной обстановки, один томящийся дух. Да и вся поэма чисто отвлеченная, больше для комментариев и догадок, чем для настоящего впечатлительного чтения. Достоевский — совсем другое: у него настоящие живые люди, плоть и кровь, и эти люди в самом деле представляют нервное поколение, исковерканное капиталистической культурой и вообще условиями капиталистического быта. Какое же тут сравнение с Фаустом? Я безусловно против Гете. А лучше — в угоду нашим дамам, поклонницам детской литературы — предложу вам со своей стороны хорошую книгу, которая, право, достойна числиться в списке десяти — «Робинзона». В ней рассказано, как возрождается человек от трудового соприкосновения с природой. Великолепный pendant¹ к Гомеру, имя которого так нещадно склонялось в наших спорах.

Начался беспорядок. Назвали Данте, Шелли, Вольтера, Толстого, Шиллера, русские былины; между барышней с волосами на ушах и студентом поднялся такой горячий спор, что хозяйка дачи предложила им в качестве десятой книги «Хороший тон» Гоппе.

¹ Соответствие, пара (фр.).

Адвокат попросил внимания и сказал:

— Я сохраняю целиком свое мнение о Гете, но хочу, тем не менее, внести новое предложение. А именно: оставить вопрос о десятой книге открытым. Пусть его за нас решат другие. Среди нас есть один журналист. Попросим его рассказать о нашей беседе в печати, а вопрос о десятой книге предложить самим читателям. Пусть они выберут и сообщат ему в письмах свой выбор с мотивировкой, и тогда мы увидим, за кого большинство и кому, следовательно, принадлежит по праву десятое место в нашей библиотеке рядом с Библией, Гомером, Шекспиром, «Декамероном», сказками Шахерезады, Байроном, Гейне, Сервантесом и Достоевским.

— А не боитесь ли вы, — спросил журналист, — что читатели начнут недоумевать: для чего нам преподносят все эти разговоры о старых книгах? Кому это интересно? То, что очень занимательно в милой компании на даче, может показаться скучно в газете.

— Не думаю, — ответил адвокат. — Я хорошо знаю среднего читателя и ручаюсь вам за то, что много ли, мало ли он читает, равнодушно ли или с увлечением — он никогда не задается вопросом, что именно хорошо в книгах, обязательно украшающих любой книжный шкаф, что именно внесли они в сокровищницу духа и за что им такая честь всеобщего признания. А мы здесь об этом как раз и говорили. Авторы, которых мы разбирали, — все старые знакомые и «вечные спутники», по выражению Мережковского: род за родом будут их читать, будут с детства роднить свое сознание с их именами. Это вечный багаж культурного человечества, и от времени до времени каждому из нас не мешает распаковать чемодан, разобрать, разложить, переверотить и проветрить его, чтобы складки не слежались и моль не проела. А теперь объявляю заседание закрытым.

Я исполнил поручение. Думаю даже, что так лучше: пусть десятую книгу каждый выберет сам для себя, — если, конечно, согласен с адвокатом во взгляде на тему этой длинной беседы. Если же не согласен, бью ему челом, извиняюсь, что, быть может, наскучил и прошу не поминать лихом.

Владимир Ж.

Русь. 1904. 6, 9, 15, 16, 30 авг., 27 сент.



Вскользь

Люстдорф, 4 авг.

В Петербурге посетил меня Абель Феферман, молодой художник, ученик одесского художественного училища. Он рассказал мне, что с осени едет в Париж доучиваться искусству, и сообщил, что разные почтенные господа, конечно, отговаривают его и настоятельно советуют попретъ еще годков с пяток на родной печи. Они говорили:

— Раненько вам в Париж. Начали с Одессы, ну, а потом следовало бы в Петербург, в академию, а потом уже в Париж...

Г-н Феферман разводил руками и спрашивал:

— А как же в таком случае поступать самим парижанам? Ведь сразу начинать в Париже нельзя. Очевидно, им следует раньше всего поехать из Парижа в Одессу, потом из Одессы в Петербург, а потом только вернуться в Париж?

Я, впрочем, тоже спросил у г-на Фефермана, отчего ему не толкнуться в петербургскую академию.

— Мне там было бы неудобно, — ответил он, — там моего направления уж очень не любят.

— Ага, — ответил я, потому что действительно слышал уже не раз, что там не любят направления Фефермана.

Вскоре Феферман уехал на Литву за этюдами для задуманных работ и оставил мне в подарок пачку фотографических снимков со своих произведений.

Теперь эти снимки лежат предо мною: я их перебираю, рассматриваю и не без кислой улыбки повторяю про себя:

— Да, там этого направления не любят.

Вот, подите же, какая странность. У молодого художника все, казалось бы, обстоит вполне как следует.

Рисовальщик он прямо-таки удивительный: сплетает фигуры в самых прихотливых ракурсах, так что иногда невольно спрашиваешь себя:

— Да где же он видал человека в такой позе?

И в то же время эти фигуры всегда производят совершенно правдивое впечатление, ни одна поза не кажется неестественной, каждая складка тела и платья словно живая.

Это умение трудно дается: его сплошь и рядом не достает даже лучшим иллюстраторам, особенно в России. Нет-нет,

да и промелькнет у них вымученный поворот головы, одна рука длиннее другой, лошадь, если рассчитать перспективу, чуть ли не выше дома, и вообще в таком роде.

Как это ни странно, искусство рисования, которое считается основной грамотой живописца, часто хромает даже у хороших художников.

В этом очень важном отношении Феферман настолько безупречен, что, глядя на снимки с его работ, никто не признает их автором молодого человека, вся деятельность которого еще впереди.

И в других отношениях Феферман далеко опередил свою молодость: выбор сюжетов доказывает большую сознательность творчества и интеллигентно настроенный ум; размещение фигур на полотне обличает вкус и чутье гармонии; шаржа и подчеркивания нет нигде, хотя сюжеты часто сами почти напрашиваются на подчеркивание; лица типичны и выразительны — видно умение терпеливо, критически и основательно выбирать модель.

Я только не знаю, каков Феферман в качестве колориста. В Петербурге у меня были только фотографические снимки; в Одессе когда-то, на одной выставке этюдов, я заметил два его полотна — «Свадьбу» и «Тяжбу», — но не сохранил впечатления об их исполнении со стороны колорита; впрочем, как раз с этой стороны я считаю себя полным профаном и судить бы не взялся. Впрочем, люди сведущие, знавшие Фефермана в Одессе, отзывались о нем, как о художнике с задатками прекрасного колориста.

Словом, куда ни поверни — тут зреет настоящий и серьезный мастер, художник от головы до пят, какими академии следовало бы очень дорожить, ибо таких в академии далеко не считают десятками.

Но Феферману в академию не дорога, потому что там не одобряют его «направления».

А «направление» самое естественное: Феферман — еврей, помнит об этом и пишет на сюжеты из еврейской жизни.

К этому в российском климате не привыкли. Чтобы еврей, выросший в Минске или Пинске, писал исключительно картины из быта поволжского крестьянства — это считается в порядке вещей. Но когда этот самый еврей находит в себе любовь и интерес к родному племени, желание закрепить на полотне сцены *его* своеобразного быта, водевили и трагедии

его жизни, — тогда одни брезгливо морщатся, а другие ласково говорят:

— Ну что за шовинизм? Что за узость?

Все это вместе, брезгливая гримаса справа и ласковые упреки слева, создали действительно ту курьезную и неприглядную психологию художника «из евреев», которая очерчена в рассказе г-на Айзмана «Раб».

Грех было бы сказать, что г-н Айзман одержим еврейским национализмом. Очень даже напротив. Но и ему, видно, стало противно при взгляде на «раба», который на вершине славы стыдится написать фигуру старого жида, за которым гонятся собаки, как стыдился бы порядочный человек нарисовать на заборе непристойное изображение.

Истинно рабская психология, и спасибо веку за то, что она вымирает. С каждым годом нарождаются свежие люди, свободные от старых предрассудков и старой трусости.

Но пока солнце взойдет, роса очи выест. Еще много воды утечет, а в петербургской академии все не будут одобрять «направления» Фефермана и будущих Феферманов. И, может быть, чем дальше, тем хуже.

Куда деваться при таких условиях? За границу? Легко сказать: молодые художники бедны, как цыгане, — это мы хорошо знаем по одесским образцам...

Единственная надежда будет чаще всего на доброго человека со средствами, который поможет и поддержит.

Мы все воспитали свой ум в презрении к благотворительности и твердо заучили, что милостынею никого не спасешь. И это как система — безусловная правда.

А все-таки, господа, как присмотришься да увидишь, сколько живых людей дохнет с голоду, телом и душою, среди бела дня, на глазах у ликующих, праздно болтающих, которым наплевать, которые пальцем о палец не ударят и еще, Бог им судья, выругаются, — тогда наперекор всякой системе начинаешь ценить эту буржуазную, но в высшей степени редкостную комбинацию: человек со средствами — и добрый...

Altalena

Одесские новости. 8.08.1904



Наброски без заглавия. XXVI

— Не думайте, что все уже сделано и телесные наказания исчезли, — пишет г-н Меньшиков. — ...Телесное наказание в виде розог отменено, но надо озаботиться, чтобы наши нравы не создали суррогата к розгам. В высшей степени важно теперь же и возможно энергичнее налечь, например, на так называемое мордобитие и вывести его из практики... Раз закон отрекся от телесного насилия, нужно проследить, чтобы оно не выскочило из почвы в других видах.

И г-н Меньшиков напоминает о «бабьих столах» и вообще о тех «неистовых бесконечных насилиях, что терпят люди дома от своих же близких».

Я видывал, — говорит он, — как одичавшие помещики... забивают своих детей до полусмерти. Я видел, как мужики... таскают своих жен за волосы, бьют иной раз поленьями и каблуками по животу. Я видел сельского батюшку, прямо добряка, который чуть не засек своего пастушонка в лесу. Я видел деревенский острвенелый самосуд... Государству пора вступиться...

Ждать, пока избитый сам придет жаловаться, — это, по справедливому мнению г-на Меньшикова, недостойно государства.

Ведь это пустая фраза. В какой суд пойдет изувеченный ребенок или больная, ошалевшая от страха баба?

Сам закон должен следить и брать на себя инициативу бытовой защиты. Главное же — «необходимо так организовать жизнь, чтобы насилие всюду встречало несокрушимый отпор общественный».

Да, очень необходимо. Тем более что г-ном Меньшиковым перечислены далеко не все и не самые возмутительные из незаконных видов бытового насилия. Позвольте напомнить вам еще об одной разновидности.

Все газеты облетел пикантный случай: один веселый господин в Ашхабаде вызвал к себе врача, позвал своих приспешников и приказал врача выпороть. Приспешники повалили несчастного на пол, раздели и отхлестали нагайками. Врачи

того города в общем собрании постановили: выразить униженному и оскорбленному товарищу сочувствие. Газеты, перепечатывая этот рассказ, единогласно именовали этот случай возмутительным и вопиющим. Но я позволю себе остаться несколько при особом мнении по этому предмету: не вижу в данном случае ровно ничего необыкновенного или вопиющего. Напротив, такие вещи бывают весьма часто в нашем климате. Если не секут, то просто бьют по физиономии и по другим местам, но бьют часто, много и везде, да и настоящая порка одного обывателя другими обывателями тоже далеко не редкость, только не всегда она в печать проникает. И мне кажется, что само по себе рассказанное выше происшествие не заключает в себе ничего странного или достойного изумления: вещь самая обыденная, которая завтра может случиться с каждым из нас или из наших близких.

Да-с. А вы, читатель, попробуйте хорошо вдуматься в эту формулу: может случиться. Понимаете ли, живет на такой-то улице скучающий или пьяный барин, у которого есть достаточное количество дюжих приспешников. Вы ему чем-нибудь не угодите, и он ласково заманит вас в свой переулочек, а там вас разложат, разденут и старательно высекут нагайкой или прутьями. А потом отпустят домой. И куда вы с того дня уже ни пойдете, куда ни убежите, — всюду за вами пойдет вцепившаяся, впившаяся, нестерпимая мысль, что вас высекли. Нет боли мучительнее, чем когда насекомое заберется внутрь уха и там шевелится, и хуже всего то, что причина невыносимой боли так близко — тут, в тебе, а ты не можешь ни вытащить ее, ни убежать, и куда ни кинешься, всюду понесешь ее с собой. Это ужасно, и подобно этому будете мучиться вы от мысли, что вас высекли. Вы не сможете больше говорить с людьми, как прежде, потому что вам будет казаться, будто они смотрят на вас и думают: его высекли. Вы полюбите девушку и сойдете с ума от муки, потому что вам будет казаться, будто она, целуя, жалеет вас и думает: бедный, его высекли. И вы будете совершенно правы, потому что все они действительно при каждом взгляде на вас будут совершенно невольно и совершенно непреодолимо вспоминать, что вас высекли, и даже в день похорон ваших не забудут.

И это может случиться во всякий миг сегодня или завтра и с каждым из вас. Пожалуйста, не воображайте, будто вас уже миновала чаша сия. Разве мало самодуров? Стоит вам не в добрую минуту попасться на глаза какому-нибудь из них —

и готово: он даст приспешникам по нагайке и по рублю, и они на всю жизнь отметят вас меткой: высеченный. Если, впрочем, этот самодур не из крупных, то он, пожалуй, сечь вас не станет, а ограничится милостиво пощечиной, которую даст вам где-нибудь в саду, на людях, перед вашей дамой за то, что вы его нечаянно толкнули, или, может быть, даже за то, что он сам вас нарочно толкнул и не извинился. Тогда на вас будет уже другая метка: получил пощечину. Это, конечно, все-таки лучше, нежели высеченный...

Я говорю вполне серьезно, что с каждым из нас и каждый день может произойти такой же случай, потому что случаев этих много и самодуры тешатся и посмеиваются. И я решительно не вижу никакого законного средства к обузданию этой своеобразной, исключительно российской эпидемии. Суд? Суд и теперь не гладит по головке за побои или истязание, но ведь мы *ipso facto*¹ видим, что это помогает, как мертвому кадилу. И очень понятно, почему не помогает. Самодура, после всех проволочек, посадят за решетку и потом выпустят, а вы на всю жизнь останетесь с искаленной душой и с язвой в мозгу. Это значит, что самодуру здесь предоставляется возможность испакостить вам весь житейский путь до могилы, а самому за то в худшем случае отсидеть — как сидел Галилей или Джордано Бруно, только меньше. За малые деньги большое удовольствие. Это так заманчиво, что надо изумляться, почему на Руси еще так мало господ, разрешающих себе это удовольствие, почему их не втрое, не вдесятеро больше.

Я не рекомендую требовать усиления судебной кары за такие надругательства. Напротив, думаю, что это не нужно и бесполезно, ибо вовсе не потому порет у нас обыватель врача и бьет по лицу журналиста, что суд будто бы слишком мягок. Не в суде вовсе дело. Тут действует другая причина, позволяющая процветать на Руси этой мерзости, которая нигде в Европе не могла бы возникнуть. И в Европе суд не строже, и никому там за нанесение побоев без увечья не грозит ни плаха, ни каторга, ни ссылка. Но в Европе у каждого самодура есть сознание, что он не может так надругаться над человеком, что это немислимо, неосуществимо, потому что тот не допустит, не дастся, позволит скорее убить себя на месте. Западный человек горд и свято верит в истину, что нет ничего постыднее, чем потерпеть над собой насилие. Как только самый

¹ На деле, в действительности (*лат.*).

культурный немец или англичанин перенесется в Камерун или на Золотой берег, тут и он себя покажет и будет пробовать новые патроны на неграх и новые хлысты на негритянках — именно потому, что тут можно, что забитые дикари допустят, перенесут, стерпят. Человек над другим человеком вообще позволяет себе все то и только то, что этот другой допускает и терпит. Таково правило, и кому не хочется порки и пощечин, тот пусть не допускает. Пусть все люди знают о нем, что этот человек пойдет на все, не побоится даже молнии с неба, ослепнет, оглохнет, издохнет, но не допустит над собой надругательства, пальцем не даст себя тронуть и умрет, защищая свою личность. И самодуры будут обходить его за версту, потому что самодуры падки только на легкую и дешевую добычу. А тот человек, который согласен разыгрывать из себя легкую и дешевую добычу, который мирится с оплеухой, думая: «Как бы хуже не было? Мог бы и выпороть!» — и так же точно примирится с поркой и скажет при этом: «Спасибо и за то — ведь мог бы и убить», — тот человек пусть не жалуется на судьбу, ибо ему поделом. Никому не нужен, ни на что не годен такой человек, да и не человек он вовсе, а лишняя слякоть и слизь. И только потому, что много среди нас этой слякоти, процветает и не знает удержу гнусный запой самодурства и надругательства.

Было некогда сказано: если ударят тебя по щеке, подставь другую. Но не такому поколению, как нынешнее, было сказано это слово. То поколение было полно неукротимой гордости и в ответ на оскорбление вспыхивало мстостью и рвалось кинуться на обидчика. И когда людям того поколения заповедано было смиряться и подставлять другую щеку, то была им заповедана страшно трудная борьба с собственной душой, подвиг обуздания могучего мстительного порыва. Но у нынешнего человека нет таких порывов; получив оплеуху, он вспыхивает не мщением, а желанием поскорее удрать, и когда он подставляет другую щеку, то не для того, чтобы победить свою мстительную душу, а для того, чтобы собачьей покорностью умаслить хозяйскую подошву. У него тут простой расчет: подставить другую щеку — итого две затрещины, а станешь отбиваться, так еще третью получишь. От сильных и жестоковыйных требовал Христос смирения, потому что для них смирение было трудным подвигом, но если бы Христос увидал этих людишек, для которых смирение — просто трусливый расчет, которым не надо смирять себя, потому что они и не способны негодовать или возмущаться,

то было бы с этими жалкими поступлено, как с торгашами храма, потому что ни небу, ни отечеству не нужны такие люди, и кто не может постоять за себя, тот не отстоит ни вдовицы, ни родины своей, ни веры.

Господа врачи того города выразили пострадавшему сочувствие. И я тут опять позволю себе остаться при особом мнении. Конечно, я этого доктора не знаю: вполне вероятно, что сам он — прекрасный, мужественный человек и просто не мог защититься, когда на него накинудись восемь молодцов. Как личность он, несомненно, заслуживает полного сочувствия. Но как общественную манифестацию — я считаю ошибкой в подобных случаях громкое выражение сочувствия униженным и оскорбленным. Швырните в меня словом «парадокс», но как ни благородно сочувствие к униженным и оскорбленным, я все-таки думаю, что не время теперь этому сочувствию. В детстве я любил хворать: я тогда лежал в постельке, а другие меня жалели, ласкали и поили теплым чаем. Это, конечно, было очень гуманно и хорошо, как исключение из правила, на время короткой болезни, но как правило — это было бы вредно и нелепо. Это значило бы внушить мне, ребенку, любовь к болезни, тогда как здоровый организм должен чувствовать, напротив, ненависть к болезни, должен всей душой, всеми нервами своими рваться вон из постели! Быть униженным и оскорбленным — то же, что быть больным: это — ненормальное состояние. И нормальному человеку необходимо тяготиться этим состоянием потому, чтобы из униженного и оскорбленного стать гордым и стойким борцом, которому никто не посмеет наступить на ногу. Мы должны утешить униженного и оскорбленного, помочь ему подняться, так сказать, «вылечить» его, но нельзя, вредно, преступно, нелепо внушать ему примирение с болезнью, приучать к тому, чтоб он, как захворавший ребенок, нежился и тешился, глядя, как ему все сочувствуют и все за ним ухаживают, чтобы в нем ослабевало и гасло страстное желание подняться, стать из униженного победителем, из оскорбленного — восстановителем справедливости. И нельзя не видеть, что такая *résignation*¹ действительно сильно въелась в общественное сознание и с каждым годом все больше становится людей, которые, страдая, терпя унижения и оскорбления, охотно готовы помириться на подачке всеобщего сочувствия и забыть о главном —

¹ Покорность судьбе (*фр.*).

о победе. Как удивительно хорошо сказал недавно один русский генерал на Дальнем Востоке: «Не стремитесь лечь костями. Вы ляжете костями, а враг перейдет через них на русскую землю? Нет, братцы, вы лучше сами останьтесь живы, а зато врага уложите костями. Вот тогда и послужите родине».

Золотые слова, и надо их помнить, потому что не униженным и оскорбленным должен быть человек, а полноправным и гордым. Будем сострадать и помогать несчастным и побежденным, но сочувствие нашей души отдадим победителям по той простой причине, что в борьбе за правое дело нам нужны победители, а не побежденные.

Владимир Ж.

Русь. 16.08.1904.



Наброски

I

По поводу «Писем об автономизме» получилось, между прочим, одно любопытное возражение от сиониста. Сионист, по-видимому, настоящий: на листке письма две голубые марки, а внизу от руки нарисован Давидов щит, и в щите написано даже не новомодное «Эрец» (земля), а самое правоверное слово «Цион¹». В письме же говорится так:

Почему я сионист? Сионист я потому, что, во-первых, нас притесняют, и, во-вторых, потому, что мы не можем слиться с окружающими нас народностями. И только по этим двум причинам. Вы же доказываете, что при некоторых условиях нам непременно грозит ассимиляция, слияние без всякой обиды и боли. Но если мы можем слиться без боли, то таким образом рушатся обе основы моего сионизма, потому что нас уже не притесняют и мы уже слились, и я уже не сионист. Однако я остаюсь сионистом, так как убежден, что ассимиляции не может быть...

Письмо это выше названо любопытным и, кажется мне, заслуженно, хотя в нем ничего необычайного нет: мало ли сионистов, сознательно или бессознательно, рассуждают

¹ Сион (*ивр.*).

совершенно так же. Так как перестать быть евреями нельзя, то они, делать нечего, сионисты. Отсюда ясно, что явись только возможность перестать быть евреями (но, конечно, не на одной бумаге, а на самом деле) — и они с полным удовольствием сбросили бы с себя еврейскую шкуру. Так сказать — сионисты поневоле. Верность их нашему движению построена только на том, что другие нас не любят. Убеждения этих сионистов вытекают не из их собственного внутреннего самосознания, а из настроения чужих людей. Уверьте их, что настроение чужих людей переменялось, и их убеждения разлетятся дымом, «и я уже не сионист». Невольно хочется подсказать: да ты никогда и не был настоящим сионистом! Но я воздержусь и этих слов не скажу. Слишком уже они избиты в нашей среде: нет того мизрахиста, фракционеря, чисто политического и так далее, который хоть раз на своем веку не заявил бы, что все инакомыслящие суть «не настоящие сионисты». К тому же не могу не оценить, что на листке письма красуются две марки национального фонда — а это, поверьте, встречается далеко не во всех письмах от самых даже заведомо «настоящих» сионистов. Можно по этому судить, что автор письма, быть может, и вообще прилично исполняет свой сионистский долг. В этом предположении остерегусь назвать его настоящим сионистом. Но не могу не признать его сионистом очень дешевого и непрочного сорта. Ибо дунет ветер не с той стороны — «и он больше не сионист»...

В нашем журнале несколько раз уже указывалось, что обоснование сионизма не может строиться на отрицательных моментах — на антисемитизме, *Judennot*¹, бесправии и тому подобных прелестях галута. Если бы все дело было в этих неприятностях, то возник бы не сионизм, а совершенно обратная проповедь, которая призывала бы евреев к систематическому искоренению еврейства путем крещения, расселения по всем углам света в самом незаметном количестве и смешанных браков. Эта проповедь, конечно, не сулила бы уничтожить *Judennot* и антисемитизм еще в нынешнем поколении: только внукам, уже почти лишенным еврейской крови, обещала бы она полное счастье, формула которого гласила бы: «ни семитов, ни антисемитов»; только внукам, — но ведь и мы, сионисты, не завтра еще спасем еврейский народ. Если человека притесняют за его еврейство, то проще всего ему отде-

¹ См. примеч. к с. 32.

латься от своего еврейства или принять меры, чтобы хоть внуков избавить от неприятной метки. Если же он этого не делает и, напротив, составляет трудные проекты, как сохранить и обеспечить свое еврейство, то ясное дело, что ему не столько тяжело притеснение, сколько дорого само еврейство. На этом положительном мотиве и только на нем построен сионизм. Сионизм вытекает из одного чистого национального самосознания. Наше положение в галуте ненормально не потому, что существуют антисемитизм и *Judennot*, — а напротив, *Judennot* и антисемитизм оттого и возникли, что положение народа без земли ненормально. Болезнь наша в безземельности; нелюбовь и притеснения — это только внешние проявления болезни, вроде головной боли при малокровии. Конечно, чем сильнее головная боль, тем скорее начнет человек лечить свое малокровие, и чем острее гнет антисемитизма, тем чаще вспоминает еврей, что вся беда в нашей безземельности. Этой роли антисемитизма никто из нас никогда не отрицал: он нам «напомнил», он нас разбудил. Но если мы, проснувшись, создали сионизм, то не потому, что нас чужие не любят, а потому, что мы нация и хотим оставаться нацией, а нации необходима национальная земля.

Все это не раз уже было высказано, и я не стал бы этого повторять, если бы на то именно теперь не было некоторых причин. Дело в том, что в последнее время явилась надежда на кое-какие облегчения в положении евреев в России. Насколько далеко зайдут эти облегчения — предвидеть еще нельзя. Возможно и то, что они более или менее приблизят момент осуществления полной эмансипации; возможно и то, что они коснутся только второстепенных мелочей, и после них еврейский народ по-прежнему останется бесправным. Как бы то ни было, всякое облегчение, даже несущественное, обладает волшебным свойством размягчать иные непрочные души. Завидев даже издали проблеск гражданской эмансипации евреев или хоть ее подобия, эти непрочные души весьма легко могут прийти в умиление и махнут рукой на все остальное. И если в нашей среде имеются такие непрочного сорта сионисты, которые считают себя сионистами только потому, что «нас не любят», — то едва им покажется, будто нас уже «любят» или даже только собираются попытаться «полюбить», они, пожалуй, придут в восторг и запляшут танец маюфис, а базельской программой тут же растопят самовар. Я не настаиваю,

что так поступят они все — напротив, у многих из этого цеха «сионистов поневоле» тогда именно и заговорит положительное национальное сознание, — но некоторый процент дезертиров, при малейшем намеке на эмансипацию, несомненно, будет. Надо это помнить, и не мешает, в ожидании грядущих событий, выяснить наш сионистский взгляд на гражданскую эмансипацию евреев.

Мы считаем, что еврейский народ, несущий на себе наравне с прочим населением России все государственные повинности, от податной до воинской, должен пользоваться в полной мере гражданской равноправностью. Мы считаем, что эта эмансипация необходима и неизбежна, что момент приступить к ее хотя бы постепенному осуществлению настал давно и дольше медлить не следует ради блага и успокоения самой России. Мы считаем, что для физического и культурного подъема еврейских масс, входящего в программу наших действий, гражданская эмансипация необходима. И в то же время мы помним, что для полного решения еврейского вопроса нужна не просто эмансипация, но «автоэмансипация», то есть национальное возрождение еврейского народа при помощи и во имя национально-еврейской самодеятельности. Сколько-нибудь полное и прочное осуществление этого идеала в странах рассеяния совершенно невыполнимо и может быть достигнуто лишь на собственной исторически-национальной территории. Если некоторые из нас (и мы сомневаемся, чтобы таких наивных нашлось много) на первых порах, умиленные эмансипацией, и могли бы забыть об автоэмансипации, то им о ней скоро и больно бы напомнили со стороны, как напомнили в Западной Европе. Мы же, сионисты не «поневоле» и не потому, что «нас другие не любят», а потому, что мы сами себя любим, дорожим своим еврейством и не желаем отдать его ни насилию, ни ласке, — мы встретим всякий шаг к восстановлению наших гражданских прав с чувством удовлетворения, как должное, — тем более что правило наше гласит: «все, что укрепляет еврейский народ, укрепляет и сионизм», — но при каждом из этих шагов будем стойко и твердо повторять то, что единогласно заявили восточные делегаты в Базеле на конференции перед 6-м конгрессом: сионисты остаются на своем посту и при всяких условиях будут продолжать свою работу...

II*

Я получил несколько писем, где меня спрашивают:

Укажите работу. Вы говорите, что в работе и спасение, и радость; мы охотно с вами согласимся, но укажите, в чем состоит работа. Назовите прямо и ясно по имени то, что каждый из нас должен делать. Неужели все заключается в продаже шекелей, акций и марок? Мы хотим истинной работы, которая удовлетворила бы душу...

И так далее. Не привожу подробно, потому что все это знакомые слова. Кто их не слышал, кто их не говорил? И в литературе, и в жизни на каждом шагу встречаются такие типы: глаза их подняты к небу, руки засунуты глубоко в карман, а уста мечтательно повторяют: «Если бы только нашлось дело, натворил бы я чудес и подвигов, да вот беда — не находится для меня дела». Немало таких типов и у нас.

Я убежденный и безусловный оптимист. Верю не только в будущую свободу и счастье нашего народа — верю даже в то, что и теперь, несмотря на прорехи и недочеты, мы все-таки с каждым днем прогрессируем и усиливаемся. Но этот оптимизм нисколько не мешает мне видеть очень ясно, что все мы, как я имел уже удовольствие высказать в одной статье, на три четверти болтуны и бездельники. Я даже знаю, что этого упрека заслуживают больше всего не отцы, а дети, — не солидные баалей-батим¹, а та самая молодежь, которая столько шумит и важничает. И это очень печально. Если баалей-батим болтают и бездельничают, оно еще не так ужасно, потому что не они составляют главное войско нашего возрождения. В наше время и в тех условиях, среди которых мы живем, главная сила всякого прогрессивного движения именно в молодежи. Старички обыкновенно посмеиваются, говорят о мальчишестве, пожимают плечами, — но когда дело сделано, оказывается, что все построено трудами и жертвами молодежи. Без нее немислимо никакое общественное обновление. Поэтому, когда молодежь болтает и бездельничает, тут уж не до шуток. Это действительно беда и срам. Беда для народа, срам для самой

* «А-Цофе», 20 авг. [Этот фрагмент был опубликован в «А-Цофе» № 476, 30.07.1904].

¹ Главы семейств, хозяева (*ивр.*).

молодежи. И при всем моем оптимизме надо сознаться, что я часто ощущаю этот срам за нашу молодежь, ибо часто вижу и слышу, как она охотно пользуется всяким предлогом, лишь бы увильнуть от работы, словно малое дитя от скучного урока. Мне стыдно за нее, когда я слышу длинные и праздные пререкания между группами, как будто недостаточно основать свою группу, а надо непременно еще обругать все другие и непременно затратить на эту ругань множество времени и сил, которые так нужны для работы. Мне стыдно за нее, когда всякий мелкий промах какого-нибудь захоластного уполномоченного дает ей повод на три недели заняться испусканием воплей и протестов — а пока забросить работу. И мне так же стыдно за нее, когда ее представители спрашивают: где работа?

Право, я бы меньше удивился, если бы кто-нибудь серьезно спросил у меня: «Не выдали ль вы моей головы?» Нельзя же забывать, что в национальном фонде у нас лежат жалкие гроши. Нас начинают понемногу замечать в Европе, с нами начинают серьезно считаться; но если бы все точно знали, какие огромные миллиарды собраны нами для наших великих замыслов, люди расхохотались бы и окончательно перестали бы верить в нашу серьезность. Шекелей в этом году продано так мало, что негде взять тысячу рублей на важнейшие расходы по агитации, — а что за печальную фигуру будет представлять собой 7-й конгресс, и подумать не хочется. На шестом было 700 делегатов, а теперь, кажется, не будет и четверти этого числа, тем более что количество избирателей повышено со ста до двухсот. Только в последнее время на нас обратили внимание, заговорили о нас, как о силе, — и вот мы на новом конгрессе покажем наш упадок, наше бессилие и осрамимся на всю Европу. А молодежь ходит друг к другу в гости и спрашивает: где работа?

«Шекели и марки, марки и шекели... Разве это работа? Мы хотим истинной работы, которая давала бы удовлетворение душе»... Эти господа, очевидно, думают, что «истинная работа» есть нечто очень эффектное, раскрашенное, театральное, непременно под музыку, с барабанным боем и фейерверком. А на самом деле всякая работа есть дело суровое, скучное и кропотливое. Эффектен может быть только результат работы, а не самый процесс ее. Когда о старом учителе говорят, что он воспитал целое поколение, это весьма эффектно звучит; но процесс его работы был очень однообразен и скучен, потому что изо дня в день, из году в год приходилось повто-

рять одно и то же ленивым и зевающим детям. Герцль объединил еврейство, и результаты его дела внушительны и величавы; но процесс его работы состоял из множества мелких затруднений, дрызг, неприятностей, унижений, из кропотливой организационной работы, которая требовала главным образом ослиного терпения и в которой ровно ничего эффективного не было. Таково всякое великое дело: оно состоит из множества кропотливой, мелкой, неказистой работы. Кто хочет послужить великому делу, тот должен быть готовь отдать все свои будни этой самой неказистой, неэффективной, однообразной работе, ибо так работают все честные труженики: кузнецы и портные, учителя и судьи. Кто же мечтает о работе с фейерверком и под музыку, с красивыми жестами и позами, а иначе ему и работы не надо, — тот пусть еще глубже засунет руки в карман, потому что никому он не нужен и никуда не годен. Если бы у нас уже было свое государство, ему понадобились бы десятки тысяч скромных чиновников в министерствах, в канцеляриях, на железных дорогах; они скромно и усердно делали бы свое маленькое дело, сознавали бы, что приносят пользу родному народу, и не заявляли бы претензий, чтобы им непременно дали эффективную работу, иначе они работать не хотят: не заявляли бы таких претензий потому, что наше государство платило бы им жалованье. А так как теперь наш народ еще не может платить жалованья своим гражданам, то мы себе позволяем брезговать самой полезной работой, оттого что она неказиста и однообразна, оттого что она не похожа на те романтические подвиги, которые с таким изыществом совершаются на сцене оперными певцами. Срам!

Я знаю возражение, что шекели и марки — это деньги, а для народного возрождения одних денег мало. Это правда. Кроме денег, нужна и агитация, и национальное воспитание, и разного рода жертвы и усилия. Но для агитации нужны разъезды маггидов, нужны брошюры, книги, газеты, а для всего этого необходимы деньги; национальное воспитание дается в школах, а школы стоят денег; для действий в Палестине нужны деньги: без денег немислима никакая организованная работа. А для того чтобы у нас были деньги, нужны упорные старания десятков тысяч людей; и для того чтобы им эти старания не надоели, нужна с их стороны большая любовь к народу и преданность идее. И не деньгами, а именно этой любовью к народу и преданностью идее покупаются возрождение и освобождение.

Конечно, кроме денег, нужно еще и многое другое, и каждый из нас, кроме продажи шекелей и марок, может и другими путями принести пользу народному делу. Надо только смотреть на это дело так, как хорошая хозяйка смотрит на свою комнату: где заметит вещь не на своем месте — переставит, где найдет соринку — подметет, где увидит пылинку — сотрет. Поступайте, как эта хозяйка. Идя по своей жизненной дороге, смотрите зорко вокруг, и как только заметите перед собою недочет или прореху, пылинку или соринку, старайтесь это исправить, если хватит сил. Наткнетесь на ребенка, не знающего по-еврейски, — научите его; познакомитесь с семьей, в которую случайно еще не проникло национальное мировоззрение — заговорите с ними о нашем движении, заставьте их прочесть наши издания; встретите юношу или девушку, охочих до чтения, — посоветуйте им хорошо изучить историю еврейского народа и его письменности; учредите, если случится, гимнастический кружок, поставьте любительским спектаклем пьесу на еврейском языке, заведите переписку с палестинской молодежью, — где можно, где придется, вбивайте свои гвозди, не пропуская мимо ни одного случая, пока есть сила. И всегда и на каждом шагу помните о шекелях, о фонде и о банке. Если вы заняты весь день для пропитания вашей семьи, то урвите для народного дела хоть три часа от вашей субботы, хоть по десять минут из вашего будничного отдыха, сколько можете. И если вам порою придется трудно, то вспомните, что вы на службе у народа, что время боевое, и не жалко ни труда, ни жертв, ни самой жизни. И как ни была бы скромна ваша работа, но если вы отдадитесь ей усердно и без брезгливости, она заплатит вам за труд истинным удовлетворением души, и каждый вечер, засыпая, вы будете сознавать, что ваше дело сделано и пробита новая ступенька на трудном пути народного освобождения.

Там, где все надо создать и ничего еще не создано, там только слепой и ленивец способны спрашивать: где же работа? Как в библейском предании по слову «шиболет» воины Симеона отличали врага от друга, так мы теперь по этому вопросу «где работа?» можем без ошибки узнать ленивца.

III¹

В последнее время я виделся с несколькими добрыми сионистами, приехавшими из Литвы. Они все были очень встревожены и жаловались на рост территориализма. Они говорили, что молодежь восклицает: «куда угодно, только не в Палестину!», и называет Палестину *dos gerêgerte land*², и пишет внутри Давидова щита слово «Эрец». Я лично видел на одном листке даже такой щит Давидов, внутри которого было написано «Киев» — что уже совсем странно. И все-таки надо сказать, что менее всего должен беспокоить нас именно территориализм. Достаточно, по-моему, вдуматься, чтобы признать его недоразумением, которое скоро должно растаять без всякого следа.

Взгляните пытливо на самых ярых территориалистов: вы увидите, что это по большей части та самая молодежь, которая недавно еще насмеялась над верой Герцля в силу дипломатии. Невольно возникает вопрос: как же быть, если Уганда окончательно провалится? А ведь нечего лицемерить: она провалилась. Это уже ясно до того, что самые горячие угандисты вроде д-ра Пасманика начинают писать: «Прежде всего необходимо разделаться с Угандой!» Вместо экспедиции послали туда нечто весьма крохотное; вместо автономии Англия — судя по последним заявлениям в палате общин — теперь тоже предлагает нечто весьма и весьма крохотное... Дело ясное.

И когда Уганда сойдет со сцены, наши территориалисты окажутся в очень затруднительном положении. Территория, — но какая? где? Территории с неба не падают: надо их искать. Иными словами — послать делегацию, которая объехала бы все столицы и всюду спрашивала бы: «нет ли у вас свободного пустыря, и почем продаете?» Но ведь это значило бы опять возложить все народные надежды на ту самую «дипломатию», которую левое молодое крыло сионистов всегда осмеивало. Впрочем, говорят, будто варшавские поалей-Цион умудрились одновременно высказаться за территориализм и против «дипломатии». Очевидно, собираются завоевать себе землю молодецким набегом...

Ясный вывод отсюда, по-моему, тот, что наши «ховевей эрец» не пойдут на такую измену своим недавним убеждениям:

¹ А-Цофе, 20 авг.

² См. примеч. к с. 53.

они для этого слишком последовательны и слишком умны. Они, в конце концов, не могут не понять, что даже для убежденного территориалиста единственная пригодная территория — это Палестина, потому что больше некуда идти. Они вспомнят то, что всем нам вообще следовало бы подтвердить помнить: что и теперь уже Палестина есть самая еврейская страна в мире, ибо ни в какой другой земле мы не составляем такого большого процента населения, как в Altneuland¹, где на 600 тысяч жителей приходится 70 тысяч евреев. И так как евреи очень быстро воспринимают просвещение, то из этих 70 тысяч (если бы даже не переселить туда больше ни одного еврея из Европы) в течение каких-нибудь 15–20 лет можно создать сильную культурную массу, которая, несомненно, получит преобладающее влияние среди остального дикого и невежественного населения. Нет в настоящее время страны, которую бы легче было объевреить, чем Палестину.

Как только будет ликвидирована Уганда, эту простую истину признают и наши территориалисты. А остальные уже давно ее поняли. Из всего этого совершенно ясно вытекает одно предсказание: на ближайшем конгрессе бесповоротно будет начата крупная и сложная работа в Палестине. Достаточно прислушаться к разговорам, чтобы понять, что это решение созрело и не может не проявиться явно и сильно на 7-м конгрессе.

До сих пор сионизм пальцем о палец не ударил для работы в Палестине, и многие упрекают его за это. Мне кажется, что этот упрек неразумен и несправедлив и что сионисты очень хорошо поступили, если до сих пор не ударили пальцем о палец для работы в Палестине. Ибо до сих пор у них была другая задача. После неудачного опыта палестинофилов стало ясно, что мирное завоевание Палестины есть предприятие *политическое*, а потому оно может быть исполнено только *политической* организацией. Благотворительному учреждению, как богато ни было бы оно, такая задача не под силу.

Неудача ховевей Цион заставила всех сознать, что нечего и мечтать о попытках «автозмансипации», пока мы не представляем собой настоящей политической организации. Когда это сознание окрепло и созрело, оно выдвинуло вождя, который создал эту политическую организацию. Создал ее за самый короткий промежуток времени: за семь лет. Для того

¹ См. примеч. к с. 247.

чтобы совершить так быстро такую огромную работу, надо было, конечно, сосредоточить на ней все силы и помыслы народа, не отвлекаясь ни на мгновение в сторону, — даже в сторону Палестины. Если бы Герцль сразу призвал нас к работе в земле Израиля, это была бы грубая ошибка, точно такая же, как если бы студента первого курса послали делать больному операцию. Нужно кончить курс учения, чтобы иметь право лечить больных. Надо стать политической организацией, чтобы иметь право приступить к политической задаче. И теперь это сделано. Теперь мы стали политической организацией. Конечно, эта организация еще должна расти и усиливаться, надо усердно привлекать к ней новых людей, надо вести к тому, чтобы наконец под ее знаменем объединился *весь* еврейский народ, кроме только тех элементов, в груди которых уже умерло все еврейское. Это расширение, укрепление и обогащение организации потребует, конечно, еще много времени и усилий. Но сама организация уже создана, уже готова, уже способна взять на себя политическую задачу мирного покорения Палестины. Оттого теперь со всех сторон и заговорили так горячо о работе в земле Израиля: мы чувствуем, что уже готовы, и рвемся к тому делу, к которому семь лет готовились. Значит, пора начинать.

И скоро начнем. А как только мы вобьем первые несколько гвоздей в старую Стену Плача, скептицизм и хула, рожденные минутой праздности, разлетятся, словно хмара на заре, и западная стена разрушенного храма снова станет каждому дорога выше споров и сомнений. Чтобы связать человека с землей, достаточно уронить в ее глыбы первую каплю пота с его лица.

Владимир Жаботинский

Еврейская жизнь. 1904. № 9. С. 70–79



Наброски без заглавия. XXIX

В десятой статье своей проф. Мигулин предлагает любопытное средство для усиления денежных ресурсов России по случаю войны и на случай будущих войн. Так как высчитано, что русские туристы ежегодно тратят за границей до 60 миллионов русских рублей, то необходимо «ограничение зарубежных поездок на время войны». «Ограничение должно быть

общее, свобода должна быть предоставлена только для командировок по надобностям государственным, для командировок научных и для целей торгово-промышленных. В крайнем случае, если бы правительство не решилось на воспрещение заграничных поездок, можно удовольствоваться хотя бы высоким налогом на заграничные паспорта». Значит, ни лечиться, ни учиться за границей. Г-н Мигулин говорит, что «число учащих русских за границей совершенно ничтожно сравнительно с числом развлекающихся (таких учащих, включая сюда и врачей, и вообще всех лиц, имеющих специальное образование, то есть считая их поехавшими за границу для усовершенствования, не было и 5 000 человек в 1902 г.)». Тут, во-первых, несколько странна классификация: или учащиеся, или развлекающиеся. Очевидно, те, которым в Вене делают операцию аппендицита, причисляются тоже к развлекающимся. Во-вторых, не без странностей тут и статистика. Недавно в нашей газете была заметка под заглавием «Жестокие цифры», где приводились результаты приема в петербургские высшие учебные заведения: в технологическом институте отказано 1 140 экзаменовавшимся, на женских курсах 650, в институте гражданских инженеров 444, в горном предвидится 640. Итого 2 874 человека за бортом. Это в одном Петербурге и еще не во всех его высших учебных заведениях. Причислите сюда провинцию и припомните, что не первый это год печатаются в русских газетах «жестокие» цифры! После всего этого цифра в 5000, да еще включая всех вообще (?) людей со специальным образованием, бравших заграничные паспорта в 1902 году, очень уж гадательна.

Впрочем, и не в числе дело. Будь их пять тысяч или семь — важно то, что все это молодежь, которой надо учиться и которой негде в России учиться. Нет ни одной мало-мальски культурной страны, которая не понимала бы, что при всяких условиях молодое поколение должно учиться. Запереть в России пять ли, десять ли тысяч интеллигентных молодых людей, когда в России пока негде продолжать образование, значит совершить две ошибки: во-первых, подготовить на смену отцам совершенно растерянное и ни к чему не приспособленное поколение, то есть плюнуть в тот самый колодезь, из которого через десять лет придется пить; во-вторых (и not least¹, как мы все хорошо знаем!), создать солидный контингент недовольных, потому что за эти пусть даже только пять тысяч молодых

¹ Но не менее важно (анг.).

людей очень обидятся и их отцы, и братья, и дядья. Обидятся и те весьма немалочисленные господа, которым до зарезу необходимо «развлечься» в Вене под ножом хирурга — и за них опять-таки их отцы, дядья, братья и (тоже not least) сыновья. Одним словом, операция смелая, но неблагоприятная.

Прошу отметить, что я говорю «неблагоприятная», а не говорю «несправедливая», хотя и этот термин здесь вполне, собственно, подходит. Дело в том, что «справедливость» — это термин этический, а проф. Мигулин отнюдь не вводит морали в свои построения. И по-моему, г-н профессор в этом безусловно прав. Как оно ни грустно, политика нигде и никогда еще не сообразовывалась с этическими принципами, да никогда и не будет сообразовываться. Если Гладстону удалось на время внести мораль в английскую политику, то это случилось потому, что как раз в эту эпоху материальные интересы господствующих классов Англии случайно не требовали крупных «безнравственных» политических актов. Политикой руководит только интерес, расчет, и говорить или спорить о политике можно только с точки зрения расчета, выгод и невыгод. Этика не при чем. Мораль остается растоптанной и раздавленной. Это невесело, но это факт. И тому, кто этим недоволен, остается одно: желать осуществления также новых форм производства, при которых ввиду полного уравнивания экономических интересов всех единиц, на земном шаре пребывающих, ничьи выгоды не будут требовать антиморальных политических актов ни внутри страны, ни извне.

А до тех пор надо потерпеть. И так как пр. Мигулин, говоря о политике, подкрепляет свои рассуждения только доводами выгод и невыгод, то и разбирать вескость его доводов можно только при одном условии: устранив мораль, мораль в самом широком смысле, понимая под моралью даже самые основные принципы культурного общежития вроде гражданской свободы. Излишне поэтому было бы возражать проф. Мигулину тем, например, доводом, что запрещение выезда за границу противоречило бы принципу свободы передвижения, было бы насильем и произволом. Тут, милостивые государи, идет речь не о декларации прав гражданина и человека, а о выгодах и невыгодах. Поэтому и возражать можно только на той же почве: признать, что запрещение выезда из России, конечно, удержит известную долю из этих 60 миллионов русских рублей внутри страны, но в то же время указать, что эта мера, как и все меры такого рода, принесет государству и вред, который вскоре, без всякого сомнения, очень осязательно учтет-

ся куда дороже этих 60 миллионов, то есть невыгод больше, чем выгода, а потому и вся операция не годится.

Или еще такой пример. Профессор Мигулин, как известно, предлагает России забрать следующие области: «берега Тихого океана до Шанхай-гуаня (с включением, следовательно, Кореи и Квантуна), далее всю Маньчжурию, Монголию и Восточный Туркестан». Все это (и еще многое другое) проф. Мигулин советует захватить, а с жителями захваченных земель поступить, как поступают англичане, которые (статья V) «не сливаются с туземным населением своих колоний, не допускают равенства прав между ним и населением метрополии». А именно: «политических, а иногда и гражданских (особенно касательно свободы передвижения) прав коренного населения населению вновь присоединяемых областей давать нельзя...» Таким образом, «некоторым опасным для внутренней России в экономическом смысле элементам... (китайцам) доступ в Россию будет закрыт». Говоря попросту: земли завоевать, а для их населения создать черту оседлости. Дело не новое: с евреями этот опыт давно уже произведен и, как известно, принес очень недвусмысленные результаты. Но опять-таки бесполезно было бы указывать на имморальность такой политики, при которой десница будет выжимать из завоеванных соки и собирать туки (ибо ради чего же иного и завоевывать?), а шуйца в то же время будет отнимать у них политические, «а иногда и гражданские» права. Это пустяки: мораль моралью, политика политикой. Политике не нужно быть нравственной: достаточно с нее быть выгодной и благоразумной. И потому в ответ на эту неожиданную осанну принципу «черты оседлости» — надо только вникнуть в соотношение выгод и невыгод, соотношение, которое блистательно выяснилось уже на опытах аналогичного свойства. Это соотношение говорит, что за лишение прав инородцы платят подавленной враждой, которая в своих результатах всегда учитывается к невыгоде метрополии. Проф. Мигулин, восхищающийся политикой англичан, сам говорит, что в Индии ежеминутно могут вспыхнуть восстания, и даже в случае столкновения между Россией и Англией индусы охотно помогут России. Перспектива очень поучительная и для англичан, и для поклонников их образа действий. Во всех учебниках досконально прописано, насколько прочна выгода от таких белыми нитками пришитых территорий, особенно если они густо населены миллионами людей, которые раздражены своим неравенством с населением метрополии, которые веч-

но глядят в лес и «ждут случая», которых надо держать в ежовых рукавицах, а эти рукавицы нынче вздорожали. Во всем этом не видать ни благоразумной осторожности, ни выгоды.

Или еще один пример. Проф. Мигулин находит, что иноподчешское население в России несет на себе меньше государственных повинностей, чем русское. Например, «наша система обложения основана в значительной мере на потреблении населением спиртных напитков, которых магометанское население не потребляет вовсе вследствие религиозного запрета». Эту неправильность надо устранить. То есть? Единственный вывод: ежели мусульмане за водку не платят, то пусть платят за что-нибудь другое. Говоря попросту — налог на трезвость, наряду с уже существующим в виде акциза и монополии налогом на пьянство. Является, конечно, вопрос: как же так, ведь это несправедливо, пьешь — плати, не пьешь — плати, перевернешься — бьют, не довернешься — бьют... Но справедливость опять-таки мораль, а мораль мы устроили из политического обихода и рассуждаем только на основании трезвого подсчета выгод и невыгод. А этот подсчет в финансовой науке давно и окончательно уже подведен и привел к тому твердому азбучному выводу, что косвенные налоги должны падать на население сообразно его потребностям, а не в отместку за отсутствие той или другой потребности. При отступлении от этого правила косвенный налог становится бременем, который и деморализует, и разоряет население. Деморализация населения — это неосторожно. А разорение населения — это невыгодно.

Итак, речь идет только о выгодах и интересах. Сущность взглядов проф. Мигулина вполне определяется заграничным термином: империализм. Против империалистических тенденций нельзя выступать во имя морали: не поможет. Тут надо поставить вопрос на иную почву. Если есть налицо в стране реальные интересы, требующие новых рынков, тогда колониальные расширения становятся необходимостью, и как ни восставай против этого, а уже господствующие классы непременно толкнут родину на путь империализма, ибо такова сила вещей. Но зато, если таких реальных интересов нет, то создание новых рынков является ненужной авантюрой, предложением при отсутствии спроса, и обречено заранее на крах. Весь вопрос в том, есть ли в России реальная потребность в новых рынках. Именно только в новых рынках. Эмиграционная нужда не в счет, ибо сам проф. Мигулин говорит, что если японцам необходимо выпустить из своих островов избыток

населения, то для этого еще незачем вести завоевательные войны: можно эмигрировать и в чужую страну, как эмигрируют, например, итальянцы в республики Южной Америки (см. статью III). Поэтому надо полагать, что только по недосмотру автора в статью IV попали такие слова: «Народ наш, обладающий страстной жаждой к земле, отлично поймет значение захвата таких областей, как Маньчжурия или Монголия с их обширными и плодородными равнинами, пригодными и для земледелия, и для скотоводства»... Несомненно, только по недосмотру попали сюда эти строки, ибо если нужна земля, если в той самой России, которая по густоте населения занимает одно из последних мест на свете, уже внезапно получился такой ужасный избыток населения, если уже и Сибирь вся до последней пяди использована, вспахана, возделана (хотя и странно, что мы как-то ничего до сих пор не знали об этих успехах отечественной обрабатывающей промышленности и даже, *ma ragione*¹, полагали совсем наоборот!), если все это и так, то пусть избыток населения эмигрирует без всяких политических захватов, ибо ведь оных «для эмиграции вовсе не требуется». Политические захваты нужны только для обеспечения себе новых рынков. Когда все или хоть некоторые виды промышленности в данной стране уже дошли в развитии своей производительности до такой высокой ступени, что за насыщением старых рынков (и прежде всех — своего собственного внутреннего рынка) систематически остаются еще крупные избытки продуктов, требующие сбыта во что бы то ни стало, тогда страна естественно должна обратиться к политике территориальных захватов. Во-первых, потому, что иначе ее промышленности грозит гибель. Во-вторых, потому, что захват новых рынков, несомненно, окупит все расходы по «приобретению» чужой земли. Следовательно, вопрос сводится окончательно и исключительно вот к чему: дошла ли уже Россия до такого развития всех, или хоть некоторых, или хоть одного какого-нибудь из видов промышленности? Насыщены ими уже ее старые рынки — и прежде всего ее собственный внутренний рынок? Наблюдается ли в России это систематическое перепроизводство каких бы то ни было продуктов в количестве, которое могло бы окупить миллиардные расходы деньгами и кровью по захвату новых рынков? Вот основной вопрос, и к этому сводится весь спор, ибо если все-го этого еще в России нет, то сам Конфуций не объяснит и не

¹ Честное слово (*фр.*).

втолкует, зачем, кому и для чего эти необходимые проф. Мигулину, кроме Маньчжурии и Квантуна, — Монголия, Корея и Восточный Туркестан.

Вот вопрос. А вопрос этот таков, что его даже как-то не ловко ставить. Ведь уже давным-давно стали самым избитым из общих мест указания и жалобы на то, что российская промышленность ни с какой стороны не оправдала ни надежд общества, ни трудов и компромиссов правительства. Говорить об этом подробно, лазить по полкам библиотеки за цитатами и таблицами в подтверждение этого тезиса было бы так же смешно, как доказывать пространными выписками то, что в России, например, слишком мало школ. Есть такие трюизмы, о которых и спорить уже не принято, — во-первых, потому, что правда всем известна; во-вторых, из уважения к национальному самолюбию. Но читатель все-таки позволит мне привести по этому поводу две-три маленькие выписки из статей самого пр. Мигулина. В статье V проф. Мигулин утверждает, что вследствие территориальных «приобретений»... «должен возрасти вывоз нашего хлеба, скота, масла, кож, шерсти»... и в той же статье V тот же проф. Мигулин говорит: «Внутренняя Россия почти уже не в состоянии вывозить свой хлеб за границу, да его и не хватает даже для внутреннего населения...» И далее: «Если мы заглянем в статистику нашей внешней торговли, то увидим, что ежегодно мы покупаем за границей... шерсти (нечесанной и непряденной) и сала на сумму до 25 млн рублей, невыделанных (!) кож и воска — до 10 млн руб...» А ведь это сырье, которым только и может Россия быть сильна. Что касается индустрии, то о ней и сам проф. Мигулин предпочитает не заговаривать. И в конце концов получается тот ясный вывод, что новые рынки нужны, а кому — неизвестно, а для сбыта каких товаров — неведомо.

Собственно говоря, на этом можно было бы и остановиться и прямо перейти к заключению. Но статьи проф. Мигулина слишком интересны по своему содержанию. Всякое убеждение имеет право на доступ к читающим массам. Но именно поэтому было бы несправедливо пройти мимо этого убеждения без внимания и разбора. Мнение должно быть высказано в печати, но когда оно высказано, то необходимо с достаточной подробностью вдуматься в него и, по возможности, определить и уяснить себе его объективную ценность. А потому — до завтра.

Владимир Ж.

Русь. 1.09.1904



Куда ехать учиться?

(Письмо в редакцию)

Недавно русскую печать облетел резкий отзыв канцлера г-на Бюлова о студентах из России, обучающихся в германских университетах.

Отзыв этот объявляется ходячим мнением большинства обывателей не только в Германии, но и в Австрии, и в Швейцарии. Отношение последних к приезжим из России становится с каждым годом все хуже и хуже. Местные студенты в лучшем случае бойкотируют гостей, в худшем — оскорбляют и преследуют их издевательствами. В результате — с некоторого времени начались и официальные ограничения.

Между тем из России с каждым годом наезжают все большие толпы молодых людей обоего пола, рвущихся в университеты. Все это увеличивает и обостряет враждебность. Можно с уверенностью сказать, что скоро доступ студентам из России в высшие школы Германии, Австрии и Швейцарии, — а может быть, Франции и Бельгии, — будет затруднен почти до полной невозможности; та же малая часть, которая будет допущена, будет жить в атмосфере полного отчуждения и пренебрежения со стороны местного общества и студенчества, и пощечины, вроде последнего канцлерского эпитета «попрошайки», официально произнесенного с трибуны рейхстага, станут обычным явлением.

Ввиду этого для всех заинтересованных лиц ясно одно: *необходимо направить поток учащейся молодежи в какие-нибудь новые места. Куда же?*

Осенью прошлого года, будучи в Риме, я посетил, специально для переговоров по этому вопросу, министра народного просвещения проф. Орландо и товарища министра г-на Пинкья.

Министр отнесся в высшей степени сочувственно к мысли о привлечении студентов из России в итальянские университеты.

— Мы будем очень рады этой трудолюбивой и благородной молодежи, — сказал он, — а вопроса о переполнении у нас не может возникнуть: во-первых, у нас 20 университетов, так что некоторые пустуют; во-вторых, наши лекции все публичны — значит, вопрос о вакансиях *eo ipso*¹ устранен.

¹ Сам собой (лат.).

Я обратил внимание министра на то, что по закону в итальянские университеты может быть принят тот иностранец, который, по своему образованию, имеет право на поступление в высшую школу у себя на родине. Между тем в России этот вопрос еще не упорядочен: иные типы средней школы дают право на поступление в университет, другие — только в специальные институты: военно-медицинская академия принимает реалистов, а медицинские факультеты не принимают; женщины в университет вообще не допускаются и т. д. Можно ли рассчитывать, что аттестат средней школы какого угодно типа обеспечит лицам обоего пола из России прием в университеты и инженерные школы в Италии?

— Безусловно, — ответил министр. — У нас этот вопрос в каждом отдельном случае решается особой выборной комиссией из профессоров. Это нарочно сделано, чтобы придать большую гибкость толкованию нашего закона в применении к иностранной практике. Могу вас уверить, что доступ студентам из России будет всевозможно облегчен в пределах закона.

Так же приветливо отнесся к этой мысли товарищ министра г-н Пинкья.

— Всякое сближение с русским обществом будет нам очень приятно и полезно, — сказал он, — мы очень симпатизируем России и знаем, что не пользуемся у русских антипатией. Но в то же время и в России мало знают о нас, и у нас о России. Приток молодежи оттуда поставил бы нас в живую связь. Мы можем только симпатизировать этому притоку и радушно приветствовать гостей. Что касается меня лично, то прошу располагать мною: охотно приложу все старания, чтобы облегчить это прекрасное дело.

Узнав настроение министерства, я решил выведать и мнение студенчества.

Я — бывший студент римского университета; учился здесь несколько лет и всегда встречал самое широкое радушие со стороны коллег. Тем не менее я отправился на этот раз к доктору А. Формиджини, председателю итальянской секции международного студенческого союза «Corda Fratres». Эта ассоциация, охватывающая пока лишь Италию, Францию и Венгрию, в Италии очень популярна, имеет множество членов среди студентов и пользуется всяческим содействием со стороны правительства, вплоть до льготных железнодорожных билетов для проезда на ежегодные конгрессы «Corda Fratres». Председатель итальянской секции поэтому является официальным выразителем настроения итальянского студенчества.

— Цель ассоциации «Corda Fratres», — сказал мне г-н Формиджини, — такова: через сближение молодежи разных стран и племен содействовать сближению народов. Поэтому двух мнений о студентах из России у нас быть не может. Мы будем очень рады новым товарищам и постараемся быть им полезными и облегчить им пребывание вдали от родины.

Г-н Формиджини любезно предложил свои услуги для всяческих справок, какие могут понадобиться будущим студентам и студенткам. Его постоянный адрес: Signor A. Formiggini, presidente della sezzone italliana «Corda Fratres», Modena (Italia)¹. Писать можно и по-французски.

Убедившись в добром расположении и учебного начальства, и студенчества, я пожелал узнать мнение общества вообще. Для этого я обратился в знаменитый союз «Данте Алигьери». Читателю, вероятно, известно, что эта ассоциация считается в Италии одним из самых драгоценных национальных учреждений и пользуется широкой поддержкой и неусыпными заботами как со стороны правительства, так и в публике. Учреждение почти официальное, насчитывающее в своих списках решительно все лучшие имена итальянской литературы, науки, общественной арены и искусства, союз «Данте Алигьери» преследует чисто культурные цели: поддержание и распространение итальянского языка и итальянской культуры за границей. Главным образом, тут имеются в виду, конечно, адриатические провинции Австрии и южный Тироль; но и привлечение в Италию молодежи, которая вывезет потом в Россию близкое знакомство с итальянской жизнью и наукой, не может не входить в интересы этого союза.

Я обратился к секретарю центрального комитета г-ну Маркотти, и как от него, так и от президента г-на Рава (министра земледелия и промышленности) услышал то же самое: что союз «Данте Алигьери», являясь по праву истолкователем настроения всей итальянской интеллигенции, будет очень рад привлечению молодежи из России.

Предлагаю подумать об этом всем, кому предстоит в ближайшем будущем задать себе вопрос: куда ехать учиться? В Германии и в Швейцарии они встретят холод и враждебность; в Италии им будут рады, они будут приняты в среду местного

¹ Сеньор А. Формиджини, президент итальянской секции «Corda Fratres», Модена, Италия (*итал.*).

студенчества и введены в круг его интересов. Тамошняя студенческая среда очень живая и интересная; по типу она больше подходит к русской, чем к немецкой: пивных корпораций с цветными шапочками и пестрыми подтяжками через плечо вовсе нет, зато изобилуют кружки самообразования, философские, юридические и т. д. И это студенчество, и все общество встретит гостей с полным радушием. Главная разница в том, что немцы и швейцарцы в лучшем случае только *терпят* чужеземцев; итальянцы же в высшей степени будут *горожить* всем тем, что может распространить вне Италии правильные понятия об их жизни и об их науке, ныне столь несправедливо игнорируемой.

Постановка образования в больших университетах (Рим, Неаполь, Турин и т. д.) не только не уступает швейцарским, которые привлекают такое множество студентов из России, но по талантливости и живости преподавания далеко их превосходит. Жизнь даже в Риме едва ли дороже, чем, например, в Женеве; в других городах Италии легко устроиться гораздо экономнее, чем в Риме. Плата за учение опять-таки не выше, чем в Швейцарии, — скорее ниже; особенно выгодно отсутствие таксы за окончательный экзамен, на который в Швейцарии приходится расходувать *сотни* франков. Даже, наконец, проезд в Италию (на Будапешт — Фиуме) не дороже проезда в Швейцарию.

Что касается языка, то он, бесспорно, один из самых легких для изучения. Произношение не представляет никаких трудностей, особенно для русских; грамматика сложнее английской, но гораздо проще французской и немецкой. Зная немного латинский или французский языки, при старании и средних способностях можно в три-четыре месяца выучиться читать легкую книгу.

В настоящее время студентов из России в итальянских университетах почти нет. Я уверен, что достаточно нескольких примеров, чтобы большая часть принужденных учиться за границей направилась в Италию, и будет довольна. В то же время это облегчит переполненные немецкие университеты и разрядит там хоть немного полную грозы атмосферу.

Искренне советую не колебаться.

Владимир Жаботинский

Новости и Биржевая газета. 3.09.1904



Летучий листок. III

Петербург, 22 авг. 1904 г.

Я прочел в одной еврейской газете письмо читателя из Одессы, возмущенного тем, что в домах терпимости так много еврейских девушек.

Если вы читаете по-русски, найдите новую повесть Юшкевича «Евреи»: он тоже описывает Одессу и тоже говорит о наших девушках. Так, пожилой Шлойма и его молодой приятель Нахман идут по двору, где ютится беднота. Старик знает всех и каждого: здесь живет сапожник Мойша с двумя дочками — обе продают себя; там — портной Хецкель, его дочери семнадцать — она тоже телом торгует. А вот тут плотник Шмуэль, у него есть сестра с двумя дочками — вся тройка тем же самым кормится...

Нахману нравилась красавица Неси, да только девушка запродалась в богатый квартал. Спустя какое-то время Нахман влюбился в Мейту, нежную, чистую как дитя, — и она его тоже полюбила. Но в праздник Песах ворвались погромщики и надругались над Мейтой, единственной девушкой повести Юшкевича, не торговавшей своим телом...

Мы проходим мимо, предпочитаем не говорить о таких вещах. Но хотим мы того или не хотим, факты напоминают о себе, и тогда мы, точно так же как преисполненный негодования автор письма, кричим: «Позор!»

Должен признаться, что я не разделяю его пафос. Да, мне крайне неприятно это позорное явление, порочащее весь еврейский народ. Но только очень наивный человек может думать, что это — самое грязное, самое черное пятно на нашей репутации. Есть вещи, которые заслуживают гораздо большего осуждения, и надо говорить о них в полный голос, потому что именно это наш позор.

В конечном счете несчастные девушки, описанные Юшкевичем, губят только себя. Не для собственного удовольствия бросаются они в эту клоаку — нужда заставила. Они никого не эксплуатируют, не притесняют. Наоборот, эксплуатируют и притесняют их самих. Одесситам наверняка запомнился очерк Кармена «На дне Одессы», печатавшийся в одной из

местных газет. Журналист рисует душераздирающие сцены жизни такого «заведения». Спустя два-три года девушка попадет сперва в больницу, а там и на панель, где будет медленно помирать с голоду. За два-три года хозяйка недурно заработала на девушке, а теперь и не подумает дать ей хоть пару копеек или кусок хлеба...

Кто она, эта бандерша?

Еврейка.

Статистика данной профессии отсутствует, но как минимум три четверти одесских «мадам» — еврейки. Вы скажете: и в Петербурге то же. На процессе по делу Кронштадтского полицмейстера Шафрова выяснилось, что все до одной содержательницы тамошних домов терпимости — дочери Рахили и Деворы. Можно подумать, эта профессия стала нашим национальным промыслом. Я думаю, плакать надо в первую очередь не оттого, что наши девушки отдают себя на поругание, чтобы спастись от голода, а оттого, что у нас есть те, кто использует этих девушек для наживы.

Но мы не сказали о главной подлости. Наверное, вы слышали про торговлю «белыми рабынями». Имеются специальные сводники и сводницы, которые заманивают нищих девушек, главным образом евреек, за границу, посулив им чистую честную работу. Этаким бравый молодец всячески старается обворожить девушку, порой женихом прикинется, бывает, что ведет ее под хупу¹ и сначала делает своей законной женой, а потом сплавляет в бордель где-нибудь в Турции или Южной Америке. Почти вся такая «коммерция» проходит через Одессу, и полиция время от времени вылавливает этих прохвостов. Газеты, не скупясь на комментарии, оглашают их имена. Можем гордиться: практически все они — сыны Авраама, Исаака и Иакова.

Помню, год назад в той же Одессе заходил ко мне бедный парень, работавший грузчиком в порту. Он был достаточно интеллигентен и частенько рассказывал мне о житье-бытье портовых бедолаг. Кстати, от него я узнал, как устроена торговля бубликами, фруктами, спичками и прочей мелочью на одесском променаде. Поскольку денег у такого продавца не водится, обзавестись товаром помогает «благодетель». Утром даст человеку рубль, а вечером взыщет с него рубль двадцать

¹ Хупа — свадебный балдахин (ивр.).

копеек, то есть 120 процентов. Самому торговцу или торговке остается копеек 20—35. При каждом «благодетеле» состоят примерно 50 «подопечных». Подобных «благодетелей» полно на променаде и в других местах, особенно в бедных кварталах, и почти все они евреи.

Есть, однако, нечто другое, — и это другое больше всего меня удручает. Как-то раз выбрались мы за город с приятелем-студентом, с которым подружились еще в гимназии. Это был чистокровный русак с длинными волосами и в синей блузе. Видимо, по этой причине к вечеру увязался за нами какой-то тип. Мы направо — он направо, мы налево — он налево. Вернувшись в город, мы остановились попрощаться на перекрестке, и уличный фонарь на мгновение выхватил из темноты лицо нашего преследователя: это был еврей. Мой друг ничего не сказал, но я понял, о чем он подумал.

Собственно говоря, я сам не знаю, почему мне вдруг захотелось рассказать вам об этом. На столе у меня лежит письмо читателя, который бранит меня за строки, посвященные памяти Теодора Герцля:

*Пусть сыновья уйдут в ночные воры
И дочери — в позорные дома,
Когда тебя и песнь твою забудем...*

«Как могли вы это написать? — возмущается многоуважаемый автор письма. — Какое будущее предрекаете вы народу нашему?»

Я хочу ответить этому господину и прочим distinguished господам: мое заклинание меркнет перед тем, что действительно творится вокруг. Дщери израильские не только обслуживают позорные дома, но и заведуют ими, а сыны израилевы так низко пали, что уж лучше бы шли в ночные воры. Глубже всех прочих народов погрязли мы в злодеяниях, отвратительна мерзость и вопиюща низость наша. И если даже *сейчас* не отринем мы этой скверны и не обновим жизнь нашу — значит, еще мало нам моего заклатья.

Владимир Жаботинский

А-Цофе. 3.09.1904.

Перевод с ивр. Мих. Липкина



Наброски без заглавия. XXX

Проф. Мигулин* нисколько не скрывает от себя того, что нынешняя война очень тяжела. Он говорит в статье IV:

Не следует забывать, что за спиной Японии стоят Англия и Америка, которым выгодна, возможно, продолжительная борьба наша с Японией; что поэтому о скором истощении последней не может быть и речи, так как средства ей будут даны непременно, хотя бы и на обременительных условиях. Необходимо даже считаться с возможностью прямого вмешательства в войну с нами Англии и Америки...

Это, бесспорно, очень полезные слова. Кто желает блага родине, должен предупреждать ее обо всех трудностях, предстоящих на ее пути, и уж если ошибаться, то лучше в сторону преувеличения, чем наоборот. Этим словам проф. Мигулина можно только поддакнуть: да, война не из легких. Когда Англия воевала с бурами, она была, во-первых, богаче России; во-вторых, коммуникационная линия обходилась ей гораздо дешевле, чем России, потому что перевозка морем при огромном собственном транспортном флоте — это совсем не то, что перевозка по однокорейной железной дороге; в-третьих, Англии при этом не понадобилось использовать самые дорогие приспособления национальной обороны — военный флот и крепости, и потому сама по себе война, даже пропорционально количеству участвовавших войск, обходилась ей бесконечно дешевле, чем России; в-четвертых, если Англия воевала на чужой территории, то и Россия воюет на чужой земле, ходы и выходы которой досконально известны не только местным китайцам, друзьям японцев, но, очевидно, и самим японцам; в-пятых, Англия воевала с крохотным народцем, а Япония всего только даже не в три раза меньше России, причем надо помнить, что население Японии весьма однородно и что у Японии только один опасный фронт, а России надо помнить и о западной границе, и о Торнео, и о Черном море, и об Афганистане. Все это сильно меняет количественное отношение между военными силами обеих держав. Но помимо всего, нельзя же забывать и о том, что выражение: война России

* См.: Русь. № 260 [1(14).09.1904].

с Японией — есть только эвфемизм. На самом деле Россия уже и теперь воюет не с одной Японией, а с Японией плюс Корея. Китай тоже в этом отношении весь в руках у японцев. Ведь не дураки же китайцы, чтобы не понимать, что война идет за Маньчжурию, за их китайскую землю, — и не дураки же японцы, чтобы не намекать им, искренно или нет, на возвращение под власть богдыхана страны, освященной гробницами его предков. Если Китай до сих пор не поднялся, значит, японцы не велели, потому что они пока надеются и одни победить, что им, конечно, выгоднее. Но как только они увидят, что одним не справиться, армии всех этих Оку и Нодзу наполнятся шеренгами китайцев и корейцев. Можно смело быть уверенным, что таких китайцев и корейцев уже давно для сего дрессируют японские инструкторы. И еще смелее можно быть уверенным, что появление в японских рядах китайских войск не вызовет ровно никакого существенного вмешательства со стороны держав. Да кроме того, и само это участие Китая будет, несомненно, замаскировано при помощи очень простого и уже испытанного маневра: из Пекина будет объявлено, что правительство Небесной империи тут ни при чем, а все бедокурят генералы Ма и Юаншикай, несмотря на строгие запрещения богдыхана. А все это вместе значит, что пресловутое военное малолюдство Японии по сравнению с Россией вовсе не так очевидно, как это вначале думали. Следовательно, Англия в войне с бурами во всех отношениях была в лучшем положении, чем Россия в борьбе с Японией. А легко ли далась Англии победа? Забывать обо всем этом — непροститительная ошибка; сознательно замалчивать это было бы преступлением. Надо знать, что предстоит, иначе нельзя подготовиться. Надо помнить, что война чрезвычайно трудна, и если никто в России не сомневается, что Россия выйдет из этой войны с честью, то нельзя ни на миг забывать, что здесь понадобятся колоссальные усилия...

И при таком положении дел проф. Мигулин говорит: не только Маньчжурию и Квантун, но и Корею, и Монголию, и Восточный Туркестан — все надо забрать. Кроме того, нужны (статья II) «свободные выходы к Индийскому океану». Кроме того — Босфор, Афганистан, Персия и еще какие-то экзотические захолустья. Англичанка помешает? «Мобилизация Туркестанского, Кавказского и Одесского военных округов была бы наилучшим ответом на английские угрозы» (статья IV). Народ не захочет непосильных задач? «Народ

наш, обладающий страстной жаждой к земле, отлично поймет значение захвата таких областей» (статья IV), надо только внушить ему, что своей земли уже не хватает, «даже в Сибири» (статья III), одним словом, что Россия уже вся заселена и вся возделана так, что и яблоку негде упасть, и курченка некуда выпустить. А деньги? Деньги можно достать.

И проф. Мигулин начинает объяснять, как достать деньги. В этом вопросе специалисту-финансисту, конечно, и книги в руки: он расскажет, а мы послушаем. К сожалению, именно эта центральная часть работы проф. Мигулина пока только бегло намечена, и говорить о ней подробно еще преждевременно. Однако нельзя не отметить, с самым почтительным недоумением, некоторых странностей и в этой части. На одну из странностей я уже указал вчера: профессор Мигулин предлагает едва ли не воспретить русским подданным на все время войны выезд за границу, а так как после Маньчжурии придется забирать и Монголию, и Восточный Туркестан, то «время войны» еще не завтра и не послезавтра кончится. Я уже напоминал о том, что если эта мера и удержит внутри России те рубли, которые тратились туристами за границей, то она же зато разведет по Руси всякого шипу, топу и людской молвы не на рубли, а на тьмы тем убытка. И даже прямого материального убытка. Что одно из первых условий для развития современной промышленности есть свобода передвижения граждан — эта истина давно вошла во все элементарные катехизисы экономической науки. Оттого, например, и пало в Европе крепостное право, что новые формы развития промышленности потребовали свободных рабочих рук, со свободным правом передвижения. Странно, что проф. Мигулин так обошел эту истину, и даже без всяких оговорок, точно никогда ее и на свете не бывало. Но об этом мы уже говорили третьего дня, а на сегодня тоже есть одна такая же финансовая странность. Дело в том, что проф. Мигулин предлагает нечто, кажется, совершенно неслыханное: обойтись совершенно без займов на военные надобности. Совершенно. Военные займы невыгодны. Гораздо выгоднее привлекать капиталы из-за границы для так называемых производительных надобностей. Например, строить шоссейные дороги, в которых Россия так нуждается. При этом (статья VIII) «возможно занятие местного населения, материал дешев, а подвозка его... дала бы крупный заработок казенным железным дорогам... Можно сказать, что истраченные на сооружение шоссейных путей деньги целиком

остались бы внутри России и могли бы быть, следовательно, извлечены государством посредством хорошо функционирующего податного аппарата для других (то есть военных) потребностей; всю такую сеть мы получили бы, таким образом, почти даром, использован был бы только труд населения, который теперь остается без употребления»...

А вы вникните в это, читатель, вникните хорошенько. До сих пор мы знали, что расходы на военные нужды сами по себе, а производительные траты — на дороги, фабрики, школы, мелиоративный кредит — сами по себе. Знали, что противники милитаризма в Западной Европе вот уже 30 лет повторяют, что на военные нужды уходят непроизводительно те деньги, которые можно было бы употребить на производительные расходы. Военные затраты всегда противопоставались затратам производительным как нечто диаметрально противоположное, друг друга вытесняющее, aut — aut¹. А проф. Мигулин нашел способ их сочетать в одной и очень благообразной форме. Страна воюет, а правительство заключает за границей заем — скажем для простоты, в 100 миллионов. Зачем? — спрашивают банкиры, — для военных надобностей? «Нет, — заявляют им, — мы просто собираемся проложить новую шоссейную сеть». — А! — говорят банкиры и на этом основании спускают полпроцента, ибо заем на шоссе (даже в военное время?) дешевле займа на военные надобности. И вот начинается постройка шоссе: население роет дорогу, засыпает ямы, ломает, грузит и выгружает камень, мостит и трамбуется. За все это население платят из тех 100 миллионов. Шоссе готово. Где сто миллионов? В кармане у населения. Теперь начинается вторая часть операции: 100 миллионов извлекаются обратно «посредством хорошо функционирующего податного аппарата» в казну. И готово. И шоссе «почти даром» построено, и в казну попало 100 миллионов, которые теперь уже неизбежно пойдут на военные расходы. А население? Население получило 100 миллионов и отдало 100 миллионов: получило за свой кровный труд, а отдало не в обмен за равноценные экономические или культурные блага, но в виде подати. То есть отдало своего труда на 100 миллионов, а за то ни копейки в конце концов не получило и должно, очевидно, довольствоваться тем сознанием, что, во-первых, «использован труд населения, который теперь остается без употребления», а во-

¹ Или-или (лат.).

вторых, что страна получила шоссейную сеть «почти даром». По-моему, даже совсем даром — чего уж дармее?

Повторяю: в десяти статьях проф. Мигулина вопрос о том, где взять деньги, менее всего затронут и разработан.

В скобках еще тут замечу, что в приведенной выписке вкралась у проф. Мигулина одна фраза, которую тоже надо принять за обмолвку. «Труд населения, который теперь остается без употребления»... Что ж оно бездельничает да песни поет, это население? И здесь невольно вспоминается другая фраза, гласящая, что после крымской войны «реформы до конца проведены не были и не могли быть проведены вследствие крайней расшатанности всего народного организма, потрясенного неудачной войной: никто ничему не верил, во всем сомневались, переделывали только что сделанное, развился дух самооплевывания, порицания всего родного, созданного самобытно»... Совершенно своеобразный взгляд на шестидесятые годы — столь же оригинальный, как и на это праздношатающееся «без употребления» русское крестьянство.

Но это в скобках. И вообще, как уже сказано, в области финансовых комбинаций — проф. Мигулину и книги в руки. И если он говорит, что деньги достать можно, и даже много, то мы это можем принять за факт. Деньги найдутся.

А если деньги найдутся, то устройте на них прежде всего одну вещь, без которой ни шагу дальше немислимо ступить. Но это вещь дорогая, и для нее понадобятся большие деньги. Это есть всеобщее обязательное бесплатное народное образование в прочно выстроенной и тепло отапливаемой школе под руководством хорошо вознаграждаемого школьного учителя. Ибо если вы даже хотите воевать, то помните (уроков уже немало!), что всегда побеждает тот, у кого больше школьных учителей. Что бы вы ни задумали — завоевательные ли войны, оживление ли индустрии, создание ли мирового торгового флота — начать придется со школьного учителя. Без него ни шагу. Какой отпор вам приготовил противник, вы точно узнаете потом, но с чего вам самим нужно начать, этого вы не можете не знать уже теперь — со школ. А на школы в России нужны громадные средства, потому что страна громадна, и не должно в ней остаться ни одного неосвященного уголка. Вот куда прежде всего пойдут ваши деньги, проф. Мигулин, а потом вы посмотрите, много ли останется. А если останется, тогда действительно проведите по стране шоссейные и рельсовые пути, но не для того чтобы потом выбрать из населения

весь заработок на внешнее расширение, а для того чтобы оживить и обогатить это население. А если и тогда что-нибудь останется, то воспользуйтесь этим и покройте страну сетью учреждений мелиоративного кредита, и если, по-вашему, земледельческая Русь еще не может перейти к интенсивному хозяйству, то помогите ей хоть усвоить для своего экстенсивного хозяйства менее архаические, менее разорительные приемы и приспособления. А тогда — если еще останется — тогда реорганизуйте и возродите гибнущие Бог знает у кого в руках русские курорты, чтобы от того была польза народному здравью и чтобы ваши туристы не имели больше нужды вывозить свои 60 миллионов ежегодно за границу. А когда все это и еще многое другое будет сделано, и все еще останутся остатки из открытых вами фондов, — тогда подумаем и поговорим, что нужно делать с этими столь ненужными нам деньгами.

Я не могу знать, что ответит вам общественное мнение тогда, но что говорит оно теперь в ответ на всякие приглашения в Монголию — это ясно уже до полной очевидности. Обратитесь вокруг, спросите, кого хотите. Нет еще налицо, не родился, не назрел еще в русском народе тот реальный общественный элемент, которому реально была бы нужна экспансивная политика на Дальнем Востоке.

Владимир Ж.

Русь. 3.09.1904



Наброски без заглавия. XXX

В беседе с журналистом попечитель Одесского учебного округа сказал: «Расширение и улучшение сферы деятельности и в учебном ведомстве находится в тесной зависимости от финансового положения страны. В этом отношении мы находимся теперь в неблагоприятных условиях, так как колоссальные средства поглощаются войной. Сеть учебных заведений, несомненно, должна быть расширена. Пока министерство народного просвещения идет навстречу частной инициативе»...

России нужны школы, школы и школы. Можно отказаться от чего угодно: от музеев, театров, памятников; можно (и на это намекают даже специалисты) отказаться от броненосцев, каждый из которых дороже трех университетов и может во

всякую минуту пойти ко дну от одной маленькой и дешевенькой подводной мины. Но продолжать еще дальше отказываться от школ — значило бы отказываться от жизни и надежды. Больше ни шагу нельзя без школы — необходимо самое безграничное изобилие школ всех типов и степеней: начальных, средних и высших. На это нужны большие деньги, а денег мало и вряд ли вскоре будет много. Поэтому тем более нужна частная инициатива со стороны общества и доверие к ней со стороны правительства.

Недавно застрелилась где-то в Западном крае молодая женщина. У нее было училище, она хлопотала о преобразовании его в гимназию; министерство отказало, а она застрелилась. Многим со стороны, может быть, показалось странным это самоубийство. Лишить себя жизни из-за такого пустяка, из-за титула? Отказ, конечно, неприятен, но нельзя из-за всякой неудачи братья за револьвер.

У меня есть застарелый и неискоренимый предрассудок: уважение к самоубийце. Никогда не могу поверить, чтобы самоубийца был человеком дешевых духовных качеств и чтобы мотивом самоубийства мог быть пустяк. Напротив, даже внезапное самоубийство самого с виду пустого и никчемного праздношатая я счел бы доказательством, что внешняя пустота и никчемность были только случайными порождениями неудачливости и неприспособленности этого человека, а в глубине души это была натура глубокая и впечатлительная. Для самоубийства нужна сила и нужны веские мотивы. Говорить, что самоубийство есть малодушие, бегство перед ударами жизни, может только софист, и плохой софист. Гораздо легче сносить каждый день по затрещине судьбы, чем сразу нанести себе один большой, последний удар. Психология обывателя похожа в этом случае на психологию иного газетного читателя. Есть люди, которые каждый день аккуратно покупают газету за пятак, то есть тратят на нее 18 рублей в год. Сразу подписаться — обошлось бы всего в один красный билет¹, но разом вытащить такую сумму из кармана — на это не хватает решимости или просто так называемого пороха. Жизнь любого среднего обывателя, гонимого судьбой и лишенного всяких практических идеалов, — эта жизнь есть, в конце концов, то же самоубийство, только в рассрочку или в розницу. По

¹ Здесь: десятирублевая ассигнация.

щелчку в день. Для того чтобы вместо этого раз навсегда вырвать из сердца «красный билет» жизни, все-таки нужна большая глубина натуры и сильная боль.

Если та учительница застрелилась, то не с ветра и не из каприза: ей, значит, стало невыносимо жить, и я прекрасно понимаю, почему невыносимо. Как раз мне случайно пришлось стоять близко к одной частной школе, и, насмотревшись там, я легко представляю себе настроение этой умершей женщины. Ни для кого не тайна, что частные школы живее казенных: меньше формализма, больше молодежи на кафедрах, меньше отчуждения между семьей и школой. Частная школа почти всегда учреждается лицом, которому учебное дело дорого, которое, быть может, давно мечтало о собственной школе и горбом сколачивало деньги на нее. Вокруг себя это лицо обыкновенно собирает таких же товарищей, горячо преданных задачам обучения и воспитания. Тут тьма надежд и проектов, много светлой бодрости и радостной готовности на жертвы — огромный запас энергии, которым всякое цивилизованное государство должно бы дорожить, который надо холить, лелеять, поставить в наилучшие, наиболее благоприятные условия для развития... На деле получается далеко не то. С первого шага частная школа неминуемо встречает самое обидное отношение со стороны общества. Не то чтобы общество не признавало добросовестности учащего персонала или не замечало хорошей постановки дела. Напротив, это в конце концов всегда будет замечено и даст школе хорошую репутацию. Но сама-то эта репутация затем ровно ничего все-таки школе не даст. Общество будет похваливать, а сынов или дочерей своих, однако, будет изо всех сил, ползком или силком, проталкивать не в частную школу, а в гимназию. Если не удастся и никакие правды и неправды не помогут, — только тогда, нечего делать, помирятся и на частной школе. Школа, таким образом, попадает в положение последнего прибежища, *minimum male*¹, чуть ли не стока для отбросов гимназии. Поступая в нее, дети сознают, что это с их стороны только уступка необходимости, что им, собственно, хотелось бы в гимназию, но «делать нечего» — «пришлось»... Извольте после этого внушать детям уважение к школе. Они, естественно, будут завидовать более счастливым сверстникам, попавшим в гимназию, и, так ска-

¹ Меньшего зла (*лат.*).

зять, «дуться» на эту противную школу, да мечтать: ах, если бы перевестись! И еще, может быть, мучительнее то, что такое же отношение вырабатывается у родителей. Дети-то хоть молчат, а родители говорят вслух. Сплошь и рядом на самые законные требования со стороны школы слышится от родителей ответ: «Что за придирчивость! Надо же помнить, что школа — все-таки не гимназия!» И против такого взгляда ничем нельзя бороться, никакой идеальной постановкой дела. Но и постановка дела страдает, когда приходится оперировать материалом, который не уважает и не может уважать школу, и на всяком шагу и безмолвно, и гласно ей об этом напоминает: опускаются руки, теряется вера и бодрость.

А кто виноват? Общество? Ни в чем и ничуть оно не виновато. Оно совершенно право. Программа частной средней школы вполне совпадает с программой гимназии; преподают то же самое и во всяком случае не хуже. Но частная школа не может дать законного свидетельства об окончании гимназического курса. Хотя бы учащийся даже блистательно прошел этот курс в школе, он должен потом экзаменоваться по всему объему программы при какой-нибудь из гимназий перед совершенно чужими лицами на правах экстерна. Такие испытания всегда очень трудны и давно и бесповоротно осуждены педагогической практикой. Они угнетающе действуют на экзаменуемых и взваливают лишнюю работу на экзаменующих, которым и со своими работы много. Насколько при этом возможна успешная оценка ученических знаний и вообще какая из всего этого польза для дела — ясно всякому без комментариев. Ясно это и обществу, то есть тем самым родителям, которые всячески стараются увильнуть от частной школы и мирятся с ней только тогда, когда уже некуда больше давать свое рожденное дитя. Да кому же охота идти добром на такую перспективу: учишься, преуспевай, а в конце концов приведут и поставят перед чужими людьми, и все успехи, оказанные в школе, не гарантируют здесь от полного провала. То ли дело гимназия: у Ивана Иваныча учиться, у Ивана же Иваныча и экзамены сдавать. Общество совершенно право.

А результат такой. Гимназии переполнены; даже в программе съезда попечителей был пункт — «о мерах к устранению переполнения гимназий». Частные школы чахнут от своей незаслуженно второстепенной роли, потому что без уважения общества и учащихся почти ничего путного нельзя

ни довершить, ни даже начать. То есть хорошие, свежие силы и бодрые надежды вянут без использования, а дело народного образования страдает и вырождается. Понятно поэтому, что в конце концов и сами учредители проникаются общим неуважением к своей же школе только за то, что она частная. Промаявшись несколько лет, они приходят к выводу: в частной школе ничего нельзя сделать, потому что публика ее обходит. Пока школа не станет гимназией, не на что надеяться. И начинаются хлопоты о «правах», на которые обыкновенно получается отказ; а и «права»-то все, собственно говоря, сводились бы к праву производить выпускные экзамены в самой же школе да еще перекрасить вывеску: вместо «училище» написать «гимназия».

Ничего не вижу удивительного, что молодая женщина, вероятно, любившая свое дело и начавшая его когда-то с большими надеждами, побившись несколько лет как рыба об лед и увидев, что все напрасно, пока ее школа не властна выдавать своим же окончившим свидетельства, которые имели бы законную силу, — решила попытать последнее средство: подала прошение о правах, получила отказ и махнула рукой на все, и на саму жизнь в том числе. Очень понятно. Ведь не для всех же людей любимое дело есть ремесло, успехи которого не радуют сердца и неудачи не больны.

Это только частность, только одна из сторон и только в одной, хотя и важнейшей, из областей государственной жизни; но и здесь мы видим подтверждение истины, которая назрела до явности, до наглядной очевидности, которую в один голос повторяет вся печать, кроме хулиганов оной, — той истины, что необходимо доверие к обществу и свобода для его начинаний. И особенно знаменательно то, что эта истина подтверждается даже на школьном деле. Именно потому знаменательно, что школы нужнее всего, без школ нельзя дальше жить, без школы нет дальше дороги. Но и для этого неотложного дела прежде всего нужно то, что нужно всем и каждому на Руси: свобода общественной инициативы, доверие к ней. Без нее ни шагу дальше. Ее не обойти, и жаль тех усилий, которые все еще тратятся на бесплодное и вредное противодействие этой свободе.

Владимир Ж.

Русь. 16.09.1904



Летучий листок. IV¹

Петербург, 29 сент.

Все-таки надо оставаться поклонником молодежи. Хотя она много болтает и мало делает дела, хотя добрая половина ее слов звучит не полной искренностью, хотя она очень опрометчива в своих симпатиях и несправедлива и груба в своих нападках, она все-таки волнуется, все-таки чего-то хочет или по крайней мере хочет хотеть. Спасибо и за то, *gam zu le tova*². Движение жизни создается энергией, и чем больше энергии, тем лучше, даже если эта энергия немножко бестолкова. Настоящая беда — это когда люди не проявляют никакой энергии, ни разумной, ни неразумной; и хуже всего — когда человек направляет свою энергию исключительно на то, чтобы мешать чужой работе, охлаждать чужое воодушевление. Это большой гражданский грех. Оттого я и предпочитаю молодежь и не люблю людей старшего поколения: в этих последних я вижу оба греха: сами они в огромном большинстве не проявляют положительной гражданской энергии и в то же время охотно и радостно гасят проблески и вспышки энергии молодежи. Это, впрочем, наблюдается не только у евреев, а у иных наших соседей даже больше, чем у нас. Об этих соседях французы сложили поговорку: до двадцати пяти лет — радикал, после двадцати пяти — просто *canaille*³. Если вас это утешает, утешайтесь...

Расскажу вам одно сказание. Должен сознаться, что я его сам придумал; но буду настаивать, что оно совершенно точно соответствует исторической действительности. Известно, что родоначальник сербских князей был прозван Кара-Георгием, то есть Георгием Черным, за то, что убил своего отца Петра. Оба, и отец, и сын, любили Сербию по-своему: сын хотел ее освободить, а отец боялся, что эта попытка ее погубит. В конце концов отец пригрозил донести на сына в Стамбул. Тогда Георгий убил отца. Так говорит предание, действительно существующее у сербов. Но подробностей ссоры между Георгием

¹ Печатается по авторской рукописи (на рус. яз.).

² Это тоже к лучшему (*ивр.*).

³ Плут, мошенник, пройдоха (*фр.*).

и его отцом предание не сохранило. А мне кажется, что я могу совершенно точно передать весь разговор между ними, как если бы я сам был при их споре, и готов поручиться, что разговор шел именно так, а не иначе.

Я представляю себе, что на первый вопрос отца Георгий довольно искренне ответил:

— Куда я иду? Я ухожу в горы, чтобы собрать дружину и освободить Сербию.

Тогда старик покачал головою, загородил сыну выход и сказал:

— Сними свое оружие и не думай больше о таких вещах. Послушайся моей опытности: я живу семьдесят лет на свете и не выдывал такого, чтобы слабый одолел сильного.

— Отец, — ответил Георгий мрачно, — я знаю тебя и знаю заранее все, что ты мне возразишь. Ты скажешь, что я только навлеку на Сербию гнев султана, что Сербия должна быть тише воды, ниже травы, должна изъяслять свою преданность и целовать руки. Знаю все твои слова и потому прошу тебя: избавь себя от труда повторять их и пусти меня пройти по моей дороге.

Тогда старый Петр рассердился:

— Ты корчишь из себя великого народолюбца и хочешь положить душу за ближних; но если так, то почему ты не помнишь о тех, которые тебе всех ближе, — об отце и матери, о молодой сестре и малом брате? Я скоро умру, а если тебя убьют турки, кто накормит твою старуху-мать, кто выдаст честно замуж нашу Милену и кто научит мальчика выгодно продавать с барышом свиней и хитрить с турецким начальством?

— И эти твои слова знаю, — сказал Георгий, — посторонись и пусти меня пройти по моей дороге.

— Если так, то ты язычник и собака! — закричал старик. — Ты страшный грешник против заповеди, ибо ты не чтешь наставлений отца твоего!

И я представляю себе, что при этих словах Георгий потемнел как туча и ответил глухим голосом:

— Не отец ты мне вовсе, и не про тебя написана заповедь. Бог поставил тебя отцом надо мною и дал тебе опыт и седую мудрость для того, чтобы ты освещал мою дорогу, помогал моим начинаниям, укреплял мои крылья. Ты же с первых дней моего детства стоишь мне поперек дороги, как и теперь, и на всякий мой честный замысел отвечаешь вороньим карканьем: «ничего из этого не выйдет!» И при всяком моем порыве к по-

лету хочешь связать мои крылья. Бог дал тебе отеческую власть надо мною для того, чтобы ты гнал меня на подвиг, а ты всю свою жизнь отговаривал меня от подвига. И дал Бог тебе опытность затем, чтобы ты вооружил меня ею для победы; ты же опрокинул эту опытность на меня как тяжелый надгробный камень, чтобы я сидел спокойно в яме и не вырвался на простор. Не отец ты мне, а злой враг, и не чту я тебя, но презираю, потому что не про тебя и не про таких, как ты, написана божья заповедь. И сегодня опять стал ты, отец-развратитель, на моей честной дороге и опять прокаркал мне неудачу; я же говорю тебе: уйди с моего пути. Презираю тебя, твои советы и твои пророчества и лучше послушаюсь лая собаки, чем твоих преступных речей. Пусти меня.

— Будь же ты проклят! — завопил старик. — Ты мне больше не сын, потому что ты восстал на своего отца и несешь гибель всей Сербии. Но я не допущу этого и сейчас криком созову турок, чтобы они связали тебя и отправили в Стамбул на расправу.

И сказал Георгий тихо и глухо:

— Ты правду говоришь?

— Я говорю то, что сделаю, и только через мой труп ты перешагнешь на твое преступное дело.

И мне ясно представляется холодная железная решимость, с которой Георгий ответил:

— Если так, то я перешагну через твой труп, и там пусть судят меня Бог и люди. Знаю, что назовут меня «Черным» за это дело. Но лучше мне быть Черным, чем быть похожим на тебя.

...Я прекрасно знаю, что из десяти инициатив девять обыкновенно не приводят ни к чему. Но когда я вижу, как на чужую инициативу человек отзывается пророчеством: «ничего из этого не выйдет!» — меня охватывает глубокое негодование. Ибо я еще понимаю, что можно самому не мечтать ни о каких инициативах, но для того чтобы хоть словом, хоть намеком помешать чужому начинанию, поколебать чужую бодрость и веру — для этого нужно потерять гражданскую совесть. А ведь любителей этого занятия очень много. Я знаю таких, которые пять верст пешком пройдут ради удовольствия сказать человеку инициативы: «Бросьте вы это лучше, все равно ничего не выйдет!» — а потом, если дело действительно не удастся, они же радостно прибегут и закричат: «Ага, что я говорил? Разве я [не] предсказывал?»

Это, в конце концов, какая-то психология цепной собаки, вся задача которой — хватать идущих за ноги и не давать им проходу. И чем больше я всматриваюсь в жизнь, тем яснее вижу, что в этом смысле человечество распалось на две половины: молодежь, худо ли, хорошо ли, проявляет надежду и веру, мечтает, рвется, пытается создавать, а старшее поколение упорно и настойчиво повторяет: «Бросьте, ничего из этого не выйдет — мы столько-то лет живем на свете и никогда не видали, чтобы...» и так далее. Исключения в старшем поколении есть, но это вообще исключительные, выдающиеся личности. Обыкновенные же, средние экземпляры из сословия отцов все до одного насквозь пропитаны этим девизом: «ничего не выйдет!»

Пожалуйста, не подумайте, что я тут говорю об отношении к сионизму или вообще какому-нибудь общественному движению. Инициатива и фантазия могут проявляться не только в проектах общественного или политического переустройства. Когда человек задумает основать вечернюю газету вместо утренней, школу с новой программой, выберет себе оригинальное ремесло или захочет не по-обычному устроить свою семейную жизнь и воспитать своих детей, — это все есть некоторая инициатива; и на все это, будь то хорошо или дурно, глупо или умно, старшее поколение систематически отвечает карканьем:

— Ничего из этого не выйдет. Мы живем столько-то лет и никогда не видали...

Обратим внимание на этот довод: мы живем столько лет и никогда не видали такого примера — следовательно, и на этот раз ничего не выйдет. Говоря так, эти люди думают, несомненно, что это значит сослаться на свою опытность. Но мне всегда казалось, что опытен тот, который «видал» на своем веку, а не тот, который «никогда не видал». А они так часто повторяют эту фразу, что у нас в конце концов поневоле возникает вопрос: да ведь они, кажется, так ничего и не видели за всю свою жизнь? И это вполне понятно: все мы знаем, что жизнь наших отцов была однообразна, как пустыня.

*Жизнь длится без желанья, как пустые ночи,
как тоска ненастного дня,
как вой на исходе тьмы, от которого цепенеет
плоть заблудившегося в пустыне: нет пути ни влево, ни вправо¹.*

¹ Подстрочный перевод.

А в пустыне и видеть-то нечего. Это вполне естественно. Но кто ничего не видел, у того и не может быть никакой опытности. И великая тайна слабости и непригодности нашего старшего поколения в том и заключается, что оно страшно неопытно во всем, что касается жизни, — не имеет ни представления, ни понятия о настоящей жизни и не может служить руководителем для тех, кто хочет по-настоящему жить.

Когда я оглядываюсь на свои прожитые годы, я вижу ясно одно: ни в одном деле моей жизни я не дал руководить собою старикам и хорошо сделал. Если есть в моем прошлом хоть бы несколько разумных, полезных или удачных шагов, если я чего-нибудь добился для себя и хоть малым приношением послужил тому, во что я верю, — все, что сделано, сделано без совета стариков и наперекор их голосу. Ибо теперь жизнь уже не пустыня. Теперь она похожа на живописную страну, где есть опасные крутые горы и извилистые ущелья. Люди, воспитавшиеся в пустыне, уже не могут быть проводниками для нас в этой новой земле.

Владимир Жаботинский

А-Цофе. № 530. 8(21).10.1904



Наброски без заглавия. XXXI

Без преувеличения можно сказать, что задача, которая легла теперь на кн. Святополк-Мирского, есть самое полное воплощение идеи подвига, как мы ее себе воображали и рисовали еще с детских лет. Ведь каждый из нас, вероятно, без исключений, с ранних лет детства и до конца юности мечтал о подвигах. Подвиги эти сначала, может быть, носили несколько узкий характер: нам представлялась наша возлюбленная, прекрасная царевна, похищенная злым богатырем, и в самый ужасный момент появлялись мы, храбро кидались на злого богатыря, освобождали царевну и получали от нее улыбку любви. Но потом, на грани отрочества и юности, мечты наши расширялись: вместо прекрасной девушки воображение представляло прекрасную идею — чаще всего идею родины или родного народа; родина страдала и томилась в порабощении, и в самый ужасный миг выступали мы, собирали вокруг себя дружину добрых молодцов и спасали ее, и потом на нас сыпались благословения миллионов. Думаю, не было ни одного

из нас, который на пороге полудня жизни своей не мечтал бы спасти родину или свой народ в мгновение большой скорби. Именно и непременно в этой форме рисовалась нам идея подвига до тех пор, пока пролетала юность, и мы вообще понемногу переставали о чем бы то ни было мечтать. Эта постепенная убыль мечты была нам самым очень заметна и очень больна, ибо мы понимали, что с ней уходит лучшая доля нашего существования, но мы оправдывали себя тем, что в обыкновенной обывательской жизни нет поприща для подвигов и, значит, и мечтать не о чем. И мы в то же время чувствовали, что, если бы нам дали поприще для подвига, дали в руки власть и право спасти родину, это залило бы нашу жизнь неизъяснимым, пьянящим счастьем, от которого сердце крепнет, кровь соленеет, крылья вырастают. И вот сегодня перед нами человек, которому дано поприще для подвига, дана власть и право спасти родину, вывести ее на настоящий путь, а пришел этот человек в самую нужную и предельную минуту, потому что скорбь дошла до своей последней грани. Человек этот — такой же смертный, как мы все, у него было такое же детство, такая же юность и такие же мечты о подвиге. Но для нас эти мечты увяли без плода, а для него, одного из миллионов, они сбылись. Поэтому нам невольно кажется, что он теперь должен быть весь под впечатлением предстоящего ему, ожидаемого от него сотней миллионов затомившихся сердец. Ведь это потрясающе огромно — держать судьбы гигантской страны в своих руках смертного человека и ощущать наяву под своими пальцами стержень ее кормила, которое может одним ударом вывести громаду на тихий и светлый простор. Это вообще высокий и трудный пост, но теперь, в ответственный, исторический момент, высота его стала эпической, трагической высотой. Кто хоть немного, хоть со стороны любит Россию, сердце того не может теперь не дрожать в волнении за стоящего на этой высоте.

Предстоит трудное и великое дело. Слышал я недавно одну застольную речь, которая произвела на меня сильное впечатление. Говорят, что застольные речи всегда холодны и лицемерны. Я не знаю, так ли оно вообще, но эта речь показалась мне искренней. Я, впрочем, не запомнил ее точно и передам ее смысл от себя и вкратце. За многолюдным обедом говорили о Порт-Артуре и вспоминали одну потрясающую подробность: что солдаты-часовые стоят на постах с камфарной повязкой на лице, иначе можно задохнуться от запаха мертве-

цов. Тогда один из присутствовавших задал вопрос себе и другим: за что и за кого так радостно терпят весь этот ужас серые солдаты, темное мужичье, взятое от сохи? Потому что терпят они все это именно радостно, своей доброй волей, иначе Порт-Артур давно бы сдался перед таким небывалым еще в истории натиском. За что и за кого же рады они терпеть? Ответ, собственно, ясен: рады они терпеть за Россию, за родину. Но и это еще само по себе не так ясно. За какую Россию? Какой видится Россия мудрому стихийному сознанию этих неграмотных землеробов, особенно в эти нынешние минуты, когда каждый из них о себе мог бы сказать словами поэта:

*Я — вещей. Смерть, придя из края,
Где ложь неведома, за мной —
Мне двери в Вечность отворила,
И яркой Истины светило,
Для вас незримое, порой
Мне шлет лучи...*

У ската могилы люди познают правду. Та Россия, которая видится теперь сознанию измученных людей на валах Порт-Артура, та Россия — настоящая. И, вероятно, очень хороша она и высоко прекрасна в их сознании, если они так неукротимо стоят за нее на самом дне геенны. Но какая же она по-ихнему все-таки, и откуда они знают ее такой хорошей и прекрасной? Это большая тайна первобытной, звериной мудрости простого человека. Несомненно одно: наяву он такой России не видел и не знал. Наяву он знал ту Россию, которая срамила его розгами по голому телу, в которой он голодал и болел, не имея достаточной помощи, в которой мало ласки видел он, но много грубого, черного и едва-едва прокармливающего труда. Ведь такова та Россия, которую мы знаем. Неужели эта Россия грезится ныне, перед лицом смертного часа, тому человеку сохи с пахучей повязкой на лице и неужели за эту Россию рад он нести нечеловеческие муки? Видно, нет. Видно, под коростой вековой обиды он уберег идеальное видение другой России, которая светла, правдива, свободна, и об этой настоящей России думает и ей неслыханно служит, умирая в муках за один только ее призрак, за имя ее — за клочок земли, которая никогда и не была даже русской. И если суждено ему дожить до нового свидания с Россией, то страстно хотелось бы, чтобы на родном

рубеже встретила его не та старая Россия, а настоящая, та, которой он воистину служил, та, которая будет светла и свободна. Приготовить ему эту лучшую встречу, дивный триумф, какого не видали и цезари, — вот задача для тех, которые остались в России.

Таков или почти таков был смысл этой речи.

Предстоит трудное и великое дело. Скорбь дошла до последней грани, и жить так больше нельзя. В России не осталось ни одной честной души, которая не была бы близка недавно к отчаянию. Печать лавирует, измышляет эвфемизмы, выдумывает девизы и словечки, занимается литературничаньем, оставляя саму жизнь там, в стороне, где она и идет... Скучные, надоевшие обиняки, и никто им не верит. Надо создать новую, настоящую Россию, потому что не только на стенах Порт-Артура, но повсюду и все ее хотят и страстно молятся о ней. Если вся Русская земля так непривычно радушно встретила нового государственного деятеля, если выборные люди от городов и земств, чуя величие момента, издали отвечают доверчивым приветом на его к ним протянутую руку, то все потому, что с первых слов кн. Святополк-Мирского честный люд почуял честную, правдивую душу и поверил в ее честное желание выковать первые полосы обновленной России...

Владимир Ж.

Русь. 25.09.1904



Со стороны

К вопросу о национализме

Ответ г-ну Изгоеву

Здесь я не собираюсь подробно отвечать на заметку г-на Изгоева, напечатанную в августовской книжке «Образования» под заглавием «О национальной обособленности евреев». Не собираюсь, между прочим, еще и потому, что г-н Изгоев нам, сионистам, до известной степени выгоден и полезен. Начать с того, что он уже не настаивает без всяких оговорок — как другие наши противники — на «реакционном» характере нашего племени и признает в нем наличие

демократического зерна. Это приятно, как всякая справедливость. Далее, г-н Изгоев допускает и осуществление политической программы сионизма, хотя и в очень уменьшенном виде («для нескольких тысяч евреев»), — и даже находит возможным «сочувствие этому плану как смелому социальному опыту». Это опять-таки приятно, как всякое сочувствие, особенно со стороны лучших представителей передовой интеллигенции. Но не в этом главная услуга, косвенно оказываемая нам г-ном Изгоевым. Хотя сочувствие со стороны всегда лестно и дорого, но для исполнения своей задачи мы рассчитываем не на сочувствие со стороны, а на сознательную волю еврейского народа, и в том числе еврейской интеллигенции. В этом отношении статьи г-на Изгоева о еврейском вопросе нам безусловно полезны: они влагают в сознание этой интеллигенции одну истину, которую нам в высшей степени важно выяснить и распространить. Эта истина гласит: невозможно прочное сохранение нации, у которой нет собственной территории. Есть группы еврейской интеллигенции, которые, дорожа еврейской национальной самобытностью, считают, однако, возможным сохранить ее и в рассеянии, «в чужой земле», при помощи особой национальной автономии, а потому и не примыкают к сионистам. Г-н Изгоев, несомненно, толкает их в сионистский лагерь, ставя перед ними на научном основании дилемму: или своя территория, или ассимиляция. Этого нам, сионистам, и нужно: мы хотим выделить и устранить из еврейского народа все те элементы, которые своим еврейством не дорожат и согласны ассимилироваться, а все остальные элементы хотим объединить в рядах нашего движения. Задача нелегкая, и тем более ценна столь авторитетная помощь со стороны.

Поэтому полемизировать с г-ном Изгоевым мне больше не приходится. Остановлюсь разве только на одной неясности в его последней заметке. Г-н Изгоев объясняет загадку сохранения до сих пор еврейской национальности исключительно тем, что «евреи были денежным народом в странах, где остальное население жило в стадии натурального хозяйства под господством феодализма. Благодаря этому евреи и могли жить совершенно самостоятельно от других людей, приходя с ними во внешние отношения, но не смешиваясь в производственном процессе». Странно: да разве не жили и не сохранили своей самобытности евреи в специфически торговых республиках

вроде Ганзейского союза, Венеции, Генуи?* Там они были «денежным» народом среди «денежного» остального населения. Если при этом, несмотря на все гонения, они сохранили свою самобытность, значит, секрет ее не в одной голой экономике. Да и Талмуд, настольная книга еврейского скитания, всего менее может быть назван идеологией «денежного» народа. В этих кодексах собрана масса чисто земледельческих трактатов (см. хотя бы книгу «Зераим»), а народ-торгаш свято чтит эти трактаты, внимательно изучая их, и писал к ним толкования да толкования. Для чего? С точки зрения одной голой экономики все остатки земледельческой идеологии должны были мало-помалу отпасть, когда народ в течение стольких веков был совершенно отстранен от земледельческого хозяйства. Мне кажется бесспорно ясным, что если «денежный» народ в продолжении двух тысяч лет со священным трепетом изучает обширнейшие памятники земледельческой культуры, не извлекая из этого изучения ровно никакой практической пользы, то это действительно странность, которая экономикой не может быть объяснена. Я же объясняю себе ее тем, что тут действовал *инстинкт национального самосохранения*, который побуждал евреев из страха ассимиляции, то есть национального исчезновения, сохранить и культивировать до мелочей свою самобытную идеологию, *an und für sich*¹, ради ее обособляющего значения. Г-н Изгоев говорит: «Я такого инстинкта не знаю». Я не думаю, что этот инстинкт существует так же естественно и неопровержимо, как и инстинкт личного самосохранения, который, надеюсь, и г-ном Изгоевым признается. Вернее даже было бы сказать, что инстинкт национального самосохранения существует не *наряду* с инстинктом самосохранения личного, а просто в качестве одной из *комбинаций последнего*. Инстинкт личного самосохранения есть стремление каждого индивида сохранить в неприкосновенности все основные элементы своей личности, как физической, так и духовной. Этот инстинкт заставляет человека

* Другой пример — кавказские горские евреи. До середины прошлого века они были искони земледельцами, садоводами, пастухами — такими же, как и остальные горцы. Чем же объяснит г-н Изгоев «загадку сохранения» этих элементов еврейского народа здесь, на Кавказе, где они были в течение долгих веков пастушеско-земледельческой группой среди пастушеско-земледельческого населения?

¹ Для нее самой (*нем.*); от филос. понятия «вещь в себе».

бороться против голода, который грозит неприкосновенности внутренних тканей его организма, против физического насилия, грозящего изуродовать естественную форму его тела, и против насилия нравственного, посягающего на неприкосновенность его естественно сложившегося духовного строя. Духовный строй каждого данного индивида — его психика — слагается из разных качеств: кротости или злости, пылкости или вялости, веселости или меланхолии. Психика индивида есть как бы сумма таких слагаемых. Эта сумма для каждой личности своя, особенная, потому что в нее входят разные слагаемые качества и в разных долях. Но когда из наблюдений над значительным количеством индивидов, объединенных общими в каком-нибудь отношении условиями, выясняется, что в духовном строе каждого из них — при всех индивидуальных отклонениях — всегда присутствует одно и то же определенное сочетание качеств слагаемых, что это сочетание мы усматриваем более или менее неизменно в разных индивидах данной группы, — тогда мы вправе сказать: это сочетание признаков и составляет групповую психику рассматриваемой группы. Если группа эта есть группа национальная, то определенное сочетание признаков, более или менее правильно повторяющееся в каждом из индивидов этой группы, составляет ее национальную психику, или «национальную индивидуальность». Таким образом, национальная психика относится к личной психике, как часть к целому. Поэтому когда индивид, побуждаемый инстинктом личного самосохранения, отстаивает неприкосновенность своего личного духовного строя, он тем самым отстаивает и свою национальную индивидуальность. Иными словами, из инстинкта личного самосохранения вытекает инстинкт самосохранения группового — в данном случае национального. Когда же всем индивидам данной национальной группы грозит покушение на их национальную индивидуальность, тогда этот инстинкт национального самосохранения, вполне естественно возникая в каждом из них в отдельности, связывает их в одно самообороняющееся целое. Это целое, обороняясь, старается удерживать в своих руках какой-нибудь щит, за которым можно было бы укрыться от опасности национального исчезновения. Такой щит есть своя территория: пока данная нация составляет большинство на своей территории, ей даже при самом сильном гнете не грозит ассимиляция. Но когда территории

нет, инстинкт национального самосохранения выдвигает суррогаты, главным образом — религию, потому что на ее базисе легче всего построить сложную сеть обособляющих обрядностей. Таким образом и получается та странность, что народ, лишенный территории, в течение долгих веков свято удерживает культуру, созданную 2 000 лет и больше тому назад и, следовательно, никак уже не соответствующую новым реальным условиям, удерживает ее во всех мелочах и даже в особенности напирая на внешние мелочи — по-видимому, исключительно ради их обособляющего значения.

Мне думается, что в таком истолковании «инстинкт национального самосохранения» выступает как вполне реальный политический момент, не имеющий ничего общего с отвлеченностями идеалистической метафизики (знаю, что многие этого боятся): он, напротив, может быть прослежен, установлен и признан с точки зрения самого трезвого позитивизма. Тем не менее, конечно, я не берусь утверждать, будто экономические моменты не сыграли так-таки никакой роли, даже второстепенной, в «загадке» сохранения еврейской национальности, и вообще не беру на себя смелости предлагать сколько-нибудь полные решения вопроса о национальностях и национализме. Этот вопрос еще совершенно не разработан, и я считаю, что для его разрешения понадобится гениальный ученый, а не наш брат рядовой публицист. И пишу я эти строки только потому, что слишком многие ошибочно считают спор о национальностях уже решенным, тогда как он еще даже толком не поставлен. Единственная цель моя — попытаться напомнить такому читателю, что вопрос о происхождении, сущности, правах и будущем рас и наций еще совершенно открыт и, по-моему, именно теперь заслуживает самых пытливых умственных усилий со стороны интеллигенции — как мыслящей, так и пишущей.



Обыкновенно считается очень несерьезным приемом — говорить о будущем, так как о будущем мы ничего наверняка не знаем. И действительно, каждый автор, дорожающий своим престижем, избегает теперь гаданий «о том, что будет», и беседует только о том, что вытекает из положительных данных настоящего. Но это лишь на бумаге. В душе, напротив, всякий из нас упорно думает и гадает о будущем и, по большей части,

даже рисует себе это будущее в виде более или менее определенной картины. Да иначе и нельзя, ибо кто же стал бы работать, если бы не воображал себе определенного идеала будущего и не надеялся приблизиться к этому идеалу? Все сознательные люди загадывают о будущем и глубоко интересуются им. Поэтому избегать всякой попытки печатно разобраться в том, чего можно и чего нельзя ожидать от будущего, — значит нарочно, ради каких-то своеобразных, якобы научных приличий замалчивать именно то, чем все в душе заинтересованы. Думаю к тому же, что и о будущем можно говорить вполне серьезно, основываясь на трезвых выводах из положительных данных настоящего.

Что будет с национальностями? Нам часто говорят, что прогресс ведет национальности к полному слиянию между собой и что это очень хорошо, ибо таким образом исчезнут рознь и раздоры. И в доказательство ссылаются на то, что уже и теперь наиболее передовые слои общества провозглашают полное тождество интересов между прогрессивными элементами всех стран. А так как будущее принадлежит именно передовым слоям общества, то придет минута, когда солидарность между различными национальностями станет фактом, исчезнет последняя тень враждебных друг другу интересов, рознь и раздоры прекратятся, и тогда не будет никаких препятствий великому братству народностей. И не будет никакой разницы между французом и немцем, потому что все будут братьями и товарищами.

В этом рассуждении все, конечно, безусловная правда — кроме последней фразы, в которой скрыто недоразумение. Правда и то, что в сознание людей все более проникает представление о международной солидарности, правда и то, что развитие общественных отношений явно ведет к устранению основных причин, порождающих между отдельными народами враждебность; правда и то, что война все более и более становится анахронизмом, так что даже большие и малые народности могут вслух мечтать о разоружении, и совсем недалек тот день, когда мечте наступит исполнение; правда и то, что развивающаяся и растущая сеть международных торговых договоров должна в конце концов привести ко всеобщему Zollverein¹, то есть к упразднению таможен; правда и то, что

¹ Таможенному союзу (нем.).

людские поколения, к тому времени больше, чем мы, просвещенные и больше взаимно знакомые с духовным творчеством соседей, встретят радостным приветом эту смерть войны и таможни, окончательную санкцию братства народов. Но разве следует из этого, что тогда исчезнет *разница* между немцем и французом как людьми не одной национальности? Разве национальность выражается в войне и таможне? Напротив, ни та, ни другая совсем не являются хотя бы даже частными проявлениями национальных различий. Необходимость военной и торговой защиты границ вызвана исключительно борьбой экономических интересов, и национальность много-много, если играет тут роль привходящего момента, — чаще всего маска, под которой удобно прячутся чисто торгашеские расчеты.

Национальные индивидуальности создаются главным образом естественными природными условиями той местности, где данная народность живет. Психика человека есть нечто весьма чуткое и впечатлительное: всякая малейшая особенность в характере природы данной местности, сохраняясь и влияя из года в год, из рода в род, не может не отразиться в конце концов на психике населения, создав в ней свою особенную, хотя бы простым глазом и незаметную черточку. Сумма всех этих черт и черточек — отражение крупных и малейших особенностей местной природы — составляет основу национальной индивидуальности. В процессе исторического развития сюда примешиваются другие влияния, уже социального характера; эти влияния, бесспорно, обладают значительной мощностью и вносят в национальную психику изменения. Но будучи лишь отражениями преходящих явлений, эти влияния периодически падают, сменяясь новыми социальными влияниями, иногда прямо противоположными, — между тем как влияние окружающей природы, не изменяющейся в своих главных особенностях, длится без колебаний веками и тысячелетиями, вечно поддерживая неизменную основу национальной индивидуальности. Все новые черты, вносимые в последнюю пестрыми влияниями социального трения, суть только узоры, то рождающиеся, то пропадающие, но канва остается одна и та же. Чем социальное трение сильнее, тем больше эта канва загромождена такими узорами, но если бы социальное трение упало до минимума — если бы, иными словами, человечество дошло наконец до того счастливого часа, когда процесс общественной жизни поплыл бы всюду безболезненно,

уравновешенно, без потрясений, — именно тогда стерлись бы все лишние, посторонние узоры, и из-под них отчетливее, чем когда-либо, показалась бы основная канва, чистая, беспримесная национальная индивидуальность. День, когда отпадут, как ненужные, война и таможня, — то есть, иными словами, когда будет провозглашено окончательное и устойчивое международное равновесие, — этот день в то же время будет торжеством настоящего национализма.

Каждое явление в мире вызывается своими причинами. Пока действуют причины, существует и явление. Только с устранением причин может исчезнуть явление. Заглядывая в будущее, мы имеем право сказать: вот явление, создаваемое такими-то причинами; ход истории, очевидно, стремится уничтожить эти причины, следовательно, мы имеем право рассчитывать, что и само явление исчезнет. Но если мы не видим и не можем предусмотреть никакого процесса, который вел бы естественно к устранению основных причин явления, мы должны прийти к выводу, что это явление сохранится до отдаленнейших горизонтов будущего. Ход истории явно клонится к упразднению вооруженных массовых драк между людьми, и мы потому уверенно предсказываем, что войн скоро уже больше не будет. Но нет и не предвидится никакого процесса, который вел бы к уравниванию природных условий Швейцарии и Великороссии, Гренландии и Абиссинии. Конечно, когда-нибудь и у гренландца, и у абиссинца будут одинаковые железные дороги, телефоны и школы, но солнце вечно будет посылать в Абиссинию большее число калорий тепла, чем в Гренландию, и горы Швейцарии всегда будут накладывать на психику населения свой особенный отпечаток, а русская равнина — свой. До тех пор пока солнце не переместится в другую точку на небе, итальянец будет иначе жестикулировать, чем швед, иначе говорить, иначе петь, ибо его психика будет воспитана другой естественной средой. В настоящее время тысячи социальных несовершенств мешают свободному развитию национальностей как таковых: тем из них, которые менее культурны, приходится заимствовать многое из-за границы, так что попутно создается привычка предпочитать огулом чужое своему, без всякого разбора; тяжкая борьба за кусок хлеба нивелирует всех и каждого, уравнивая в этом отношении людей разных стран, ибо не дает ни о чем думать, кроме заработка; эмиграция вырывает целые массы, как, например,

в Италии, из родной страны и бросает их в чужую среду. Но если только усилия лучших друзей человечества приведут к успеху, если жить станет легче, борьба за кусок хлеба уложится в более мягкие формы и распространение просвещения, подняв умственный уровень отсталых наций, даст возможность каждой народности самой совершенствоваться и умножать свою культуру, — именно тогда не будет более никакой помехи самостоятельному, независимому развитию каждой национальной индивидуальности по ее особым внутренним законам. Желанное падение всех видов экономического гнета поведет не к ослаблению, а к укреплению национального несходства; «разница» не только не исчезнет, а еще усилится; но это будет разница без розни, полная гармония при полном разнообразии, то есть настоящее, истинное братство народов.

В последнее время по поводу разных политических и литературных явлений мне пришлось несколько раз и в различных кругах толковать о национальном вопросе. Не о какой-нибудь определенной народности, а о национальном вопросе вообще. Говорить мне приходилось почти все с людьми очень передового настроения, которые, конечно, всячески осуждали угнетающих и сочувствовали устремлениям угнетенных. Если же и попадался в числе собеседников заветный поклонник онемечивания, мадьяризации или вообще насильственной ассимиляции инородцев, то все другие на него накидывались и хором призывали к соблюдению гуманности. И все это выходило так корректно и чистенько, что придраться было бы решительно не к чему — и комар бы носа не подточил под неоспоримую просвещенность и гуманность этого интеллигентного либерализма; но мне, каюсь, было при этих разговорах все-таки не по себе. Я испытывал такое чувство, точно при мне кому-то подают милостыню. В этих призывах к гуманности чувствовалось забвение того, что живому человеку одной гуманности мало, что ему еще более необходимо уважение, признание его личных и коллективных прав; в этом негодовании против насилий и гнета как-то не чуялось ни искры положительного уважения к национальному самосознанию угнетенного племени.

Один очень хороший интеллигент говорил мне на днях:

— Пруссаки в Познани возмущают меня своими казарменными приемами, и я, конечно, желаю всякого одоления полякам. Но если бы немцы действовали справедливо и деликатно, я не только ничего бы не имел против онемечивания

поляков, а даже был бы рад. Немецкая культура — прекрасная культура, во много раз выше познанско-польской. Люди должны становиться культурнее, а будут ли они потом культурны на немецком языке или на польском — что за разница? Лишь бы не было насилий, а все совершалось бы мирно, само собой, в силу морального превосходства более цивилизованных соседей над менее цивилизованными...

Так говорил мой знакомый, и я полагаю, что он этими словами выражал ходячее либерально-интеллигентское мнение — у иных, быть может, затаенное или невыясненное, ибо мы вообще мало еще мыслим по национальным вопросам, — но все же очень распространенное, почти общее. С этой точки зрения, ежели вдуматься, виновата в конце концов окажется очень часто сама угнетенная народность. Раз чужая культура выше, зачем от нее отрещиваться? Конечно, нехорошо, что чужую культуру навязывают кулаком, но ведь, с другой стороны, кулак оттого именно и является на сцену, что угнетенные не хотят воспринять высшую культуру добровольно. Если хотите, то ведь это, пожалуй, и не столь великий грех — силой усадить ребенка за букварь, коли он добром не хочет оставить свои старые бесполезные игрушки. И вместо того, чтобы сначала советовать пруссакам не угнетать поляков, а потом, когда пруссаки послушаются, благословить поляков на восприятие немецкой культуры, гораздо проще было бы сразу благословить познанский народ на этот подвиг самоотречения: тогда и кулак, за ненадобностью, сразу бы стусеивался, и культура осталась бы в скорейшем выигрыше. И если до сих пор либеральная интеллигенция не заявила открыто и громко такого вывода, то это с ее стороны явная непоследовательность, ибо своим, даже условным, сочувствием словака против мадьяра она морально поддерживает борьбу во имя какого-то принципа самобытности, мечтая в то же время о том, чтобы эта борьба поскорее закончилась и... самобытность благополучно утонула в чужой высшей культуре. Однако причину этой непоследовательности я вижу не в злых намерениях передовой интеллигенции и не в ее недостаточной логичности, а только в том, что вопрос о национальностях еще очень мало разработан, мы о нем еще мало мыслили и мало читали и не успели уяснить себе, что такое племенная самобытность вообще и какова ее объективная ценность.

Был я недавно на Днепре и по дороге, разъезжая в вагоне третьего класса, прислушивался к разговорам тамошнего

простонародья. Меня поразили их говор — явная порча, явная хворь украинского языка. Хохлы так и сыпали великорусскими словами, великорусскими оборотами, а сама основа речи и склад ее были украинские; получалось нечто весьма безобразное, ни Богу свечка, ни черту кочерга. Слушая эту нелепую помесь двух языков, я задумался о вымирании малорусской речи. Ведь она, несомненно, вымирает. Вымрет ли до конца или еще очнется и пышно распухнет — это другой вопрос: нельзя забывать, что говорящие по-украински живут не в одной России, а галицийские русины лелеют свой язык, творят на нем литературу и не дадут ему погаснуть, если даже последний Остапенко в России перекрестится в Евстафиева. Но то дело будущего, а теперь факт налицо: хиреет малорусское наречие. Хиреет наречие, которым говорили в течение веков миллионы живого люда, и говорили не по принуждению, а потому, что с ними это наречие родилось и с ними выросло, то есть отразило в себе все изгибы и уклонности психики этого народа. Ведь не с бухты-барухты возникают языки: каждое наречие, естественным образом, наиболее соответствует духу и смыслу того племени, которое создало и взрастило его. Значит, никакая другая речь для этого племени уже не подходит. Племя будет расти и развиваться, и попутно будет развиваться и изменяться его язык; но это не будет, так сказать, переход из Ивана в Петра, а переход от Вани к Ивану. Можно, конечно, искусственными средствами навязать племени чужое или полужужое наречие, можно даже насильственно истребить самую память о старой речи, но тогда в применении к новому языку надо будет повторить меткое слово Пушкина: «Сменив, не заменил». Заменить невозможно. Ибо если данное племя исторически выработало этот язык, а не другой, то, значит, только этот язык и никакой другой вполне поддается выражению всех тонкостей и особенностей психики населения, которым он создан. Вспомните глубокую сказку Жуковского, кажется, откуда-то переведенную: путник устал под тяжестью своего креста и взмолился Богу — даровать ему другой крест, более легкий. Тогда открылась перед путником пещера, где было много крестов на выбор, были там и легкие, и красивые, но ни один из них удобно не укладывался на плече у путника, пока он не набрел на простой пальмовый крест — правда, тяжелый, но зато как бы нарочно сработанный по его плечу. А это был его старый крест. Сказка эта напрашивается на множество разных аналогий. Так во всем, что человек или на-

род создают бессознательным стихийным творчеством, что, подобно «кресту» судьбы человеческой, с первых проблесков детства сопутствует страннику по крутизнам житейского или исторического пути: у человека или у народа есть и может быть только одна своя психика, одна своя песня, один свой язык. И если вы сумеете искусственно обучить его другому языку, хотя бы в сто раз более богатому, и даже заставите забыть целиком родную речь, — он, этот ассимилированный человек или народ, неизбежно утратит сродство и гармонию между своей природой и своей речью. Это будет ущерб внутренний, учету не поддающийся, но все-таки несомненный и печальный ущерб из той же категории, которую юристы называют *diminutio capitis*¹

Но я полагаю, что в убытке останется не только он, ассимилированный народ или человек: в убытке все человечество, в убытке идея прогресса, в убытке вся природа. Мы понимаем прогресс как эволюцию от неопределенного однообразия к определенному многообразию*. Мы понимаем прогресс как стремление к наибольшему богатству разнообразных

¹ Урезание прав гражданина (*лат.*).

* Иные возражают: если интересам прогресса соответствует наибольшее разнообразие индивидуальностей, то зачем останавливаться на индивидуальности национальных *групп*? Идите дальше и требуйте просто индивидуализации *личности*, не объединяя индивидов в однородные группы... Но делающие это возражение забывают, что «прогресс» есть развитие культуры и говорить об «интересах прогресса» — значит говорить о таком порядке вещей, при котором накопление и творчество культуры сможет осуществиться с большей легкостью и полнотой. А для полноты и всесторонности культуры требуется, чтобы *те отдельные единицы, которые создают эту культуру*, были между собой разнородны. Следовательно, в «интересах прогресса» требуется только *индивидуализация тех единиц, которые создают культуру*. То есть — национальных групп, а не отдельных личностей. Личности пишут свои книги и изобретают свои машины, но не создают своей культуры, и никогда ни одна культура не носила имени личности: нет «культуры Моисея» или «культуры Платона». Есть культура евреев, эллинов, римлян, немецкая, ацтекская и т. д. Значит, если в нашем стремлении к наибольшей индивидуализации мы исходим из «интересов прогресса», мы должны остановиться на той ступени, за которой уже невозможно самостоятельное творчество своеобразной культуры, на национальной («расовой») группе. За всем тем известная однородность каждой группы ничуть не мешает разнообразию индивидов внутри ее, как принадлежность к виду *bétula alba* [береза белая, *лат.*] не мешает каждой отдельной березе иметь свой особый изгиб ствола и ветвей, свои пятна на коре и свое количество и расположение листьев.

жизненных проявлений. Мы считаем роскошной и счастливой природу той страны, где сгруппированы самые разнообразные виды растительного и животного царства. Мы предпочитаем тот оркестр, в котором собрано большее разнообразие инструментов, ту палитру, которая богаче красками и оттенками. Во всем и всюду, и инстинктивно, и сознательно мы радуемся многообразию видов и разновидностей и скорбим об убыли хотя бы одного из них. Я не сомневаюсь, что, когда в Африке удастся извести всех львов, будущие господа Африки, если они к тому времени будут достаточно культурны, непременно отведут особую местность и на ней будут сохранять и размножать львиную породу: чтобы не пропала без следа одна из великолепных разновидностей созданий природы, хотя и опасная для человека. Так теперь делают и берегут в России зубра — и прекрасно делают.

Но едва дело коснется человеческих отношений, подымается путаница. Мы совершенно забываем, что идеал не в однообразии, а наоборот, в наиболее роскошном богатстве разновидностей: нас едва еще хватает на то, чтобы хоть на словах дорожить личной индивидуальностью; уже гораздо туже миримся мы с разнообразием человеческих идеалов, и еще много среди нас таких ископаемых, которые весьма бы желали, чтобы в один прекрасный день все люди записались в одну и ту же партию и вотировали за одного и того же кандидата, и не подозревают, что этот день был бы началом застоя и гибели; но где хуже всего — это именно в вопросе о национальных индивидуальностях.

Мы их не ценим, мы забываем, что всякая племенная самобытность, с ее пусть даже диким языком, с ее пусть даже зачаточной культурой, есть одна из жемчужин в сокровищнице многообразной природы, и дорожить этой самобытностью должно не только само племя, но вчуже за него и каждый сознательно культурный человек. Дорожить и оберегать, не жалея никакой жертвы ради сохранения этой самобытности — ради того, чтобы потом из ее зародышей развить высокую, первоклассную своеобразную культуру. Дать зачахнуть своей или чужой племенной самобытности — это не заслуга перед человечеством и прогрессом, это, по крайней мере, грех преступного небрежения. Когда я в вагоне третьего класса вслушивался в этот срам украинской речи, мне — хоть я сам и не малоросс, и не славянин — хотелось крикнуть на весь славянский мир:

— Отчего вы допускаете? Ведь здесь на ваших глазах совершается убыль и растрата славянского добра!

Только при взаимном уважении, при полном признании индивидуальных прав каждого из членов семьи будет мир и лад в этой семье. Мы единодушно мечтаем о таком времени, когда все люди на земле будут братьями друг другу, но странно звучал бы такой призыв к братству, когда один говорит другому: «Я ничего не имею против того, чтобы ты отказался от своей личности и стал моим двойником, тогда и будем братьями». Мне в этой формуле слышалось бы полное отрицание братства, потому что нельзя назвать демократом того дворянина, который предложил бы мужику: «Выхлопчи себе дворянскую грамоту и будешь мне братом»... Каждому народу и народу, кто бы и где бы он ни был, нужно право и возможность быть и оставаться самим собой и громко называться своим национальным именем: только при этом условии осуществимо истинное братство между ним и людьми другой крови.

Но для этой цели совсем недостаточно той «гуманности», которую проповедует корректный либерализм. Хорошая вещь гуманность, но мы уже вышли из периода «благотворительного» мирозерцания и понимаем, что никакая группа — ни общественная, ни национальная — не может быть спасена одной гуманностью окружающих. «Эмансипация группы может быть только делом ее собственных рук». Кто хочет признания своих прав, не должен рассчитывать на чужую гуманность, а должен сам себя выручать, сам ковать свою судьбу, сам творить свою историю...

Владимир Жаботинский

Образование. 1904. № 10. С. 87–98



К вопросу о погромах

В конце августа произошло в разных местах несколько массовых нападений на еврейскую бедноту. Подробности известны: все погромы на одно лицо — иной покрупнее, другой помельче. Последние были «помельче». О трупах и изнасилованиях что-то не слышно: попорчено тысяч на пятьсот еврейской нищенской рухляди, пущено по миру душ пятьсот

еврейских детей, а больше ничего. В сравнении с прежними образцами — очень слабо. Эти погромы, очевидно, пройдут незамеченными. Даже евреи как-то не обратили на них особенного внимания. Просто прибавилась лишняя горькая капля к тому водоему горечи, который уже давно полон до краю в груди российского еврея. Капель больше, капель меньше — даже для самих евреев разница небольшая. И я тоже не намерен муссировать эти погромы и вызывать чью бы то ни было жалость к жертвам или негодование против виновников. Только несколько соображений о причинах, несколько слов, сухо и сжато, как приличествует говорить одному из задетых этими событиями.

Не знаю, много ли среди читателей таких, которые верят еще в старое обвинение, что евреи эксплуатируют русский народ. Во всяком случае, сколько бы ни было таких верующих, спорить с ними я не берусь. Спорить можно с теми, кому предмет спора знаком; одна постановка вопроса о еврейской эксплуатации доказывает полное незнание с еврейской массой и бытом ее. Кто видал городишки на Литве и на Вольни, где эта масса чахнет от буквального голода и откуда ежегодно до 50 тысяч ее детей выселяются на всякие мытарства в Америку, тому станет горько и противно слушать басни о том, как эти нищие из кого-то еще «высасывают соки», и не захочется серьезно возражать на несерьезные или недобросовестные выдумки. Во всех источниках, к которым можно применить имя «серьезных», это обвинение давным-давно уже перестало появляться. После кишиневского погрома было напечатано правительственное сообщение, в котором констатировалась вражда между христианским и еврейским населением Бессарабии, и указывалось даже на некоторые причины ее (поверье о ритуальных убийствах), но в перечне этих причин не было ни намека на еврейскую эксплуатацию. Еще характернее сообщение о втором прошлогоднем погроме, гомельском. В этом сообщении вина за враждебные отношения приписана всецело евреям: они вызывающе относились к русскому населению. Тем не менее и тут об эксплуатации ни слова. Если бы существовал хоть намек на «высасывание соков» евреями из русского народа, уж тут оно было бы, наверное, констатировано и подчеркнуто.

Забитая и запуганная еврейская масса, живущая сама впроголодь и всех и всего боящаяся, не может никого притеснять. Следовательно, у христианского населения нет и не мо-

жет быть естественного желания мстить евреям, ибо мстить не за что. Нет и не может быть сознания, что евреи чем-то заслужили расправу, что их нужно бить. Есть просто сознание, что они — чужие. Конечно, чужака нигде не любят и никогда не будут любить, но не любить еще не значит травить и избивать. Травят человека только в одном из двух случаев: или в том предположении, что его нужно травить, что он заслуживает расправу, или в том предположении, что его можно травить. Если можно, то для некультурных масс (в особенности при некоторой любви к спирту и при наличности некоторых общих причин для хронически дурного расположения духа) это большой соблазн. Все поговорки учат, что ежели кого можно щелкнуть по носу, то уже разве только ленивый не щелкнет. При воспетой поэтами склонности «раззудись плечо, размахнись рука» — понятие «можно» звучит уже само по себе приглашением, искушением, призывом. И если христианское население в черте еврейской оседлости не имеет оснований думать, будто евреев надо бить, достаточно уж и того, что оно уверено, будто евреев можно бить. И в этом оно твердо уверено.

Откуда же, спрашивается, такая уверенность? Законы российские безусловно запрещают избивание обывателя обывателем, кто бы ни были первый и второй. Для евреев в этом отношении никаких гласных исключений в сторону *privilegium odiosum* не сделано. Почему же в христианских массах западной и юго-западной полосы так прочно укоренилось сознание, что бить евреев — не только пред Богом не грех, но и пред законом не вина? Кто им это сказал? Никто не сказал и не мог сказать. Но они сами вывели это заключение, и они по-своему правы. Наше сознание складывается помимо нашей воли из наших внешних впечатлений. Когда в семье имеется пасынок, то остальные дети, родные, бессознательно усваивают себе то же отношение к нему, которое замечают у отца и матери. Вполне понятно, что если пасынка водят в обносках, не пускают ни за стол, ни в гостиную, то у родных детей невольно и естественно разовьется сознание, что пасынок есть существо низшее, с которым если не все, то очень многое «можно». Тут даже не надо, чтобы отчим или мачеха сами били пасынка. Может быть, они, взрослые, и простого тумака ему не дадут. Но дети менее сдержанны. Во всем преувеличивать — это прерогатива детства. Дети, несомненно, пойдут дальше родителей. Они не станут скупиться на затрещины

нелюбимому чужаку, и не только в драке, а и просто «так», с сердца, с бухты-барахты...

Таково отношение христианской массы и еврейской, и иным это отношение не может быть. Русское или польское дитя в черте оседлости с малолетства знает, что еврей — бесправный пасынок, что закон для еврея и христианина не равен, что еврея в срединную Россию не пускают, в деревню не пускают, в школу не пускают, на казенную службу не пускают. А если закон с ним так суров, то уж недаром. Значит, еврей существо поганое и низшее. Значит, с ним вообще церемониться нечего. Значит, с ним все или очень многое «можно». И это сознание совершенно произвольно растет и крепнет. И в конце концов когда на душе станет особенно скверно (а на то есть причины), да ещехватишь зелена вина, да еще подвернется повод, то как же тут не сорвать сердца на еврее? Страсть «раззудить плечо», как и всякая другая человеческая тенденция, всегда инстинктивно выбирает себе путь наименьшего сопротивления. Массы вырастают и воспитываются в том сознании, что еврей есть идеал «наименьшего сопротивления», потому что его и закон шельмует от самого рождения. Одним словом — «можно». Так и зарождаются погромы. Было бы очень странно, если бы при таких условиях не зарождались и не разыгрывались погромы.

Я прекрасно понимаю, что ко всему этому присоединяется еще и другой фактор: сознание чуждости и нелюбовь к чужаку. Но сама по себе эта нелюбовь не может вызвать такого явления, как погром. Она может проявиться в более приличных формах западноевропейского антисемитизма с его бойкотом и организованным вытеснением еврея при полном соблюдении всех статей уложения о наказаниях. Но погромы возможны только там, где христианские массы привыкли к сознанию еврейского бесправия, или там (Галиция), где они еще не успели отвыкнуть от этого сознания.

«Любви» к себе — если она непременно требует отречения от своей народной самобытности и веры — этой «любви» евреи не требуют и не ждут. Но они, а с ними все лучшие элементы общественного мнения в России и за границей, вправе ждать, что с пятиmillionного народа будет снято и смыто клеймо неравенства перед законом, ибо это клеймо есть само по себе мишень, соблазн и призыв, который будет действовать на христианские массы не только помимо воли властей, но и наперекор их воле.

Мне кажется, что евреи перестали уже ощущать новые удары в форме страдания. Очевидно, мера страдания переполнена... Теперь они переживают все свои новые горести уже в новой форме: в форме обиды. Горькой, жгучей обиды, которая не всегда властна остаться затаенной. Этой обиды накопилось уже очень много. Я думаю, что и ее мера переполнена. Это видно особенно ярко теперь, когда Россия переживает трудное время войны.

Я стараюсь говорить обо всем этом, как беспристрастный человек. Каждый народ, по-моему, должен жить для себя и для своих исторических задач. Россия должна делать не юдофильскую политику, а русофильскую или, вернее, русскую. Но я думаю, что систематически воспитывать на одной из главных обочин Империи пять миллионов людей, таящих жгучую обиду против русского народа, — это не русофильская и не русская политика, ибо ничего хорошего для России не пожелается из этого посева.

Владимир Ж. (Altalena)

Южные записки. 1904. № 44. 10 окт. С. 5–7



Наброски без заглавия. XXXV

Ростов-на-Дону, 6 окт.

Из своих скитаний я с большим любопытством слежу за сборами на «Фонд народного просвещения». Любопытство тут не у места, нужно сочувствие! — скажете вы. Но сочувствие и без того обеспечено; думаю, нет порядочного человека, который бы не сочувствовал. Однако я знаю, что одно сочувствие обывательское немногого стоит. Обыватель охотно сочувствует, ибо это ремесло, так сказать, «дешевое и сердитое»: выкажешь себя полным джентльменом, а вместе с тем никакого риска. Поэтому сочувствие прекрасно уживается рядом со всякой скверной. Видал тысячу раз людей, которые вполне сочувствовали и тут же учиняли предательство. Типичный сочувствующий был Понтий Пилат. Он весьма сочувствовал Христу и сказал даже: «Се человек». Но у Пилата были жена, дети и долги, а наместничество в Иудее было так выгодно, и цезарь к тому же велел ему не раздражать влиятельной буржуазии этого непокорного народа. Посему Пилат, сочувствуя, умыл руки... Часто приходится спрашивать у приличных господ: «Вы как отно-

ситесь к такому-то движению?» — и когда слышится ответ: «Я... э... сочувствую», — то можно дать голову про заклад: тут уже руки умыты, умыты начисто, и в восьми случаях из десяти, ежели потребуется предательство, то с нашим полным удовольствием. Но и предательство как-никак есть нечто активное, и потому только восемь из десяти готовы на сей подвиг. А если требуется только такое пассивное мероприятие, как простое воздержание от содействия, то здесь уж можно рассчитывать на все девять из десяти пламенно сочувствующих... Вот почему я и любопытствую: сочувствуют-то все, это несомненно, а вот как насчет пожертвований?

Пока идут первые дни сбора — последний номер «Руси» я видел от 3 октября. За границей на гораздо менее святые цели в первые дни наплывают десятки тысяч. Но за граница не указ, и тут не может быть никакого сомнения, что так или иначе, в той или иной форме, через газеты или нет, а в конце концов российское общество даст на дело народного просвещения не десятки тысяч, а сотни миллионов — по той простой причине, что без этого дальше нельзя, что без этого Россия банкрот. Ходячие фразы, как бы они сами по себе ни были удачны, всегда теряют остроту: мы к ним привыкаем. Так мы привыкли к старой поговорке: неучение — тьма, она больше нас не колет, и мы забыли понемногу о том, что невежество не только тьма, но и боль, но и голод, но и срам. Мы привыкли и инстинктивно помнили уже только то, что «тьма» есть вещь удобная и спокойная, прекрасное учреждение, под покровом которого удивительно хорошо спится...

«Спится»... «Спячка»... Тоже избитые слова, измызганные сотнями газет и потому потерявшие свою колючесть и оскорбительность. Я уверен, что когда слово «спячка» в гражданском смысле было произнесено впервые, тот, кого им хлестнули по лицу, ощутил резкую боль от удара и яростно заспорил против обидного упрека. А теперь мы слышим и произносим это слово по сто раз на дню и даже не морщимся. Привыкли. Но заметьте, привыкли только к слову, но не к самому состоянию, обозначаемому этим словом. Потому что с ненормальным состоянием можно свыкнуться только до поры до времени, а дальше уж оно беспокоит, томит и гнетет, пока не превращается в пытку.

С нами это и произошло. Мы выдержали своеобразную, утонченнейшую из пыток — пытку сном. Я читал когда-то, что Кановас дель Кастильо придумал для заключенных в барселонской тюрьме новую пытку бессонницей. Допрашиваемого

сажали на скамье между двумя испанцами. Испанцы сменялись через каждые четыре часа и должны были не давать пытаемому заснуть. Чуть он сомкнет глаза — его встряхивают. Некоторые выдержали такую пытку в течение 5 дней, не дремав ни на секунду. Если вдуматься, это ужаснее всего, что было до сих пор придумано даже в Испании.

Но оказалось, что бывает и пытка сном. Бывает, что человек выспался, отоспал, так сказать, все сроки, и давно пора ему проснуться, а между тем уродливый кошмар сел ему на грудь и душит его, нашептывая страшные видения, доводя до нестерпимого ужаса. В такие минуты человек и спит, и не спит, ибо смутно сознает, что спит, и страстно хочет пробудиться, и безусловно молит: «Разбудите меня, окликните!» — и хрипит тонким, почти нечеловеческим хрипом...

Пробуждаясь, открывают окна, и тьма заменяется светом. Это сделает и Россия. Не знаю приблизительной сметы, сколько надо на введение всеобщего обязательного обучения, но совершенно твердо знаю, что если понадобится даже миллиард, то и миллиард найдется. У казны, конечно, ни во время войны, ни после войны не будет на это денег. У казны будут свои расходы. Значит, или общество, или никто. Если никто, Россия останется громадным невежественным и безграмотным захолустьем; если общество, то Россия станет велика и обильна, и внесет новые ценности в мировую культуру, и, быть может, переймет у Англии, Франции и Германии жезл духовной гегемонии над цивилизованным миром. Что без школы ни шагу дальше, а со школой — все, это признала теперь даже и самая молодая, даже юная из русских партий — новорожденный империализм — проф. Мигулин тоже в этом со мною заодно: школа прежде всего, ни шагу дальше без школы. По всей России, сверху донизу, если только выключить гг. мошенников и предателей, то все: правые и левые, крайние и средние — стакнулись на том, что Россия подошла к краю и школа — единственный мост к будущему. Или перебросить мост, или погибнуть без следа — стереть свое имя с листа культурных стран и даже из списка независимых исторических народов, ибо неграмотный бессилен, а бессильного не пощадят. Поэтому как верно то, что завтра будет утро и будет вечер, что брошенный камень упадет, так же верно то, что народ достанет миллионы для школы и «Фонд народного просвещения» будет осуществлен. В пифагоровой таблице нет уравнения, за которое можно было тверже и увереннее поручиться, чем за конечный успех этого начинания.

Кое-кто — и даже многими голосами — твердит, конечно, привычную фразу: «Ничего из этого не выйдет». Типичная старческая фраза. Старички, поглядывая на затеи молодежи, любят ронять эту фразу и с удовольствием смакуют упование дожидаться действительно неудачи и тогда сказать: «Хе-хе... а я что говорил? Надо было верить опытному человеку. Я человек опытный, а никогда не видал, чтобы такое дело окончилось успешно, а вы меня не послушались...» Но эти старички забывают, что если они за весь свой век «такого дела» и вообще многих «таких дел» не видали, то это говорит вовсе не об их опытности, а скорее о неопытности. Ибо опытен тот, кто видал виды — видал подвиги, борьбу, большие поражения и великие победы; и из такого опыта старец выносит благоговейную любовь к решимости и дерзновению. Кто ничего не видел, кроме своей тропинки до канцелярии и обратно, у того может быть только седая лысина, но ни опыта, ни знания, ни воли, ни значения, ни права голоса на совете жизни. А где при новом начинании все-таки слышатся тусклые голоса: ничего не выйдет, — там твердо знайте, что то подают голос старческие элементы жизни, *morituri*¹, бурелом жизни... Поверните к ним спину и куйте железо.

«Фонд народного просвещения» будет создан. Кто его создаст — это другой вопрос. Россия по природе своей не есть страна быстрого энтузиазма: она тяжела на подъем, плотна на усест, а века разочарований еще больше приучили ее к недоверию, осторожности, пассивному сочувствию. Всколыхнуть ее со дна трудно, и из двух пытающихся удается не тому, у кого голос громче и огня больше, а тому, у кого есть за душой царица добродетелей, мать искусств и богиня побед — мерная, холодная, гранитная, неукротимая настойчивость. Пусть каркают пуганые вороны, пусть отмалчиваются ревнивые лавочки печати, пусть гром гремит, пусть ливень хлещет: в кузнице должен пылать огонь и шуметь работа, и пусть стучит молоток раз за разом, изо дня в день, из года в год, неустанно, непреклонно. У кого станет силы на это, тот довершит. У кого не станет, того смеют другие; то, что должно быть сделано, будет сделано, и довершители скажут начинателям хорошее спасибо.

Владимир Ж.

Русь. 13.10.1904

¹ Обреченные на смерть (*лат.*).



Кому это выгодно?

Вся, кажется, читающая Россия заметила статьи профессора Мигулина, печатающиеся в «Руси» под заглавием «Наши финансы». И было что заметить. Такой ясной, спокойной и самоуверенной проповеди организованного политического грабежа на Руси, кажется, еще не слышали. Говорилось раньше о том, что раз Маньчжурия занята и на Маньчжурию затрачены русские деньги, то отдавать ее уже нельзя, и долг русской чести — отстоять ее во что бы то ни стало. Говорили платонически и о том, что Царьград рано или поздно должен очутиться в русских руках, ибо того требует особая религиозно-национальная миссия России. Поговаривали о том, как было бы желательно объединить под верховенством России весь славянский мир. Но то, о чем заговорил профессор Мигулин, никому еще в России не приходило, кажется, в голову. Читая эти статьи, я невольно вспоминаю о пресловутом докторе Рамме, который затеял сразу под своим редакторством чуть ли не пятнадцать разных газет и журналов по самым разнообразным отраслям науки и литературы: тут были и медицина, и домоводство, и естествоведение, и беллетристика, и даже, кажется, особый орган для спорта. Все это мне вспомнилось при чтении планов проф. Мигулина: захватить Маньчжурию, да Корею, да Квантун, да Монголию, да Восточный Туркестан, да Афганистан, да Персию, да Индию, да Малую Азию, да то, да се, да пятое и десятое... Целая политическая раммиада!

Конечно, никакой реальной опасности в этих статьях я не вижу: совратить общественное мнение на путь империализма проф. Мигулину не удалось, да и не могло удаться. Настроение в России, с верхов и до низов, вполне определилось и выяснилось на фоне текущих событий, так что даже ребенку ясно, могут ли в настоящее время подобные проекты колониального авантюризма рассчитывать на какую-либо реальную популярность. Страна, которая не использовала еще даже со-той доли ни своих внутренних богатств, ни своих внутренних рынков, не может нуждаться в эксплуатации и захвате новых пространств. Это азбучная истина, которая не может быть неизвестна профессору-финансисту. И это-то меня и заинтересовало. Пусть я вижу вполне ясно, что статьи г-на Мигулина никого не увлекут, что все это одно невинное и бесплодное

упражнение в довольно грубоватой софистике; но ведь любопытно, почему и для чего пишутся такие статьи? Почему бесспорно ученый финансист разрешает себе игнорировать азбучные истины своей науки? Для чего и ради кого все это им придумано и написано? Главное — ради *кого*? Юристы, разбирая преступление, виновник которого неизвестен, прежде всего задаются вопросом: *cui prodest*¹? Кому оно выгодно? Ибо все шансы за то, что истинным виновником преступления окажется именно тот человек, которому оно выгодно. В статьях проф. Мигулина перед нами, несомненно, если не преступление, то хоть покушение с негодными средствами на преступление против общественной логики, научной последовательности и гражданской серьезности. Непосредственный автор покушения нам известен; но ведь любопытно спросить себя, чьим интересам мог служить проф. Мигулин, совершая свое покушение? *Cui prodest*? За границей проповедники империализма служат интересам промышленной буржуазии, которой реально необходимы гарантированные новые рынки. Но в России, с ее промышленностью в пеленках или на помочах?.. Ясное дело, что проф. Мигулин тут не обслуживает ничьих действительных классовых интересов. Но в таком случае зачем же он все это пишет? Не станет же человек при полном сознании выпускать призывы к войнам и захватам, то есть к огромному напряжению сил, если это решительно никому не выгодно. Очевидно, кому-то оно все-таки выгодно. Кому же?

Я долго ломал себе над этим голову, пока взгляд мой не упал на такие строки в одной из статей проф. Мигулина:

«Конечно, осуществление всех этих важных задач производительного характера — дело далеко не легкое: не только организация подобных предприятий требует большого внимания и искусства, но и для самого привлечения иностранных капиталов на выгодных условиях необходимы серьезные работы и умение со стороны финансового ведомства. Мы верим, что Россия может создать и имеет таких же выдающихся финансистов, каких сумели привлечь к делу в Западной Европе, особенно в последнее время, и это не в виде исключения, а повсеместно в культурных странах (назовем в Англии, кроме покойного Гладстона, — Гошена, Гаркорта, Гикс-Бича; во Франции — Леона Сэ, Думера и Рувье; в Австро-Венгрии — Шеф-

¹ Кому [это] выгодно? (*лат.*).

ле, Пленера, Бём-Баверка, Билинского; в Германии — Микеля и Коха). Ими приведены финансы своих отечеств в блестящее состояние, и нет никаких оснований думать, что и мы не могли бы добиться того же, — выдающиеся люди есть и у нас...» («Русь». № 249).

Эти строки заставили меня задуматься. Я перечитал их еще и еще раз, передо мною стала выясняться моя ошибка. Я понял, что общественный класс, которому нужна и выгодна политическая раммиада захватов чужой земли, действительно и реально существует в России. Только правоверная односторонность, свойственная людям, воспитанным не на жизни, а на учебниках, помешала мне сразу заметить этот сильный и многочисленный общественный класс. В учебниках он действительно еще не показан, да и открыт он, и имя ему дано не каким-нибудь ученым социологом, а писателем-сатириком. Класс этот называется: господа ташкентцы. Имя достаточно известное — настолько известное, что раз оно названо, мне уже нет нужды подробно обрисовывать основные черты этого типа. Он сам собой встанет в уме читателя со всеми своими атрибутами: руки загребушие, на устах всяческое велеречие о любви к отечеству и народной гордости, в желудке бодрый и жизнерадостный аппетит и на челе печать совершенно несокрушимого апломба. Это и есть он, тот самый, которому *prodest*. Кто-кто, а уж он-то несомненно предвидит огромные реальные выгоды от захвата Восточного Туркестана и Кукунора. Да и не только от этих стран. Ему нужен, собственно, какой-нибудь Ташкент, а как онный будет называться — Гонолулу или земля Ням-Ням — это безразлично. Все дороги в Ташкент ведут. И в Куку-Норе, и в Ням-Няме сейчас же понадобятся урядники высшего и низшего чина, с погонами и сытным окладом — что и требовалось доказать. На Руси стало тесно, тетенькин хвостик обтрепался и не так уже чудотворно действует, а искусство влезания в любую щель распространилось и подешевело. Зато на новых местах и карьера иначе пойдет, и мошна, черт побери, не так звенит... Да здравствуют новые места! После этого всякий, кто смеет спорить против той истины, что России необходимы новые пространства, что она, извините за выражение, лопается от переизбытка внутренних сил, — беспорный изменник и предатель отчизны. И услужливо создаются домашними средствами целые теории исторических и цивилизаторских задач в Гонолулу или исконно стигийного тяготения Руси к берегам Мозамбикского пролива.

Но это простейший вид ташкентца. Есть и более утонченные. Они сами вовсе и не собираются в новые места. Им не нужно. Должности цивилизующих урядников они предоставят рядовым ташкентского сословия. А для себя самих они предвидят другие, более заманчивые перспективы. Им только необходимо, чтобы в Санкт-Петербурге учредился новый ташкентский департамент, а им бы туда столоначальниками. Вот и все. И патриотично, и выгодно, и ехать в глушь не придется. А начав со столоначальника, можно и выше добратся. Некоторые так уже и сразу метят повыше столоначальника, даже гораздо повыше. И как венец этого утонченного ташкентского типа уже раздаются голоса, важным тоном намекающие, что для важных задач, предстоящих России на Мадагаскаре и в Патагонии, понадобятся, конечно, крупные государственные деятели — например, финансисты, — и они в России, конечно, имеются, надо только уметь их найти, да-с, надо уметь их найти, найти.

Что же? Помогай вам Бог, г-н профессор. Что-то не верится мне в вашу звезду: время как будто не такое. Но мало ли что на белом свете бывает...

Владимир Ж. (Altalena)

Южные записки. 1904. № 46. 24 окт.



Наброски без заглавия. XXXVII

Баку, 15 окт.

«Фонд народного просвещения» — дело святое, но нельзя забывать и о тех, кому нужно высшее образование. По этой части в России туго: университетов и институтов мало — для женщин, а из евреев и для мужчин почти не находится места, и в результате массы учащейся молодежи из России пока принуждены учиться за границей. Преимущественно до сих пор в немецких университетах и отчасти во французских. Наплыв, как известно, в конце концов получился порядочный. В Париже, Берне, Цюрихе, Женеве, например, студенты и студентки из России живут даже не сотнями, а чуть ли не тысячами. Что из этого наплыва получилось — тоже достаточно известно. Распространяться о натянутых отношениях между приезжим и местным студенчеством не хочется, а кого за то

винить — вопрос спорный. Я лично, судя по своим наблюдениям, виню больше местную, туземную среду: она слишком не терпима к чужой индивидуальности и слишком мещански подозрительна. Однако сказать, чтобы и наши земляки были кругом правы, не решусь. Надо было все-таки принять кое-какие меры, чтобы смягчить неизбежные различия и без уступок в своем достоинстве ладить с хозяевами... Как бы то ни было, в последнее время стало ясно, что с немецкими университетами надо если не целиком покончить, то хоть по возможности ослабить наплыв. То есть — искать «новую заграницу». Промелькнул совет предпочесть немецким университетам итальянские. Совет подхватили: очевидно, потребность очень назрела. Г-н Анджело Ландра, неаполитанский «консул» известного международного студенческого союза «Corda Fratres», предложил свои услуги для всяческих справок. Его засыпали письмами — он написал в течение последнего года около 500 ответов в Россию, рассылая повсюду печатные программы различных высших учебных заведений Италии. Теперь, с началом учебного года, получаютя отовсюду сведения об уехавших или готовящихся уехать в Италию студентках и студентах. Я знаю по личному опыту и прекрасные качества тамошнего высшего образования, и радушие, гостеприимство, отзывчивость и приветливость тамошней студенческой среды и нисколько не сомневаюсь, что отзывы первых уехавших увлекут новые контингенты, лишенные высшей школы в России, и постепенно в течение короткого времени создастся и в Италии ошутительный наплыв наших земляков. Благодаря особенному строю тамошних университетов (все лекции публичны) и главное — благодаря врожденному у итальянца уважению к чужой индивидуальности нечего опасаться, что сам по себе наплыв вызовет враждебность итальянского студенчества. Но принять некоторые меры, соблюдать осторожность, не повторять старых ошибок — это все-таки нужно. Инициаторы этого движения в Италию собирались издать брошюру-памятку для будущих итальянских студентов со всеми необходимыми сведениями об условиях приема и тамошнего быта. Но разные обстоятельства помешали изданию, а теперь уже поздно — уехавшие уехали. Поэтому я, как один из инициаторов, хочу хоть вдогонку послать им несколько соображений об их тамошнем житье-бытье и очень прошу всех, кому попадется в руки этот лист газеты, если есть у них в виду кто-нибудь уехавший учиться в Италию — родственник или знакомый, — переслать ему эти строки.

Я не собираюсь обращаться к нашим итальянским студентам с советом угождать итальянцам, но я все-таки твердо полагаю, что каждый монастырь имеет святое право требовать: не суйтесь ко мне со своим уставом. Это не значит, что студенты из России, живя в Италии, обязаны ввести у себя, между земляками, тамошние итальянские бытовые «уставы». Но это значит, что в сношениях с итальянцами, студентами и просто обывателями надо неуклонно и обязательно подчиняться их «уставу». Если есть доля нашей вины в порче отношений, например, с немецкой туземной средой, то она именно в этом: живя в ее монастыре, мы в сношениях с ней упорно пользовались своим бытовым уставом. Это чувствовали там наши университетские коллеги и наши квартирные хозяйки. Это внушало им непочтительное мнение о степени нашей культурности не потому, что наши бытовые «уставы» сами по себе были некультурны, а потому, что культурный человек, живя в гостях, старается говорить с хозяевами на их языке. Надо избежать повторения этой ошибки в Италии. Надо затвердить правило: у себя в комнате можно быть чем угодно; выходя на улицу, надо превращаться в европейца — среднего и безличного европейца, *comme tout le monde*¹. Это не значит отрекаться от своей индивидуальности. Если вы сблизитесь с отдельными личностями из тамошней среды, вы им откроете свою индивидуальность, но носить ее, как вывеску, напоказ для всех прохожих, совершенно нет надобности. Ведь именно чем больше дорожишь своей индивидуальностью, тем меньше должно быть охоты совать ее в глаза всем, кому до нее, наверное, и дела нет. Драгоценности показывают лишь избранным.

Многие возражают: «Да помилуйте, ведь это, наоборот, со стороны хозяев некультурно требовать, чтобы гости в отношениях к ним непременно подделывались под их хозяйский лад! А если мой "устав", скажем, такой, что я люблю курить папиросу левой ноздрей, то почему же я могу это делать только у себя в комнате, а не на улице? Кому я мешаю?»

Это вопрос спорный, ежели его разбирать принципиально. Я лично решаю его в том смысле, что курящие левой ноздрей, хотя ничьей свободы не насилуют, но все-таки *à la longue*² «мешают». И когда я вижу группу курящих ноздрей среди иначе курящего большинства, я прекрасно понимаю,

¹ Такого, как все (*фр.*).

² Здесь: в конце концов (*фр.*).

что курение ноздрей само по себе ничуть не преступно, а все-таки для этой группы я предвижу в конце концов один роковой выбор: или ассимилироваться с большинством, или уйти прочь. Но это мой личный взгляд, о котором я сегодня спорить не намерен, ибо не в том дело, правы или не правы туземцы, когда из-за наших своеобразных «уставов» начинают недружелюбно к нам относиться. Будь они правы или не правы, — надо помнить, что наши земляки ездят за границу учиться, а не перевоспитывать туземцев. Следовательно, нельзя допускать порчи отношений, особенно в такой новой стране, как Италия, где студентов из России встретят с полным радушием. Вызвать и там против себя предубеждение — все равно, справедливое или несправедливое, — значит лишить будущих коллег сердечного и радушного приема и поставить их снова в ту атмосферу неприязни, которая так тяжело чувствуется, например, в Пруссии. Если бы это предубеждение явилось следствием вашей стойкости в каких-либо высших принципах, тогда другое дело. Но ежели все дело в бытовом «уставе», то есть в конце концов в нескольких чисто личных привычках, то из-за таких пустяков создать неблагоприятную атмосферу для будущих коллег — значит, по моему, проявить легкомыслие, незрелость и полное отсутствие гражданской сознательности.

Два-три конкретных совета — не в урок, а в дружбу, про-сто от бывшего товарища, уже знакомого с обстановкой.

Надо поближе сходить с итальянцами. Обыкновенно в больших студенческих колониях наши земляки возвращаются исключительно в кругу своих. Это влечет уже хотя бы то неудобство, что при таких условиях никогда нельзя как следует выучиться местному языку. Что касается итальянцев, то они народ в высшей степени экспансивный, приветливый, стоворчивый и, главное, крайне симпатичный. Сблизиться с итальянцем легко, и кто сблизится — не пожалует.

Никогда не следует осуждать перед итальянцем их страну, их язык, даже их законы или малейшие обычаи, хотя бы они сами против этих законов или обычаев боролись. Они все до одного глубокие и ревнивые патриоты, и хотя сами любят себя ругать, но до болезненности не переносят критики гостя.

Поэтому приезжим студентам никогда не следует принимать даже малейшего активного участия в тамошних студенческих беспорядках, которые случаются довольно часто и проходят весьма скоро. Не следует, конечно, вовсе не из

страха репрессий: напротив, репрессий почти никогда не бывает. Но не следует потому, что сами товарищи-итальянцы будут недовольны. Для них устраивать беспорядки — значит делать свою итальянскую внутреннюю политику, а чужой, по их святому убеждению, не должен вмешиваться в итальянскую внутреннюю политику. Всякое содействие в этом их только оскорбит. При волнениях наши земляки должны, конечно, если сочувствуют, заявить открыто свое сочувствие, но тут же подчеркнуть принцип своего невмешательства в итальянские «внутренние дела»...

При встречах с итальянскими женщинами какого бы то ни было круга и слоя надо иметь в виду разницу между русской и итальянской женщиной. В России отношения между обоими полами более непринужденны и просты, и, конечно, только развращенное воображение может увидеть в этой простоте что-либо нехорошее. Но итальянская женщина теперь едва начинает эмансипироваться, а в южной половине Италии еще и не начала. Самая простая для нас вещь — проводить барышню домой из театра или даже днем пройтись с ней вдвоем по улице — в Неаполе, например, совершенно немыслима. И в этом отношении итальянцы страшно щепетильны. Это надо постоянно иметь в виду и опять-таки помнить, что не нам перевоспитывать итальянский народ.

Надо (щекотливый предмет, и берусь за него не без робости) — надо заботиться о внешности. Доброе, старое время, когда учащаяся молодежь нарочно «презирала» не только эстетику, но и гигиену, это время, конечно, прошло, но поручиться, что в нынешних колониях окончательно вывелся тип студента с единственным Semester-Kragen¹ом¹, было бы рискованно. А внешность нагляднее всего бросается в глаза и легче всего может внушить европейцу предубеждение. Европейец воспитан на уважении к «гигиене» и ни за что не поверит, чтобы человек, пренебрегающий «гигиеной», имел право называться культурным человеком. Я лично опять-таки безусловно в этом согласен с европейцем. Но помимо личного взгляда надо считаться прямо с фактом: соблюдать «внешность» даже самому бедному студенту так легко, что вызвать из-за такого пустяка предубеждение против себя и своих земляков вообще значило бы опять-таки проявить самое досадное гражданское легкомыслие...

¹ Воротничком, который меняют раз в семестр (*шутл., нем.*).

Вообще, для устранения всяческих недоразумений надо принять за правило: в каждом городе, где есть хоть десятка два студентов из России, должно быть учреждено ответственное бюро. Если кому-нибудь, например, случится невозможность уплатить за комнату или кто-нибудь по забывчивости увезет с собой на каникулы в Каменец-Подольск книгу из библиотеки римского университета, пусть и квартирная хозяйка, и библиотекарь знают, куда им обращаться за разъяснением и удовлетворением. Это очень важно, чтобы никакая возможная случайность не могла поколебать общего престижа студентов из России...

Пользуюсь этим случаем, чтобы напомнить нашим землякам в университетах и институтах Италии о больших заслугах перед ним союза «Corda Fratres» вообще и студента Анджело Ландра (Napoli, vico Purita a Forta № 1) в особенности. Несмотря на предложение возместить почтовые расходы, союз принял всю переписку с Россией на свой счет, а г-н Ландра вел эту переписку с поразительной энергией, давая самые подробные разъяснения, рассылая всюду по первому запросу целые печатные тома учебных проспектов и отчетов. Он неоднократно обращался по вопросу о студентах из России и к проф. Орландо — министру народного просвещения, и к директорам или ректорам отдельных учреждений. Можно смело сказать, что вся заслуга по открытию этого нового шляуза для нашего здешнего «перепроизводства» принадлежит этому молодому человеку, и он имеет право на большую и горячую признательность со стороны всех заинтересованных лиц. Но я должен прибавить к этому, что г-н Ландра не исключение. Тамошнее студенчество все в большей или меньшей степени таково: они рады гостям, рады помочь, чем можно, и будут еще более рады, если и гости останутся довольны. Этим настроением нужно дорожить и сберечь его и на будущее время...

В заключение личная просьба: по разным причинам очень важно иметь полную статистику итальянских студентов из России. Поэтому повторно прошу: у кого из читателей есть родственник или знакомый, уехавший в Италию, — переслать ему эту газету, а самим уехавшим буду очень благодарен за присылку мне справок об адресе, выбранном факультете, степени знакомства с итальянским языком и т. п. Сводка таких статистических сведений будет полезна для следующих.

Владимир Ж.

Русь. 30.10.1904



Наброски без заглавия. XXXIX

Харьков

В некотором роде душа просветляется, когда читаешь про то, как приятно окончились недавние случаи у вас в Петербурге на Казанской площади и перед Выборгской тюрьмой. В особенности просветляется, когда читаешь потом рассудительные доказательства из уст г-на А. Ст-на и других, что молодежи надо учиться, а не политику делать. У меня только при сем невольно возникает вопрос:

— А кто в этом сомневался?

Ведь оно же ясно как день: учащаяся молодежь для того молодежь и для того учащаяся, чтобы усваивать знания; а делать политику вполне, как следует, может только тот, кто уже усвоил себе нужные знания и вообще созрел, ergo¹, если молодежь старается делать политику, то это весьма и весьма ненормально. Трудно вообразить себе человека трезвого ума, который стал бы против этого спорить, — и именно потому никак не могу понять, зачем господа публицисты вроде г-на А. Ст-на тщатся разъяснять кому-то эти столь понятные вещи. Ведь тут не в разъяснениях дело. Странная наивность — бороться против ненормального явления увещаниями. Раз существует ненормальность, да еще такая массовая и упорная, то нельзя же думать, будто вся здесь беда в том, что *ses raivres petits*² не понимают простых вещей, которых нельзя не понимать, а вот мы возьмем да растолкуем, они и поймут, и все как рукой снимет...

Чересчур уже это по-ребячески. Гораздо умнее будет признать, что где имеется налицо упорная массовая ненормальность, там есть, значит, причины, ее вызывающие, — и сколько там ни увещай, ничего не выйдет, пока мы не разберемся подробно в этих причинах и не уясним себе вопроса: что заставляет молодежь делать политику? И тогда мы тем самым ответим себе на другой вопрос: как устроить, чтобы молодежь — без всяких увещаний — перестала делать политику.

Делать политику — значит в конце концов отправлять свое гражданское служение. Зрелый гражданин чувствует на

¹ Следовательно (*лат.*).

² Эти бедняги (*фр.*).

себе долю ответственности за судьбы родины и потому нравственно обязан принимать долю участия в ведении дел этой родины. Так действует зрелый гражданин за границей. Но в России он так не действует. В России зрелый гражданин систематически сторонится от всего, что имеет хотя бы малейшее касательство к этой функции: участие в политике своего отечества. И если вы спросите его, почему он сторонится, то он просто и ясно ответит вам:

— Я сторонюсь потому, что участие в политике моего отечества связано с большим риском для меня. Если бы я вздумал исполнять эту мою гражданскую функцию, то меня бы сейчас же сократили. И весьма чувствительно. Требовать от меня при нынешних условиях такого гражданского служения — значит требовать самопожертвования. А жертвовать собой я не желаю.

Так отвечает зрелый гражданин в России, и вы можете найти его ответ невеликодушным, но не можете не признать за ним полной резонности.

В наше время, при существующих социально-экономических формах, не только в России, но и где бы то ни было нельзя требовать от зрелого гражданина самопожертвования. Нельзя потому, что это было бы нелепостью, научным абсурдом.

Основной психологический признак капиталистического строя есть резко выраженное сознание индивидуальной ответственности каждого отдельного человека за свой голод или сытость и за голод или сытость своей семьи. У нас нет более ни сословий, ни цехов (в старинном смысле), которые гарантировали бы нам переход одной и той же прокармливающей профессии по наследству от отца к сыну и тем несколько освобождали бы нашу психику от тяжести этого сознания личной экономической ответственности. Падая целиком на плечи отдельной личности, это сознание должно буквально подчинить себе всю ее психику, потому что вопрос о голоде или сытости, о хлебе насущном, есть основной и крупнейший из вопросов жизни.

Когда решение этого вопроса возьмет на себя общество, тогда на долю каждой отдельной личности достанется только незаметно малая частица его тяжести; но теперь, когда всю громадную тяжесть хлебного вопроса несет на себе личность, он невольно и неизбежно становится для последней центром внимания, воспитывает и дрессирует всю ее психику с первых дней детства, и вопрос о наживе неминуемо становится

в конце концов для каждого из нас основным вопросом жизни, которому все прочие интересы должны быть безусловно подчинены. Иного сознания и быть не может: при существующем строе человек *должен* и *обязан* дрожать пуще всего за свой кусок хлеба, потому что людям прежде всего необходимо питаться и согреться, а нынешний строй не дает им для этого никаких путей, кроме пути резко индивидуальной экономической борьбы. Поэтому ясно, что чем зрелее современный человек, тем яснее для него вся тяжесть и важность личного хлебного вопроса, а в момент наступления полной умственной зрелости этот вопрос становится для него безраздельно основным и подчиняет себе все остальные интересы.

Нельзя сказать, что зрелый человек вообще не пойдет ни на какое самопожертвование: напротив, пойдет и часто идет — но только если это необходимо для непосредственного удовлетворения его личного хлебного вопроса. Ради хлеба и наживы вполне зрелые люди сплошь и рядом идут на самый отчаянный риск. Но никогда не пойдет и не может пойти современный массовый зрелый гражданин на такое самопожертвование, которое не вызывается непосредственно его личным хлебным вопросом. Если бывают исключения — лица, которые и в зрелых годах сохраняют готовность к гражданскому самопожертвованию, — то это всегда лица исключительной нравственной силы, и именно за то им по праву принадлежат первые места руководителей. Но они, как всякое исключение, только отменяют общее правило, которое гласит, что при современном строе психика зрелого гражданина органически не приспособлена к гражданскому самопожертвованию.

Мне, вероятно, укажут в ответ на массовые примеры воинского героизма. Но ведь лагерь потому и плодит героев, что он вырывает человека из капиталистической обстановки с ее индивидуальной борьбой за существование, резко освобождает его от тяжести личного хлебного вопроса и вообще как бы переносит в другой социальный строй — сословно-цеховой в старинном смысле, или, если хотите, даже до некоторой степени коллективистический.

Уже на этой почве психика личности, более или менее освобожденная от всеподавляющей тяжести вопроса о наживе, начинает поддаваться воздействию идейных интересов или атавистических инстинктов, сила которых еще в этом случае удесятеряется психологией толпы. При такой обстановке способность к самопожертвованию должна возникнуть так

же естественно, как естественно не может она в зрелой психике возникнуть среди нормальной обстановки капиталистического строя... Но при всем том надо заметить, что если цивилизованный мир теперь все громче и громче протестует против войны, то немалую роль в создании этого настроения играет характерная для современной психики неприспособленность к гражданскому самопожертвованию.

Там, где гражданское служение, к которому каждый живой человек естественно от рождения призван, включено в орбиту законности и потому не требует самопожертвования, там политику делают зрелые граждане. Но там, где с попыткой гражданского служения наверняка связан тяжелый риск, — там зрелые граждане сторонятся от этой функции, предпочитая все невыгоды чужого произвола, лишь бы не принести себя в жертву интересам, не имеющим непосредственной связи с их лично-экономической выгодой. Тогда поприще гражданского служения родине пустеет, и, как всякая пустая нива, вопиет к небу, призывая рабочие руки. Вопиет к небу, потому что запустение гражданского поприща не проходит даром для родины, и это мы все слишком хорошо знаем.

Пустая арена гражданского служения терзает болевые нервы и мозолит глаза, как язва, не прикрытая пластырем. В обществе назревает сознание, что так дальше нельзя, что арена должна быть заполнена кем бы то ни было. И тогда на арену бросается тот элемент, в котором, с одной стороны, больше впечатлительности, а с другой стороны, именно в силу неполной зрелости не вполне ещеросло сознание и ощущение всей тяжести лично-хлебного вопроса, не вполне еще выдрессировало и подчинило ему все остальные моменты психики. Лет через пять или семь и у них это сознание назреет до всеподавляющей силы и тоже оттеснит их от опасного поприща, но пока молоды, они готовы на самопожертвование. Оттого они и захватывают монополию гражданского служения там, где оно неотделимо от самопожертвования. Вместо настоящих деятелей-отцов приходят заместители, суррогаты, так сказать, «и. д.» — дети, и начинают делать политику...

Из вышесказанного ясен ответ на вопрос: как устроить, чтобы молодежь перестала делать политику?

Очень просто: надо открыть арену гражданского служения для свободного доступа зрелых граждан. А это значит — создать условия, при которых гражданское служение не будет

связано с личной опасностью и не потребует самоотвержения. А это значит — включить гражданское служение в орбиту законности и признать раз навсегда, что участие во всех жизненных делах отечества есть и право, и обязанность каждого гражданина...

Владимир Ж.

Русь. 9.11.1904



Вскользь

Проезжающий по разным местам России должен отметить, что теперь повсюду говорят, конечно, о новых веяниях.

Одни радужно, другие скептически.

Но не в том, понятно, смысле «скептически», чтобы сомневаться относительно самого факта существования новых веяний.

В них сомневаться нельзя. Они налицо. Обыватель показывает обывателю местную газету, где так-таки прямо про околоточного надзирателя и написано, а прежде ведь и про дворника, бывало, не напишешь. Как же тут сомневаться в наличности новых веяний!

Но скептически настроен обыватель повсюду насчет того, долговечны ли веяния.

Одни весело подмигивают в сторону завтрашнего дня и бодро говорят:

— Вот увидите! Завтра утром начинается новая эра.

Другие, наоборот, суют брови и отвечают:

— Вот покажут вам завтра утром кузькину маму, так вспомните вашу новую эру.

Первые возражают:

— Чрезмерный пессимизм! Нет, голубчик, шалишь, теперь уже нельзя, поздно. Это только в сказке о золотой рыбке можно из дворца вернуться к старому разбитому корыту.

А другие каркают:

— Что-о? Только в сказке? Еще бы! Случается и так, что даже разбитого корыта назад не получите, а прямо вернут в первобытное состояние, когда еще и корыто не было изобретено. И ничего, проглотите и губы утрите.

— Ну, уж это «ах, оставьте». За эти недели мы столько пережили, печать столько высказала, открыла всем глаза...

— И ничего подобного, никому она глаз не открывала и ничего нового не высказала. Сказала она только одну десятую долю того, что все знают и о чем вот уже пятьдесят лет заодно думают. Да и эту малость сказала со всем своим прирожденным и традиционным косноязычием, с какими-то институтскими эвфемизмами. Даже словечко придумали для отвода глаз: «бюрократия». Подумаешь! Я так полагал, что мой дворник просто неотесанное животное, а теперь он, оказывается, «бюрократ»...

— Ну, а все-таки...

— Что все-таки?

— Все-таки нельзя теперь назад в первобытное состояние.

— Можно.

— Нельзя!!

— Можно.



Таковы разговоры. Не будет ошибкой сказать, что вся грамотная Россия теперь гадает на кофейной гуще именно об этом:

— Нельзя или можно?

Что же, я тоже грамотный и тоже произрастаю под сенью российских законов, а потому этот вопрос и меня интересует, и я тоже, по общему примеру, гадаю на кофейной гуще: нельзя или можно?

И тоже ничего не знаю.

Но так как я приехал из Петербурга, то добрые люди думают, что я непременно должен знать. Я коренной одессит с Канатной улицы, коренной и завзятый — легко ли мне слышать, что на родине уже меня произвели в петербуржцы? Но соотечественники твердо уверены, что я теперь дежурю у самого кормила судеб, и при всякой встрече требуют точного показания:

— Ну, что? Нельзя или можно?

А я этак загадочно улыбаюсь и говорю:

— Мм... Не знаю.

А в голову мне в эти минуты лезут какие-то отрывочные соображения или воспоминания, как будто совершенно некстати, а как будто и кстати...

Вот, например, сейчас, когда пишу эти строки, тоже почему-то приходит в голову один случай, и опять-таки не могу разобраться, кстати или некстати.

Случай такой: было в одном городе училище, а в училище хозяйничал совершеннейший маньяк, злой и неприятный психопат ломбрововского сорта.

Хозяйничал до того, что в феврале прошлого года застрелился один ученик, а в августе другой, а в этом году третий.

Что называется — «стрельба пачками».

В городе стон стоял от этого господина. Ругали его обыватели на всех перекрестках. Однако ничего: время шло, психопат процветал и продолжал свою заплочную работу — налаживалось даже четвертое самоубийство, и только-только за малым не состоялось: просто у мальчика ни револьвера, ни ножа под рукою не оказалось.

А обыватели что?

А обыватели ничего.

Так шло, пока в одной столичной газете не появилось разоблачений. Тут уже «прорвалось»: весь город загудел. Попечители училища храбро вышли в отставку, дума постановила прекратить училищу субсидию и потребовать расследования, наконец — нежданный финал: училище вдруг объявилось временно закрытым и учеников отправили по домам...

Одним словом, суд Божий.

И тут — обыватель просыпается, он воспрянул духом. Теперь и он храбрец.

И в результате — предо мною лежит копия с заявления, посланного министру народного просвещения за подписями тамошних интеллигентов: мировых судей, чиновников, врачей и инженеров — всего человек двадцать пять.

Заявление составлено в высшей степени дипломатично. Фамилии хозяина нет, и вообще ни на кого определенно не указывается; просто почтительнейше призывает внимание на три самоубийства и скромно высказывается соображение, что сие, очевидно, происходит от «крайне ненормальных тяжелых условий, в кои поставлены воспитанники упомянутого учебного заведения».

А в заключение реверанс:

...Сочли своим нравственным долгом обратить внимание на вышеприведенные факты, поощренные к тому высказанным 19 сентября сего года пожеланием, чтобы между школой и обществом установилась самая тесная связь...

Вникайте во всю дипломатичность этой бумаги: во-первых, никто не назван, никого не обвиняют, виноваты «усло-

вия» — ибо «условия», как известно, юридической личностью не являются и в суд не привлекают; а во-вторых, — даже и само заявление, мол, вовсе не по нашей инициативе написано; помилуйте, мы бы рады не писать, но ведь нас об этом 19-го сентября сего года просили, и мы, так сказать, идя навстречу...

Впрочем, комментировать не стоит. Скажу одно: хорошая это и меткая поговорка: «я не я, и лошадь не моя, и я не извозчик».

И этакая сдержанность после того как уже в столичной газете было и названо имя, и рассказаны все факты, и дана самая резкая оценка действиям и качествам виновного...

Да, умеет быть корректным российский обыватель.

И если вникнуть, то не в этом же явлении проявил он свою корректность во всем ее полном сиянии. Он проявил ее до этого заявления.

Он проявил ее блистательно, стоически, геройски за все то долгое время, пока тянулась эта эпопея «стрельбы пачками» на арене подготовительного класса.

А именно — молчал.

Толками о порядках этого заведения полон был город, отцы и матери содрогались при слухах о каждом новом детском самоубийстве, — а обыватель молчал.

Задаешь себе вопрос: почему молчал?

Кого боялись все эти мировые судьи и инженеры? Чем они рисковали, если бы не стали дожидаться второго и третьего «прискорбного факта», а сейчас же после первого написали бы такое же заявление? Волноваться, хлопотать, жаловаться раз за разом и убрать вон из школы того, кому место в лечебнице для маньяков?

Ничем не рисковали, а просто так. Корректность.

Чересчур привык российский обыватель щеголять идеальной корректностью — особенно в тех случаях, когда на его глазах совершают избиение младенцев.

И если это его собственные младенцы — от этого дело не меняется. Прежде всего корректность.

А примеры бывали, и далеко ли за ними ходить...



Это все мне вспомнилось теперь, когда я писал строки о гаданиях «нельзя или можно», — и, повторяю, не берусь решать: кстати или некстати вспомнилось.

В тюрьме, на прогулке, свел я однажды знакомство с популярным вором, из больших рецидивистов, имя которого часто видел в газетах.

Он был человек тертый и не без интеллигентности и знал даже заграничные слова: «шаблон», «система» и эта самая «корректность».

Он рассказал мне, что на этот раз попался в театре, где «стрелял» десять вечеров подряд. Девять сошло удачно, а на десятом сорвалось.

Я удивился.

— Как же это можно — девять вечеров подряд воровать в театре, когда вас, вероятно, уже все сыщики в лицо знают?

— Как это можно? С корректными людьми, молодой человек, все можно!

И я должен сказать, что вполне согласен с этим опытным человеком.

Одни говорят:

— Нет, поздно, теперь уже к разбитому корыту нельзя...

Другие уверяют:

— Можно.

Я тоже гадаю на гуще и надеюсь на всякие чудеса, но в глубине души полагаю, что, ежели на то пошло, так с корректными людьми все можно, все, решительно все что угодно...

Altalena

Одесские новости. 14.11.1904



Наброски без заглавия. I

Было бы жаль, если бы нелепый скандал с одесским банкетом пропал, так сказать, для потомства. Скандал, собственно, небольшой, но уж очень характерный для нашего здешнего климата.

Банкет был даже на удивление скромный: обыватели говорили речи, высказывая в них около десятой доли того, что надо было сказать, и при этом себя не помнили от радости: дожили, мол, до такого дня! Один из обывателей ночью после банкета сказал мне:

— Это, знаете, какой-то сон. Мне не верится. Эти речи, эти крики, а тут же внизу околоточный — и ничего! Не вмешивается! Какая-то греза, право...

Если хотите, то, строго рассуждая, вся эта радость обывателя только свидетельствует об одном, что человек, подобно пташке Божьей, и малым доволен. Ибо ведь, ежели всмотреться, то в самих речах ничего нового не было. Повторяю: десятая доля того, что надо было сказать, о чем знали и думали и что у всех так и рвалось с языка. Тут были налицо все те же институтски жеманные эвфемизмы, что и в печати: «бюрократизм» и «правовой порядок» вместо настоящих, всем хорошо известных терминов. Так что содержание речей само по себе никого не могло бы ни удивить, ни в восторг привести. Новизна была не в речах, а в околоточном. Новым было только то, что вот люди разговаривают, а околоточный не препятствует. Тут и была зарыта собака. Это и приводило в восторг обывателя, милого одесского обывателя, верного старому девизу: ешь глазами начальство... Дело, впрочем, не в психологии банкетистов, а важно для нас то, что речи на этом банкете были самые скромные, да и не могло быть иначе, когда было известно, что подъезжал полицмейстер и просил дать ему два пропускных билета.

Банкет происходил в ночь на 21 ноября. Затем день прошел спокойно, а в ночь на 22-е, вернувшись поздно домой, я застал у себя гостей, которые рылись в ящичке мятого белья, читали мою переписку и вообще доискивались, где у меня спрятана мина Уайтхеда. Часа в три ночи составили протокол, начертав в нем, что «ничего явно-предосудительного не найдено, и отобрано к делу столько-то писем и рукописей», а затем предъявили мне бумагу, в которой значилось: по распоряжению начальника одесского охранного отделения... Одним словом, утром 22 ноября я проснулся в тюрьме и узнал, что в близком соседстве со мной находятся еще три государственных преступника: доктор М. А. Богомолец, А. С. Изгоев и А. М. Федоров. Все трое — участники банкета, все трое — «по распоряжению начальника охранного отделения», у всех троих были обыски, причем мина Уайтхеда все-таки не найдена.

В городе между тем эти аресты произвели сенсацию. Г-н Изгоев, фактический редактор «Южного обозрения», г-н Федоров, известный поэт, драматург и романист, д-р Богомолец, видный представитель одесской интеллигенции, — все это лица, в высшей степени популярные в городе. Публика была возмущена до глубины души. Кинулись к прокуратуре

палаты — прокуратура палаты сделала большие глаза и стала чистосердечно уверять, что она тут решительно ни при чем. Поехали к градоначальнику — он только развел руками и выразил свое глубочайшее изумление по поводу этого молодецкого набега. Весь подвиг, очевидно, должен быть поставлен в заслугу исключительно одесскому охранному отделению. А какие были веские основания для этого подвига, ясно из того, что на третьи сутки всех четырех освободили, не допросив, не предъявив обвинения, даже не отобрав подписки о невыезде: просто вошли к нам в камеры и сказали:

— Извольте собрать ваши вещи...

Случай этот сам по себе, конечно, мелкий. Три дня тюрьмы — на Руси это такой пустяк, что и говорить-то о нем не стоит. Но вывод напрашивается, и вывод, по-моему, далеко не лишенный интереса.

Вывод — о роли одесского охранного отделения. Должен покаяться: я профан в этом деле и даже не точно представляю себе назначение сего института. Знаю только то, что возник он недавно, в пору самого свирепого «недоверия», и, следовательно, теперь ему совершенно незачем существовать. Имеется он уже во многих городах, суммы поглощает грандиозные и притом совершенно бесконтрольно, а теперь казне, если не ошибаюсь, всякая копейка нужна; делу искоренения крамолы этот институт столько же помогает, сколько мертвому кадилу, и об этом очень ясно свидетельствуют результаты. Иными словами: даже со специфической точки зрения решительно никому эти охранные отделения не нужны. Что же касается, в частности, одесского отделения, то оно — опять-таки с той же специфической точки зрения — совсем уже не оправдало своего назначения. Ибо это назначение, каково бы оно ни было, сводится к правилу: метко и без шума. Между тем в данном случае скандал получился такой, какого давно уже не бывало, а о меткости удара лучше и говорить не будем. Запереть за решетку сразу четырех журналистов, наделать страшного шума на всю Россию и потом через три дня расписаться в ошибке — для учреждения, призванного работать ловко, шито и крыто, это значит бесспорно доказать неотложную необходимость собственного упразднения. После выхода из тюрьмы я еще с день пробыв в Одессе и перевидал много народу. Могу уверить, что не было в этот день во всем городе такого дома, где не стоял бы

по случаю этого подвига сплошной и очень желчный хохот и не вспоминалась бы та самая унтер-офицерская вдова. Я мысленно застегиваю сюртук на все пуговицы, вытягиваю руки по швам и самым почтительным тоном спрашиваю:

— Да разве *за это* стоит деньги платить, и какие деньги?!

Владимир Ж.

Наша жизнь. 1.12.1904



Наброски без заглавия. II

На Рождестве у меня будет много свободного времени, так что наконец удастся мне, надеюсь, осуществить одну мою давнишнюю мечту. Я хочу поделиться замыслом с читателями при условии, однако, что никто не воспользуется моим проектом и не перехватит у меня этой заслуги по спасению отечества.

Дело в том, что я давно собираюсь подать в надлежащее ведомство докладную записку о необходимости изъятия из народных читален одной книги. Книга эта, по странному недосмотру, самым свободным образом обращается в народе, и притом как раз в наиболее возбудимых его слоях — среди школьной молодежи или даже, с позволения сказать, детворы. Вред усложняется тем, что книга эта в высшей степени популярна и считается чуть ли не обязательным первым чтением после букваря. Посему нет на Руси грамотного человека, в душу коего не запали бы еще в детстве ядовитые семена этой книги. А потом уже, конечно, поздно: отравы понемногу действует, и через несколько лет из несчастного юноши получается нравственно падшая личность, декадент или вообще какой-нибудь социалист.

Эта книга — басни Ивана Андреева Крылова. Расходятся они в сотнях тысяч дешевых экземпляров, неразумные (а может быть, и злонамеренные?) родители и педагоги заставляют детей заучивать их наизусть, подрывая тем в самом корне младенческой души всякое уважение к незыблемым основам российской гражданственности.

Когда я прихожу в дом, где есть малые дети, и слышу, как иной бутуз повторяет, заучивая наизусть: «Предлинной хворостиной...», — я содрогаюсь. Смейтесь, ежели вам до смеха,

но я содрогаюсь при мысли о том, что предстоит впереди этому ребенку. «Предлинной хворостиной...» Да знаете ли вы, что это за басня и чему она учит? Вникните только. Преуспевание державы российской, вызывающее зависть и удивление в народах, обуславливается, как известно, ее гармоническим сословным строем. В основе стоит крестьянство, которое мирно пашет землю и собирает обильный урожай. Затем следует городское состояние, в котором процветают всяческие полезные ремесла и почтенное торговое занятие, обогащая и обывателей, и казну. Во главе же находится доблестное и отважное дворянство, из среды которого набираются мудрые сановники государства и опытные правители областей его; кроме того, дворянство блюдет воинскую доблесть и покоряет русскому мечу страны и народы. Вся эта блестящая мощь, как мы видим, зиждется на сословном начале и на тесно с ним связанном наследственном принципе, согласно которому самим рождением определяются права и преимущества лица, и рожденному попovichем предоставляется быть именно попovichем, а не министром, например; если же из сего правила были исключения, то они, как известно всему миру, привели к очень плохому концу. И вот дитяти, которое должно пропитаться уважением к изложенному правопорядку, дают в руки басню «Гуси», где под лицемерной оболочкой аллегории доказывается, будто подвиги и заслуги благородных предков не дают потомкам их никакого права на привилегированное в государстве положение, и заключается следующей грубой выходкой по адресу известной части российских благородных сословий:

Оставьте предков вы в покое:

Им по делам была и честь;

А вы, друзья, лишь годны на жаркое!

Но это, если хотите, еще ничего. Я начал с этой басни только потому, что она более других популярна. У Крылова, однако, есть и такие страницы, где проводится отрицательный взгляд на самые что ни на есть основные устои русской земли, и странно, до непостижимости странно, как этого до сих пор не заметили те, кому ведать надлежит.

Вспомните хотя бы очень известную басню «Лягушки, просящие царя». С первых строк ее так и бьет в нос опреде-

ленная тенденция, с которой это сочинение написано: вы прежде всего узнаете, что все дальнейшие бедствия обрушились на лягушек за одно великое, в глазах сочинителя, преступление:

*Лягушкам стало неуютно
Правление народно...*

Вы понимаете? Но этого недостаточно. Последующее содержание басни оказывается до того возмутительным, что заставляет забыть о начале. Это — сплошной памфлет против существующего образа правления. Здесь совершенно определенно высказывается мысль, будто идеал правителя есть обрубок осины, ибо, заявляет баснописец, ежели не осиновый чурбан, то еще хуже: алчный, всепожирающий журавль!.. Простите, читатель, но я невольно опять содрогаюсь и отказываюсь комментировать.

А что вы скажете о басне «Мирская сходка»? Позвольте вам ее напомнить. Речь идет о том, как звери назначали овечьего старосту, и должность эта досталась волку... Уже и тут невольно является у меня вопрос: почему именно волку, а не другой скотине — например, ослу? Зачем Крылову понадобился волк? По каким таким основаниям мог он считать, будто в роли воеводы над овцами более правдоподобен или типичен волк, нежели осел? Я настаиваю, что нет тому решительно никаких оснований, и тут выразилась единственно злая воля сочинителя. Но не в этом центр тяжести басни. Он искусно помещен автором в конце, в заключительных строках, где, сообщив о назначении волка, он ядовито присовокупляет:

*Да что же Овцы говорили?
На сходке ведь они уж, верно, были?
Вот то́-то нет! Овец-то и забыли!
А их-то бы всего нужней спросить.*

Я обращаюсь ко всякому беспристрастному отцу или педагогу и спрашиваю по чистой совести: можно ли давать в руки детям такую откровенную проповедь конституционных увлечений? Чему же, позвольте узнать, чему же вы изумляетесь, когда впоследствии эти самые дети, став молодыми людьми, выходят на улицу, выкрикивают дерзкие возгласы и вызывают так называемые уличные беспорядки?

Что касается басни «Крестьяне и река», то о ней я даже считаю неудобным говорить, ибо явные намеки, в ней содержащиеся, прямо-таки непристойны. Я просто приведу этот пасквиль целиком:

*Крестьяне, вышед из терпенья
От разоренья,
Что речки им и ручейки
При водопольи причиняли,
Пошли просить себе управы у Реки,
В которую ручьи и речки те впадали.
И было что́ на них донести!
Где озими разрыты;
Где мельницы посорваны и смыты;
Потоплено скота, что и не счесть!
А та Река течет так смирно, хоть и пышно;
На ней стоят большие города,
И никогда
За ней таких проказ не слышно:
Так, верно, их она уймет,
Между собой Крестьяне рассуждали.
Но что́ ж? как подходить к Реке поближе стали
И посмотрели, так узнали,
Что половину их добра по ней несет.
Тут, попусту не заводя хлопот,
Крестьяне лишь его глазами проводили;
Потом взглянулись меж собой
И, покачавши головой,
Пошли домой.
А отходя, проговорили:
«На что и время тратить нам!
На младших не найдешь себе управы там,
Где делятся они со старшим пополам».*

Что это такое? Зачем это печатается? Зачем это распространяется по читальням и школам, особенно теперь, когда повсюду идут столь успешные сборы пожертвований на всякие военные нужды, и в том числе на Красный Крест? Удивляюсь, чтобы не сказать более...

Вообще странно, как это до сих пор не замечено, что в баснях упомянутого Крылова на каждом шагу попадаются ясные и грубо тенденциозные намеки на современные события.

В этом отношении любопытна басня «Орел и крот». Орел, сообщается в этом сочинении, стал вить себе гнездо на вер-

шине дуба, а крот его отговаривал, уверяя, будто дерево изгнило и готово свалиться. «Но кстати ли орлу, — прибавляет иронически автор, — принять совет из норки?»

*И от Крота! А где же похвала,
Что у Орла
Глаза так зорки?
И что за стать Кротам мешаться сметь в дела
Царь-птицы!*

В результате сочинитель, конечно, заставляет дуб свалиться.

И подавило им царицу и детей.

И в заключение такая мораль:

*«Когда бы ты не презрел мною, —
Из норки Крот сказал: — то вспомнил бы, что рою
Свои я норы под землей
И что, случаясь близ корней,
Здорово ль дерево, я знать могу верней».*

Мораль, конечно, вполне ясна. Властям, видите ли, не может быть известно, что и когда нужно стране, а потому им предлагается спрашивать совета и руководства у господ из третьего элемента... Очень хорошо. Очень хорошо! И это внушается подрастающему поколению!

Позвольте мне закончить указанием еще на одну басню: «Дикие козы». Она несколько заденет ваше патриотическое чувство, но прошу вас помнить, что при исполнении нашего гражданского долга мы не должны останавливаться ни перед чем, ни о чем не умалчивать, как бы ни была тяжела для нас та или иная тема.

Вот эта басня:

*Пастух нашел зимой в пещере Диких Коз;
Он в радости богов благодарит сквозь слёз;
«Прекрасно, — говорит, — ни клада мне не надо,
Теперь мое прибудет вдвое стадо;
И не доем и не досплю,
А милых Козочек к себе я прикормлю,
И паном заживу у нас во всем полесье.
Ведь пастуху стада, чтог барину поместье:*

Он с них оброк волной берет;
 И масла и сыры скопляет.
 Подчас он тож и шкурки с них дерет:
 Лишь только корм он сам им промышляет,
 А корму на зиму у пастуха запас.»
 Вот от своих овец к гостям он корм таскает;
 Голубит их, ласкает;
 К ним за день ходит по сту раз;
 Их всячески старается привадить.
 Убавил корму у своих,
 Теперь, покамест, не до них,
 И со своими ж легче сладить:
 Сенца им бросить по клочку,
 А станут приступать, так дать им по толчку,
 Чтоб менее в глаза совались.
 Да только вот беда: когда пришла весна,
 То Козы Дикие все в горы разбежались,
 Не по утесам жизнь казалась им грустна;
 Свое же стадо захирело
 И всё почти переколело:
 И мой пастух пошел с сумой,
 Хотя зимой
 На барыши в уме рассчитывал прекрасно.

Пастух! тебе теперь я молвлю речь:
 Чем в Диких Коз терять свой корм напрасно,
 Не лучше ли бы Коз домашних поберечь?

Вот чему учат у нас детей в то самое время, как на Дальнем Востоке мы ведем столь трудную и разорительную войну за обладание Маньчжурией. Вот как воспитывают в наших детях уважение к истонной внешней политике России, исторически с незапамятных времен тяготевшей к расширению на восток, на запад, на юг и на север, а также на северо-восток, на юго-запад и прочие стороны света.

Я не знаю, будет ли услышан мой слабый голос. Но я вижу, что родина гибнет, и мой долг запрещает мне молчать. И я взываю, а дальше — будь что будет, и пусть меня судит потомство.

Владимир Ж.

Наша жизнь. 16.12.1904



Наброски без заглавия. III

«Новое время», полемизируя с «Новостями» по вопросу о прелестях гомельского процесса, уверяет свою публику, что в гомельском деле страшно заинтересованы евреи. *Inde ira*¹ против тамошнего господина председателя, который, мол, огорчает евреев. А «Новое время» полагает, что ежели господин гомельский председатель огорчает евреев, то так им, хриstopродавцам, и следует. По этому последнему пункту — следует или не следует — спорить с «Новым временем» я не буду. Предоставляю это развлечение «Новостям» и «Восходу», которым оно, очевидно, все еще не надоело. Я же в нем вижу напрасную трату времени, потому что не от «Нового времени» и вообще не от посторонних сил, враждебных или даже дружественных, будет зависеть судьба еврейского народа, а исключительно от его собственной самодеятельности. Захочет — будет свободным, самобытным и уважаемым, не захочет — не будет. Каждый есть сам кузнец своего счастья, и «Новое время» тут совершенно ни при чем. Если же и я в этом случае буду возражать «Новому времени», то совсем по другому пункту. Я не могу не согласиться, будто гомельское дело есть еврейское дело, то есть задевающее ближе всего евреев. Как еврею мне легче судить об этом. Читать о гомельском процессе мне, конечно, тяжело, но я решительно не могу сделать из него ни одного вывода относительно положения евреев в России, который не был бы сделан уже давным-давно. Что для меня выясняется из гомельского процесса? Еврейское бесправие? Племенная рознь? Невежество, подстрекательство и попустительство? Несправедливость? Подумаешь, экие новости! *Alles schon da gewesen*². Нас, евреев, гомельский процесс ничему не может научить, мы уже, слава Богу, ученые. Судятся евреи, болит душа при чтении отчетов у евреев, но далеко не евреев касается это дело ближе всего, далеко не евреям как таковым должно и может оно дать пищу для выводов потрясающей важности. Дело это — русское, всероссийское, и ближе всего задевает оно русский народ, русское общество, Россию.

¹ Отсюда гнев (*лат.*).

² Все это уже было (*нем.*).

Объяснить это — задача, по нынешним ех-весенним временам, довольно щекотливая. Надо как-нибудь обиняком, издалека — например, из-за границы.

Лет пять тому я жил за границей и часто встречался с людьми тамошнего происхождения. Все они были очень воспитаны и вежливы, но Россию ругали в моем присутствии неустанно. Я не русский, но ругань эта была мне очень неприятна. Я был тогда юн и ссорился почти до слез, отрицая чуть ли не самые неоспоримые недостатки российского житья-бытья...

Не то чтобы эти недостатки были мне хоть с какой-нибудь стороны дороги. Но эти злые европейцы умудрялись ставить вопрос на особенно обидную почву. Они говорили: да, ненавидим мы не самого русского человека, а ненавидим вредную сыпь, налипшую на его тело; но с другой стороны, только на нечистоплотном субъекте может долго держаться такая сыпь. Мы бы ее не стерпели. Мы давно смыли бы ее, стерли без следа. Если вы этого еще не сделали — значит, вы неряшливы. И за это мы не можем не упрекать вас... И даже говоря о самих беспорядках, они определяли их вовсе не какими-нибудь громко звучащими словами «ужасы», «муки» или в этом роде — они просто делали гримасу и говорили:

— Неприличие. Десять лет можно страдать и жаловаться, пятнадцать лет, двадцать, но мириться со своими страданиями без конца — это à la longue¹ неприлично, и больше ничего!

Тут я, конечно, обижался и старался дать отпор. Надо было показать, что и россияне тоже не лыком шиты, и сыпь совсем не так густа, а есть, мол, и чистые местечки. И я начинал изошрять свой ум и напрягать все свои познания, чтобы найти такое чистое местечко, хотя бы одно. Да одно только и находилось, и это был русский суд. Русский суд вывозил. Когда становилось невмоготу, когда первенствовавший в нашей компании пожилой профессор с европейским именем в ответ на мои робкие дерзости о его малом знакомстве с Россией кричал на все кафе: «Да, я ничего не знаю о России, кроме того, что Россия есть полное отрицание прогресса и культуры!» — тогда русский суд вывозил.

Было удивительно, как мало знали эти господа о русском суде. Большинство их рисовало себе это учреждение в таком виде: судья спрашивает подсудимого: «Мерзавец! Как ты смел

¹ В конце концов (*фр.*).

украсть samovar?» Подсудимый стоял на коленях и божился: «Я не крал, mon petit barine¹» — и тогда судья кричал ужасным голосом: «Cosaque! Ударь его avec le knoute²». Вот и все судопроизводство. Поэтому мои рассказы о настоящем русском суде производили на них ошеломляющее впечатление и действительно хоть отчасти затыкали хулящие рты. Ибо я победоносно кричал им — тоже на все кафе:

— В России этого нет! В России население крепко верит в праведность гласного суда. И оно право, потому что русский суд праведен. Возможны ошибки, но нет нарочитого насилия судьи над правдой, нет подкупа, нет угодливости. Чем угодно кичитесь, а перед русским судом извольте снять котелки и цилиндры, господа европейцы, потому что не скоро еще дорастете до такого суда...

И я со всяческим молодым задором указывал им на все те убогие данные, какие мог вспомнить: на прошумевшее тогда дело адвоката Нотеса в Одессе, где мировой судья, не поддавшись самому отчаянному давлению свыше, отверг возмутительное полицейское обвинение; на дело Скитских, приговор по которому бы отменен сенатом, кажется, за то, что председатель суда в своем резюме сослался, как на один из доводов, на рукоплескания публики; вообще на кассационные подвиги сената, особенно по столкновениям с администрацией, подвиги, на которых в то мрачное время только и отдыхала изредка душа; на несменяемость мировых судей и судебных следователей (правда, с умолчанием о том, в какие осколки превратилась эта несменяемость); словом, на все то, что могло подтвердить чистоту, независимость и щепетильную корректность русского суда, и если я во всем этом даже немного пересолил, то Бог простит...

С тех пор утекло много воды; я вернулся в Россию и успел ко многому хорошенько присмотреться. Подошла нехорошая пора, полная стонов и позора; нет ни одного честного человека на Руси, от красного радикала до цензора, который не сказал бы в душе: да сотрется память об этой поре из русской летописи! И тогда стали мелькать все чаще новые, странные факты из жизни русского суда, и мы широко раскрывали

¹ Мой милый барин (фр.).

² Казак, кнутом (фр.). Жаботинский вставляет русские слова, ставшие общеизвестными в Европе.

глаза и тревожно спрашивали: неужели? Но факты умножались, умножались до самого верха судебной лестницы, и наш тревожный шепот понемногу перешел в ноющий стон, ибо честные люди и прежде болели душою за русский суд, видя, как до него *извне* добираются злые руки для порчи, но теперь им стало минутами чудиться что-то такое странное, новое — уже *изнутри*... Все это слышалось неясно, сквозь плотные стенки «закрытых дверей», но отголосок доносился, и было в нем что-то такое, от чего падали руки даже у самого бодрого человека.

И теперь эти двери открыты. О чем мы прежде догадывались — то мы теперь видим воочию. На гомельском процессе присутствует публика, и корреспонденты ежедневно шлют о нем отчеты в печать, и кому интересно, может по ним следить за этим делом и за его беспримерными, неслыханными... странностями. Мне, конечно, интересно, и я слежу. И по мере того, как я читаю эти отчеты, мне становится все яснее и яснее, что теперь я не стал бы и не мог бы говорить с прежним задором прежние речи в кафе о независимости суда, о щепетильной корректности и о незыблемой вере населения. И не потому бы не стал говорить, что лета уже не те и задор не тот. Нет, не потому...

Евреям нечему учиться из гомельского процесса. Он не развеет их иллюзий, потому что у них давно уже нет никаких иллюзий. Но русское общество теряет в этом процессе одну из своих последних и лучших иллюзий. Как за соломинку, держалось оно за веру в то, будто и в бесправной общей среде старая богиня Фемида все-таки может сохранить свою гордую внутреннюю свободу. Гомельский суд есть окончательное крушение этой последней веры. «Новое время» ошибается: гомельское дело не есть дело о гомельских евреях. Это есть дело о русском суде, каким он вышел из горнила сорокалетней реакции. В этом процессе нет урока для той или иной национальной группы — в нем яркий, знаменательный урок для русского общества, для всего русского народа. *Tua res agitur*¹.

Владимир Ж.

Наша жизнь. 23.12.1904

¹ Речь о тебе (*лат.*).



Наброски без заглавия. IV

Еще одна мертвая буква. Разослан циркуляр о том, чтобы полицейские чины не смели брать «подарки». Даже странно как-то подумать: полицейские — да чтобы вдруг перестали принимать *des petits cadeaux*¹. Ей-богу, маниловщина какая-то. И не лень было людям сидеть, сочинять, переписывать, печатать и рассылать такой циркуляр. Это ужасно похоже на Щедрина: кажется, у него некий правитель канцелярии, съездив в Европу и усмотрев, что тамошние порядки достойны одобрения, телеграфировал домой:

«Ввести просвещение».

Я — скромный провинциал и не смею говорить о Петербурге, но за свою провинцию ручаюсь: ничего не выйдет. Даже краем уха не поведут. У нас в Одессе так уж заведено: каждое такое-то число домовладельцы, хозяева больших магазинов и вообще кто покрупнее преподносят околоточному, а к Пасхе и Рождеству — особо. Того же самого числа кто помельче — лавочники, чистильщики сапог и вечерние уличные барышни — преподносят городовому, а к Рождеству и Пасхе — особо. О том, когда, кто и как преподносит приставам — сведений пока не имею, ибо с такими персонами коммерция, конечно, ведется на более конфиденциальных началах, но, впрочем, скоро буду в Одессе и попробую там разузнать подробно и про сие для всеобщего сведения. За одно и теперь могу поручиться головой: кто-нибудь, как-нибудь и в какие-нибудь сроки да уж преподносит и господам приставам, а к Рождеству и Пасхе — особо. Оттого околоточные, получая 40 рублей в месяц, а может быть, и не совсем-то их получая, проживают чуть ли не по четыре тысячи в год. Оттого у приставов есть свои выезды и даже собственные дома.

Недавно судили простого околоточного, который потом уехал отдыхать от огорчения... в собственную деревеньку, отнюдь не наследственную. И теперь циркуляром все это благополучие отменяется. Но позвольте узнать, как же тогда сможет околоточный платить за квартиру, нанятую при совсем другой погоде, с контрактом на три года? Чем же будут приставы кормить своих рысаков? Нет никакого сомнения, что,

¹ Мелкие подношения (*фр.*).

прочитав циркуляр, всякий полицейский чин в глубине души своей помыслит:

— Как же... Держи карман!

Не через полицию может и должна идти такая «реформа», а через публику. Полиция сама, по своей воле, брать не перестанет, и относительно этого, право, не стоит даже беспокоиться. Совершенно пропащее дело, милостивые государи. Данте, очевидно, имел это самое в виду, когда написал знаменитый стих: «Оставьте всякую надежду»... Надо, чтобы население перестало *gavать*, а разве на это хватит у кого-нибудь смелости при нынешних порядках? Домовладелец, лавочник, содержатель кофейни — все в кулаке у околоточного: он может заявить, что у лавочника в огурцах найден труп околешего гипшопотама, а в кофейне собираются такие-сякие, и ему поверят, и владелец разорен. Ведь суда в таких случаях не полагается. Идти объясняться? Приводить свидетелей? Я имел это удовольствие — объясняться с одесским градоначальником. Г-н Нейдгарт мне ответил, что никаких свидетелей выслушивать не намерен. Смею думать, что и лавочнику в этом случае не будет оказано никакого передо мною предпочтения. И еще смею думать, что Одесса не исключение. А потому: *petits cadeaux* не прекратятся, пока не будет свободы печати, чтобы каждое вымогательство можно было вытаскивать на свет Божий; пока не будет отменена усиленная охрана и с нею карательные полномочия администрации и пока не будет дана возможность жаловаться на каждого грабителя, кто бы он ни был, непосредственно в суд. Испокон веков, с тех пор как стоит наша земля на трех китах, полицейские приемлют и будут принимать, доколе киты не рассыплются...

Откровенно сказать, я даже не понимаю внутренней субъективной причины этого циркуляра. Именно с точки зрения китов. Я не понимаю, как при нынешнем брожении умов, когда подстрекаемые внутренними врагами порядка и собственности представители беспочвенной интеллигенции... и так далее, — как можно в такое время упускать из рук такой козырь, каким является институт *des petits cadeaux*. Помилуйте: беспочвенные требуют для себя участия в управлении страной. Всякий разумный человек до сих пор мог им с полным правом указать, что принцип этот в виде стройной системы последовательно проведен в российском устройстве. Именно: в содержании пристава принимают участие домовладельцы, в околоточном принимают участие лавочники, в горо-

довом принимают участие чистильщики сапог и ночные девицы. А так как пристав, околоточный да городской и суть власть предержавшая, то и выходит, что в управлении Россией принимает участие все население. И притом, заметьте, без всяких исключений: тут и женщины, и дети, каждый по мере сил своих и даже свыше меры. Попробуйте-ка найти где-нибудь еще такую демократическую конституцию, чтобы даже вечерние барышни допускались к «участию»? Так мог ответить до сих пор нашей беспочвенной интеллигенции разумный человек, выставляя сим противовес ее конституционным заблуждениям. А теперь? Что он ответит теперь?!

Только одно и осталось утешение: что ничего не выйдет. Околоточные прочтут циркуляр и даже бровью не поведут. И в другое время бы не повели, а перед Рождеством — особо...

Владимир Ж.

Наша жизнь. 24.12.1904

ПРИМЕЧАНИЯ

НА ВОПРОС ДНЯ

С. 9. *Шекель* — здесь: ежегодный взнос в центральную кассу Сионистской организации, а также удостоверение об уплате этого взноса, дающее право выбирать делегатов на сионистский конгресс. Количество делегатов от определенной страны или региона зависело от числа проданных там шекелей, специальных марок и акций.

Харьковский съезд (нояб. 1903) — конференция российских сионистов, отвергавших план создания еврейского поселения в Уганде (Вост. Африка). На 6-м Сионистском конгрессе (Базель, авг. 1903) большинство российских участников заявили о неприятии «плана Уганды» и покинули зал заседаний.

Герцль — см.: ВЗЖ ПСС. Т. 2. Кн. 2. С. 747 (примеч. к с. 435).

С. 10. *Большой Actions-Comité* — см.: *Grosses Actions-Comité* (ВЗЖ ПСС. Т. 3. С. 376).

...вот где обнаружится твое достоинство — Данте. «Божественная комедия» (Ад, песнь 2, стих 9).

С. 15. *...гидальго в испанском предании...* — Жаботинский пересказывает одно из многочисленных преданий об испанском национальном герое Сиде Воителе (наст. имя Родриго Диас де Вивар, 1040 — 1099).

С. 16. *Чартер* (англ. charter — хартия, акт) — документ, который должен был зафиксировать согласие Турции на массовое переселение евреев в Эрец-Исраэль (Страну Израиля) и предоставление им некоторых форм автономии. Переговоры о подписании чартера (1896 — 1900) Т. Герцль вел с султаном Абдул-Хамидом II.

Инфильтрация — здесь: репатриация евреев в Эрец-Исраэль вопреки противодействию турецких властей.

«Геула» — учрежденное российскими сионистами товарищество по выкупу земельных участков для строительства еврейского государства в Эрец-Исраэль.

С. 17. *«Еврейская жизнь»* (СПб., 1904 — 1907) — ежемесячный еврейский журнал на русском языке.

НОВАЯ ПЬЕСА А. М. ФЕДОРОВА

С. 23. *Федоров* — см.: ВЗЖ ПСС. Т. 2. Кн. 1. С. 782 (примеч. к с. 461).

С. 24. *«Дядя Ваня»* — пьеса А. П. Чехова (1896).

Соната pathétique — Piano Sonata No. 8 in C minor, Op. 13 («Патетическая соната») Бетховена (1799).

ГОСПОЖА БЕЛЛА ГОРСКАЯ

С. 26. *Белла Горская* (Věla Horská, или Gorská) — актриса; родилась в чешской семье в России; выступала в провинции и Петербурге, в частности на сцене Литейного театра. После большевистского переворота уехала в Чехословакию; снималась в кино (1920 — 1930-е гг.).

ВСКОЛЬЗЬ

С. 28. *Немирович-Данченко* — см.: ВЗЖ ПСС. Т. 2. Кн. 1. С. 796 (примеч. к с. 678).

Яворская — см.: ВЗЖ ПСС. Т. 2. Кн. 2. С. 734 (примеч. к с. 125).

С. 29. *Delenda Carthago* (лат.: разрушение Карфагена) — от крылатого выражения *Carthago delenda est* (Карфаген должен быть разрушен).

СИОНИЗМ И ПАЛЕСТИНА [О территориализме]

С. 30. *«Вопросы общественной жизни»* — науч.-попул., лит.-худож. и полит.-экон. сб-ки. Ред.-изд. Н. С. Рашковский. Одесса, 1901–1904.

...*М. Г-штейн* — Моисей Калманович Гепштейн (1882 – 1961), одесский присяжный поверенный, журналист; брат архитектора Шломо Гепштейна, близкого друга Жаботинского.

Территориалист — сторонник еврейской автономии не в Эрец-Исраэль, а на любой другой территории с еврейским большинством.

Nachtsyl (нем.: пристанище в ночи, ночлег) — имеется в виду «план Уганды».

С. 31. *Чартер* — см.: примеч. к с.16.

С. 38. *Марголин* Моисей Маркович (1862 – 1939) — редактор, историк, литератор; библиотекарь Ученого комитета Министерства финансов, сотрудник и главный секретарь «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона; редактор журнала «Еврейская жизнь» (1904 – 1907).

Гилель и Шамай — законоучители (кон. I в. до н. э. — нач. I в. н. э.).

С. 39. *Мозаизм* — религия, основанная на законах Моисея (от *англ.* Moses); *профетизм* — предвидение будущего, пророчество.

С. 41. *Бокль* Генри Томас (1821 – 1862) — англ. историк, представитель географической школы в социологии. Речь идет о его грандиозном замысле описать естественно-научную историю человечества (вышли в свет только 2 тома «Истории цивилизации в Англии», 1857 – 1861).

С. 45. ...*в январской книжке* — имеется в виду статья Жаботинского «На вопрос дня» (Еврейская жизнь. 1904. № 1. С. 203 – 211; также: ВЗЖ ПСС. Т. 4. Кн. 1. С. 9 – 17).

Мизрахисты (от *ивр.* мизрах — восток) — представители восточно-го, не ашкеназского еврейства.

Шекелегатели — см.: примеч. к с. 9.

С. 46. ...*Екатеринослав принадлежал бы не Усышкину, а России...* — Авраам Менахем Мендл Усышкин (1863 – 1941), член Большого Action-Comité и ярый противник «плана Уганды», во время 6-го Сионистского конгресса находился в Палестине и по возвращении в Россию разослал участникам конгресса протестующие письма. В ответном послании Герцль писал, что Палестина, даже выкупленная евреями, остается под юрисдикцией Турции. Далее следовала приводимая Жаботинским фраза о покупке всех екатеринославских земель (Усышкин жил в Екатеринославе).

Макс Норгау (наст. имя и фамилия Симха Меир Зюдфельд; 1849 – 1923) — писатель, философ, публицист, один из лидеров международного сионистского движения.

...*ратуя за ночлежный приют...* — т. е. выступая в поддержку «плана Уганды».

С. 48. ...*в нашей ирредентной земле*... — имеется в виду Земля Израила (от *итал.* *irredenta*; букв.: неискупленная, неосвобожденная).

Ховевей Цион (букв.: любящие Сион; *ивр.*) — палестинофилы, движение, объединившее (1884) различные еврейские кружки и группы, преимущественно в Российской империи. Послужило связующим звеном между идеей возвращения евреев на историческую родину и политическим сионизмом, который был провозглашен Т. Герцлем (1897).

«*Седьмая гержава*» — Жаботинский обыгрывает высказывание М. Е. Салтыкова-Щедрина, назвавшего цензуру седьмой державой (В среде умеренности и аккуратности, 1878).

С. 49. *Chartered Companies* — корпорации инвесторов, возникавшие в Европе с целью налаживания экон. связей с новыми землями и их постепенной колонизации.

СИОНИЗМ И ПАЛЕСТИНА. Статья вторая

С. 50. ...из «*Хроники Восхода*» в первом номере ее по возобновлении... — имеется в виду вышедший после почти полугодового перерыва 17-й номер петербургского журнала «Хроника "Восхода"», в котором критик Z. обвинил «молодого даровитого писателя» Жаботинского в том, что «его концепция "всей сущности нашей истории" изобличает не "беспристрастное изучение", а догматическое стремление втиснуть крайне сложную и многообразную еврейскую историческую жизнь в прокрустово ложе узкой доктрины» (Хроника Восхода. 1904. № 17. 1 окт. Стб. 14).

...г-н М. Г. Моргулис («О сионизме»)... — см.: Южные записки. 1904. № 29. С. 1 — 10.

«Южные записки» — см.: ВЗЖ ПСС. Т. 3. С. 773 (примеч. к с. 259).

Талмуг — свод правовых и религиозно-этических положений иудаизма, включающий дискуссии, которые велись законоучителями Эрец-Исраэль и Вавилонии в I — VII вв. н. э.

С. 51. *Раши* (*раби Шломо Ицхак*; 1040 — 1105) — Шломо бен Ицхак, крупнейший средневековый комментатор Талмуда и Торы.

Рамбам [*раби Моше бен Маймон*, или Маймонид; 1135(38?) — 1204] — крупнейший раввинистический авторитет, кодификатор Галахи, врач и философ.

С. 52. *Ахад-ха-Ам* — см.: ВЗЖ ПСС. Т. 3. С. 777 (примеч. к с. 372).

С. 53. ...*à-ла поляка Моисеева закона*... — еврей, желающий казаться поляком.

...*почва, плодородие которой некогда вошло в пословицу*... — имеется в виду библейское определение Эрец-Исраэль: «земля, текущая молоком и медом».

С. 54. *Вади Эль-Ариш* — местность на сев. полуострова Синай, историческая граница, разделяющая Эрец-Исраэль и Египет.

Пейсы — пряди волос на висках, которые предписывается не стричь ортодоксальному иудею.

Арба канфот (*ивр.*: четыре крыла) — малый талес, нательная накидка ортодоксального иудея с прорезью для головы и четырьмя пучками нитей по углам.

Хасид (*ивр.*: благочестивый) — праведник, ревностно исполняющий религиозные и этические предписания иудаизма.

...набожному еврею полагается спать лицом к востоку... — Жаботинский неточно цитирует рассказ Н. С. Лескова, герой которого, праведник Схария, «даже спал по "Закону"; для этого он всегда ложился на левый бок, на котором лежал Исаак, когда Авраам хотел заколоть его в жертву Богу, и так Схария почивал всегда, как готовая жертва. А чтобы еще более уподобляться Исааку, он всегда спал нагой, без рубашки, и на кровати, обращенной непременно головами к югу, а ногами к северу» (Лесков Н. С. Ракушанский меламед // Лесков Н. С. Полн. собр. соч.: В 36 т. СПб.: Изд-во А. Ф. Маркса, 1903. Т. 14. С. 140).

С. 55. *Базельская программа* — программа сионистской организации, официально провозгласившая цель сионистского движения: построение еврейского государства в Эрец-Исраэль (принята на 1-м Сионистском конгрессе; Базель, 1897).

С. 58. *Ционей Цион* (ивр.: Сионисты Сиона) — группа российских делегатов 6-го Сионистского конгресса, категорически отвергших «план Уганды» (см. об этом примеч. к с. 9).

С. 59. *Проф. Оппенгеймер* — Франц Оппенгеймер (1864 — 1943), нем. социолог, экономист, участник 6-го и 9-го Сионистских конгрессов; выдвинул проект создания в Палестине хозяйств кооперативного типа; проект не был осуществлен, и Оппенгеймер отошел от сионистского движения (1913). После прихода к власти Гитлера эмигрировал в США (1938).

С. 61. *...на предстоящем гаагском конгрессе...* — имеется в виду Гаагская мирная конференция великих держав (1904), которая была созвана по инициативе президента США Т. Рузвельта (1901 — 1909); работа конференции прервалась из-за русско-японской войны и возобновилась три года спустя (1907).

В статье «*Наброски*»... — см.: *Наброски // Еврейская жизнь*. 1904. № 9. С. 70 — 79 (также: ВЗЖ ПСС. Т. 4. Кн. 1. С. 351 — 361).

С. 64. «*Шма Исраэль*» (ивр.: Слушай, Израиль) — здесь: символ веры.

С. 67. Давидов щит (от ивр. маген-Давид) — еврейская эмблема, шестиконечная звезда (гексаграмма). Эрец — страна (ивр.).

ИКА (от англ. ICA, Jewish Colonization Association; рус.: ЕКО, Еврейское колонизационное общество) — благотворительная организация, помогавшая еврейским поселенцам в Аргентине, основана (1891) бароном Морисом де Гиршем (см. примеч. к с. 308). После смерти Гирша ИКА поддерживала колонистов Эрец-Исраэль, а также развитие земледелия и ремесел среди евреев России. В 1899 г. барон Эдмон де Ротшильд (1845 — 1934) поручил ИКА управление еврейскими с.-х. поселениями в Палестине, позднее (1923) перешедшими в ведение Палестинского еврейского колонизационного общества (ПЕКО, или англ. ПИСА).

С. 72. *Абдул-Хамид* — см. примеч. к с. 16.

С. 74. *Бертольд Фейвел* (1875 — 1937) — немецко-еврейский поэт.

С. 75. *БИЛУ* — организация еврейской молодежи в России (начало 1880-х гг.), названная по первым буквам слов библейского стиха «Дом Иакова! Вставайте и пойдем!» (Ис. 2: 5), зовущего еврейский народ к переселению в Страну Израиля. *Билуцы* вошли в историю сионизма как пионеры заселения и освоения Эрец-Исраэль

С. 76. *...в статье г-на Усышкина...* — см.: *Усышкин М.* Наша программа // *Еврейская жизнь*. 1904. № 12. С. 78 — 111.

С. 77. *...одно из главных преимуществ японцев...* — Жаботинский имеет в виду, что Япония была подготовлена к войне лучше, чем Россия. *...фребелевские...* — имеется в виду Фрёбель Фридрих Вильгельм Август (1782 — 1852), нем. педагог, теоретик дошкольного воспитания.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 78. *Орленев* — см.: ВЗЖ ПСС. Т. 2. Кн. 2. С. 741 (примеч. к с. 314). «Привидения» — там же. В свое время Жаботинский как бы подсказал Орленеву роль Освальда (см.: ВЗЖ ПСС. Т. 2. Кн. 2. С. 315).

Театрик Неметти — петербургский театр актрисы В. А. Линской-Неметти.

...если грама ставится в десятый раз в Питере, то уж это и для всей России только десятый раз — российская цензура запретила постановку «Привидений» Ибсена, и П. Н. Орленев впервые (1903) показал спектакль в Вологде под видом разрешенной пьесы «Призраки» К. А. Тарновского. Но официальной премьерой считался спектакль в театре Неметти (7.01.1904).

С. 79. *Дзакони* — см.: ВЗЖ ПСС. Т. 2. Кн. 2. С. 744 (примеч. к с. 358).

С. 81. *Назимова Алла Александровна* (наст. имя и фамилия Мириам Яковлевна Левентон; 1879 — 1945) — актриса, гражданская жена Орленева; впоследствии звезда американского кино и театра, продюсер.

Горева Елизавета Николаевна (1859 — 1917) — актриса и антрепренер; открыла свой театр в Москве (1889 — 1901).

Яворская — см.: ВЗЖ ПСС. Т. 2. Кн. 2. С. 734 (примеч. к с. 125).

Барятинский — см.: ВЗЖ ПСС. Т. 2. Кн. 2. С. 734 (примеч. к с. 125). Премьера спектакля «Пляска жизни» состоялась в Новом театре (С.-Петербург, 20.10.1903; режиссер Н. А. Попов).

С. 82. *Кэж-уок* (англ.: cakewalk) — танец, популярный в нач. 1900-х гг.; возник на основе танца американских негров.

ЧГУН

С. 83. *...на востоке огни люди убивают других людей* — речь идет о русско-японской войне, начавшейся 27 янв. 1904 г.

С. 85. *...один взрыв, и нет пяти университетов* — собственно, так и случилось: броненосец «Микаса» затонул после пожара, возникшего в результате взрыва пороховых погребов, правда, это произошло уже после войны (11 сент. 1905).

ВСКОЛЬЗЬ

С. 89. *Аргус* — в греч. мифологии многоглазый великан; здесь: несыпный страж.

НАШИ КРИТИКИ

С. 91. «С. С.» — сионисты-социалисты, или поалей-ционисты (от поалей Цион; букв.: трудящиеся Сиона; ивр.) — общественно-политическое движение, сочетающее идеи сионизма с социализмом.

С. 92. *Маюфис* (от ивр. ма яфит — как прекрасна) — еврейский народный танец, восходящий к библейскому тексту: «Как прекрасна ты, как привлекательна, возлюбленная!..» (Песнь Песней 7: 7). Жаботинский обвиняет своих оппонентов в том, что они пляшут маюфис (здесь: угодничают, лебезят) перед неевреями.

Изгоев — см.: ВЗЖ ПСС. Т. 2. Кн. 2. С. 742 (примеч. к с. 330). *Каутский* — см.: ВЗЖ ПСС. Т. 2. Кн. 1. С. 787 (примеч. к с. 537). *Бикерман* — см.: ВЗЖ ПСС. Т. 2. Кн. 2. С. 744 (примеч. к с. 365). *Южаков* Сергей Николаевич (1849 — 1910) — социолог и публицист либерально-народнического направления. *Поляков* М. — см.: ВЗЖ ПСС. Т. 3. С. 252 — 254. *Куперник* Лев Абрамович (1845 — 1905) — киевский адвокат и публицист, отец Татьяны Щепкиной-Куперник, получившей известность как переводчик, поэт и драматург.

С. 103. *Ахаг-ха-Ам* — см.: ВЗЖ ПСС. Т. 3. С. 777 (примеч. к с. 372).

Кошер — дозволенность или пригодность с точки зрения еврейского закона (обычно применительно к пище).

Лацарус Мориц (Моше, 1824 — 1903) — нем. философ и психолог еврейского происхождения; один из основателей науки о национальной психологии.

Дармстетер Джемс (1849 — 1894) — фр. востоковед и писатель еврейского происхождения.

Ренан Жозеф Эрнест (1823 — 1892) — фр. писатель, историк, филолог.

Генри Джордж (1839 — 1897) — амер. политэконом, публицист, политик.

Морис Мюре (1870 — 1954) — фр. психолог и публицист, автор книги «*Esprit juif*» (рус. перевод: «Еврейский ум», 1903), в которой перечислены всемирно известные евреи: Бенедикт (Барух) Спиноза (1632 — 1677), Генрих Гейне (1797 — 1856), Георг Брандес (1842 — 1927), Карл Маркс (1818 — 1883), Бенджамин Дизраэли (1804 — 1881).

С. 104. *Седьмичный* (субботний) *гог* — по еврейской традиции год покоя, когда дают отдых земле и прощают долг человеку (Исх. 23: 10 — 11; Лев. 25: 1 — 7, 18 — 22; Втор. 15: 1 — 11). В *юбилейный год*, который наступает по прошествии семи субботних лет, заповедь накладывает запрет на сев и жатву (Лев. 25: 11 — 12), обязует возвратить исконным владельцам утраченные или проданные ими земельные наделы (25: 13) и освободить евреев, находящихся в рабстве (25: 39 — 41).

Субботний отдых — суббота (*ивр.*: шабат) — седьмой день недели, в который еврейская религия предписывает не работать.

Амос — библейский пророк (VIII в. до н. э.); книга Амоса — одна из книг Малых пророков; связывает предрекаемые еврейскому народу бедствия с нарушением социально-моральных заветов.

Исайя — библейский пророк, по имени которого названа первая книга Поздних пророков.

С. 107. *Бертольд Шварц* (в миру: Константин Анклитцен) — нем. францисканский монах (XIV в.), считается изобретателем пороха.

С. 111. *Дрюмон* Эдуард Адольф (1844 — 1917) — фр. публицист и полит. деятель; автор книги «Еврейская Франция» (1886; рус. перевод 1895).

С. 112. *Роль антисемитизма... — роль блохи...* — здесь Жаботинский возвращается к мысли, высказанной в эссе «*Kadimáh*» (Южные записки. 1903. № 19. Стб. 799 — 802; см. также: ВЗЖ ПСС. Т. 3. С. 280).

С. 115. *Иврит бе-иврит* (*ивр.*: иврит на иврите) — метод обучения ивриту без помощи других языков.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 120. *...в надежде славы и добра / Гляжу вперед я без боязни* — из стихотворения А. С. Пушкина «Стансы» (1826).

Мещерский Владимир Петрович (1839 – 1914) — внук Н. М. Карамзина; писатель, публицист, издатель-редактор (с 1872) праворадикальной газеты «Гражданин».

...до войны... — имеется в виду русско-японская война 1904 – 1905.

С. 121. *...decret de Moscou* (фр.: московский декрет) — имеется в виду изданный Наполеоном в оккупированной российской столице декрет (12.10.1812), в котором речь шла о реорганизации, а не учреждения театра Комеди Франсэз (основан в 1680).

...левой рукой держали мечи, правой строили храм... — имеется в виду строительство Второго Иерусалимского храма после возвращения из вавилонского плена, ср.: «Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одною рукою производили работу, а другую держали копьё» (Неем. 4: 17).

С. 123. *Ланжерон* — приморская часть Одессы, названа в честь одесского градоначальника (с 1815) А. Ф. Ланжерона (Louis Alexandre Andrault comte de Langéron, 1763 – 1831).

ВСКОЛЬЗЬ

С. 126. *...общества защиты женщин и приюты св. Магдалины...* — Российское общество защиты женщин было основано в нач. XX в.; приюты св. Магдалины, предназначенные для «падших женщин» и названные в честь раскаявшейся библейской блудницы Марии Магдалины, возникли в Ирландии (1760) и затем распространились в Европе и Сев. Америке.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 129. *Бюлов* Бернхард (1849 – 1929) — министр-президент Пруссии, рейхсканцлер Германии (1900 – 1909).

С. 130. *Гульельмо Ферреро* (1871 – 1942) — итал. социолог, историк, публицист, гос. деятель; автор книги «Молодая Европа» (1897).

С. 134. *Я прошу читателя припомнить...* — *Жаботинский* имеет в виду подборку материалов под общим заглавием «Для будущих студентов» (Одесские новости. 1903. 11 нояб.; см. также: ВЗЖ ПСС. Т. 3. С. 572 – 580).

НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. I

С. 135. *Нижеподписавшийся носил тогда еще форму...* — т. е. был гимназистом.

С. 141. *...прошло то время, когда читатель требовал от печати: бери меня за ручку и веди. Ныне он требует: открой передо мною все пути, все дороги, ослепи меня всеми маревами — уже я сам выберу, что мне по душе. И если читатель этого требует, то, значит, не с бухты-барахты же, не по капризу, а потому, что пришла такая пора* — ср.: *Без подписи*. Фрейлейн // Освобождение. 1903. № 31. С. 116 (также: ВЗЖ ПСС. Т. 3. С. 726 – 728).

С. 142. *Альфонс Догэ* (1840 – 1897) — фр. романист и драматург.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 143. *Р. М. Изетеа* (от лат. is et ea — он и она) — под этим псевд. в «Одесских новостях» печатались Раиса Григорьевна (1883 – 1975) и Михаил Евгеньевич (1878 – ?) Лемберки (Лемберги).

С. 144. *Фанкони* — см.: ВЗЖ ПСС. Т. 3. С. 771 (примеч. к с. 222).

НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. II

С. 147. *Александровск* — прежнее назв. г. Запорожье.

Екатеринослав — прежнее назв. г. Днепропетровска.

С. 148. *...психологию унтер-офицерской вдовы...* — аллюзия на ставший нарицат. образ вдовы, которая «сама себя высекала» (в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор», 1836).

НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. III

С. 156. *Беккариа* Чезаре (1738 — 1794) — итал. мыслитель, публицист, правовед и обществ. деятель эпохи Просвещения. Его трактат «О преступлениях и наказаниях» («*Dei delitti e delle pene*», 1764) переведен на многие языки, в том числе и на русский (1878).

С. 160. *Аболиционисты* (от лат. *abolitio* — отмена) — сторонники отмены какого-либо закона.

НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. IV

С. 160. *Меньшиков* Михаил Осипович (1859 — 1918) — консервативный журналист газеты А. С. Суворина «Новое время».

С. 161. *Пегель* — надзиратель в гимназии или высшем учебном заведении.

С. 162. «*Русская мысль*» — ежемесячный науч., лит. и полит. журнал либерального направления (М., 1880 — 1918).

НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. VI

С. 164. *...говорить о реформе правописания* — начавшаяся в 1904 г. реформа рус. правописания была впервые изложена в «Предварительном сообщении» Орфографической подкомиссии при Императорской Академии наук (работу возглавлял А. А. Шахматов).

...без еров и без фиты... и без ятей... — «ер» (Ѣ, ѣ) — твердый знак, до реформы правописания 1917 — 1918 писался не только в качестве разделительного знака, но и в конце слова после согласных; «фита» (Ѡ, ѡ) — предпоследняя буква дореволюционного рус. алфавита, обозначала звук «ф»; буква «ять» (Ѣ, ѣ) обозначала особый звук, впоследствии совпавший с «е».

С. 165. *Ижица* (Ү, ү) — последняя буква дореформенного рус. алфавита, происходящая от греч. буквы ипсилон, обозначала звук «и» в многочисленных словах греч. происхождения (*миро*, *синодь*).

С. 168. *...не попадут в Москву чеховские сестры* — намек на лейтмотив пьесы А. П. Чехова «Три сестры» (1900), героини которой мечтают переехать в Москву.

Погколесин — персонаж комедии Н. В. Гоголя «Женитьба» (опубл. 1842).

ВСКОЛЬЗЬ

С. 172. *Ванька Рутютю* — длинноногая кукла в колпаке (одесский аналог Панча, Арлекина или Петрушки).

ВСКОЛЬЗЬ

С. 173. *Ян Амос Коменский* (1592 — 1670) — чеш. педагог, теоретик системы обучения; писатель, обществ. деятель, епископ. *Коменциус* — лат. имя Коменского.

С. 174. «*Сей возраст жалости не знает*» — из басни И. А. Крылова «Два голубя» (1809; перевод басни Ж. Лафонтена «*Les deux pigeons*»).

Аорист — лингвистический термин, обозначающий время или вид глагола, которым передается законченное действие в прошлом.

Черный Э. В. — автор и составитель гимназических учебников, сборников упражнений, словарей и хрестоматий по греч. грамматике.

НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. VII

С. 175. *Камимура* Хиконодзэ (1849—1916) — яп. адмирал, командующий 2-й яп. эскадрой во время русско-японской войны.

С. 177. «*Южное обозрение*» (Одесса, 1896—1906) — полит., науч., лит., торгово-промышленная и финансовая газета.

НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. VIII

С. 180. *...così fan tutti* (итал.: так поступают все) — обыгрывается назв. оперы Моцарта «Так поступают все [женщины]».

С. 181. «*Ять*» — см. примеч. к с. 164.

НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. IX

С. 182. *...говорится о мисс Айседоре Дункан...* — речь идет о статье М. Волошина «Айседора Дункан» (Русь. 1904. 7 мая).

...сделать ее символом чистоты... — у М. Волошина: «...сделать ее символом девственности и чистоты...».

...изложить своими словами — далее Жаботинский передает размышления Л. Толстого о разврате из повести «Крейцера соната» (1889).

С. 186. *Demi-vierge* (фр.: полудева) — девушка, практикующая интимную связь с мужчиной, сохраняя девственность. Жаботинский рисует образ «полудевы» в романе «Пятеро» (см.: ВЗЖ ПСС. Т. 1. С. 307 и примеч. на с. 611).

Lex Heinze (закон Гейнце; 1900) — бурно дебатировавшийся в герм. рейхстаге закон об ограничении сексуальной тематики в произведениях литературы и искусства, который под лозунгом борьбы с безнравственностью усиливал административный призывол.

НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. X

С. 188. *Г-н С. И. не согласен с моим мнением об адвокатской «рекламе»...* — речь идет о статье редактора газеты «Русь» С. Изнара «Реклама и адвокатская этика» (Русь. 1904. 7 мая).

С. 192. *Далматский порошок* (*Pulvis dalmaticus*) — порошок из высушенных цветков далматской ромашки (пиретрума). Средство от блох, клопов и тараканов.

НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. XI

С. 192. *...г-н С. И., вторично возражая мне вчера...* — имеется в виду новая заметка С. Изнара «Реклама» (Русь. 1904. 12 мая).

Личарда — в 1-й пол. XIX в. ироническое прозвище мужской прислуги (камердинеров, лакеев и пр.).

С. 194. *Св. Антоний*, или Антоний Великий, преп. (ок. 251—356) — раннехристиан. подвижник и пустынный, основатель отшельнического монашества.

С. 195. *Зигфрид* — псевд. театроведа, искусствоведа, муз. и лит. критика и журналиста Эдуарда Александровича Старка (1874—1942).

ВСКОЛЬЗЬ

С. 197. *Тихонов Владимир Алексеевич* (1857–1914) — драматург, автор одноактного этюда «В пустыне» (1904).

С. 199. *Мечников Илья Ильич* (1845–1916) — рус. физиолог; лауреат Нобелевской премии (совместно с П. Эрлихом; 1908).

С. 201. *Покров бурелома... никем не сосчитан...* — из стихотворения Х. Н. Бялика «Сиротливая песня» (1899). Перевод с ивр. В. Жаботинского.

В людном мире, как в глухой пустыне... — из стихотворения С. Я. Надсона «Я пришел к тебе с открытою душою...» (1883).

НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. XIII

С. 210. *Анкона* — итал. порт на Адриатическом побережье; *Фиуме* — город, принадлежавший Австро-Венг. империи (ныне хорват. город Риека), расположенный на сев.-вост. побережье Адриатического моря.

Гордиев узел — согласно легенде узел, завязанный фригийским царем Гордием и разрубленный Александром Македонским; разрубить гордиев узел — разрешить сложную задачу.

С. 211. *Зара* — итал. назв. города в центр. части Адриатического побережья Хорватии (*хорват.*: Задар).

Синтоизм (*яп.*: путь богов) — древняя религия японцев, основанная на анимистических верованиях.

С. 212. *Харакири* — ритуальное самоубийство (вспарывание живота), зародившееся среди самураев в средневековой Японии.

Колупаев — сатирический образ мироеда у М. Е. Салтыкова-Щедрина.

НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. XIV

С. 213. *...на съезде представителей исправительных учреждений* — такие съезды проходили в России регулярно (с 1881).

С. 217. *Итальянская школа позитивных криминалистов* — направление в теории и практике уголовного права, провозгласившее изучение преступника с использованием естественно-науч. метода, в основу которого положены труды Ч. Ломброзо и его последователей (Э. Ферри, Р. Гарофало и др.).

ВСКОЛЬЗЬ

С. 218. *...некто г-н К. вызвал к себе врача З. и приказал его выпоть...* — тему бессилия перед каждодневным произволом с упоминанием этого же случая Жаботинский развивает и в фельетоне «Наброски без заглавия. XXVI» (Русь. 1904. 16 авг.; см. также: ВЗЖ ПСС. Т. 4. Кн. 1. С. 346).

СИДЯ НА ПОЛУ

С. 220. *Сидя на полу* — по древнему обычаю после смерти еврея справляется «шива»: родственники покойного 7 дней сидят на полу.

Pirké Aboth (*ивр.*: Пиркей авот, Поучения отцов) — последний трактат 4-го разд. Мишны (см. примеч. к с. 50).

С. 221. *...И обоймет всего... и не застонешь...* — Жаботинский приводит здесь один из вариантов перевода поэмы Х. Н. Бялика «Сказание о погроме», над которым он в то время работал. В окончательной редакции: «И сердце будет ныть от стыда и страданий — / Но слез тебе не дам.

И будет зреть в гортани / Звериный рев быка, влекомого к костру, — / Но я твой стон в груди твоей запру...»

Возникают иногга... <...> такого предводителя — фрагмент статьи «Сионизм и Палестина» (см.: ВЗЖ ПСС. Т. 4. Кн. 1. С. 34).

...имя которого напоминало о сердце... — фамилия Герцль происходит от Herz (нем., идиш: сердце).

С. 223. *Ибсен говорит о строителе...* — речь идет о драме Г. Ибсена «Строитель Сольнес» (1892).

С. 224. *...блуждаю там без Ариадны...* — аллюзия на греч. миф о свирепом полубыке-получеловеке Минотавре, обитавшем в лабиринте на острове Крит. Афинянин Тесей убил чудовище и сумел выбраться из лабиринта с помощью нити, полученной им от Ариадны, дочери критского царя.

Ага Нерпи (1870 — 1945) — итал. поэтесса.

ПИСЬМО ОБ АВТОНОМИЗМЕ

С. 225. *Автономизм* — направление в еврейском национальном движении, призывающее евреев, живущих в диаспоре, создавать национально-культурные единства на территории разных государств и среди разных народов; автономисты полемизировали с сионистами, видевшими цель национального движения в возвращении евреев на историческую родину Эрец-Исраэль.

Дмитрий Михайлович Цензор (1877 — 1947) — рус. поэт; в начале творческого пути отдал дань сионистской тематике.

С. 227. *...в «Письмах» нашего известного историка...* — имеются в виду «Письма о старом и новом еврействе» С. Дубнова, который обосновывал концепцию автономизма (печатались в журнале «Восход», 1897 — 1902; отд. изд. 1907).

Масарик Томаш Гарриг (1850 — 1937) — чеш. социолог и философ, обществ. и гос. деятель, один из лидеров движения за независимость Чехословакии, первый президент республики (1918 — 1935).

...ни Ганс, ни Венцель уходят не хотят... — имена Ганс и Венцель (немецкое Вацлав) приводятся Жаботинским как нарицательные для двух народов: немцев и чехов.

...и «успокоится земля», как сказано в Танахе — возможно, Жаботинский имеет в виду стих: «И земля успокоилась от войны» (Иис. Нав. 14: 15). *Танах* — еврейская Библия (Ветхий завет).

С. 229. *Segev* — церемония торжественной трапезы и молитв первой (а в диаспоре — и второй) пасхальной ночи (букв.: порядок, установление; ивр.).

Суккот (в рус. традиции Кущи) — праздник, который отмечается в память о том, что после исхода из Египта евреи жили в шалашах.

Ханука — праздник, установленный в эпоху Иехуды Маккавея (ум. в 161 г. до н. э.) в память об очищении Храма и возобновлении храмового служения после изгнания из Иерусалима греко-сирийских войск. Традиционная ханукальная игра еврейских детей — «севивон» (волчок), участники которой рассчитываются орехами.

С. 233. *Бикерман* Иосиф Менассиевич (1867 — 1942) — историк, писатель, публицист, см.: ВЗЖ ПСС. Т. 2. Кн. 2. С. 744 (примеч. к с. 365).

«Ceci tuera cela» (фр.: это убьет то) — цитата из романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери».

С. 237. ...*написал в одной брошюре...* — Жаботинский имеет в виду брошюру «Недругам Сиона», имевшую несколько переизд., 1-е изд. — Одесса, 1903.

...*Петер Шлемиль, продавший свою тень дьяволу...* — к образу Петера Шлемиля, героя повести нем. писателя и ученого А. Шамиссо «Удивительная история Петера Шлемиля» (1814), Жаботинский прибегал в своей журналистской деятельности не однажды, см.: *Altalena*. Вскользь // Одесские новости. 1901. 29 сент.; *Жаботинский В.* Тоска о патриотизме [Без патриотизма] // Южные записки. 1903. № 17. Стб. 691 — 694; см. также: ВЗЖ ПСС. Т. 2. Кн. 1 и Т. 3. (С. 563, 234 соответственно).

Нордау — см. примеч. к с. 46.

С. 238. ...*чувется... царпина пренебрежения к «гражданину второстепенного достоинства»...* — эту мысль Жаботинский развивает в сборнике «Чужие!: Очерки одного "счастливого" гетто». Одесса, 1903 (см. также: ВЗЖ ПСС. Т. 3. С. 515 — 530).

ПИСЬМА ОБ АВТОНОМИЗМЕ. II. Ваши интересы

С. 244. «*Арийцы и семиты на экономической арене*» — речь идет о статье М. Гепштейна «Экономическая борьба арийцев с семитами» (Южные записки. 1903. № 18. Стлб. 734 — 736). О *М. Гепштейне* см. примеч. к с. 30.

С. 245. «*Антиалиенистские*» законы (*лат.* *alienigena* — чужеземный, иностранный) — законы, направленные против инородцев.

С. 247. *Ватсон* (Уотсон) Джон Кристиан (Крис) (1867 — 1941) — австрал. полит. и гос. деятель, 3-й премьер-министр Австралии, баллотировался от лейбористской партии.

НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. XV

С. 251. *Найгенов* Сергей Александрович (наст. фам. Алексеев, 1868 — 1922) — драматург, автор пьесы «Дети Ванюшина» (1901).

Юшкевич Семен Соломонович (1868 — 1927) — русско-еврейский прозаик, драматург, автор повести «Распад» (1902), рассказывающей о разрушении еврейской семьи.

Толстой Дмитрий Андреевич (1823 — 1889) — министр народного просвещения (с 1866), провел реформу среднего образования (1871), носившую крайне реакционный характер; министр внутр. дел и президент Академии наук (1882 — 1889).

«*Гражданин*» — газета праворадикального, охранительного направления, издатель В. П. Мещерский (СПб., 1872 — 1914).

НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. XVI

С. 255. ...*начиная с римской поездки Лубе...* — речь идет о визите в Италию (апр. 1904) президента Франции Эмиля Франсуа Лубе (1838 — 1920) и министра иностр. дел Теофиля Делькассе для встречи с королем Эммануилом III. Это вызвало недовольство Ватикана, так как нарушало папское установление о том, что правитель католической страны не может быть гостем итал. короля в отнятой у св. Петра столице.

Мерри дель Валь-и-Сулуэта, Рафаэль (1865 — 1930) — кардинал, статс-секретарь Ватикана.

С. 256. ...*папский престол находится в состоянии хронического протеста...* — после того как в Рим вошли гарибальдийцы и королевские

войска (1870), он перестал быть папским городом, и Пий IX в знак протеста заперся в Ватикане, объявив себя «моральным пленником».

Квиринал — один из семи холмов Древнего Рима, на котором расположен дворец, бывший гл. резиденцией итал. королей (1871 — 1946); с 1948 — резиденция президента Италии. Квириналом называют также гос. аппарат страны.

Нунций — постоянный представитель папы в государствах, с которыми Ватикан поддерживает официальные дипломатические отношения.

Энциклика (лат.: *encyclica* — общий, для всех) — послание папы римского ко всем католикам, катол. духовенству или к верующим других вероисповеданий по вопросам вероучения, нравственности или обществ.-полит. вопросам.

Пантеон — храм Всех Богов в Риме, воздвигнут при императоре Адриане (II в. н. э.) на месте предыдущего Пантеона, сооруженного за два столетия до того Марком Випсанием Агриппой; усыпальница ряда известных деятелей Италии.

...во время похорон Умберто... — речь идет о похоронах 2-го итал. короля Умберто I (1844 — 1900).

Рамполла дель Тиндаро, Мариано (1843 — 1913) — папский куриальный кардинал.

Палаццо Монтечitorio — дворцовое здание XVII в., первоначально в нем размещался римский суд, позднее передано итал. парламенту (1870).

С. 257. *Конклав* — собрание кардиналов, созываемое после смерти папы римского для избрания нового главы катол. церкви.

Прелат — титул высших духовных лиц римско-катол. церкви.

С. 258. *...выбирался из обладателей красной мантии...* — т. е. кардиналов, высших (после папы) духовных лиц в римско-катол. церкви.

Игнатий де Лойола (ок. 1491 — 1556) — основатель ордена иезуитов.

Монте Кассино (осн. 529) — монастырь на г. Монте Кассино (в 120 км от Рима).

Кардинал Доменико Свампа — архиепископ Болоньи (1851 — 1907).

С. 259. *Конкордат* (лат.: *concordare* — быть согласным) — договор между правительством какого-либо государства и Ватиканом, определяющий взаимоотношения государства и катол. церкви в этой стране.

НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. XVII

С. 260. *«В университете»...* — книга Б. Гегидзе «В университете. Наброски студенческой жизни» (СПб., 1904) выдержала в начале XX в. шесть переизд.

С. 261. *...меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он* — цитата из стихотворения Пушкина «Поэт» («Пока не требует поэта...», 1827).

С. 262. *Пропавшие люди живут под этой крышей* — вольный перевод из «Божественной комедии» Данте (Ад, песнь 3, стих 3); в переводе М. Лозинского это место звучит так: «Я увожу к погибшим поколениям».

С. 263. *Крюгер* Стефанус Йоханнес Паулу (Пауль) (1825 — 1904) — президент Южно-Африканской Республики (1883 — 1900). В 1880 г. вместе с П. Жубером и М. Преториусом возглавил восстание буров против

Великобритании, приведшее к Первой англо-бурской войне (1880 — 1881). В период Второй англо-бурской войны 1899 — 1902 г. являлся одним из руководителей сопротивления буров англ. войскам. Незадолго до конца войны и поражения буров отправился в Европу, где безуспешно пытался добиться помощи от правительств европейских государств.

Кронье Пит Арнольд (1836 — 1911) — южноафриканский полит. деятель и военачальник; во Второй англо-бурской войне командовал корпусом; после поражения буров вместе с женой и своим штабом был сослан на остров Св. Елены, где провел более двух лет; в результате заключения мира вернулся в Трансвааль.

Девет Христиан Рудольф (правильно: де Вет; 1854 — 1922) — бурский военачальник, генерал, не имевший военного образования (в прошлом фермер), в годы Второй англо-бурской войны один из организаторов широкомасштабной партизанской войны буров против англичан.

С. 264. ...рассказов Кота Мурлыки... — имеются в виду «Сказки Кота-Мурлыки», книга рус. зоолога и писателя Николая Петровича Вагнера (1829 — 1907); 1-е изд. 1872 г.

С. 265. «*Journal de St.-Petersbourg*» — издававшаяся в Петербурге с 1825 по 1914 г. франкоязычная газета (полуофициальный орган российского министерства иностр. дел), выходящая с различной периодичностью и с некоторыми перерывами.

НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. XVIII

С. 265. *В лице Чехова умер...* — А. П. Чехов умер 2.07.1904.

...целое дознание под заглавием «*Есть ли у г-на Чехова идеалы?*» — имеется в виду нашумевшая в свое время статья А. М. Скабичевского «*Есть ли у Чехова идеалы?*» (1892).

С. 268. *Безрадостной жизни... где не видно дороги...* — Жаботинский цитирует (неточно) свой перевод стихотворения Х. Н. Бялика «Сиротливая песня»: «А ветер поет — только песню другого напева: / Поет он о жизни во тьме, без желаний, без цели, / Уньлой, как ливень, как вой леденящей метели / В степи, где не стало дороги...»

НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. XXI

С. 270. *В «Откликах» г-н Абаддона сказал...* — фельетонную рубрику «Отклики» в газете «Русь» вел под псевд. Абаддона А. В. Амфитеатров, 1862 — 1938). В данном случае имеется в виду фельетон о равнодушном отношении Петербурга к смерти Чехова. В оригинале: «...эмансипации культурной провинции от умственной гегемонии северных центров» (Абаддона. Отклики. XXI // Русь. 1904. 13 июля).

С. 272. *Соловцов* Николай Николаевич (наст. фам. Федоров; 1857 — 1902) — актер, режиссер, антрепренер; выступал (с 1882) на сцене Императорского Александринского театра. Стал одним из инициаторов и создателей (1891, вместе с Е. А. Неделиным, Т. А. Чужбиновым и Н. С. Песоцким) киевского «Товарищества драматических артистов» (впоследствии — Театр Соловцова), которым руководил с 1893 г. до конца своих дней; организовал в Одессе городскую театр, где наряду с драм. представлениями проходили спектакли итал. оперы. Соловцов не раз упоминался Жаботинским, ему посвящена статья «Имя Соловцова» (см.: ВЗЖ ПСС. Т. 2. Кн. 2. С. 86 — 91).

Рошин-Инсаров Николай Петрович (наст. фам. Пашенный; 1861 – 1899) — актер; отец актрис В. Н. Пашенной и Е. Н. Рошиной-Инсаровой; играл в киевском Театре Соловцова (1895 – 1899); убит (из ревности) художником А. К. Маловым.

Немирович-Данченко Варвара Ивановна (1856 – 1901) — актриса; сестра В. И. Немировича-Данченко. В Театре Соловцова играла под фам. Немирович.

Киселевский Иван Платонович (1839 – 1898) — актер; с 1894 г. играл в Театре Соловцова.

Чужбинов Тимофей Александрович (наст. фам. Гринштейн; 1852 – 1897) — актер, один из создателей Театра Соловцова.

Поссарт Эрнст фон (1841 – 1921) — нем. актер, режиссер и театр. деятель.

Дорошевич Влас Михайлович (1865 – 1922) — журналист, публицист, театральный критик, «король русского фельетона»; автор мемуарных очерков о Рошине-Инсарове.

Пасхалова Анна Александровна (наст. фам. Чегодаева; 1867 – 1944) — актриса Театра Соловцова (с 1895). Играла в спектакле «Кровь» (Одесский драм. театр; 1901), поставленном по пьесе Жаботинского, который в своих статьях неоднократно обращался к творчеству Пасхаловой, см.: ВЗЖ ПСС. Т. 2. Кн. 2 (по именному указателю).

Негелин Евгений Яковлевич (наст. фам. Недзельский; 1850 – 1913) — актер, один из создателей Театра Соловцова.

Долинов Анатолий Иванович (1869 – 1945) — актер, режиссер, антрепренер, театр. педагог. В 1902 – 1906 гг. имел антрепризу в Одессе, где одновременно открыл драм. школу. После большевистского переворота эмигрировал во Францию.

...продолжение сибиряковского начала... — оперный певец, режиссер и антрепренер Александр Илиодорович Сибиряков (1868 – 1937) на собственные средства построил в Одессе театр (1903). См. об этом: ВЗЖ ПСС. Т. 3. С. 284 – 286, 675 – 677.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 276. *Патти* Аделина (1843 – 1919) — выдающаяся оперная певица итал. происхождения.

С. 277. *...имя Энгельса... компаньон по издательству журнала «Нива»...* — Жаботинский обыгрывает случайное совпадение фамилий издателя «Нивы» Адольфа Маркса и основоположника марксизма Карла Маркса, другом и соратником которого был нем. философ Фридрих Энгельс (1820 – 1895).

ЛЕТУЧИЙ ЛИСТОК. I

С. 286. *6-й [Сионистский] конгресс* — о пребывании Жаботинского на этом конгрессе см.: Накануне конгресса. Базель // Одесские новости. 1903. 15 авг. (также: ВЗЖ ПСС. Т. 3. С. 770 – 375).

...обучал меня в детстве нашему святому языку — речь идет о Иегошуа Равницком (1859 – 1944), литераторе, издателе, редакторе, журналисте, писавшем на иврите и идише.

...собрание группы «Иврия» — см.: ВЗЖ ПСС. Т. 3. С. 777 (примеч. к с. 371).

Ицхак [Исаак] Эпштейн (1862–1943) — педагог, лингвист, один из зачинателей преподавания на возрожденном языке иврит (см. о нем: ВЗЖ ПСС. Т. 3. С. 777. Примеч. к с. 375).

«*А-Цофе*» (ивр.: «Наблюдатель»; Варшава, 1903–1905) — еженд. газ. сионист. направления, выходила на ивр.; гл. ред. Изидор Исраэль Элишов.

Куропаткин Алексей Николаевич (1848–1925) — генерал; военный министр (1898–1904); главнокомандующий русской армией во время русско-японской войны.

С. 287. *Англо-бурская война* — см. примеч. к с. 263.

...шлошим вождя диаспоры — имеется в виду тридцатидневный траур по скончавшемуся Т. Герцлю.

Керен Каемет для школ Палестины — Фонд развития школьного образования в Эрец-Исраэль, аналогичный Керен каемет ле-Исраэль (букв.: Фонд существования Израила (ивр.), или Еврейский Национальный фонд), созданный сионистским движением для приобретения и освоения земли в Эрец-Исраэль (1901).

С. 288. *В последнее время я виделся... <...> Значит, пора начинать* — фрагмент статьи «Наброски» (Еврейская жизнь. 1904. № 9. С. 77–79; также: ВЗЖ ПСС. Т. 4. Кн. 1. С. 288–290).

Ховевей Эрец — см. примеч. к с. 359.

С. 290. *Ховевей Аргентина* — см. там же.

С. 291. *Францию победил не прусский солдат, а прусский школьный учитель* — фраза, которую приписывают Бисмарку.

ГЕРЦЛЬ: ИДЕАЛЫ, ТАКТИКА, ЛИЧНОСТЬ

С. 291. *Эксиларх* (эллинизир. калька словосочетания *рош галута*, т. е. глава пребывающих в изгнании; ивр.) — древний титул светского главы общины в ряде стран еврейской диаспоры.

С. 292. *2-й [Сионистский] конгресс* — Базель, 28–31.08.1898.

С. 294. *Герцог Фридрих* — великий герцог Бадена Фридрих I (1826–1907), дал Т. Герцлю аудиенцию (1896); позднее стал сторонником сионизма.

С. 296. *Actions-Comité* — см.: *Grosses Actions-Comité* (ВЗЖ ПСС. Т. 3. С. 376).

С. 298. *Мильтеран* Александр (1859–1943) — полит. деятель, социалист, президент Франции (1920–1924); в 1899 г. вошел в коалиционное правительство П.-М. Вальдек-Руссо, несмотря на присутствие в нем умиротворителя Коммуны генерала Галифе, что привело к расколу незадолго до этого объединившейся социалистической партии.

Турати Филиппо (1857–1932) — полит. деятель, публицист, один из лидеров итал. социалистов.

Бебель Август (1840–1913) — деятель герм. и междунар. рабочего движения, социал-демократ, один из основателей СДПГ.

Линкольн Авраам (1809–1865) — амер. гос. деятель, 16-й президент США (1861–1865). *Парнелл* Чарльз Стюарт (1846–1891) — ирл. полит. деятель, лидер (с 1877) движения Home Rule (самоуправление), которое добивалось автономии Ирландии. *Гладстон* Уильям Юарт (1809–1898) — англ. гос. деятель и писатель; четырежды премьер-министр Великобритании. *Магзини* Джузеппе (1805–1872) — итал. писатель,

революционер, один из организаторов союза «Молодая Италия», ставившего целью создание независимой итал. республики. *Кавалотти* Феличе Карло Эмануэле (1842 — 1898) — итал. поэт, драматург и полит. деятель.

...сам основатель пролетарского мировоззрения... — имеется в виду Карл Маркс (1818 — 1883).

...приветственные телеграммы турецкому падишаху и ездить в Петербург — эпизоды биографии Т. Герцля, который пытался получить разрешение султана Абдул-Хамида II на еврейское заселение Палестины в обмен на финансовую поддержку Османской империи, а также встречался с министром внутр. дел фон Плеве с целью заручиться поддержкой России в переговорах с Турцией и облегчить положение еврейского населения Российской империи.

С. 300. *Лассаль* Фердинанд (1825 — 1864) — нем. философ и публицист, деятель рабочего движения; автор драмы «Франц фон Зиккинген» (1859).

Ульрих фон Гуттен (1488 — 1523) — немецкий рыцарь-гуманист, идейный вождь рыцарского восстания 1522 — 1523 гг.; один из главных авторов памфлета «Письма темных людей» (1515 — 1517).

С. 301. *Галатей* — в греч. мифологии прекрасная статуя, изваянная Пигмалионом, которая ожила и стала возлюбленной скульптора.

С. 302. *Neinsager* — несогласный, голосующий против (букв.: говорящий «нет»; нем.).

С. 303. *Явился Герцль* — почти дословный пересказ фрагмента статьи «Герцль и Neinsager'ы» // Одесские новости. 1903. 23 авг. (см. также: ВЗЖ ПСС. Т. 3. С. 396 — 399).

С. 304. *Ильдыз-Киоск* — резиденция тур. султана.

...Я тогда тоже был в Константинополе... — Герцль получил аудиенцию у султана Абдул-Хамида II (май 1901).

Чартер — см. примеч. к с. 16.

Эль-Ариш — см. примеч. к с. 54.

...английское правительство предложило мне Ост-Африку — имеется в виду «план Уганды» (см. примеч. к с. 9).

С. 307. ...в сионизме есть две тенденции... — здесь и далее некий безымянный, возможно, мифический делегат (очень умный, сосредоточенный и вдумчивый человек) повторяет мысли, изложенные Жаботинским в статье «Герцль и Neinsager'ы» // Одесские новости. 1903. 23 авг. (см. также: ВЗЖ ПСС. Т. 3. С. 401 — 403).

...«не силой, не воинством, а духом» — Зах. 4: 6.

С. 308. *Гирш* Морис де (1831 — 1896) — финансист и филантроп, основатель Еврейского колонизационного общества (см. примеч. к с. 67).

С. 309. *Бар-Кохба* — вождь антиримского восстания в Иудее (132 — 135 н. э.).

С. 310. *Ibri anochi* (ивр.) — [И он сказал им:] я еврей (Ион. 1: 9).

С. 312. *Талмуд* — см. примеч. к с. 50.

ДЕСЯТЬ КНИГ

С. 323. *Ричард и Фальстаф* — персонажи трагедии У. Шекспира «Генрих IV» (1597 — 1598).

С. 324. *Миранда, Калибан* — персонажи пьесы У. Шекспира «Буря» (1612).

Катарина — героиня пьесы У. Шекспира «Укрощение строптивой» (1593).

Viurge forte — букв.: стойкая девушка; по назв. романа фр. писателя Эжена Марселя Прево (1862 — 1941) «*Les vièrges fortes*» («Сильные девы», 1900).

Беатриче — героиня комедии У. Шекспира «Много шума из ничего» (1598).

Шейлок — еврей-ростовщик, герой комедии У. Шекспира «Венецианский купец» (1596 — 1597), который ссудил деньги под залог фунта мяса из тела должника и требовал по суду выполнения договора.

С. 327. *Пишибышевский* Станислав Феликс (1868 — 1927) — пол. писатель; трилогия «*Ното sariens*» вышла на нем. яз. (1895 — 1898) раньше, чем на польском (1901); рус. перевод — 1902 г.

С. 328. *Андреев* Леонид Николаевич — рус. писатель (1871 — 1919). Повесть «Жизнь Василия *Фивейского*» была опубликована в сборнике «Знание» (1904), рассказ «*Бездна*» — в моск. газете «Курьер» (10.01.1902).

Мальва — героиня одноименного рассказа М. Горького (1897).

...обе пьесы Горького — к тому времени были написаны «Мещане» (1901) и «На дне» (1902).

С. 329. *Д'Аннунцио* Габриэле (наст. фам. Рапаньетта; 1863 — 1938) — итальянский поэт, драматург и политический деятель.

Гарибальди Джузеппе (1807 — 1882) — народный герой Италии, один из лидеров борьбы за ее полит. объединение, литератор. Жаботинский, для которого Гарибальди был символом выдающегося героя нового времени, много раз обращался к его имени и образу, см.: ВЗЖ ПСС. Т. 2. Кн. 1 и Т. 3 (по именному указателю).

С. 331. *Байрон* Джордж Ноэл Гордон (1788 — 1824) — англ. поэт-романтик.

С. 334. *Мюссе* Альфред де (1810 — 1857) — фр. поэт, драматург, прозаик.

Свифт Джонатан (1667 — 1745) — англ.-ирл. сатирик, публицист, поэт и обществ. деятель; автор фантастико-сатирического романа «Путешествие Гулливера» (1726).

Анакреон (Анакреонт; ок. 570 — 487 до н. э.) — древнегреч. поэт, автор стихов в духе изящного эротизма и застольных песен.

«*Дафнис и Хлоя*» — любовный роман древнегреч. писателя Лонга (предполож. II в. н. э.), сведений об авторе не сохранилось (датируется по языковым особенностям текста).

С. 335. *Demi-viurgè* — см. примеч. к с. 186.

Ювенал Децим Юний (ок. 60 — ок. 127) — римский поэт-сатирик. *Аристофан* (444 — между 387 и 380 до н. э.) — древнегреч. автор, «отец комедии». Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (наст. фам. Салтыков; 1826 — 1889) — рус. писатель-сатирик.

Иудушка Головлев — персонаж романа Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы» (1875 — 1880).

«*Гартюф*, или Обманщик» (1664) — комедия фр. драматурга и актера Жана Батиста Мольера (1622 — 1673).

Гейне Христиан Иоганн Генрих (1797 – 1856) — нем. поэт, публицист, критик.

С. 336. *По Эдгар* Аллан (1809 – 1849) — амер. писатель, поэт, критик и редактор. В статье «*Philosophy of Composition*» («Философия композиции»; 1846) Э. По описывает, как создавал свое знаменитое стихотворение «*Ворон*» («*The Raven*»; 1845). Один из лучших рус. переводов этого стихотворения сделан 17-летним Жаботинским.

С. 339. *Тамерлан* (Тимур; 1336 – 1405) — полководец, завоеватель, сыгравший значительную роль в истории Ср., Юж. и Зап. Азии, Кавказа, Поволжья и Руси; эмир (с 1370); основатель империи и династии тимуридов.

С. 341. *Гонне* Герман Дмитриевич (1836 – 1885) — рус. издатель и типограф из обрусевших немцев; основал издательскую фирму, носившую его имя (СПб., 1867 – 1914).

ВСКОЛЬЗЬ

С. 343. *Абель Феферман* (Авель Панн, 1883 – 1963) — живописец; учился (1898 – 1902) в Одесской рисовальной школе. После 1912 г. жил (с перерывами) в Палестине, в 1920 г. переселился туда окончательно (ум. в Иерусалиме).

С. 345. *Айзман* Давид (1869 – 1922) — руско-еврейский писатель. *...лицующих, праздно болтающих...* — из стихотворения Н. А. Некрасова «*Рыцарь на час*» (1860).

НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. XXVI

С. 346. «*Не думайте, что все уже сделано, и телесные наказания исчезли*», — пишет г-н *Меньшиков* — имеется в виду его статья «*Большая победа*», которая была опубликована в «*Новом времени*» (1904. 15 авг.; см. примеч. к с. 160).

...один веселый господин в Ашхабаде... приказал врача выпороть... — тему бессилия перед каждодневным произволом с упоминанием этого же случая Жаботинский развивает и в одном из очерков под рубрикой «*Вскользь*» (Одесские новости. 27.05.1904).

С. 348. *Галилей* Галилео (1564 – 1642) — итал. физик, математик, механик, астроном и философ. *Джорджано Бруно* (1548 – 1600) — итал. монах, философ, поэт. Преследовались как еретики (Бруно был сожжен на костре).

С. 349. *...если ударят тебя по щеке, подставь другую...* — заповедь христиан. смирения и непротивления злу гласит: «кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5: 39).

С. 350. *...поступлено, как с торговцами храма...* — речь идет об осквернителях храма, изгнанных оттуда Христом.

С. 351. «*Не стремитесь лечь костями...* *Вот тогда и послужите родине*» — эти слова приписываются рус. фельдмаршалу Иосифу Владимировичу Гурко (Ромейко-Гурко; 1828 – 1901), прославившемуся во время русско-турецкой войны (1877 – 1878).

НАБРОСКИ

С. 351. *По поводу «Писем об автономизме»...* — первое «*Письмо...*» опубликовано в «*Еврейской жизни*» (1904. № 7).

Давидов щит — см. примеч. к с. 67.

С. 352. *Мизрахисты* — см. примеч. к с. 45.

С. 353. *Маюфис* — см. примеч. к с. 92.

Базельская программа — см. примеч. к с. 55.

С. 354. «*Автоэмансипация*» — т. е. самоосвобождение, а не эмансипация, дарованная правителями тех стран, в которых проживают евреи. Эту программу выдвинул лидер движения Ховевей Цион одесский врач Леон (Лев Семенович; Иехуда Лейб) Пинскер (1821 – 1891) в брошюре «Автоэмансипация. Призыв русского еврея к соплеменникам» (Берлин, 1882; рус. перевод 1898).

С. 355. *...в продаже шекелей, акций и марок...* — см. примеч. к с. 9.

С. 356. «*На шестом было 700 делегатов...*» — на 6-м Сионистском конгрессе (Базель, 23 – 28.08.1903) присутствовали 592 делегата; на 7-м (Базель, 27.07 – 2.08.1905) — 497.

«*Шекели и марки, марки и шекели...*» — см. примеч. к с. 9.

С. 358. *...по слову «шиболет»... отличали врага от друга...* — имеется в виду библейский рассказ о судьбе Иеффае. Для того чтобы определить ефремян, у которых был другой выговор, он распорядился заставлять их говорить слово «шиболет» (ивр.: колос): кто говорил «сиболет», тот и был ефремянином (Суд, 12: 5 – 7).

С. 359. *Эрец* (ивр.: земля, страна, государство) — здесь: Эрец-Исраэль, Земля Израила.

Пасманик — см.: ВЗЖ ПСС. Т. 3. С. 779 (примеч. к с. 385).

Поалей Цион — см. примеч. к с. 91.

«*Ховевей эрец*» (ивр.: возлюбившие землю) — так Жаботинский иронически называет территориалистов, образуя это выражение от «Ховевей Цион» (см. примеч. к с. 48).

С. 360. *...это решение созрело и не может не проявиться... на 7-м конгрессе* — это пророчество Жаботинского сбылось: подавляющее большинство делегатов 7-го Сионистского конгресса составили те, для кого отказ от Палестины был равнозначен отказу от сионизма. На съезде была принята резолюция, исключившая возможность участия сионистов в создании еврейских поселений вне Эрец-Исраэль, т. е. на территории других стран. В ответ сторонники «плана Уганды» покинули конгресс и вышли из Сионистской организации, основав Еврейское территориальное общество (ЕТО).

С. 361. *Стена Плача*, или Западная стена (ивр.: *kotel maaravi*) — часть стены, окружавшей Храмовую гору, уцелевшая после разрушения Второго храма (70 н. э.).

НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. ХХІХ

С. 361. *Мигулин* Петр Петрович (1870 – ?) — профессор-экономист, член совета главноуправляющего землеустройством и земледелием (1907), член совета министра финансов (1914); издатель и редактор журнала «Экономист России» (1909 – 1917; с 1913 — «Новый экономист»). Речь идет о его статье «Война и наши финансы. X» (Русь. 1904. 25 авг.).

С. 363. *Гладстон* — см. примеч. к с. 299.

С. 364. *Шанхай-гуань* — город-крепость у вост. оконечности Великой Китайской стены на границе собственно Китая и Маньчжурии. В нач. XX в. станция Кит. ж. д.

Квантун — русифицированное назв. провинции Гуаньдун, юго-зап. оконечности Ляодунского полуострова. По конвенции, подписанной

Россией и Китаем (1898), Гуаньдун была передана России сроком на 25 лет. В результате русско-японской войны 1904—1905 гг. арендные права на Гуаньдун перешли к Японии. В настоящее время эта территория принадлежит Китаю.

Маньчжурия — историческое назв. области, включающей в себя сев.-вост. часть современного Китая и вост. часть Внутр. Монголии (автономного региона Китая).

С. 366. *Конфуций* (ок. 551 — 479 до н. э.) — кит. мыслитель.

КУДА ЕХАТЬ УЧИТЬСЯ? (Письмо в ред.)

С. 368. *Бюлов* — см. примеч. к с. 129.

Орландо Витторио Эммануэль (1860 — 1952) — профессор права, полит. и гос. деятель, премьер-министр Италии (1917).

С. 369. *Формиджани* Анжело Фортунато (1878 — 1938) — итал. ученый, редактор, писатель.

«*Corda Fratres*» (лат.: братские сердца) — междунар. студенческий союз; основан Е. Жиглио-Тосом (Турин, 1898).

С. 370. *Союз [О-во] «Данте Алигьери»* (Societa Dante Alighieri) — Общество распространения в мире итал. языка и культуры (основано в 1889).

Маркотти Джузеппе (1850 — 1922) — журналист, секретарь Общества «Данте Алигьери» (1900 — 1906).

Рава Луиджи (1860 — 1938) — итал. полит. и гос. деятель, президент Общества «Данте Алигьери» (1902 — 1906).

С. 371. «*Новости и Биржевая газета*» (СПб., 1871 — 1906) — ежедневная обществ.-полит. газ.; изд.-ред. О. К. Нотович.

ЛЕГУЧИЙ ЛИСТОК. III

С. 372. *Юшкевич* — см. примеч. к с. 251. Повесть «Еврей» вышла с посвящением М. Горькому. СПб.: Знание, 1904.

С. 374. ...с моим товарищем-студентом, с которым погружились еще в гимназии — речь идет о В. В. Лебединцеве; см. примеч. к рассказу «Всева» (ВЗЖ ПСС. Т. 1. С. 614, примеч. к с. 330).

...строки, посвященные памяти Герцля — Жаботинский цитирует строки из 5-й строфы своего стихотворения «Неспед». Полностью она звучит так: Пусть мы сгнием под муками ярма, / и ляжет грязь на клошья нашей Торы; / пусть сыновья уйдут в ночные воров / и дочери — в позорные дома, / и в мерзости наставниками людям / да станем мы в тот черный день и час, / когда тебя и песнь твою забудем / и посрамим погибшего за нас. (Еврейская жизнь. 1904. № 6. С. 9.)

НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. XXX

С. 375. *Проф. Мигулин... говорит в статье IV...* — имеется в виду статья проф. Мигулина «Война и наши финансы. IV».

Когда Англия воевала с бурами... — речь идет о военных действиях Брит. империи против Южно-Африканской Республики (Трансвааль) и Оранжевого свободного государства (1880 — 1881 и 1899 — 1902), которые завершились поражением буров.

С. 376. *Богдыхан (монг.)* — титул кит. императора в старинных рус. грамотах.

Оку Ясуката (1847 — 1930) — яп. военачальник, фельдмаршал, во время русско-японской войны — генерал, командовал 2-й яп. армией; *Ногзу* (или Ноцу) Митицура — командовал 4-й яп. армией.

Ма Ци (1869 — 1931) — кит. военачальник, генерал, впоследствии губернатор провинции Цинхай. Юаншикай (1859 — 1916) — кит. полит. деятель, военачальник, командующий императорской армией, премьер-министр (1911); после отставки Сун-Ят-Сена (1911) — президент Китая; объявил о намерении стать императором (1916), что вызвало обществ. волнения и отмену коронации.

ЛЕТУЧИЙ ЛИСТОК. IV

С. 385. Кара-Георгий (наст. имя и фам. Георгий Пётрович; 1768 — 1817) — возглавил восстание сербов (1804 — 1813) против османского ига; основатель (1808) династии Карагеоргиевичей. После поражения восстания бежал в Австрию, в 1814 г. выехал в Россию. Тайно вернулся в Сербию (1817) и был убит по приказу кн. Милоша Обреновича.

НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. XXXI

С. 389. ...*задача, которая легла теперь на кн. Святополк-Мирского...* — речь идет о назначении генерала П. Д. Святополк-Мирского (1857 — 1914) министром внутр. дел (26.08.1904); 18.01.1905 был отстранен от должности за массовые беспорядки в Петербурге, вошедшие в историю России как Кровавое воскресенье.

С. 390. *Порт-Артур* (кит. назв. Лойшунь) — портовый поселок в заливе Бохайвань Желтого моря, который Россия получила от Китая (1898) во временную аренду на 25 лет с правом продления и превратила в военную базу. Во время русско-японской войны представлял стратегически важный пункт, которым яп. армия стремилась овладеть. 17.07.1904 Порт-Артур был осажден, и после нескольких штурмов крепость капитулировала 23.12.1904.

СО СТОРОНЫ. К вопросу о национализме

С. 392. *Изгоев* — см.: ВЗЖ ПСС. Т. 2. Кн. 2. С. 742 (примеч. к с. 330); его статья «Двадцативековая трагедия» (Образование. 1903. № 10) вызвала критический отклик Жаботинского в статье «Наши критики» (Еврейская жизнь. 1904. № 3. С. 170 — 192), на что Изгоев ответил заметкой «О национальной обособленности евреев» (Образование. 1904. № 8). Публикуемая здесь статья продолжает полемику.

С. 394. «*Зераим*» («Посевы») — раздел Талмуда, содержащий правила ведения земледельческого хозяйства.

С. 397. *Zollverein* (нем.: таможенный союз) — здесь: отмена таможенных пошлин отдельных стран.

С. 402. «*Сменив, не заменил*» — аллюзия на строку из «Евгения Онегина» А. С. Пушкин (гл. 1, строфа XIX): «Мои богини! что вы? где вы? / Внемлите мой печальный глас: / Все те же ль вы? другие ль девы, / Сменив, не заменили вас?»

Вспомните глубокую сказку Жуковского — речь идет о стихотворной повести В. А. Жуковского «Выбор креста» (1845; вольный пересказ сказки нем. писателя-романтика А. Шамиссо).

К ВОПРОСУ О ПОГРОМАХ

С. 406. *После кишиневского погрома...* — погром длился два дня: 6 — 7.04.1903.

...*о втором прошлогоднем погроме, гомельском...* — во время погрома в Гомеле (29.08 — 1.09.1903) действовали первые в России отряды

еврейской самообороны, оказавшие сопротивление погромщикам. Власти осудили не только погромщиков, но и участников самообороны.

«...раззудить плечо»... — аллюзия на строку из стихотворения А. В. Кольцова (1809 — 1842) «Косарь» (1836): «Раззудись плечо, размахнись рука».

С. 407. *Privilegium odiosum* (лат.: ненавистное предпочтение) — правовая норма, связанная с ущербом для ее обладателя.

НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. XXXV

С. 410. *Кановас дель Кастильо* (1828 — 1897) — исп. гос. деятель, многократный премьер-министр.

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?

С. 413. *Профессор Мигулин* — см. примеч. к с. 361.

Царьград — рус. назв. Константинополя (ныне Стамбул).

Рамм Владимир Исаяевич — редактор, издатель, автор многочисленных издательских проектов, в основном неосуществленных. Так, несколько дней просуществовало изд. «Последние телеграммы газеты "Секунда"» (СПб., 1914), причем сама «Секунда» не выходила в свет.

С. 414. *Гладстон* — см. примеч. к с. 299.

Гошен Джордж Иоахим (1831 — 1907) — англ. финансист, полит. и гос. деятель, посол в Турции (1880 — 1881), канцлер казначейства (1886 — 1892), первый лорд адмиралтейства (1895 — 1900).

Гаркорт Вильям Вернон (1827 — 1904) — англ. гос. деятель, профессор международного права в Кембридже, полит. публицист; канцлер казначейства в последнем правительстве Гладстона (1892 — 1895), лидер либеральной партии в Палате общин (1894 — 1898).

Гикс-Бич Микаэль Эдуард, сэр (1837 — 1916) — англ. гос. деятель, один из лидеров консервативной партии.

Сэ Жан-Батист Леон (1826 — 1896) — фр. экономист и гос. деятель.

Думер Поль (1857 — 1932) — фр. полит. и гос. деятель, президент Франции (1931 — 1932).

Рувье Морис (1842 — 1911) — фр. полит. и гос. деятель; министр финансов, дважды премьер-министр Франции.

Шефле Альберт (1831 — 1903) — австр.-нем. экономист, социолог и гос. деятель, автор работы «*Bau und Leben des sozialen Körpers*» («Строение и жизнь социального тела», 1896).

С. 415. *Пленер Игнатий фон* (1810 — 1908) — австр. полит. и фин. деятель.

Бём-Баверк Ойген фон (1851 — 1914) — австр. экономист и гос. деятель.

Билинский Леон Риттер фон (1846 — 1923) — австр.-венг. полит. и гос. деятель, экономист и финансист.

Микель Иоган фон (1829 — 1901) — нем. гос. деятель, министр финансов Пруссии (1890 — 1900).

Кох Ричард — юрист и экономист, управляющий Нем. гос. банком (1890 — 1908).

Господа ташкентцы — персонажи сатирической книги М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа ташкентцы» (1869 — 1872). Изображенные в ней царские чиновники и предприниматели, строившие ж. д. в Таш-

кент, стали олицетворением казнокрадства, лжи и дикой азиатчины в разных сферах обществ. и гос. жизни.

Кукуно́р (Цинхай) — соленое озеро в Китае на высоте более 3000 м.

Гонолулу — город на Гавайских островах, столица штата Гавайи (США).

Тетенькин хвостик — аллюзия на басню К. М. Фофанова «Хвостик» (1860-е гг.): «Да он-то как вперед пробрался? / За хвостик тетенькин держался».

Мозамбикский пролив — самый протяженный пролив мира (1760 км); разделяет Африканский континент и остров Мадагаскар.

С. 416. *Патагония* — область в Юж. Америке, расположенная в Аргентине и Чили.

НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. XXXVII

С. 416. *Фонд народного просвещения* — складывался из пожертвований частных лиц.

С. 417. *...совет предпочесть немецким университетам итальянские* — см. с. 368 — 371.

Corda Fratres — см. примеч. к с. 369.

С. 418. *...выходя на улицу, надо превращаться в европейца...* — перифразированное выражение писателя И. Л. Гордона: «Будь евреем дома и человеком на улице».

ВСКОЛЬЗЬ

С. 428. *...психопат ломбрововского сорта* — Чезаре Ломброзо (1835 — 1909), итал. тюремный врач-психиатр, родоначальник антропологического направления в криминологии и уголовном праве; полагал, что существует особый тип людей, имеющих врожденную склонность к преступлению.

НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. I

С. 431. *Мина Уайтхега* — самодвижущийся снаряд, торпеда.

А. А. *Богомолец* — см.: ВЗЖ ПСС. Т. 3. С. 766 (примеч. к с. 118);

А. С. *Изгоев* — см.: ВЗЖ ПСС. Т. 2. Кн. 2. С. 742 (примеч. к с. 330);

А. М. *Федоров* — см.: ВЗЖ ПСС. Т. 2. Кн. 1. С. 782 (примеч. к с. 461).

«Южное обозрение» — см. примеч. к с. 177.

С. 433. *...та самая унтер-офицерская вдова* — см. примеч. к с. 148.

НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. II

С. 433. «*Предлинной хворостиной...*» — начало басни И. А. Крылова «Гуси» (1811).

С. 434. «*Лягушки, просящие царя*» (1809) — басня И. А. Крылова по сюжету одноименной басни Ж. Лафонтена, заимствованной у древнегреч. баснописца Эзопа.

С. 435 — 437. «*Мирская сходка*» (1816); «*Крестьяне и река*» (1816); «*Орел и крот*» (1814); «*Дикие козы*» (1823) — басни И. А. Крылова.

НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. III

С. 439. «*Новое время*» (СПб., 1868 — 1917) — одна из крупнейших рус. газет, первоначально либеральная, с переходом изд. к А. С. Суворину (1876) — консервативная. С 1905 г. — орган черносотенцев.

«*Новости [и биржевая газета]*» — см. примеч. к с. 371.

...уверяет свою публику, что в гомельском деле страшно заинтересованы евреи... — имеется в виду заметка в «Новом времени» (19.12.1904), которая, освещая судебный процесс, последовавший за антиеврейскими беспорядками в Гомеле, защищала погромщиков.

Гомельский процесс — см. примеч. к с. 406.

С. 441. ...*дело адвоката Нотеса*... — речь идет о деле одесского помощника присяжного поверенного В. О. Нотеса.

Дело *Скитских* — нашумевшее дело по обвинению братьев Степана и Петра Скитских в убийстве Комарова (Полтава; 1897) рассматривалось трижды на протяжении трех лет. Адвокат Н. П. Карабчевский произнес на процессе одну из лучших в своей правозащитной практике речей, после чего братья Скитские были оправданы. Значительную роль в расследовании дела и установлении истины сыграл В. Дорошевич (см. примеч. к с. 272).

С. 442. *Tua res agitur* (лат.: речь идет о тебе, дело касается тебя) — полная фраза: *tua res agitur paries cum proximus ardet* — твой дом в опасности, если у соседа горит стена (Гораций. Послания. I, 18, 84).

НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. IV

С. 444. «*Оставьте всякую надежду*» — надпись на воротах ада в «Божественной комедии» Данте (Ад, песнь 3).

Нейгарт Д. Б. (1861 — 1942) — одесский градоначальник (1903 — 1905).

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ¹

- Абаддона (Амфитеатров А. В.) 270, 272, 459
Абдул-Хамид, султан 72, 449
Абрамович, писатель 666
Аверкиев Д. В. 541, 549
Агринский, помещик 601
Айзман Д. Я. 345, 464
Александр II 575
Александровский, актер 749
Алексеев Е. И. 608, 662
Аммос 104
Амф[итеатр]ов А. В. 135, 140
Амьенский П. 709
Анакреон, поэт 335, 463
Андреев Л. Н. 328 – 329, 463, 528 – 533
Андреевич (Соловьев) Е. А. 517
Антонович М. А. 757
Ашполонский Р. Б. 501
Аристофан, комедиограф 335, 463
Аршавский Ф. М. 575
Ахад-Гаам (Гинцберг А.) 666
Ахад-ха-Ам 52, 448, 451
Байрон Дж. 331 – 334, 342, 463
Бальмонт К. Д. 492
Бальц В. С. 539, 691
Барятинский В. В. 81 – 82, 450
Баяр П. Т. де 697
Бибель А. 298, 461, 485, 488
Бежецкий А. Н. 555 – 556
Безобразов П. А. 662
Беккариа Ч. 156, 453
Беккер, врач 638
Белинский В. Г. 473, 541, 679
Белый А. 329
Бём-Баверк О. фон 415, 468
Берне Л. 495
Бершадский Ю. Р. 537
Бикерман И. М. 91 – 92, 94, 105 – 114, 233, 451, 456
Билинский Л. Р. фон 415, 468
Бисмарк О. фон 484, 732
Блиох И. С. 481 – 487
Блюхер Г. Л. фон 475
Боборькин П. Д. 541, 548 – 549
Богданович, цензор 716 – 718
Богомолец М. А. 431, 469, 751
Боккаччо Дж. 320, 322 – 323
Бокль Г. Т. 41, 447
Бравич К. В. 749
Брандес Г. 103, 473 – 474
Бруно Дж. 348, 464
Брюнетьер Ф. 525
Брюсов В. Я. 329, 492
Буковецкий Е. И. 539
Булгаков С. Н. 516, 746
Буринский 261
Бьернсон Б. М. 498
Бюлов Б. фон 129, 132 – 133, 145, 368, 452, 466
Валь В. В. фон 711
Валь М. дель 255, 257, 259, 457
Вандервельд Э. 743
Васнецов В. М. 539
Ватсон Дж. К. 247, 457
Ватто Ж. А. 491
Вейнберг П. И. 619
Вельштейн, доктор 751
Вергилий 10
Верещагин В. В. 727
Верн Ж. 319
Верниковский Г. А. 571
Вильбушевич М. В. 715
Вильгельм II 485, 732
Виттефт В. К. 661
Витте С. Ю. 731
Волконский С. Г. 486
Волошин М. А. 182, 195 – 196
Вольтер 341, 614, 760
Вуст Ч. 744
Галилей Г. 348, 464, 760
Гальбе, драматург 27
Ганский П. П. 537 – 538
Гарибальди Дж. 115, 329, 463
Гаркорт В. В. 414, 468
Гауптман Г. 497
Гаяши Т. 564
Геббель Ф. К. 560
Гегидзе Б. 260 – 262
Гейне Г. 103, 335, 342, 464, 495, 619, 622 – 625
Гензенбант, мещанин 693
Гепштейн М. К. 244, 246, 447
Гербель С. Н. 654 – 655, 694
Гердер И. Г. 569
Герцль Т. 10 – 11, 13 – 15, 46, 48, 94, 247, 269, 288 – 289, 291 – 303, 306 –

¹ Лица, упоминаемые в текстах В. Жаботинского. Страницы примечаний обозначены курсивом.

- 311, 313 – 315, 357, 359, 361, 374, 446, 462, 466, 666, 681 – 689, 705, 708
 Гесберг А. Д. 613 – 614
 Гете И. В. 318, 333, 340 – 342, 476, 548
 Гецель Э. 709
 Гикс-Бич М. Э. 414, 468
 Гилель 38, 447
 Гирш М. де 308, 462, 673
 Гиршфельд Э. В. 537
 Гладстон У. Ю. 299, 363, 414, 461, 465, 468
 Глазер, владелица училища 614
 Глазов В. Г. 740 – 741
 Гнедич, генерал 586
 Гоголь Н. В. 114, 335, 561, 679
 Головин Н. С. 615
 Головкин Г. С. 535, 538
 Гольдштейн Г. М. 536 – 537
 Гомер 316 – 321, 323, 332, 335, 338, 340 – 342
 Гоппе Г. Д. 341, 464
 Горева Е. Н. 81, 450
 Горская Б. 26 – 27, 446
 Горький М. (Пешков А. М.) 170, 268 – 269, 298, 328, 331 – 333, 463, 471 – 472, 501, 506 – 508, 510, 512 – 518, 520 – 522, 524 – 529, 533, 579, 619, 620
 Гофман Э. Т. А. 516
 Гошен Дж. И. 414, 468
 Грандковский Н. К. 539
 Грец 477
 Грибоедов А. С. 569
 Григорьев А. А. 541
 Грингмутов В. А. 759
 Губбер В. К. 619
 Гуттен У. фон 300, 462
 Гуцков К. 507
 Гюго В. 484, 506
 Д'Аннунцио Г. 329, 463
 Давыдов Д. В. 586
 Данте А. 10, 318, 320, 341, 370
 Дарвин Ч. 548
 Дармстетер 103, 451
 Девет Х. Р. 263, 459
 де-Виво, автор учебника 146
 Депп Н. А. 680
 Деревицкий А. Н. 611
 Джордж Г. 103, 451
 Дзакони Э. 79, 450
 Дидро Д. 547, 551
 Дизраэли-Биконсфильд Б. 103
 Добролюбов Н. А. 712
 Доде А. 142, 452
 Долгоруков П. Д. 717
 Долинов А. И. 272, 460
 Дорошевич В. М. 272, 460, 559
 Достоевский Ф. М. 283, 339, 341 – 342, 532
 Драгомиров М. И. 588
 Дрейфус А. 486
 Дружинин Н. П. 599
 Дрюмон Э. А. 111, 451
 Дубнов С. М. 666
 Думер П. 414, 468
 Дункан А. 182, 454
 Дягилев С. П. 534
 Еврипид 498
 Ежиков, городской 678 – 679
 Еремеев, врач 621 – 622
 Ермолова М. Н. 499
 Ефимовский О. Н. 559
 Жуковский В. А. 402, 467
 Закревский А. А. 747
 Засулич М. И. 662
 Зеленый П. А. 691, 719, 751
 Зиновьев Н. А. 731
 Златовратский Н. П. 514
 Золя Э. 484
 Иаков 78
 Ибсен Г. 79, 89, 223, 456, 497, 498
 Иванов И. И. 571, 619
 Иглицкий М. М. 697, 699
 Изгоев А. С. 92, 94, 101 – 105, 115, 392 – 394, 431, 451, 467, 469
 Изетеа Р. М. 143 – 144, 452
 Исайя 104, 313
 Каваллотти Ф. К. Э. 299
 Кайгородов Д. Н. 615
 Калашникова, учительница 611
 Кальдерон Б. де ла 498
 Камимура Х. 175, 454
 Кандинский В. В. 534 – 535, 537 – 538
 Кант И. 243, 515, 569
 Карабчевский Н. П. 596
 Кара-Георгий (Георгий Черный) 385, 467
 Карабчевский Д. А. 569
 Кармен Л. О. 372
 Карнеги Э. 641, 643
 Каронин С. 527 – 528
 Карпинский К. Т. 558
 Кастильо К. дель 410, 468
 Каульбарс, баронесса 717
 Каутский К. 92 – 94, 96 – 98, 101 – 105, 111, 115, 451
 Кашталинский Н. А. 718
 Кемпбель А. 475
 Кирпичников, профессор 475
 Киселевский И. П. 272, 460

- Кладо Н. Л. 754
Клейман А. Я. 641 — 645
Климович, член управления 691, 718
Кнорринг, помещица 740
Ковалев В. И. 754
Комаровский Л. 483
Коменский Я. А. 173 — 174, 453
Комиссаржевская В. Ф. 748
Коновалов Д. П. 754
Конфуций 366, 466
Коровяков Д. Д. 549
Корф Н. А. 758 — 759
Косинский, работник гимназии 660
Костанди К. К. 535, 538
Кох Р. 415, 468
Краев Е. С. 568
Красильников, член земской управы 611
Краснов, инспектор 738
Крауфорд 476
Крестовский В. В. 516
Кромвель О. 476 — 477
Кронье П. А. 263, 459
Крушеван П. А. 561, 666
Крылов И. А. 433 — 434, 436
Крюгер С. Й. П. 263, 458
Кузнецов Д. Д. 539
Кузнецов Н. Д. 539
Куперник Л. А. 92, 451
Курдюмов Е. Д. 615, 618
Куропаткин А. Н. 286, 461, 587, 599 — 600, 662, 724 — 725, 740
Ланге Ф. А. 515
Ландра А. 417, 421
Ланжерон А. Ф. 486
Лансдоун Г. 564
Лассаль Ф. 300, 462, 483, 515
Лаубе Г. 507
Лацарус М. 103, 451
Лев XIII 255, 257
Лебянов П. И. 691
Лемке М. 759
Лесков Н. С. 54
Лессинг Г. Э. 479, 548
Лилиенблум М. Л. 666
Линкольн А. 299, 461
Лихачев В. С. 502, 505
Лойола И. де 256, 458
Лопухин А. А. 729
Луг, городской 693
Лызлов 127, 128
Льюис Дж. Г. 547, 549
Ма Ц. 376, 467
Мадзини Дж. 299, 461
Макаров С. О. 661
Макеев И. И. 602
Максимова О. Д. 588 — 589
Малерб Ф. 761
Маразли Г. Г. 753
Марголин М. М. 38 — 39, 447
Маркотти Дж. 370, 466
Маркс К. 103, 483
Мартенс Ф. 483
Масарик Т. Г. 227, 456
Мельчанский 568
Менассе бен И. 477
Меңделеев Д. И. 594 — 595
Менталан С. 552
Меньшиков М. О. 160 — 161, 346, 453, 464, 665 — 666
Мережковские 516
Мережковский Д. С. 342, 516
Метерлинк М. 492, 497 — 498, 532 — 533
Мечников И. И. 199, 455
Мещерский В. П. 120, 452, 732, 743, 759
Мигулин П. П. 361 — 365, 367, 375 — 379, 411, 413, 414, 465, 466, 468
Микель И. фон 415, 468
Мильеран А. 298, 461
Миф 557
Михайлов И. А. 574
Михайловский Н. К. 529, 569
Мицкевич А. 623
Моисей 53, 705, 706
Мольер Ж. Б. 121, 335, 498
Монтескье Ш. Л. 760
Моргулис М. Г. 50, 448
Морлей Дж. 476
Моцарт В. А. 180, 576
Мурачев, рабочий 678
Мусселиус В. Р. 616
Мухин-Симферопольский 548
Мылов С. Н. 662
Мюре М. 103, 104, 451
Мюссе А. де 334, 335, 463, 623
Навроцкий В. В. 654
Назимова А. А. 81, 450
Найденос С. А. 251, 457, 502, 504, 505, 748
Наполеон 84, 121, 475
Наполеон III 484, 489
Негри А. 224, 456
Неделин Е. Я. 272, 460
Нейдгарт Д. Б. 444, 470, 608, 612, 653, 654, 678 — 679, 690 — 692, 712
Некрасов Н. А. 598
Неметти (Ланская-Неметти) В. А. 78, 450

- Немешаев К. С. 572
 Немирович В. И. 272, 460
 Немирович-Данченко Вл. И. 28, 447
 Нестеров М. В. 539
 Николай II 606, 730, 732
 Никольский, художник 560
 Нилус П. А. 538—539
 Ницше Ф. 499—510, 545, 648
 Новалис, поэт 497, 507, 516
 Новиков Я. А. 482—486, 488—489
 Нодзу М. 376, 466
 Нордау М. 46, 55, 93—94, 103, 111—112, 237, 352, 447, 457, 529
 Норов А. С. 747
 Нотес В. О. 441, 470
 Оболенский И. М. 655, 731
 Оку Я. 376, 466
 Омар, калиф 664
 Оппенгеймер Ф. 59, 449, 450
 Орландо В. Э. 368, 421, 466
 Орленев П. И. 78—79, 81, 450, 601—602
 Остапенко М. 656
 Островский А. Н. 502—503, 619, 636
 Падейский, частный пристав 607
 Парнелл Ч. С. 299, 461
 Пасманик Д. С. 288, 359, 465
 Пастернак Л. О. 535, 536
 Пасхалова А. А. 272, 460
 Патти А. 276, 460
 Пашутин А. Н. 603
 Перелешин В. П. 693
 Перикл 623
 Петр Великий 106, 175
 Петрарка Ф. 623
 Петросян Г. 584
 Пий IX 255
 Пий X 258
 Пилат П. 409
 Пинкья, товарищ министра 368—369
 Пинскер Л. 666
 Писемский А. Ф. 619
 Пий X 258
 Плаксин С. 717
 Платов М. И. 475
 Плевел В. К. фон 653, 655, 694, 710—711, 715, 729, 731—732
 Плениер И. фон 415, 468
 По Э. 336—338, 464
 Полетаев Е. А. 691
 Поляков М. 92, 451, 591
 Поссарт Э. фон 272, 460
 Потоцкая, актриса 25
 Похитонов И. П. 538
 Прево М. 324
 Прейгер Ш.-З. 681—686
 Пронин Г. А. 653
 Прудон П. Ж. 483, 548
 Пушкин А. С. 402, 569
 Пишибшевский С. 27, 327, 329, 463
 Рава Л. 370, 466
 Равницкий И. 35
 Радецкий Ф. Ф. 727
 Развадовский В. К. 539—540
 Раши 51, 448
 Рамм В. И. 413, 468
 Рамполла Т. дель 256, 458
 Раппопорт 699
 Рамбам 51, 448
 Рафаэль С. 243, 569
 Ренан Ж. Э. 486
 Ренан Э. 103, 451
 Рено М. А. 695, 711
 Репин И. Е. 117
 Решетников Ф. М. 514
 Рид М. 565
 Розенберг, дантистка 678
 Розумный, приказчик 678
 Ротшильд М. 673
 Рошин-Инсаров Н. П. 272, 460
 Рувье М. 414, 468
 Руссо Ж.-Ж. 318, 760
 Рывкин, адвокат 659
 Рыков, учитель 573
 Савина М. Г. 25, 501, 596, 602
 Савич, автор статьи 529
 Сазонов Е. С. 732, 733, 734
 Салисбюри Р. 488, 489
 Сальвини Т. 547
 Сарсе Ф. 552, 553
 Сарто, кардинал 257, 258
 Сахаров В. В. 662
 Свампа Д. 258, 458
 Светославский С. И. 539
 Свифт Дж. 334, 335, 463
 Святополк-Мирский П. Д. 389, 392, 467, 753
 Сегантини Дж. 536
 Сенкевич Г. 622
 Сен-Симон К. 482
 Сервантес М. де 340, 342
 Сеславин А. Н. 586
 Симонович И. Я. 595
 Сипягин Д. С. 711, 729
 Скене Дж. 474
 Скитские П. и С. 441, 470
 Скотт В. 473—481
 Скублинский М. 588—589
 Слепцов, земский начальник 601
 Словацкий Ю. 623
 Случановский П. Н. 638—639

- Смайлс С. 650
 Соловцов Н. Н. 272, 459
 Соловьев В. С. 492
 Софокл 498
 Сперандео, автор учебника 146
 Спиноза Б. 103
 Станиславский К. С. 272
 Станкевич Н. И. 597
 Старк О. В. 661
 Старков В. П. 713
 Стессель А. М. 662
 Стокс Дж. 658
 Струве П. Б. 516
 Суворин А. С. 541
 Судковский, художник 539
 Сэ Л. 414, 468
 Тамерлан, полководец 339, 464
 Тананайко, врач 638 — 639
 Таулау Ф. 535
 Тибулл А. 623
 Тик Л. 497, 507, 516
 Тихомиров Л. А. 715
 Тихонов В. А. 197, 455
 Тициан 569
 Того Х. 663
 Толстой Д. А. 251, 457
 Толстой Л. Н. 182, 251, 283, 318, 332,
 341, 490, 493, 529, 536, 546, 557, 569,
 598, 619, 620, 720
 Трахтенберг В. О. 500
 Третьяков П. М. 538
 Трошка, инспектор 279
 Турати Ф. 298, 461
 Тургенев И. С. 22, 490, 493, 518, 619
 Туссен-Лангеншейдт, автор учебни-
 ка 146
 Тэн И. А. 473
 Тютчев Ф. И. 569
 Уланд Л. 507
 Умберто (Умберто I) 256, 458
 Урусов С. Д. 653
 Успенский Г. И. 491, 493 — 494, 514
 Усышкин А. 46, 76, 447, 449
 Ухтомский П. П. 661
 Федоров А. М. 23 — 26, 431, 446, 469,
 613
 Фейвел Б. 74, 449
 Ферреро Г. 130 — 131, 452
 Феферман А. 343 — 344, 464
 Фигнер А. С. 586
 Финкельштейн 536 — 537
 Финн (Гермониус А. К.) 660
 Фихте И. Г. 516
 Флорин И. М. 603
 Фойницкий И. Я. 759, 761
 Формиджини А. Ф. 369, 370, 466
 Фром, помощник цензора 716, 718
 Фурье Ш. 482
 Хайлович, акушерка 678
 Ходотов, актер 25
 Цакни, редактор 716
 Цензор Д. 225, 456
 Цихоцкий В. И. 574
 Цицерон М. Т. 595
 Черный Э. В. 174, 454
 Чернышевский Н. Г. 746
 Чехов А. П. 265 — 268, 270, 283, 459,
 495 — 497, 505, 516, 529, 532, 555,
 559, 736 — 737
 Чириков Е. Н. 492
 Чужбинов Т. А. 272, 460
 Шавэ Г. 489
 Шаевич Ш. 713 — 716
 Шамай 38, 447
 Шафров, полицмейстер 373
 Шахназаров А. И. 560
 Шац, староста 685 — 686
 Шварц Б. 107, 451
 Шевченко Т. Г. 557
 Шекспир У. 95, 318, 323, 324, 342, 477,
 498
 Шелли П. Б. 341
 Шерешевский, художник 536 — 537
 Шершеневич Г. Ф. 619
 Шефле А. 414, 468
 Шиллер Ф. 341, 680, 760
 Шопен Ф. 243
 Шопенгауэр А. 333, 614
 Штюмер Б. В. 731
 Шувалов И. М. 498
 Шувалов П. П. 712
 Щеголев, генерал 679
 Щедрин (Салтыков-Щедрин) М. Е.
 177, 284, 335, 443, 463
 Щербаковский С. В. 718
 Эгиз Б. И. 537
 Эдип 674
 Энгельс Ф. 105, 277, 460
 Эпштейн-Агалили И. 286, 461
 Эсхил 498
 Юаншикай, военачальник 376, 467
 Ювенал Д. Ю. 335, 463
 Южаков С. Н. 92, 99 — 101, 115, 451
 Юцевич, врач 638
 Юшкевич С. С. 251, 372, 457, 466
 Яворская А. Б. 28, 81 — 82, 447, 450
 Graetz Н. 477
 Heinze 186, 454
 Pormigini А. 146

СОЧИНЕНИЯ ВЛАДИМИРА (ЗЕЭВА) ЖАБОТИНСКОГО 1904

Библиографический указатель¹

НА ВОПРОС ДНЯ / Владимир Жаботинский // Еврейская жизнь. СПб., 1904. № 1. С. 203–211. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 9–17.*

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1904. 4 янв. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 17–20.*

НОВАЯ ПЬЕСА А. М. ФЕДОРОВА / А. // Одесские новости. 1904. 4 янв. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 17–20.*

ВСКОЛЬЗЬ: Кто нам пишет / Altalena // Одесские новости. 1904. 6 янв. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 21–23.*

Г-ЖА БЕЛЛА ГОРСКАЯ: К сегодняшнему бенефису / А. // Одесские новости. 1904. 20 янв. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 26–27.*

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1904. 27 янв. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 27–30.*

СИОНИЗМ И ПАЛЕСТИНА / Владимир Жаботинский // Еврейская жизнь. СПб., 1904. № 2. С. 203–221 — *ВЗЖ. Т. 4. С. 30–50.*

СИОНИЗМ И ПАЛЕСТИНА. Статья вторая // Еврейская жизнь. СПб., 1905. № 1. С. 49–72. Печатается по: Жаботинский В. О территориализме (Сионизм и Палестина). Одесса, 1905. 24 с. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 50–78.*

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1904. 1 февр. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 78–82.*

Чугун / Altalena // Одесские новости. 1904. 17 февр. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 83–87.*

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1904. 18 февр. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 87–91.*

НАШИ КРИТИКИ / Владимир Жаботинский // Еврейская жизнь. СПб., 1904. № 3. С. 170–192. Печатается по: Жаботинский В. Критики сионизма. Изд. 2-е. Одесса, 1906 — *ВЗЖ. Т. 4. С. 91–115.*

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1904. 5 марта. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 116–119.*

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1904. 7 марта. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 119–123.*

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1904. 11 марта. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 123–129.*

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1904. 13 марта. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 129–134.*

¹ Сюда не входят пьесы, стихи и переводы. Даты указаны по старому стилю.

- НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. I / Владимир Ж. // Русь. СПб., 1904. 19 марта. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 135–142.*
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1904. 31 марта. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 143–146.*
- НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. II / Владимир Ж. // Русь. СПб., 1904. 13 апр. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 147–153.*
- НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. III / Владимир Ж. // Русь. СПб., 1904. 19 апр. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 153–160.*
- НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. IV / Владимир Ж. // Русь. СПб., 1904. 24 апр. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 160–164.*
- НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. VI / Владимир Ж. // Русь. СПб., 1904. 7 мая. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 164–169.*
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1904. 3 мая. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 169–172.*
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1904. 4 мая. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 172–174.*
- НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. VII / Владимир Ж. // Русь. СПб., 1904. 5 мая. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 175–178.*
- НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. VIII / Владимир Ж. // Русь. СПб., 1904. 6 мая. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 178–182.*
- НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. IX / Владимир Ж. // Русь. СПб., 1904. 8 мая. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 182–188.*
- НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. X / Владимир Ж. // Русь. СПб., 1904. 11 мая. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 188–192.*
- НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. XI / Владимир Ж. // Русь. СПб., 1904. 14 мая. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 192–197.*
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1904. 16 мая. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 197–202.*
- НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. XII / Владимир Ж. // Русь. СПб., 1904. 16 мая. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 202–209.*
- НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. XIII / Владимир Ж. // Русь. СПб., 1904. 23 мая. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 209–213.*
- НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. XIV / Владимир Ж. // Русь. СПб., 1904. 26 мая. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 213–217.*
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1904. 27 мая. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 218–219.*
- СИДЯ НА ПОЛУ... / Владимир Жаботинский // Еврейская жизнь. СПб., 1904. № 6. С. 14–21. Печатается по: II. Сидя на полу... // Жаботинский В. Доктор Герцль. Одесса, 1905. 32 с. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 220–225.*
- ПИСЬМО ОБ АВТОНОМИЗМЕ / Владимир Жаботинский // Еврейская жизнь. СПб., 1904. № 6. С. 113–124. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 225–239.*
- ПИСЬМА ОБ АВТОНОМИЗМЕ. II: Ваши интересы / Владимир Жаботинский // Еврейская жизнь. СПб., 1904. № 7. С. 81–90. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 239–250.*
- НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. XV / Владимир Ж. // Русь. СПб., 1904. 17 июня. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 250–255.*
- НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. XVI / Владимир Ж. // Русь. СПб., 1904. 22 июня. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 255–260.*

- НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. XVII / Владимир Ж. // Русь. СПб., 1904. 1 июля. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 260–265.*
- НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. XVIII / Владимир Ж. // Русь. СПб., 1904. 4 июля. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 265–270.*
- НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. XXI / Владимир Ж. // Русь. СПб., 1904. 24 июля. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 270–275.*
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1904. 25 июля. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 275–282.*
- НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. XXII / Владимир Ж. // Русь. СПб., 1904. 26 июля. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 282–286.*
- ЛЕТУЧИЙ ЛИСТОК. I / Владимир Жаботинский // А-Цофе. 1904. 30 июля. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 286–291 (иврит; скан неполный).*
- ГЕРЦЛЬ: ИДЕАЛЫ, ТАКТИКА, ЛИЧНОСТЬ / Владимир Жаботинский // Еврейская жизнь. СПб., 1904. № 8. С. 1–27. Печатается по: III. Доктор Герцль // Жаботинский В. Доктор Герцль. Одесса, 1905. 32 с. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 291–315.*
- ДЕСЯТЬ КНИГ. Разговор (Наброски без заглавия. XXIII, XXV, XXVIII и XXXII) / Владимир Ж. // Русь. СПб., 1904. 6, 9, 15, 16, 30 авг. и 27 сент. Печатается по: Владимир Ж. Десять книг. Разговор. СПб., 1905. 38 с. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 315–342.*
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1904. 8 авг. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 343–345.*
- НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. XXVI / Владимир Ж. // Русь. СПб., 1904. 16 авг. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 346–351.*
- НАБРОСКИ / Владимир Жаботинский // Еврейская жизнь. СПб., 1904. № 9. С. 70–79. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 351–361.*
- НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. XXIX / Владимир Ж. // Русь. СПб., 1904. 1 сент. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 361–367.*
- КУДА ЕХАТЬ УЧИТЬСЯ? / Владимир Жаботинский // Новости и Биржевая газета. 1904. 3 сент. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 368–371.*
- ЛЕТУЧИЙ ЛИСТОК. III / Владимир Жаботинский // А-Цофе. 1904. 16 сент.
- НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. XXX [1] / Владимир Ж. // Русь. СПб., 1904. 3 сент. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 375–380.*
- НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. XXX [2] / Владимир Ж. // Русь. СПб., 1904. 16 сент. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 380–384.*
- ЛЕТУЧИЙ ЛИСТОК. IV / Владимир Жаботинский // А-Цофе. 1904. 25 сент. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 385–389.*
- НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. XXXI / Владимир Ж. // Русь. СПб., 1904. 25 сент. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 389–392.*
- СО СТОРОНЫ: К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛИЗМЕ / Владимир Жаботинский // Образова-ние. 1904. № 10. С. 87–98. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 392–405.*
- К ВОПРОСУ О ПОГРОМАХ / Владимир Ж. (Altalena) // Южные записки. Одесса, 1904. № 44. 10 окт. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 405–409.*
- НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. XXXV / Владимир Ж. // Русь. СПб., 1904. 13 окт. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 409–412.*
- КОМУ ЭТО ВЫГОДНО? / Владимир Ж. (Altalena) // Южные записки. Одесса, 1904. № 46. 24 окт. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 413–416.*

НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. XXXVII / Владимир Ж. // Русь. СПб., 1904. 30 окт. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 416–421.*

НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. XXXIX / Владимир Ж. // Русь. СПб., 1904. 9 нояб. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 422–426.*

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1904. 14 нояб. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 426–430.*

НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. I / Владимир Ж. // Наша жизнь. 1904. дек. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 430–433.*

НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. II / Владимир Ж. // Наша жизнь. 1904. 16 дек. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 433–438.*

НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. III / Владимир Ж. // Наша жизнь. 1904. 23 дек. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 439–442.*

НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. IV / Владимир Ж. // Наша жизнь. 1904. 24 дек. — *ВЗЖ. Т. 4. С. 443–445.*

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции	5
СТАТЬИ. РАССКАЗЫ. ОЧЕРКИ. ЭССЕ. РЕЦЕНЗИИ. ФЕЛЬЕТОНЫ. 1904	7
Примечания	446
Именной указатель	471
Сочинения В. Жаботинского, 1904. Библиографический указатель	476

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Том I

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
104	6 св.	МЕД	МЕДЬ

Том II. Книга 1

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
782	5 св.	Ал[ексей]	Ал[ександр]

Художественное издание

Жаботинский Владимир (Зеэв)
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДЕВЯТИ ТОМАХ

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

в трех книгах
книга первая

Художник обложки *М. Драко*
Художественный
и технический редактор *Г. Емец*
Корректоры *И. Любавина, Н. Мельникова*
Компьютерная верстка *Т. Пришепова*

Подписано в печать с готовых диапозитивов 00.00.2012.
Формат 60×90^{1/16}. Гарнитура Балтика. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 00,. Тираж экз. Зак.

ООО «МЕТ». ЛИ № 02330/0494383 от 16.03.2009 г.

Ул. Киселева, 20, 220029, г. Минск.

Отпечатано в ПРУП «Минская фабрика цветной печати».

ЛП 02330/0494156 от 3.04.2009 г.

Ул. Корженевского, 20, 220024, г. Минск.